



КЕЙТ
МОРТОН

ДОЧЬ ЧАСОВЫХ
ДЕЛ МАСТЕРА

РОМАН



Annotation

Трущобы викторианского Лондона не самое подходящее место для юной особы, потерявшей родителей. Однако жизнь уличной воровки, казалось уготованная ей судьбой, круто меняется после встречи с художником Ричардом Рэдклиффом. Лилли Миллингтон – так она себя называет – становится его натурщицей и музой. Вместе с компанией друзей влюбленные оказываются в старинном особняке на берегу Темзы, где беспечно проводят лето 1862 года, пока их идиллическое существование не рухнет в одночасье в результате катастрофы, повлекшей смерть одной женщины и исчезновение другой... Пройдет больше ста пятидесяти лет, прежде чем случайно будет найден старый альбом с набросками художника и фотопортрет неизвестной, – и на события прошлого, погребенные в провалах времени, прольется наконец свет истины. В своей книге Кейт Мортон, автор международных бестселлеров, в числе которых романы «Когда рассеется туман», «Далекие часы», «Забывтый сад» и др., пишет об искусстве и любви, тяжких потерях и раскаянии, о времени и вечности, а также о том, что единственный путь в будущее порой лежит через прошлое. Впервые на русском языке!

- [Кейт Мортон](#)
 -
 - [Часть первая. Сумка](#)
 - [I](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [II](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [III](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [IV](#)
 - [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)

- [Часть вторая](#)
 - [V](#)
 - [Глава 10](#)
 - [Глава 11](#)
 - [Глава 12](#)
 - [VI](#)
 - [Глава 13](#)
 - [Глава 14](#)
 - [Глава 15](#)
 - [Глава 16](#)
 - [Глава 17](#)
 - [VII](#)
 - [Глава 18](#)
 - [Глава 19](#)
 - [Глава 20](#)
 - [Глава 21](#)
 - [VIII](#)
 - [Глава 22](#)
 - [Глава 23](#)
 - [IX](#)
- [Часть третья](#)
 - [Глава 24](#)
 - [Глава 25](#)
 - [Глава 26](#)
 - [X](#)
 - [Глава 27](#)
 - [Глава 28](#)
 - [Глава 29](#)
 - [XI](#)
- [Часть четвертая](#)
 - [Глава 30](#)
 - [Глава 31](#)
 - [Глава 32](#)
 - [XII](#)
- [Примечания автора](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)

- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)



Кейт Мортон

Дочь часовых дел мастера

*Посвящается
Диди, с благодарностью
за то, что она была как
раз такой матерью,
которая привела нас на
вершину, а также за
лучший писательский
совет в моей жизни*

Kate Morton THE CLOCKMAKER'S DAUGHTER
Copyright © Kate Morton, 2018
All rights reserved

© Н. В. Маслова, перевод, 2019
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-
Аттикус“», 2019
Издательство АЗБУКА®

Часть первая. Сумка



I

В Берчвуд-Мэнор мы поехали потому, что Эдвард сказал, будто это дом с привидениями. Дом был обычным – по крайней мере, тогда, – но только зануда ради правды может испортить хорошую историю, а Эдвард никогда таким не был. В нем была страсть, и если уж он во что-то верил, то верил истово и так же истово убеждал в этом других. За это я его и полюбила, то есть и за это тоже. Его пыла хватало бы на полдюжины проповедников, а говорил он, отливая каждую свою мысль в звонкую, полноценную монету слова. Он умел собрать вокруг себя людей, разжечь в них такой энтузиазм, какого они сами за собой не знали, и сделать так, чтобы для них померкло все, кроме его мнений и убеждений.

Но проповедником Эдвард не был.

Я его помню. Я помню все.

Помню студию со стеклянной крышей в лондонском саду его матери, запах свежей, только что смешанной краски, шорох щетины по холсту, его взгляд, скользящий по моей коже. В тот день я вся была как на иголках. Мне так хотелось произвести на него впечатление, хотелось, чтобы он поверил, будто я та, кем вовсе не была, и, пока его взгляд охватывал меня всю, от макушки до пят, в голове у меня вертелись слова миссис Мак: «Помни, твоя мать была истинной леди, и родня у тебя из благородных. Разыграешь свои карты как надо, и, глядишь, все наши пташки целыми и невредимыми вернутся на свой насест».

И я еще больше выпрямляла спину, сидя в тот первый день на стуле из розового дерева в белой комнате, за спутанной завесой из нежно-алого душистого горошка.

Его младшая сестра приносила мне чай и пирожок, если мне случалось проголодаться. И его мать тоже приходила к нам по узкой садовой дорожке взглянуть на работу сына. Она его обожала. Видела в нем воплощение своих надежд. Выдающийся член Королевской академии, помолвленный с леди из состоятельной семьи, отец выводка кареглазых наследников.

Такие, как он, не про мою честь.

Позже его мать винила себя во всем, что произошло, но она скорее смогла бы разлучить день с ночью, чем удержать нас вдали друг от друга.

Он называл меня своей музой, своей судьбой. Говорил, что сразу это понял, едва увидел меня там, в фойе театра на Друри-лейн, в жаркой дымке газового света.

Я была его музой, его судьбой. А он стал моей.

Это было давно; это было вчера.

О, я помню любовь.

Я особенно люблю укромный уголок на площадке главной лестницы, в одном пролете от второго этажа.

Чудной это дом, и строили его с особой целью – сбивать людей с толку. Лестницы здесь угловатые, как молоденькие девушки, перила выпирают, будто локти или коленки, ступеньки неровные; окна, сколько ни смотри на них сквозь ресницы, все будут на разной высоте; половицы и стенные панели скрывают хитрые тайники.

В моем уголке всегда тепло, так тепло, что даже странно. Мы все тогда обратили на это внимание, с самого первого дня, и в первые недели лета по очереди пытались разгадать причину.

Мне понадобилось время, чтобы понять, отчего это, но теперь я знаю правду. Теперь я вообще знаю этот дом не хуже, чем собственное имя.

Эдвард соблазнял других не домом как таковым, а светом. В ясный день из окон мансарды виден другой берег Темзы – аж до Валлийских гор. Полосы розовато-лилового чередуются с зеленым, меловые утесы ступенями восходят к облакам, и все это будто сияет, окутанное прогретым воздухом лета.

Вот какое предложение он им сделал: целый месяц лета, наполненный живописью, поэзией, пикниками, рассказами, наукой, изобретениями. И светом, божественным светом. Вдали от Лондона и его любопытных глаз. Ничего удивительного, что другие сразу клюнули. Эдвард и черта заставил бы петь псалмы, приди ему такая блажь.

Только я одна знала другую цель его приезда сюда, он мне открылся. Конечно, свет был приманкой и для него, но еще у Эдварда была тайна.

Со станции мы шли пешком.

Стоял июль, день был ясный. Легкий ветерок заигрывал с краешком моей юбки. Кто-то захватил с собой сэндвичи, мы ели их на ходу. Вид у нас, наверное, был еще тот – мужчины ослабили галстуки, женщины распустили волосы. Все смеялись, поддразнивали друг друга, веселились.

Какое замечательное начало! Помню, где-то рядом журчал ручеек,

лесной голубь ворковал над нашими головами. Какой-то человек вел в поводу лошадь, в телеге, на тюках соломы сидел маленький мальчик, пахло свежескошенной травой – о, как я тоскую по этому запаху! Жирные деревенские гуси настороженно уставились на нас глазами-бусинками, когда мы приблизились к реке, а когда мы прошли мимо, храбро загоготали нам вслед.

Сколько света было вокруг, жаль, что все так быстро кончилось.

Хотя это вы уже поняли, ведь если бы свет и тепло продолжались, не о чем было бы говорить сейчас. Кому интересно слушать про спокойное, счастливое лето, которое кончилось так же, как началось. Этому меня тоже научил Эдвард.

Уединение тоже сыграло свою роль; дом стоит на берегу реки, одинокий, как выброшенный на берег корабль. И погода; жаркие, сияющие дни шли один за другим, пока однажды ночью не разразилась гроза, которая загнала нас всех под крышу.

Дул ветер, стонали деревья, гром накатывал по реке, сжимая дом в своих мощных лапах; тогда разговор свернул на призраков и способы общения с ними. В камине потрескивал огонь, язычки пламени на свечах дрожали, и тогда, в темноте, в исповедальной атмосфере утонченного страха, заварилось что-то нехорошее.

Дело было совсем не в призраке, о нет – причиной случившегося были люди.

Двое неожиданных гостей.

Два долго скрываемых секрета.

И выстрел в темноте.

Свет померк, все вокруг почернело.

Лето переломилось. Первые желтые листья спешили упасть с деревьев, чтобы затем сгнить в лужах под редующими живыми изгородями, а Эдвард, который прежде любил этот дом, метался теперь по его коридорам, точно зверь в ловушке.

Наконец он не выдержал. Собрал свои вещи и уехал, и я не смогла его остановить.

Другие последовали за ним, как всегда.

А я? У меня не было выбора; я осталась.

Глава 1

Лето 2017 года

Элоди Уинслоу наслаждалась любимым временем суток. Лето, Лондон, рабочий день уже перевалил за середину, и вдруг солнце как будто замедляет свое непрерывное шествие по небосклону, и поток света сквозь небольшие стеклянные плитки в тротуаре обрушивается прямо ей на стол. Мало того, Марго и мистер Пендлтон ушли рано, так что в заветный миг Элоди оказалась в конторе совсем одна.

Полуподвал «Стрэттон, Кэдуэлл и К^о» в доме на Стрэнде, конечно, не самое романтическое место на земле, не то что хранилище документов в Нью-Колледже, где Элоди подрабатывала на каникулах в год защиты магистерского диплома. Здесь было прохладно, всегда, и даже в такую жару, которая сжигала теперь Лондон, она сидела за столом в теплом кардигане. Но иногда – видимо, когда сходились звезды – старая контора с ее запахами древней пыли и Темзы, норвящей просочиться внутрь сквозь стены, наполнялась неожиданным очарованием.

В тесном кухонном уголке, отгороженном от общей комнаты стеной каталога, Элоди налила в кружку кипятка и перевернула песочные часы. Марго вечно критиковала ее за дотошность, но что поделать – Элоди любила чай, настоящий ровно три с половиной минуты. Она ждала, следя взглядом за струйкой песка за стеклом, и думала о сообщении Пиппы. Письмо доставили, когда она вышла в магазин через дорогу, чтобы купить себе сэндвич к чаю: приглашение на модную вечеринку, которое для нее, Элоди, звучало почти так же соблазнительно, как перспектива провести пару часов в приемной врача. К счастью, у нее уже были планы на вечер – поездка к отцу в Хэмпстед за записями, которые он отложил для нее, – так что не надо было выдумывать причину для отказа.

Отказывать Пиппе всегда было трудно. Они дружили, точнее, были лучшими подругами с первого дня учебы в третьем классе начальной школы Пайн-Оукс. С тех пор Элоди не раз мысленно благодарила мисс Перри за то, что тогда она посадила их вместе: Элоди, новую девочку в форме другой школы, с косичками, неумело заплетенными папой, и Пиппу с широкой улыбкой, конопатыми щеками и руками, которые порхали в такт каждому ее слову.

С тех пор они были неразлучны. Всю начальную школу, и среднюю тоже, и потом, когда Элоди поехала в Оксфорд, а Пиппа поступила в Сент-Мартинз. Теперь они виделись реже, и неудивительно: мир искусства – стихия энергичных и общительных людей, и Пиппа, перепархивая с инсталляции в одной галерее на открытие другой и так далее, неизменно оставляла на мобильнике Элоди след из приглашений на всякие такие мероприятия.

Зато в мире архивов заняться было решительно нечем. Так, по крайней мере, считала Пиппа, привыкшая к блеску и суете. Но не Элоди: она постоянно засиживалась на работе и часто встречалась с людьми – правда, не настоящими, в смысле уже не живыми. Основатели фирмы, мистер Стрэттон и мистер Кэдуэлл, много путешествовали по миру в те дни, когда он был большим, не то что сейчас, а телефон еще не отучил людей считать письмо самым надежным средством связи. Вот почему теперь Элоди днями напролет вглядывалась в пыльные пожелтевшие артефакты, хозяев которых давно уже не было в живых, и вчитывалась то в описание какого-нибудь суаре в Восточном экспрессе, то в отчет о встрече путешественников-викторианцев, искателей Северо-Западного прохода.

Такая социализация сквозь время целиком устраивала Элоди. Правда, друзей у нее было мало – то есть друзей из плоти и крови, – но это ее не огорчало. В конце концов, это ведь так утомительно – весь вечер, не спуская улыбки с лица, сплетничать и говорить о погоде; вот почему любую компанию, даже самую немногочисленную, она покидала усталая и с таким чувством, будто оставила позади важную часть самой себя, которая уже никогда к ней не вернется.

Элоди вытащила пирамидку с заваркой, отжала последние капли в раковину и на полсекунды наклонила над кружкой пакет, доливая молока.

С чаем она вернулась за свой стол: по его поверхности, как всегда в это время, уже ползли призмы послеполуденного света. Элоди села и, согревая ладони о бока кружки с султаном пара поверх нее, стала думать, что еще предстоит сделать до конца дня. Алфавитный указатель к отчету Джеймса Стрэттона-младшего о его путешествии к западному побережью Африки в 1893 году она довела уже до половины; за статью для «Ежемесячника „Стрэттон, Кэдуэлл и К^о“» пока не садилась; а еще мистер Пендлтон поручил ей вычитать каталог для приближающейся выставки, прежде чем пустить его в печать.

Но Элоди весь день подбирала правильные слова и расставляла их в единственно верном порядке и теперь чувствовала, что ее мозг перенапрягся. Ее взгляд упал на коробку из вощеного картона, которая

стояла на полу под ее столом. Она появилась здесь в понедельник, после обеда, когда в кабинетах наверху случилась какая-то протечка и пришлось срочно эвакуировать старую гардеробную – помещение с таким низким потолком, как будто архитектор сначала начисто забыл о нем и лишь в последний момент втиснул его в дальний уголок дома. Кажется, Элоди не была там ни разу за все десять лет своей работы в «Стрэттон, Кэдуэлл и К^о». Коробка стояла там, на дне антикварного шифоньера, под стопкой пыльных парчовых штор, а рукописный ярлычок на ней гласил: «Содержимое ящика стола из мансарды, неразобранное – 1966».

Обнаружение архивных материалов в заброшенной гардеробной, да еще через несколько десятилетий после их прибытия в контору, – это, вообще говоря, скандал, и реакция мистера Пендлтона обещала быть предсказуемо взрывной. Второго такого яркого приверженца протокола, как он, надо было еще поискать, и, обсуждая потом этот случай, Элоди и Марго сошлись во мнении, что, кто бы ни отвечал за эту посылку в 1966-м, ему крупно повезло, что он уже оставил свою должность.

Да и время для находки было самое неподходящее: с тех пор как к ним прислали консультанта по менеджменту с целью «оптимизации работы» компании, мистер Пендлтон был буквально вне себя. Мало того что этот тип вторгся в его пространство, так он еще подвергал сомнению его эффективность как управленца. «Ощущение такое, будто у тебя из кармана вытащили часы, чтобы сказать тебе же, который час», – процедил он сквозь сmerzшиеся губы после первой встречи с консультантом в то утро.

Бесцеремонное возникновение коробки в таких обстоятельствах грозило и вовсе довести мистера Пендлтона до апоплексии, и Элоди, которой дисгармония была любезна не более, чем полное отсутствие порядка, твердо пообещала ему, что сама разберется во всем в ближайшее время, после чего подхватила коробку и засунула ее под стол – с глаз, так сказать, долой.

В последующие дни Элоди не упоминала о находке и старалась, чтобы та никому не попадалась на глаза, во избежание нового взрыва эмоций, но теперь, оставшись наконец одна в конторе, она опустила у стола на колени и достала коробку из ее убежища...

Свет вспыхнул нежданно, он колотился, как множество острых иголок, и сумка, давно сплюснутая внутри коробки, вздохнула. Ее путь оказался таким долгим – немудрено, что она устала. Края сумки истерлись почти до прозрачности, пряжки потускнели, нутро, увы, пропахло плесенью. О пыли и говорить нечего: она давно уже затянула полупрозрачной пленкой всю

некогда безупречную поверхность, сделав сумку такой вещью, которую люди внимательно рассматривают, держа на вытянутой руке, покачивая головой и не зная, как с ней поступить. Носить нельзя – слишком старая, выбрасывать тоже нехорошо – смутно казалось, что она обладает исторической ценностью.

Когда-то ее любили, восхищались ее элегантностью, больше того, полезностью. Она была незаменима для кого-то в те дни, когда люди ценили подобные аксессуары. А потом ее спрятали и забыли, случайно обнаружили, обращались с ней кое-как, потеряли, нашли и забыли опять.

Но вот предметы, которые десятилетиями давили на сумку своим весом, куда-то исчезли, да и саму ее наконец откуда-то извлекли, и она оказалась в комнате, где слабо жужжали электрические приборы и тихо щелкали трубы отопления. Размытый желтый свет, запах бумаги и мягкое прикосновение белых перчаток.

По другую сторону перчаток обнаружилась женщина: молодая, похожая на олененка – с длинными тонкими руками и деликатной шеей, которая поддерживала головку с лицом в оправе черных стриженных волос. Она тоже держала сумку на расстоянии вытянутой руки, но без всякой брезгливости.

Ее прикосновение было нежным. Губы сложились в трубочку от любопытства, серые глаза слегка прищурились, потом расширились, когда она оценила тонкую ручную работу, отличный индийский хлопок и качество шва.

Мягким большим пальцем она провела по инициалам на верхнем клапане сумки – поблекшим и печальным, – и сумка ощутила мурашки удовольствия. Почему-то внимание этой молодой женщины подсказывало ей, что ее невыразимо длинное путешествие, вероятно, близится к концу.

«Открой меня, – беззвучно молила сумка. – Загляни внутрь».

Когда-то, давным-давно, сумка была сияющей и новой. Сам мистер Симмс из «У. Симмс и сын», поставщик королевского двора, сделал ее на заказ в своей мастерской на Бонд-стрит. Золотые инициалы, сработанные вручную, были с невероятной торжественностью прикреплены под нагревом; каждую серебряную заклепку и пряжку тщательно отобрали и, внимательно изучив, отполировали; тончайшую кожу раскроили и аккуратно сшили, а затем натерли маслом и отшлифовали до горделивого блеска. Пряные ароматы Востока – гвоздика, шафран и сандал – приплыли по кровеносной системе здания из парфюмерного магазина по соседству, придав сумке намек на чужестранность.

«Открой меня...»

Женщина в белых перчатках щелкнула потускневшей серебряной застежкой, и сумка затаила дыхание.

«Открой меня, открой меня, открой...»

Она подняла наружный кожаный клапан, и свет впервые за сто лет озарил нутро сумки, до самого дальнего уголка.

С ним нахлынул поток воспоминаний – разрозненных, путаных: звон колокольчика на двери «Уильям Симмс и сын»; шелест юбок молодой женщины; стук лошадиных копыт; запах свежей краски и скипидара; жар, страсть, шепот. Свет газовых фонарей на вокзале; длинная, петляющая река; пшеничные ароматы полей...

Рука в перчатке вынырнула из кожаного нутра, вынося груз наружу.

Прежние ощущения, касания, голоса – все поблекло, все осталось далеко позади, наконец потемнело и стихло.

Кончилось.

Элоди опустила содержимое сумки себе на колени, а саму ее отложила в сторону. Красота предмета как-то не вязалась с вещами, лежавшими внутри. Там оказался набор совершенно заурядных письменных принадлежностей – дырокол, чернильница, деревянная коробочка с отделениями для перьев и скрепок – и еще футляр для очков из крокодиловой кожи, который производитель снабдил ярлычком с надписью: «Собственность Л. С.-В.». Он и подсказал Элоди, что все найденные ею предметы, как и письменный стол, к которому они когда-то относились, принадлежали Лесли Стрэттон-Вуд, внучатой племяннице первого Джеймса Стрэттона. Тогда и время совпадает – Лесли Стрэттон-Вуд умерла где-то в шестидесятых, – и становится понятно, почему коробку доставили именно в здание «Стрэттон, Кэдуэлл и К°».

Вот только сумка – если, конечно, речь не шла о подделке самого высокого класса – казалась слишком старой, чтобы принадлежать мисс Стрэттон-Вуд; да и предметы внутри нее, по крайней мере на первый взгляд, были не из двадцатого века. Черный журнал для записей с монограммой (Э. Дж. Р.) и обрезом под мрамор; медная коробочка для перьев, изготовленная в середине царствования королевы Виктории; и линиялая кожаная папка для бумаг, зеленого цвета. Невозможно было с уверенностью сказать, кому принадлежали все эти вещи, но под передним клапаном папки оказался ярлычок с золотой надписью: «Джеймс У. Стрэттон, эскв., Лондон, 1861».

Папка была плоской, и Элоди сначала решила, что она пуста; но,

щелкнув застежкой, обнаружила внутри один-единственный предмет. Это была изящная серебряная рамка – такая небольшая, что уместилась в ладони, – со снимком женщины. Молодая, волосы длинные, светлые, но не как у блондинки, наполовину убранные в свободный узел на макушке; взгляд прямой, подбородок слегка приподнят, скулы высокие. Складка губ такая, словно она только что беседовала с кем-то на интеллектуальные темы, а то и пикировалась, и вот на секунду отвлеклась.

Вглядываясь в коричневатую фотографию, Элоди уже испытывала знакомый трепет, – возможно, перед ней была жизнь, доселе неизвестная, ждавшая, когда ее откроют заново. Платье на женщине было свободнее, чем носили в те времена. Складки белой ткани драпировали плечи, образуя треугольный вырез. Рукава прозрачные и пышные, манжет на одной руке поднят до локтя. Запястье хрупкое, рука на бедре подчеркивает изгиб талии.

Да и трактовка образа не менее необычна, чем модель, ведь женщина снята не на кушетке и не на фоне декорации, чего обычно ждешь от викторианцев. Нет, она позирует на открытом воздухе, среди густой зелени, и все вокруг нее говорит о движении и жизни. Свет рассеянный, общее впечатление упоительное.

Отложив снимок в сторону, Элоди взялась за дневник с монограммой. Он раскрылся сразу, точно только того и ждал, обнажив страницы дорогой хлопковой бумаги кремового цвета; слова на ней были выведены прекрасным почерком, но, увы, служили лишь подписями к многочисленным карандашным и чернильным рисункам и наброскам людей, пейзажей и других объектов, чем-то заинтересовавших автора. Значит, не дневник – альбом.

Из сложенных страниц выскользнул клочок бумаги, вырванный откуда-то еще. По нему тянулась одна строчка: «Я люблю ее, я люблю ее, я люблю ее, и если не смогу быть с ней, то наверняка сойду с ума, потому что, когда я не с ней, мне страшно...»

Слова рвались с бумаги так, словно кто-то выкрикивал их вслух, но, перевернув записку, Элоди не поняла, чего именно страшился автор.

Кончиками пальцев в мягких перчатках она провела по слегка вдавленным буквам. Посмотрела ее на просвет, и в последних отблесках уходящего солнца увидела неповторимый узор из ворсинок и множество крошечных сияющих точек там, где острый кончик металлического пера проткнул когда-то бумагу.

Элоди тихонько вложила истерзанный клочок обратно в альбом.

Он был старым, даже старинным, и тем сильнее тревожило

заключенное в нем сообщение: с неистовством и яростью оно твердило о неоконченном деле.

Элоди продолжила аккуратно переворачивать страницы альбома, и везде находила штрихованные наброски, а кое-где – беглые профили на полях.

И вдруг ее рука замерла.

Этот набросок был более тщательным, чем другие, более законченным. На переднем плане – речной пейзаж с одиноким деревом, на заднем – поля и далекий лес. Справа из-за рожицы выглядывала крыша: острые зубцы двойного фронтона, восемь дымовых труб и причудливый флажок флюгера с солнцем, луной и эмблемами других небесных тел.

Рисунок был вполне законченным, но Элоди не потому смотрела на него в таком изумлении. Ее охватило ощущение дежа вю, причем столь сильное, что у нее даже дух занялся.

Это место было ей знакомо. Воспоминание было таким ярким, как будто она побывала там сама, но Элоди твердо знала, что никогда не видела этого дома своими глазами, только представляла его себе мысленно.

Слова всплыли в ее памяти внезапно и прозвучали чисто и внятно, как птичья песенка на рассвете:

«Долго шли они извиистой тропой через широкий луг, и пришли к реке, и принесли с собой тайну и меч».

И она вспомнила. Это была сказка, которую в детстве рассказывала ей мать. Романтическая сказка, длинная, с витиеватым сюжетом, со множеством персонажей – героев, злодеев и, конечно же, Королевой Фей, – а происходило все в доме посреди темного леса, на берегу большой излучистой реки.

Но эта история была не из книги, а значит, никаких картинок к ней не полагалось. Они с матерью сидели бок о бок на кровати в детской спальне Элоди, комнате со скошенным потолком, и мать рассказывала...

Из кабинета мистера Пендлтона раздался низкий предупредительный звон настенных часов, и Элоди взглянула на свои часики. Она опаздывала. Время снова утратило форму, его стрела рассыпалась и пылью легла ей под ноги. Бросив последний взгляд на странно знакомую картинку, она вернула альбом в коробку вместе с прочим содержимым, накрыла все крышкой и сунула под стол.

Элоди собрала вещи и стала проверять, все ли в отделе заперто и выключено, как вдруг ощутила властный зов. Не в силах противиться ему, она вернулась к столу, вынула из-под него коробку, сняла крышку, нашла альбом и сунула его себе в сумку.

Глава 2

Элоди села в автобус номер 24, идущий от Чаринг-кросс в Хэмпстед. Метро, конечно, доставило бы ее быстрее, но она никогда не пользовалась лондонской «трубой». Там было слишком много народу и мало воздуха, а Элоди всегда плохо себя чувствовала в таких местах. Отвращение к толпе и духоте было фактом ее жизни с самого детства, и она привыкла к нему, хотя и не могла не испытывать сожаления; ей нравилась сама идея подземной железной дороги, привлекал заключенный в ней дух викторианской предприимчивости, радовали глаз старинная плитка и шрифты, историческая пыль и та грела душу.

Движение, как назло, было мучительно медленным, а возле Тоттенхэм-Корт-роуд машины и вовсе едва ползли: там шло строительство станции новой дороги, Западно-Восточного диаметра, и в процессе обнажились задние фасады целого ряда кирпичных домов – викторианской ленточной застройки. Для Элоди этот вид стал одним из любимейших в Лондоне: где еще прошлое открывается так явно, что его буквально можно коснуться рукой? Она часто представляла себе жизнь тех, кто обитал в этих домах давным-давно, когда весь юг Сент-Джайлза покрывали сплошные трущобы, лабиринт узких кривых переулков, где между кабаками и игорными притонами самого низкого пошиба слонялись дешевые проститутки и шмыгали немые уличные оборванцы, а воздух густел от зловония сточных канав и выгребных ям; это было в те дни, когда Чарльз Диккенс еще искал вдохновения в ежевечерних прогулках по Лондону, а в Севен-Дайелз еще встречались алхимики, занимавшиеся своим древним ремеслом на средневековых улицах с открытыми сточными канавами.

Джеймс Стрэттон-младший, как и многие его современники-викторианцы, испытывал острый интерес к эзотерике всякого рода и оставил ряд дневниковых записей, в которых детально излагал все обстоятельства своих посещений одной ясновидящей из Ковент-Гарден – у него была с ней затяжная интрижка. Банкир Джеймс Стрэттон отменно писал; в его дневниках есть немало страниц, на которых современный ему Лондон буквально живет и дышит, вызывая у читателя то сострадание, а то и смех. Он был хорошим человеком, по-настоящему добрым, старавшимся всемерно облегчить участь тех, кого жизнь лишила всего и ввергла в нищету. Он искренне верил в то, о чем писал друзьям, вовлекая их в свои филантропические проекты: «Когда человеческому существу есть где

приклонить голову на ночь, это, без сомнения, облегчает его текущую жизнь и делает светлее его виды на будущее».

Люди его круга уважали Стрэттона за деловые качества и даже, наверное, любили: умный, богатый, прекрасный собеседник, желанный гость на любом званом обеде, он много путешествовал, видел мир и преуспел во всех отношениях, в каких только мог желать себе преуспевания викторианский джентльмен; при этом он был одинок. Женился поздно, пережив целую вереницу неудачных и каких-то безнадежных романов. Сначала с актрисой, которая потом убежала с каким-то итальянским изобретателем, затем с натурщицей, беременной от другого, а в сорок с лишним лет глубокую и постоянную страсть в нем зажгла одна из его горничных, девушка по имени Молли, которую он не уставал осыпать проявлениями своей доброты, так и не открывшись ей. Элоди почти поверила в то, что он нарочно выбирал женщин, которые не хотели – или не могли – ответить на его любовь.

– Зачем ему это было нужно? – нахмурившись, переспросила ее Пиппа, когда Элоди поделилась с ней этим соображением за сангрией и тапасом.

Элоди и сама ничего не знала наверняка, в его переписке не было ровно никаких указаний на отвергнутое чувство, безответную любовь или иной источник постоянного, глубоко укорененного несчастья, и все же она не могла избавиться от ощущения, что за приятным, текучим слогом его частных писем таилась какая-то печаль; он представлялся ей вечным искателем того, что ему было заказано обрести.

Элоди давно привыкла к скептическому выражению, возникавшему на лице Пиппы всякий раз, когда подруга высказывала ей что-нибудь в этом роде. Она не умела объяснить то глубокое чувство интимного знания человека и его жизни, которое пришло к ней само собой, просто потому, что она изо дня в день разбирала артефакты, из которых эта жизнь некогда складывалась. Элоди не разделяла и не могла понять присущего современности желания выносить на всеобщее обозрение и обсуждение все свои переживания, даже самые потаенные; глубины своей души она стерегла неусыпно, а французское выражение «le droit à l'oubli» – «право быть забытым» – было ее жизненным девизом. С другой стороны, ее профессия – вернее, страсть – состояла в том, чтобы собирать по крупицам, сберегать и вызывать к жизни других людей, которые уже ничего не могли сказать в свою защиту. Любые помыслы Джеймса Стрэттона, которые он доверял в свое время дневнику, не думая, конечно, о будущих читателях, были открыты ей, той, чьего имени он никогда не слышал.

– Ты в него, разумеется, влюблена, – заявляла Пиппа всякий раз, когда Элоди делала попытку что-то объяснить ей.

Но любовь была здесь ни при чем; просто Элоди искренне восхищалась Джеймсом Стрэттоном и стремилась сберечь и донести до других все, что он сделал при жизни. Именно его наследие подарило ему жизнь за пределами срока, отпущенного судьбой, и целью Элоди, сутью ее работы было сделать так, чтобы это наследие уважали.

Но едва мысль об уважении мелькнула в ее мозгу, как Элоди вспомнила про альбом, покоившийся в недрах сумки, и вспыхнула.

Что это на нее нашло, в самом деле?

Страх вылился в ужасное, восхитительное и преступное предвкушение новизны, которое овладело ее душой. За все десять лет, что она работала в архиве «Стрэттон, Кэдуэлл и К°», ей еще ни разу не доводилось столь откровенно пренебречь указаниями мистера Пендлтона. Одно из его непреложных правил гласило: вынести из подвала артефакт – хуже того, непочтительно сунуть его в сумку и подвергнуть святотатственному провозу в лондонском автобусе начала двадцать первого века – это не простое нарушение нормы. Это смертный грех.

Но когда автобус номер 24 обогнул станцию «Морнингтон-кресент» и выехал на Кэмден-таун-стрит, Элоди, воровато оглянувшись и убедившись, что на нее никто не смотрит, вынула из сумки альбом и торопливо открыла его на странице с рисунком дома на берегу реки.

И снова ее пронзило чувство глубокой причастности к изображению. Она знала это место. В истории, которую рассказывала мать, этот дом был настоящим порталом в другой мир; для Элоди же, уютно свернувшейся в кольцо рук матери и вдыхавшей необычный аромат – от нее пахло нарциссами, таких духов не употреблял больше никто, – порталом была сама история, она, точно заклинание, похищала девочку из мира здесь-и-сейчас и уносила в страну воображения. А когда мать девочки умерла, мир этой сказки стал ее тайным убежищем. В школе, на большой перемене, дома, долгими безмолвными вечерами или ночью, под удушающим покровом темноты, ей надо было только спрятаться и закрыть глаза, и она сразу переносилась на берег реки, откуда тропинка вела ее через лес прямо к порогу зачарованного дома...

Автобус прибыл на Саут-Энд-грин, и Элоди задержалась, чтобы купить кое-что с лотка у станции наземного метро, а уж потом заспешила по Уиллоу-роуд к Гейнсборо-гарденз. Было еще тепло и даже довольно душно, и, когда Элоди подошла наконец к двери крошечного домика, где

жил ее отец – раньше здесь обитал садовник, – пот лил с нее так, словно она пробежала марафонскую дистанцию.

– Привет, пап, – сказала она, когда он поцеловал ее в щеку. – Я тебе кое-что принесла.

– О, моя дорогая, – сказал он, с сомнением глядя на растение в горшке. – Ты еще не потеряла веры в меня, несмотря на то что случилось в прошлый раз?

– Нет, не потеряла. Кроме того, леди, у которой я это купила, заверила меня, что поливать его нужно не чаще двух раз в год.

– Господи, да неужели? Два раза в год?

– Так она сказала.

– Подумать только!

Несмотря на жару, он запек утку с апельсинами, свое коронное блюдо, и они поели, сидя за столом на кухне, как делали всегда. В их семье не принято было есть в столовой, разве только по особым случаям, вроде дней рождения, Рождества, или в тот раз, когда мать Элоди решила, что им следует пригласить на День благодарения американского скрипача-гастролера с женой.

За едой говорили о работе: Элоди – о своем кураторстве на близящейся выставке, ее отец – о своем хоре и уроках музыки, которые он в последнее время вел в местной начальной школе. Его лицо буквально осветилось, когда он заговорил о своей ученице-скрипачке, такой малютке, что вся ее рука была не длиннее скрипки, и о мальчике, который сам, по собственной инициативе, пришел к нему в комнату для занятий и с горящими глазами буквально умолял его об уроках игры на виолончели.

– Понимаешь, его родители – не музыканты.

– Дай-ка я угадаю: он тебя уговорил?

– Я не мог отказать.

Элоди улыбнулась. Музыка была главной страстью отца, и ему в голову не пришло бы отказывать ребенку, который сам, по собственному почину, пришел и попросил у него позволения разделить с ним эту страсть. Он верил, что музыка может менять людей – «самую структуру мозга, Элоди», – и ничто не приводило его в такой восторг, как обсуждение возможностей этого изумительного органа и МРТ-сканы, демонстрирующие связь между музыкой и эмпатией. Каждый раз, когда Элоди наблюдала за ним во время какого-нибудь концерта, у нее сжималось сердце: рядом с ней сидел погруженный в музыку, полностью поглощенный ею человек. Раньше он и сам был профессиональным музыкантом. «Только второй скрипкой, – уточнял он каждый раз, когда об

этом заходил разговор, и с неизменной почтительностью в голосе добавлял: – Никакого сравнения с ней».

С ней. Взгляд Элоди невольно скользнул в сторону прихожей, где была еще одна дверь – в столовую. Сквозь открытый проем Элоди видела лишь края рамок, но ей не нужно было глядеть на стену, чтобы точно сказать, где висит та или иная фотография. Их положение никогда не менялось. Это была стена ее матери. Точнее, стена Лорен Адлер; контрастные черно-белые снимки почти вибрировали, столько энергии и жизни было в изображенной на них молодой женщине с длинными прямыми волосами и виолончелью, зажатой между колен.

Элоди изучила их еще в детстве, и с тех пор они неизгладимо запечатлелись в ее мозгу: стоило закрыть глаза, и они вставали перед ее внутренним взором так ясно, словно их нанесли химическим карандашом на внутреннюю поверхность века. Ее мать в разные моменты исполнения, сосредоточенность подчеркивает тонкую лепку лица: высокие скулы; сконцентрированный взгляд; умные, выразительные пальцы на струнах, которые блестят на свету.

– Пудинг будешь?

Отец уже вынул из холодильника дрожащую клубничную пирамидку, и Элоди вдруг заметила, как он постарел в сравнении с изображениями матери, с ее молодостью и красотой, вечно неизменными в его памяти, как насекомое в янтаре.

Погода была хорошая, они взяли вино, десерт и вышли на открытую террасу на крыше, откуда была видна лужайка перед домом. Три брата играли в фрисби, причем самый младший бегал по зеленой траве между двумя старшими, а неподалеку сидели двое взрослых и что-то тихо обсуждали, едва не соприкасаясь головами.

Жаркие летние сумерки навевали дрему, и Элоди хотелось, чтобы это никогда не кончалось. Тем не менее после нескольких мгновений дружеского молчания, в котором она и ее отец были большими специалистами, она рискнула:

– А знаешь, о чем я на днях думала?

– О чем же? – На подбородке у него сидела капля крема.

– Вспоминала сказку, которую мне рассказывали на ночь в детстве. Про реку и про дом с флюгером в виде луны и солнца, помнишь?

Он засмеялся – тихим, удивленным смехом:

– Надо же! Да, ты мне напомнила. Ты так ее любила. Давненько я о ней не думал. Признаться, раньше я сомневался, стоит ли ее рассказывать тебе на ночь, уж слишком она была жуткая, но твоя мать считала, что дети

гораздо смелее, чем принято полагать. Она говорила, что детство само по себе – пугающее время жизни и что страшилки ослабляют чувство одиночества. И похоже, ты была с ней согласна: каждый раз, когда она уезжала в турне и приходил мой черед читать тебе книжки на ночь, ты начинала капризничать. Помню, иногда я из-за этого прямо-таки впадал в уныние. Ты прятала книжки под кровать, чтобы я не нашел, а вместо них требовала рассказ о лесной поляне, чащобе вокруг и волшебном доме на берегу реки.

Элоди улыбнулась.

– Но, как бы я ни старался, тебе все не нравилось. Ты топала ногами и кричала: «Не так!» и «Не то!».

– О боже.

– Это была не твоя вина. Просто твоя мать была великолепной рассказчицей.

Тут отец погрузился в меланхолию, но Элоди, которая обычно старалась в таких случаях помолчать и дать ему побыть наедине с горем, сегодня робко продолжила:

– Папа, я тут подумала: а что, если это все же история из какой-то книжки?

– Если бы!.. Тогда я не потратил бы столько времени в бесплодных попытках утешить мое безутешное дитя. Увы, это все вымысел, семейная история. Помню, твоя мать как-то сказала, что услышала ее впервые еще в детстве.

– Я тоже так считала, но, может быть, она по молодости лет неправильно что-то поняла? Может быть, тот, кто рассказал ей эту историю, сам вычитал ее в книжке? Знаешь, в старом таком викторианском томе, с картинками?

– Что ж, может быть, и так. – Отец нахмурился. – С чего ты вдруг завела об этом речь?

Внезапно занервничав, Элоди дрожащими пальцами вытянула из сумки альбом и передала его отцу, открыв на странице с домом:

– Я нашла это сегодня на работе, в коробке.

– Какое очарование... рисовал явно большой мастер... такая тонкая работа...

Полюбовавшись рисунком еще немного, он нерешительно глянул на Элоди.

– Папа, разве ты не видишь? Это же дом из сказки. Здесь нарисован тот самый дом.

Его взгляд вернулся к наброску.

– Да, здесь какой-то дом. И река.
– И темный лес, и флюгер с луной и солнцем.
– Да, но... дорогая, на свете наверняка есть десятки домов, которые подойдут под это описание.

– С такой точностью? Не верю, папа. Это именно тот самый дом. Все детали совпадают. Больше того, художник уловил даже атмосферу, такую же, как в сказке. Разве ты не чувствуешь?

Элоди вдруг захотелось защитить свою вещь, и она забрала альбом из рук отца. Она не могла сказать ему больше того, что уже сказала, не могла объяснить, как этот набросок оказался у нее на работе, какое отношение он имел к архивам, что он значил для нее лично. Зато она была твердо уверена в одном: это дом из той самой сказки, которую в детстве рассказывала мать.

– Прости меня, дорогая.

– За что мне тебя прощать?

Элоди почувствовала, как подступающие слезы жалят глаза. Этого еще не хватало! Плакать, как маленькая, из-за какой-то сказки. Она стала судорожно подыскивать новую тему для разговора, не важно какую, лишь бы другую.

– От Типа что-нибудь слышно?

– Нет пока. Но ты же знаешь, какой он. Телефонов для него не существует.

– В выходные съезжу навещу его.

Между ними снова воцарилось молчание, только теперь оно было не дружеским, а неловким. Элоди наблюдала игру теплого света на листьях деревьев. Она не понимала, почему ей так беспокойно. Ну, пусть это даже тот самый дом, что с того? Может быть, ей просто попался альбом с зарисовками для книги, которую в детстве читала мать. А может быть, такой дом действительно существует, и кто-то, увидев его, придумал о нем сказку. Она знала, что ей следует прогнать эти мысли и сказать отцу что-нибудь приятное, доброе...

– Говорят, погода еще постоит, – начал было он, и в ту же секунду Элоди выпалила:

– Но в доме же восемь труб, папа! Восемь!

– О, милая.

– Это дом из ее сказки. Посмотри на фронтоны...

– Девочка моя дорогая.

– Папа!

– Все очень просто.

– Что просто?

– Это все свадьба.

– Какая свадьба?

– Твоя, разумеется. – Его улыбка была доброй. – С важными событиями всегда так: они неизменно напоминают нам о прошлом, заставляют переживать его заново. А ты ведь так скучаешь по матери. Я должен был предвидеть, что именно перед свадьбой ты будешь скучать по ней больше, чем всегда.

– Нет, папа, я...

– Вообще-то, я хотел тебе кое-что подарить. Погоди-ка.

Отец пошел по металлической лестнице вниз, в дом, и Элоди вздохнула. Ну как на него можно сердиться: он такой трогательный в этом своем фартуке, подвязанном вокруг талии, и утку опять пересластил.

Тут она заметила дрозда, который сидел на колпаке дымовой трубы – одной из двух на этой крыше – и внимательно наблюдал за ней, склонив голову. Потом вдруг вскинул ее так, точно услышал какую-то команду, невнятную для Элоди, вспорхнул и улетел. Внизу, на лужайке, расплакался малыш – младший из трех мальчиков, – и Элоди вспомнила слова отца о капризах, которыми она отвечала на все его попытки почитать ей сказку в отсутствие матери: в ее памяти встали те годы, что они провели вдвоем.

Да, ему было тяжело.

– Я берег это для тебя, – раздался голос отца, стоявшего на верхней ступеньке лестницы. Элоди ждала, что отец принесет пленки, отобранные по ее просьбе, но в коробке, которую он держал в руках, вряд ли хватило бы для них места – туда вошла бы разве что пара женских туфель. – Я знал, что когда-нибудь... что время настанет... – Его глаза маслянисто блеснули, и он встряхнул головой, протягивая ей коробку. – Вот, посмотри сама.

Элоди подняла крышку.

Внутри был сверток из шелковой органзы цвета слоновой кости, с узкой оторочкой из бархата по сборчатому краю. Элоди сразу поняла, что это такое. Не зря же она столько раз глядела на фото в золоченой рамке внизу, в прихожей.

– Какая она была красивая в тот день, – продолжал отец. – Никогда не забуду миг, когда она появилась в дверях церкви. Я-то уже почти убедил себя, что она не придет. Мой брат много дней подряд только и делал, что дразнил меня – мол, не придет, конечно. Ему казалось ужасно остроумным издеваться надо мной, и, боюсь, я в ответ вел себя так, что лишь упрощал ему задачу. В общем, мне просто не верилось, что она сказала «да». Я все время думал, что тут какая-то ошибка и что в самый последний момент все отменится: это было бы слишком большим счастьем для меня.

Элоди подалась вперед и взяла его за руку. Двадцать пять лет прошло с тех пор, как не стало матери, а рана отца была так свежа, будто все случилось вчера. Элоди было всего шесть, когда та погибла, но она до сих пор помнила тот взгляд, которым отец смотрел на мать, помнила сплетенные пальцы их рук, когда они шли куда-нибудь вдвоем. И тот день, когда в дверь их дома постучали и снизу донеслись негромкие голоса полицейских, а потом отец заплакал – страшно и безнадежно.

– Смеркается уже, – сказал он, слегка потрепав ее по запястью. – Пора тебе собираться домой, милая. Пойдем-ка вниз – я нашел записи, о которых ты спрашивала.

Элоди опустила крышку коробки. Ей не хотелось оставлять его одного в компании тягостных воспоминаний, но он был прав: путь домой был неблизким. К тому же Элоди усвоила много лет назад, что излечить отца от тоски не в ее власти.

– Спасибо, что сохранил для меня фату, – сказала она и скользнула губами по его щеке, вставая.

– Она бы тобой гордилась.

Элоди улыбнулась, но, спускаясь вслед за отцом по лестнице, невольно спросила себя, прав ли он.

Элоди жила в маленькой, аккуратной квартирке на верхнем этаже викторианского дома в Барнсе. Общая лестница пропахла жареным – спасибо кафешке на первом этаже, где торговали рыбой с картошкой навynos, – но на площадке перед дверью Элоди запаха уже почти не чувствовалось. Сама квартирка состояла из гостиной с кухонным уголком и неправильной в плане спальни с выгороженной ванной; зато вид из окон был таким, что сердце Элоди буквально пело.

Боковое окно спальни выходило на задние фасады ряда викторианских домов: старые кирпичи, окна с белыми переплетами опускаемых рам, усеченные крыши с колпаками дымовых труб цвета терракоты. В просветах между водосточными трубами блестела Темза. Но лучше всего было сесть прямо на подоконник, откуда был виден большой участок реки вплоть до самой излуины, где перспективу замыкал железнодорожный мост.

Окно дальней стены выходило на улицу, и в нем, как в зеркале, был виден точно такой же дом. Когда Элоди вошла к себе в тот вечер, пара, которая жила в квартире напротив, еще не вставала из-за стола. Случайно она узнала, что они – шведы, и это открытие все объяснило – их высокий рост и красоту, а также странную «нордическую» привычку ужинать после десяти вечера. Над кухонным столом у них висела лампа с абажуром,

похожим на креповый: любая поверхность под ним розовато искрилась. Даже их кожа и та сияла.

Задвинув в спальне шторы, Элоди включила свет и достала из коробки фату. Она почти ничего не знала о моде, не то что ее подруга Пиппа, но чувствовала, что эта вещь – особенная. Винтажная – несомненно, ведь столько воды утекло, – она могла стать предметом вожделения для многих коллекционеров, поскольку принадлежала самой Лорен Адлер, но для Элоди она имела совершенно особую ценность – как вещь ее матери, от которой осталось на удивление мало. Мало личного, такого, что имело бы значение лишь для нее самой и ее близких.

После минутного раздумья она подняла фату двумя руками, приложила к макушке, вставила гребень в волосы, и ткань сама развернулась по ее плечам. Она опустила руки.

Элоди была польщена, когда Алистер попросил ее выйти за него замуж. Предложение он сделал в первую годовщину их знакомства (их представил мальчик, с которым Элоди когда-то училась в школе, теперь он работал в фирме Алистера). В тот вечер они были в театре, а потом Алистер повел ее в ультрамодный ресторан где-то в Сохо и в гардеробе, пока швейцар принимал у них пальто, шепнул Элоди на ухо, что у простых смертных на то, чтобы заказать столик в этом месте, уходят недели. Там, между основным блюдом и десертом, он достал на свет божий коробочку с кольцом, голубую, словно яйцо малиновки. Все было прямо как в кино, и Элоди даже показалось, будто она видит его и себя со стороны: он – красивый, белозубый, на лице написано ожидание; она – в новом платье, которое сшила ей Пиппа месяцем раньше, когда Элоди пришлось произносить торжественную речь на презентации по случаю полуторавекового юбилея «Стрэттон групп».

Пожилая женщина за соседним столиком сказала своему спутнику:

– Посмотри, какая прелесть! Она так зарделась, потому что влюблена.

Элоди тогда подумала: «Я зарделась потому, что я влюблена», а когда Алистер вопросительно приподнял брови, улыбнулась и ответила ему «да».

Снаружи, на темной реке, завывала корабельная противотуманная сирена, и Элоди стянула с головы вуаль.

Наверное, так бывает у всех, решила она. Так все люди заключают помолвки. А теперь у них будет свадьба – через шесть недель, как написано в приглашении, в глостерширском поместье, когда оно, по словам матери Алистера, предстанет «во всей своей августовской красе», – и Элоди станет семейной женщиной, будет приезжать на уик-энд к свекрови, чтобы поговорить о домах, кредитах и школах. Ведь у них с Алистером, наверное,

появятся дети, и она станет для них матерью. Вот только не такой, какой была ее мать – талантливой и блистательной, притягательной и ускользающей одновременно; но дети все равно будут приходить к ней за советом и утешением, и она всегда будет знать, что им сказать и что сделать, ведь все люди узнают это, становясь родителями, или это только так кажется?

Элоди опустила коробку на коричневое бархатное кресло в уголке комнаты.

Потом подумала и убрала ее под кресло.

Чемоданчик, взятый у отца, так и стоял у входной двери, где она его оставила.

Элоди думала, что начнет смотреть записи в тот же день, но вдруг почувствовала усталость – настоящую, физическую усталость.

Она приняла душ, погасила свет и виновато скользнула под одеяло. Завтра она займется пленками: придется, ведь она обещала. Пенелопа, мать Алистера, звонила ей сегодня уже трижды. Элоди не отвечала, и звонки уходили на голосовую почту, но ведь Алистер в любой день мог объявить, что в воскресенье «мама» ждет их к ланчу, и Элоди оглянуться не успеет, как окажется на пассажирском месте его «ровера», который повезет ее по длинной тенистой аллее к величественному особняку в Суррее, на встречу с инквизицией.

Выбор записи был одной из тех трех задач по подготовке к свадьбе, возложенных на Элоди. Вторая предполагала посещение приема у какой-то подруги Пенелопы: «Тебе ничего делать не нужно, только дай людям на тебя посмотреть; остальное предоставь мне». И наконец, третья – договориться с Пиппой о платье. Все три до сих пор тяжким грузом лежали на совести Элоди.

Завтра, пообещала она себе, гоня прочь мысли о свадьбе. Все завтра.

Она закрыла глаза, и ее мысли, убаюканные привычным ропотом с первого этажа, где поздние клиенты покупали жареную треску с картошкой, тут же, без всякого перехода, вернулись к содержимому другой коробки, той, что осталась под столом на работе. К фото в рамке, с которого на нее смотрела прямым, независимым взглядом неизвестная молодая женщина. И к рисунку.

И вновь она испытала смутную тревогу, точно какое-то воспоминание ворочалось в глубине памяти, откуда его нельзя было ни прогнать, ни вытащить на поверхность. Рисунок дома встал перед ее мысленным взором, и она услышала голос – материн и все же будто чужой: «Долго шли они извиистой тропой через широкий луг, и пришли к реке, и принесли с

собой тайну и меч».

А когда она наконец стала засыпать и сознание уже ускользало от нее, карандашный рисунок перед ее глазами растворился в зелени пронизанных солнцем древесных крон и серебристом блеске реки, и теплый ветерок коснулся ее щек, точно она физически перенеслась в то неведомое место, которое неизвестно почему считала своим домом.

II

Жизнь здесь, в Берчвуде, течет тихо. Много летних дней прошло с того, нашего лета, и я обзавелась новыми привычками, приспособилась к плавному ритму перехода от одного дня к следующему. Впрочем, выбора у меня все равно нет. Посетителей здесь почти не бывает, да и те, кто приходит, надолго не задерживаются. Я не самая гостеприимная хозяйка. И это не самый легкий для жизни дом.

Люди в большинстве своем побаиваются старых домов не меньше, чем старых людей. Бечевник вдоль Темзы давно превратился в излюбленное место для пеших прогулок, так что иной раз вечером или, наоборот, поутру кто-нибудь из туристов сворачивает с тропы, подходит к ограде и заглядывает через нее в сад. Я их вижу, но сама им не показываюсь.

Я редко покидаю дом. Раньше я бегала по лугу так, что сердце колотилось в груди, щеки горели, а руки и ноги двигались уверенно и быстро, но теперь такие подвиги мне не по силам.

Эти люди на тропе наверняка что-то слышали обо мне: заглядывая через ограду, они показывают пальцами и кивают головами так, как делают сплетники во всем мире.

– Тут все и случилось, – говорят они. – Тут он жил. – И еще: – Как, по-вашему, это она сделала?

Но если калитка заперта, внутрь они не заходят. Все знают, что это не простой дом, а с привидением.

Сознаюсь, я редко слушала разговоры Клары и Адель о призраках и духах. Я была занята тогда, мысли были совсем о другом. Ах, сколько же раз с тех пор я жалела о своей невнимательности. Это знание очень пригодилось бы мне позже, особенно когда ко мне стали приходить «гости».

Вот и теперь здесь есть один, новенький. Сначала я его почувствовала, как всегда. Возникает некая осведомленность, ощущение едва заметной, но все-таки определенной перемены в потоках затхлого воздуха, которые по вечерам лижут потертые ступени, льнут к их выступам. Сначала я отстранялась, надеясь, что на этот раз перемена не коснется меня и что я дождусь возвращения покоя.

Но покой не возвращался. И тишина – тоже. Гость – а это именно *он*, я его уже видела – не шумный, по крайней мере, не такой, как некоторые,

однако я научилась слушать, знаю, на что обращать внимание, и когда его движения приобрели ритмичную размеренность, я поняла, что он планирует здесь остаться.

Давненько у меня не было гостей. Раньше они тревожили меня своими перешептываниями, стуками, внушали мне страх – а вдруг из-за них мои вещи и привычные мне места перестанут быть моими? Я занималась своими делами, а сама присматривалась к ним, то к одному, то к другому, в точности так, как это сделал бы Эдвард, и со временем поняла, как на них можно влиять. Они ведь простые создания, по сути, и я изрядно поднаторела в искусстве спроваживания незваных гостей.

Но спроваживала я не всех, вот в чем дело; иные вызывали во мне теплое чувство. Я называю их «Особыми Гостями». Тот грустный бедняга-солдат, который кричал по ночам. Вдова, чьи злые рыдания запали между половиц. Ну и конечно, дети: одинокая школьница, которой хотелось домой, серьезный малыш, который мечтал облегчить боль матери. Мне нравятся дети. Они такие восприимчивые. Ведь они еще не научились смотреть и не видеть.

Как быть с новичком, я пока не решила: не знаю, сможем ли мы мирно жить с ним под одной крышей, и если да, то как долго. Он-то меня еще не видел. Занят чем-то своим. Каждый день одно и то же: вешает на плечо мешок из коричневой холстины и топает куда-то через двор пивоварни.

Поначалу они все такие. Ничего не замечают, ходят целыми днями по одному и тому же кругу, поглощенные тем, что, по их мнению, они должны тут совершить. Но я терпеливо жду. Да и чем мне еще заниматься, кроме как ждать да наблюдать?

Вот и теперь я слежу через окно за тем, как он подходит к маленькому кладбищу на краю деревни. Останавливается – похоже, читает надписи на надгробиях, как будто кого-то ищет.

Интересно кого. Там ведь много кто похоронен.

Я всегда была любопытной. Мой отец говорил, что я и родилась из чистого любопытства. Миссис Мак считала, что рано или поздно мое любопытство выйдет мне боком.

Ну вот. Он скрылся за подъемом дороги, и я уже не увижу, куда он пойдет – налево или направо, – не узнаю, что у него в этой сумке и чем он вообще здесь занят.

Кажется, во мне проснулся интерес. Я ведь говорила, здесь давно никого не было, а новые визитеры – это всегда так волнительно. Они отвлекают меня, заставляют думать о чем-то, кроме привычного, уже исклеванного моими мыслями до костей.

Ох уж эти кости...

Интересно: когда они спешно собрали свои пожитки, погрузились в экипажи и понеслись по тракту, нахлестывая лошадей так, словно за ними гнались демоны из ада, оглянулся ли Эдвард на дом, заметил ли в сумеречном окне наверху то, что могло бы избавить его от кошмара?

И потом, в Лондоне, когда он снова сел за мольберт, казалось ли ему хоть иногда, что я стою перед ним, и приходилось ли ему смаргивать, чтобы прогнать мой образ? Снилось ли я ему хоть раз в те долгие ночи, когда все мои мысли были только о нем?

Вспоминал ли он, как я вспоминаю постоянно, отблеск свечи на стене цвета тутовой ягоды?

Но есть и другие кости. Те, о которых я раз и навсегда запретила себе вспоминать. Да и что толку, все равно уже никого не осталось.

Люди ушли. Все до единого. Остались одни вопросы. Узлы, которые никогда уже не развязать, сколько ни крути. И все они – мои, ведь никто о них больше не помнит. Только я ничего не могу забыть, как ни стараюсь.

Глава 3

Лето 2017 года

Чувство странной неопределенности осталось с Элоди и на следующий день, когда она по дороге на работу записывала в блокнот все, что могла вспомнить из материнной сказки. За окном расплывался Лондон, какие-то школьники чуть дальше по проходу хихикали, уставившись в экран телефона, а она, положив на колени блокнот, с головой ушла в свои записи и забыла об окружающем мире. Сначала ее рука едва поспевала за ходом мыслей, но чем ближе к вокзалу Ватерлоо подтягивался поезд, тем больше ослабевал энтузиазм и ручка все медленнее скользила по бумаге. Пробежав глазами написанное – а у нее получилась сказка о доме с флюгером в виде луны и звезд, стоящем на берегу излучистой, прихотливо текущей реки, о темном лесе вокруг и о том страшном, что случилось в этом лесу ночью, – Элоди немного смутилась. Детство какое-то, а ведь она взрослая женщина как-никак.

Поезд подошел к платформе и замер, Элоди взяла сумку, которая всю дорогу стояла у нее в ногах. Она заглянула внутрь – убедиться, что альбом на месте – он был там, аккуратно завернутый в чистое хлопковое полотенце для чая, – и неуверенность снова затопила ее, едва она вспомнила свое вчерашнее безрассудство, невесть откуда взявшуюся потребность завладеть этим альбомом и растущую убежденность в том, что в нем кроется какая-то тайна. У нее даже возникло подозрение – слава богу, хватило ума не поделиться им с отцом! – что именно ее этот альбом ждал долгие годы.

Телефон зазвонил, когда Элоди шла мимо Сент-Мэри-ле-Стрэнд, и на экране высветилось имя Пенелопы. Бабочки тут же запорхали в желудке Элоди, и она подумала, что отец, похоже, был прав. В последние дни ей не по себе именно из-за скорой свадьбы, а вовсе не из-за нарисованного дома. Отвечать она не стала и сунула телефон в карман. С будущей свекровью она свяжется позже, после встречи с Пиппой, когда будет что доложить этой внушительной даме.

В тысячу первый раз Элоди пожалела о том, что ее матери нет в живых и некому уравновесить баланс сил между ними. Из достоверных источников, а не только со слов отца, она знала, что Лорен Адлер была женщиной экстраординарной. Лет в семнадцать у Элоди случилось

запойное расследование личности матери, которое началось со стандартных поисков в интернете, а позже привело ее к необходимости оформить читательский билет в библиотеку Британского музея, где она собрала все статьи и интервью, имевшие хотя бы косвенное отношение к Лорен Адлер и ее краткой, но блистательной карьере. Все это Элоди читала и перечитывала ночами у себя в спальне, и постепенно в ее сознании сложился образ яркой молодой женщины, наделенной поразительным талантом, виолончелистки-виртуоза, непревзойденно владевшей инструментом. Но особенно Элоди ценила интервью, потому что именно в них, в небольших интервалах между вопросами журналиста, девушке слышался голос матери. Это были ее мысли, ее слова, характерные для нее обороты речи.

Как-то на отдыхе в Греции, в номере отеля, Элоди прочла книжку, которую нашла под кроватью: это была история умирающей женщины, она писала своим детям письма о жизни и о том, как прожить ее так, чтобы мать продолжала направлять каждый их шаг даже после смерти. Но мать Элоди ничего не знала о своей судьбе и не успела снабдить дочь мудрыми советами на будущее. Хотя, если подумать, интервью были ничуть не хуже, и семнадцатилетняя Элоди читала и перечитывала их до тех пор, пока не выучила наизусть, и шепотом произносила целые строчки, глядя в глаза своему отражению в зеркале над туалетным столиком. Они заменили ей любимые поэтические строки, превратились в набор ее персональных заповедей. Ведь, в отличие от Элоди, которая боролась с прыщами и тяжелой формой подростковой застенчивости, Лорен Адлер в свои семнадцать лет была просто лучезарна: скромная, хотя и талантливая, она уже солировала на променад-концертах, чем навсегда утвердила себя в качестве главной музыкальной любимицы нации.

Даже Пенелопа, чья уверенность в себе была столь же исконной и неподдельной, как нитка жемчуга вокруг ее шеи, говорила о матери Элоди не иначе как с нервической дрожью в голосе. Она никогда не называла ее «твоя мать», только «Лорен Адлер»: «Скажи, а у Лорен Адлер был любимый концертный номер?» или «Где Лорен Адлер больше всего любила выступать?». На эти и прочие подобные вопросы Элоди всегда отвечала честно, выкладывая все, что знала. Интерес Пенелопы ей льстил, и она всячески старалась поддерживать его. Да и то сказать, имея дело с родовым поместьем Алистера, его облаченными в твид родителями, вековыми традициями их семьи и галереей портретов предков, Элоди не могла пренебречь ни одним преимуществом из тех, что дала ей судьба.

Еще в самом начале их отношений Алистер сказал ей, что его мать –

настоящая фанатка классической музыки. В юности она и сама играла, но, начав выезжать в свет, все забросила. Именно истории из жизни Алистера заставили Элоди полюбить его: он рассказывал о том, как мать еще мальчиком брала его с собой на концерты, о возбуждении, которое царило в Барбикане перед очередной премьерой Лондонского симфонического, о том, как выходил на сцену дирижер в Королевском Альберт-холле. Это были их с матерью особые моменты, только для них двоих. («Боюсь, что для моего отца все это было несколько чересчур. Его любимый культурный досуг – регби».) С тех самых пор и по сей день мать с сыном ежемесячно назначали друг другу «свидания» – вечера, когда они вместе ходили на концерт, а затем ужинали.

Пиппа, услышав об этом, выразительно подняла брови, особенно когда узнала, что Элоди ни разу не была приглашена на эти музыкальные посиделки, но та лишь отмахнулась. Она где-то читала, что лучшие мужья получаются как раз из тех мужчин, которые хорошо относятся к матерям. Кроме того, ей было даже приятно, что хоть кто-то из ее окружения заранее не предполагает в ней страстной любви к классике. Всю жизнь ее преследовал один и тот же диалог: малознакомые люди спрашивали, на каком инструменте она играет, и в смущении отводили глаза, узнав, что ни на каком. «Что, совсем?»

А вот Алистер понял.

– Я тебя не виню, – сказал он ей тогда, – какой смысл тягаться с совершенством?

И хотя Пиппа, услышав это, опять закусила удила («Тебе и не надо ни с кем тягаться, ты – совершенство сама по себе»), Элоди знала, что он имел в виду другое и критика тут ни при чем.

Идея включить в свадебную церемонию видеофрагмент выступления Лорен Адлер принадлежала Пенелопе. А когда Элоди сказала, что отец хранит полный набор всех ее концертных выступлений и, если Пенелопа хочет, ими можно воспользоваться, в устремленном на нее взгляде пожилой женщины она прочла не что иное, как истинную нежность. Пенелопа протянула руку, коснулась ладони Элоди – впервые за все время их знакомства – и сказала:

– Однажды я видела ее на сцене. Просто поразительно, как она вся уходила в музыку. У нее была превосходная техника плюс еще что-то такое, отчего ее исполнение становилось недостижимым. Когда я ее услышала, меня охватил ужас, настоящий священный трепет. И я потеряла надежду.

Элоди тогда страшно удивилась. В семействе Алистера не принято было во время разговора брать собеседника за руку, да и о таких вещах, как

потеря или утрата, в том числе надежды, эти люди предпочитали не упоминать лишней раз. Но, конечно, это был всего лишь минутный порыв, который прошел так же внезапно, как пришел, и Пенелопа вернулась к общему разговору о том, как рано наступила весна в этом году и чего теперь ждать от Цветочного шоу в Челси. Элоди, не столь виртуозно владевшая искусством стремительной перемены тем, еще долго чувствовала прикосновение руки другой женщины к своей руке, а воспоминание о смерти матери тенью висело над ней до самого конца выходных.

Лорен Адлер ехала в машине, которую вел заезжий скрипач-американец, – они вместе возвращались с концерта в Бате. Оркестр вернулся на день раньше, сразу после выступления, но мать Элоди осталась, чтобы принять участие в мастер-классе для местных музыкантов. «Она была очень щедрой, – повторял потом отец Элоди, так часто, что эти слова стали чем-то вроде строчки из затверженной им литании по усопшей. – Многих это удивляло, ведь она была недостижима в своем искусстве, но она искренне любила музыку и всегда старалась уделять время тем, кто разделял ее страсть. Ей было не важно, кто они – профессионалы или любители».

Отчет coronера, который Элоди раскопала в местном архиве в то поисковое лето, гласил, что авария стала результатом двух обстоятельств: рыхлого гравия на проселочной дороге и ошибки водителя. Элоди долго ломала голову над тем, почему они съехали с шоссе на проселок, но никаких соображений о принципах построения маршрута в отчете не содержалось. Итак, водитель не сбавил скорость, входя в крутой поворот, колеса потеряли сцепление с дорогой, и автомобиль вылетел на обочину; удар, который швырнул Лорен Адлер через ветровое стекло, был такой силы, что вызвал множественные переломы. Даже если бы она выжила, то играть на виолончели больше не смогла бы, – это Элоди поняла из разговора двух ее друзей-музыкантов, который подслушала из своего укрытия за диваном. Тема смерти как меньшего из двух зол звучала в нем отчетливым лейтмотивом.

Но Элоди считала иначе, и так же считал ее отец, который с размеренностью автомата прошел через похороны и все, что последовало за той страшной вестью, и лишь позже, когда анестезия первого шока стала проходить, погрузился в серую пучину отчаяния, уже не так пугавшего Элоди, как его первоначальное спокойствие. Он, конечно, считал, что надежно скрывает свое горе, когда остается один за дверью спальни, но, увы, старые кирпичные стены были не настолько толсты. И вот как-то

вечером на пороге их квартиры появилась соседка, миссис Смит, и с невеселой, все понимающей улыбкой стала кормить их ужином – яйцами всмятку и тостами. С тех пор она приходила регулярно и развлекала Элоди жуткими, захватывающими рассказами о жизни в военном Лондоне: она была еще совсем девочкой, когда авианалеты и жестокие бомбежки стали происходить каждую ночь, и тогда же пришла телеграмма с траурной каймой – отец пропал без вести.

Вот так случилось, что смерть матери в сознании Элоди навсегда сплелась с грохотом взрывов и едкой серной вонью, а в подсознании – с мучительной тоской ребенка, ждущего сказки на ночь.

– Утро доброе. – Марго как раз кипятила чайник, когда Элоди вошла в кабинет. Она достала ее любимую кружку, поставила рядом со своей на стол и бросила внутрь заварочный пакет. – Мудрый да услышит: он сегодня разбушевался. Тот тип, специалист по тайм-менеджменту, выдал список рекомендаций.

– О господи.

– Вот именно.

Элоди взяла свою чашку и пошла с ней к себе за стол, на цыпочках миновав кабинет мистера Пендлтона, чтобы тот, чего доброго, не услышал ее и не посмотрел в ее сторону. Она сочувствовала своему пожилому своенравному боссу, как коллега – коллеге, но по опыту знала, что в плохом настроении он часто обрушивается на подчиненных, а ей сейчас и без того хватало задач и не было никакой охоты нарываться на новые в виде дополнительной вычитки алфавитных указателей.

Но беспокоилась она напрасно: бросив взгляд в открытую дверь кабинета мистера Пендлтона, она убедилась, что старик занят не на шутку – сидит, мрачно уставившись в экран монитора.

Элоди села за стол и первым делом высвободила альбом из полотенечного савана, а затем переложила его назад в коробку из заброшенной гардеробной. Приступ временного помешательства, который заставил ее вынести артефакт за пределы конторы, прошел. Лучшее, что она может теперь сделать, чтобы загладить вину, – это внести все содержимое коробки в каталог и найти ему подходящее место в архиве, раз и навсегда.

Она натянула перчатки и вынула из коробки дырокол, чернильницу, деревянную вставку в ящик стола и очечник. Даже беглый осмотр позволял безошибочно отнести эти незамысловатые конторские принадлежности к середине двадцатого века; инициалы на очечнике подсказывали, что не

будет ошибкой расшифровать их как «Лесли Стрэттон-Вуд», и Элоди с радостью принялась за простую и ясную задачу – подготовку перечня предметов. Затем взяла новую архивную коробку, уложила предметы в нее, а перечень аккуратно наклеила на боковую стенку.

Сумка оказалась интереснее. Элоди начала с того, что подробно проинспектировала ее снаружи, отметив потертые кожаные края и множество царапин на задней части, в основном справа; превосходное качество швов и пряжка стерлингового серебра с набором из пяти клейм позволяли предположить, что перед ней вещь британской работы. Элоди вставила лупу в глаз и пригляделась: точно, одно клеймо – лев; другое – леопард, знак Лондона; без короны – значит сделано после 1822 года; строчная «g», выполненная старинным английским шрифтом, обозначала время изготовления (небольшая консультация по справочнику «Датировка лондонских шрифтов» помогла определить год – 1862-й); акцизное клеймо с головой королевы Виктории; и наконец, клеймо изготовителя – инициалы «У. С.».

Элоди раскрыла справочник лондонских предпринимателей и, прижав кончик указательного пальца к странице, вела им сверху вниз до тех пор, пока не увидела: «Уильям Симмс». И улыбнулась, как старому знакомому. Значит, это сумка фирмы «Уильям Симмс и сын», производителей серебряных и кожаных изделий высочайшего класса, поставщиков королевского двора и, если Элоди ничего не путает, владельцев магазина на Бонд-стрит.

Что ж, история удовлетворительная, но не полная, ведь другие отметины на сумке – потертости, царапины, иные следы употребления – могут добавить к ней еще не одну главу. Прежде всего они указывают на то, что сумка, несмотря на всю исключительность своего происхождения, была предметом отнюдь не декоративным. Ею пользовались, и пользовались регулярно, владелец не однажды перебрасывал ее через плечо – правое, отметила Элоди, проводя пальцами в перчатках по неравномерно изношенному ремню, – так что она висела у него на левом бедре, о которое постоянно терлась. Элоди воспроизвела движение, которым люди обычно забрасывают сумку на плечо, и поняла, что сделала бы это в другом направлении, не так, как хозяин сумки. Который, скорее всего, был левшой.

Это исключало Джеймса Стрэттона как потенциального владельца, несмотря на то что в сумке лежала его папка; впрочем, это было ясно еще по золоченым инициалам на клапане самой сумки. «Э. Дж. Р.». Элоди задумчиво обвела кончиком указательного пальца в перчатке изогнутую «Э». Те же инициалы, что на альбоме. Это позволяет предположить, что

автор набросков и владелец инициалов – одно лицо, которому (или которой) принадлежала и сумка. Неужели художник? Джеймс Стрэттон был связан со многими известными людьми искусства своего времени, но эти инициалы не вызвали у нее никаких конкретных воспоминаний. Тут, конечно, можно было бы зайти в «Гугл», не будь у Элоди прямого выхода на мир искусства. Она достала телефон, подавила сердцебиение, участившееся при виде второго сообщения от Пенелопы, и только тогда набрала эсэмэску Пиппе: «Привет! Знаешь художника, скорее всего викторианца, с инициалами Э. Дж. Р.?»

Ответ прилетел незамедлительно: «Эдвард Рэдклифф. Сегодня все в силе? Можно в 11 вместо 12? Адрес пришлю».

Эдвард Рэдклифф. Имя смутно знакомое, хотя среди тех художников, с кем Джеймс Стрэттон поддерживал постоянную переписку, оно не значилось. Теперь Элоди набрала его в «Гугле» и кликнула на страничку «Википедии». Статейка оказалась коротенькой, и первую ее часть Элоди пробежала по диагонали, отметив только, что Рэдклифф родился в Лондоне в 1840 году и, значит, был почти ровесником Стрэттона, а детство провел в Уилтшире. Старший из трех детей, единственный сын – отец, судя по всему, увлекался искусством, мать тоже имела художественные амбиции, – мальчик несколько лет жил у деда и бабушки, лорда и леди Рэдклифф, пока его родители путешествовали по Дальнему Востоку, собирая японскую керамику.

Второй абзац был посвящен диким выходкам юного Рэдклиффа, его вулканическому темпераменту и рано проявившемуся таланту, первооткрывателем которого стал некий пожилой художник (его имя было незнакомо Элоди, но, видимо, он пользовался известностью в те годы); случайно увидев работу мальчика, он сразу взял юное дарование к себе под крыло. Последовали ранние многообещающие выставки, недолгий роман с Королевской академией, краткая, но яростная размолвка с Диккенсом после одного холодного отзыва и, наконец, полное и окончательное торжество над критиками – великий Джон Рёскин заказал ему картину. Судя по всему, Эдварду Рэдклиффу предстояла выдающаяся карьера, и Элоди уже начала задаваться вопросом, почему же она не знает ни одной его работы, когда ее взгляд уткнулся в последний абзац:

Эдвард Рэдклифф заключил помолвку с мисс Фрэнсис Браун, дочерью фабриканта из Шеффилда; но когда в возрасте 20 лет его невеста трагически погибла от руки грабителя, художник удалился от света. По

слухам, в момент ее гибели он работал над шедевром; однако ни самой картины, ни каких-либо предварительных набросков так и не нашли. Рэдклифф утонул у южного побережья Португалии в 1881 году, тело было перевезено в Англию для захоронения. И хотя вклад Рэдклиффа в развитие искусства в итоге оказался не таким существенным, каким он мог бы стать при иных обстоятельствах, в искусстве Англии второй половины XIX века он занимает видное место как основатель Пурпурного братства.

Пурпурное братство. Знакомое сочетание слов, причем именно в связи с работой. Элоди сделала мысленную заметку: проверить название по электронному каталогу, куда она вносила все, что касалось переписки Стрэттона. Затем перечитала последний абзац, в котором ее внимание особенно привлекли ранняя насильственная смерть Фрэнсис Браун, уход Эдварда Рэдклиффа от света и его одинокая кончина в Португалии. Ее мысль, как игла, сновала между этими тремя событиями, на живую нитку собирая их стежками причин и следствий, и они сложились вот в какой рисунок: разбитое сердце помешало талантливому молодому художнику выполнить свои блистательные ранние обещания и в корне подорвало его здоровье, приведя к полному моральному и физическому истощению.

Элоди взялась за альбом, который листала до тех пор, пока не нашла вложенную между страницами записку: «Я люблю ее, я люблю ее, я люблю ее, и если не смогу быть с ней, то наверняка сойду с ума, потому что, когда я не с ней, мне страшно...»

Неужели любовь бывает такой сильной, что ее утрата может лишить человека разума? Неужели это возможно? Тут она подумала об Алистере и покраснела – потерять его и впрямь было бы для нее очень тяжело. Но лишиться из-за этого разума? Нет, ну вот если честно: может ли она представить себя сползающей в бездну непоправимого отчаяния?

А что, если бы вдруг не стало ее? Элоди увидела своего жениха: безупречный костюм, пошитый на заказ у того же портного, который шил и для его отца; гладкое, красивое лицо, притягивающее восхищенные взгляды везде, где бы они ни появлялись; голос, согретый нотками наследственной привычки к власти. Нет, он так уверен в себе, так чисто выбрит и сдержан, что Элоди не могла представить себе его безумным ни при каких обстоятельствах. Больше того, ее отрезвила мысль о том, как безболезненно и быстро затянется брешь, пробитая ее исчезновением в его жизни. Так

поверхность пруда, потревоженная брошенным камнем, через минуту становится по-прежнему гладкой.

Ничего похожего на бурные проводы матери, когда горе выражали публично, не скрывая эмоций, а страницы газет пестрели черно-белыми фото Лорен Адлер и заголовками, в которых повторялись слова: «трагедия», «блистательная» и «погасшая звезда».

Может, и Фрэнсис Браун была такой же незаурядной личностью?

И тут Элоди посетила одна мысль. Папка для документов, принадлежавшая когда-то Джеймсу Стрэттону, все еще лежала внутри сумки, а в ней была фотография.

Кто это? Фрэнсис Браун? Возраст подходящий, вряд ли это лицо могло принадлежать женщине намного старше двадцати лет.

Элоди снова загляделась на снимок, околдованная взглядом молодой женщины, его прямоотой. Видимо, она прекрасно владела собой, эта незнакомка. И очень хорошо знала цену себе и своим мыслям. Именно о такой женщине пылкий молодой художник мог написать: «...если не смогу быть с ней, то наверняка сойду с ума...»

Она набрала в «Гугле» «Фрэнсис Браун» и увидела множество вариантов одного и того же портрета: молодая женщина в зеленом платье, тоже красивая, но в рамках разумного, не такая, как та, на фотографии.

Элоди ощутила приступ глухого разочарования. Знакомое чувство. Удел всех архивариусов, этих искателей сокровищ, которые погружаются в жизнь того, кто стал предметом их исследования, до самого дна, а затем методично сортируют поднятые оттуда фрагменты повседневности, восстанавливая порядок событий и вечно надеясь – вдруг среди них блеснет редкая драгоценная находка?

Конечно, это был выстрел наугад: в конце концов, мало ли почему альбом и записка оказались в одной сумке с фотографией и папкой? Их могли положить туда позже, и между ними необязательно есть связь. Сумка и альбом принадлежали Эдварду Рэдклиффу, папкой владел Джеймс Стрэттон. До сих пор никаких указаний на то, что эти двое знали друг друга, не возникало.

Элоди снова взялась за фотографию. Рамка была очень хорошего качества: стерлинговое серебро, покрытое сложным узором. Папка для документов Джеймса Стрэттона датировалась 1861 годом, поэтому казалось логичным, что снимок в ней также принадлежал ему и был приобретен после означенного года. А также – что эта женщина играла в его жизни достаточно важную роль и ее снимок представлял для него определенную ценность. Но кто же она? Тайная возлюбленная? Вряд ли:

ничто в его письмах или дневниковых записях даже не намекало на присутствие в его жизни кого-нибудь в этом роде.

Она еще раз взгляделась в прекрасное лицо, точно ища в нем подсказку. Чем дольше она смотрела, тем сильнее становилось его притяжение. Снимок был сделан сто, а то и сто пятьдесят лет назад, но время не отметило внешность модели своей печатью: напротив, лицо было на удивление современным и вполне могло принадлежать одной из тысяч девушек, которые гуляли сейчас по улицам летнего Лондона, смеялись в компании друзей, наслаждались ласковым солнцем. И смотрела она уверенно, с юмором, устремленный на фотографа взгляд был таким откровенным, что Элоди испытала почти физическую неловкость. Будто подглядела за чем-то очень личным.

– Кто же ты? – чуть слышно спросила она. – И кем ты была для него?

Но и это было не все: в снимке присутствовало некое качество, с трудом передаваемое словами. Женщина на нем *сияла*: конечно, свет исходил прежде всего от лица с правильными чертами и необычным выражением, но это можно было сказать и об остальных деталях ее образа. Длинные, не уложенные в сложную прическу волосы, романтическое платье, свободное и простое, но в то же время соблазнительное из-за подчеркивавшего талию пояса, из-за рукава, поднятого до локтя, так что видна была освещенная солнцем рука. Глядя на нее, Элоди почти физически ощутила теплый летний ветерок с реки: как он касается лица женщины, перебирает пряди ее волос и складки белого хлопкового платья. И в то же время она понимала, что все это – игра воображения, ведь никакой реки на снимке не было. Просто ее разум так отзывался на атмосферу свободы, присущую этому снимку. И это платье, как бы Элоди хотелось такое же на свадьбу...

Господи, свадьба!

Элоди взглянула на часы и увидела, что уже четверть одиннадцатого. Она даже не ответила на последнее сообщение Пиппы, а ведь ей пора уже выдвигаться, если она хочет успеть на Кингз-кросс к одиннадцати. Элоди спешно засунула в сумку телефон, блокнот, дневник и солнечные очки, оглядела напоследок стол – проверить, не забыто ли что-нибудь важное, – и вдруг, словно ей шепнули что-то на ухо, протянула руку к фото женщины в чудесном платье. Воровато оглянувшись на Марго, которая сосредоточенно склонилась над каталожным ящиком, она завернула снимок в чайное полотенце и сунула в сумку.

Выходя за дверь и поднимаясь по лестнице к свету теплого летнего дня, Элоди набирала эсэмэску.

«Нормально, – печатала она. – Выхожу, шли адрес, скоро буду».

Глава 4

В тот день Пиппа работала для издательства на Нью-Харф-роуд: монтировала инсталляцию в фойе. Когда Элоди вошла туда в четверть двенадцатого, то сразу увидела подругу: та балансировала на высоченной стремянке посреди очень современного белого пространства. Под потолком уже покачивались подвешенные на лесках длинные платья и другие предметы старинного гардероба – юбки, панталоны, корсеты, – и общий эффект был завораживающим: целая бальная зала бледных призраков, трепещущих на ветру. Элоди невольно вспомнились строчки одного из ее любимых стихотворений Уайльда:

Услышав пляски, шум в ночи,
Стоим на улице. Молчи
У дома проститутки...

Послушны рогу и смычку,
По залу призраки бегут,
Как листьев мертвых рой...

При виде Элоди Пиппа вскрикнула, не разжимая зубов, в которых была зажата деревянная линейка. Элоди махнула ей рукой и невольно затаила дыхание, когда подруга опасно потянулась вперед, чтобы прикрепить к леске завязку нижней юбки.

Мучительный миг ожидания прошел, и Пиппа спустилась на пол, целая и невредимая.

– Я ненадолго, – бросила она мужчине за стойкой, вскидывая на плечо рюкзак. – Кофе попою и вернусь.

Толкнув большую стеклянную дверь, они вышли на улицу, и Элоди приноровилась к шагу подруги. Пиппа была одета в темные галифе военного кроя и какие-то раздутые кроссовки – такими щеголяли подростки, которые вечерами по пятницам обычно толклись возле кафе на первом этаже дома Элоди. Взятые по отдельности, эти вещи не представляли собой ровно ничего особенного, но на Пиппе они производили поистине сокрушительный эффект, так что Элоди в своих джинсах с балетками чувствовала себя рядом с ней как глиста в обмотках.

Девушки прошли сквозь высокую запертую калитку (Пиппа почему-то

знала код от замка), которая вывела их на набережную канала. Пиппа достала сигарету и закурила.

– Спасибо, что пришла пораньше, – сказала она между затяжками. – Придется работать без обеда, чтобы успеть все развесить. Автор приедет вечером, и сразу начнется презентация книги. Я тебе показывала? Шикарная вещица: представляешь, одна американка вдруг узнает, что ее английская тетка, которая доживала свой век в доме престарелых, была когда-то любовницей английского короля и у нее сохранился с тех пор потрясающий гардероб, все платья лежат на складе в Нью-Джерси, пересыпанные нафталином от моли. Классно, да? Вот бы моя тетка оставила мне что-нибудь в наследство, ну, кроме носа, которым хоть гребни.

Они пересекли улицу и вышли на мост; за ним, возле станции метро, сверкнула стеклянная витрина ресторана. Внутри приветливая официантка сразу проводила их вглубь зала и усадила за круглый столик в углу.

– Маккьято? – спросила она, на что Пиппа ответила:

– Точно. И?..

– Флэт уайт, пожалуйста, – сказала Элоди.

Пиппа, не тратя времени даром, вытащила из сумки толстенький альбомчик с образцами и раскрыла его наугад. Посыпались бумажки и кусочки ткани.

– Вот что я думаю... – начала она и, развернув перед Элоди пестрый веер вырезок из модных журналов, кусочков ткани и собственных карандашных набросков, стала с увлечением перебирать их, расписывая фасоны рукавов и юбок, приводя доводы за и против пеплумов, хваля натуральные ткани, и все это почти без пауз на то, чтобы перевести дух. Наконец она спросила: – Ну, что скажешь?

– Мне нравится. Они все классные.

Пиппа засмеялась:

– Ясно, я тебя с толку сбила, а все потому, что у меня слишком много идей. Ну а ты-то сама чего хочешь?

– У меня есть фата.

– О-ля-ля.

– Папа откопал ее для меня. – Элоди показала фото на телефоне, снятое сегодня утром.

– Мамина? Отличная вещица, просто класс. Дизайнерская, наверное.

– Я тоже так думаю. Только не знаю, чья именно.

– Не важно, все равно красиво. Осталось подобрать под нее достойное платье.

– Я нашла фотографию платья, которое мне нравится.

– А ну-ка, давай поглядим.

Элоди вынула из сумки чайное полотенце и развернула его, из свертка показалась серебряная рамка.

Пиппа удивленно приподняла бровь:

– Признаться, я ожидала странички из «Вог» или чего-нибудь в таком роде.

Элоди протянула ей рамку и с чувством все того же необъяснимого трепета стала ждать реакции.

– Вау, какая красotka.

– Я нашла ее на работе. Последние лет пятьдесят она провела в сумке, на дне закрытой коробки под стопкой каких-то штор в закутке под лестницей.

– Неудивительно, что теперь у нее такой довольный вид: рада, поди, что на волю выпустили. – Пиппа поднесла фотографию поближе. – Платье просто божественное. Вообще снимок божественный. Скорее произведение искусства, чем просто портретная фотография, что-нибудь в этом роде могла снять Джулия Маргарет Камерон. – Она подняла глаза на подругу. – Это как-то связано с твоей утренней эсэмэской? Про Эдварда Рэдклиффа?

– Сама пока не пойму.

– Я бы не удивилась. Фото такое чувственное. Это выражение лица, свободное платье, пластичная поза... Навскидку середина восьмисот шестидесятых.

– Напоминает прерафаэлитов.

– Связь, несомненно, есть; конечно, художники одного периода влияют друг на друга. Их волнуют одни и те же вещи, природа и правда, например, цвет, композиция и смысл красоты. Но если прерафаэлиты стремились к реалистическому, детализированному письму, то художники и фотографы Пурпурного братства обожествляли движение и чувственность.

– Да, свет на снимке будто движется, правда?

– Фотограф был бы польщен, если бы тебя услышал. Свет – вот что их больше всего интересовало. Даже имя себе они взяли из сочинения Гёте о цветовом круге – о взаимодействии света и тьмы, о том, что в цветовом спектре между красным и фиолетовым скрыт еще один цвет, который замыкает радугу в кольцо. Причем, учти, дело было как раз тогда, когда и искусство, и наука расширялись во всех направлениях, непрестанно исследуя мир. Фотографы получили доступ к технологиям, которых не было раньше, могли экспериментировать со светом и временем выдержки и достигать новых эффектов. – Она помолчала, пока официантка ставила на стол кофе. – Эдвард Рэдклифф пользовался большим уважением в том

кругу, но такой известности, какую позже приобрели некоторые его коллеги по братству позже, он никогда не имел.

– Кто, например?

– Торстон Холмс, Феликс и Адель Бернارد – все они познакомились в Академии и сошлись на почве общего неприятия истеблишмента. Сложился тесный круг единомышленников, не свободный, впрочем, от лжи, похоти и двуличия, свойственных поздневикторианскому художественному миру, где люди готовы были рвать друг другу глотки за славу и внимание заказчиков. Рэдклифф был, пожалуй, самым талантливым из них, настоящим гением, но он умер молодым. – Пиппа снова загляделась на фотографию. – А почему ты думаешь, что он мог иметь к ней отношение?

Элоди объяснила ей про коробку из архива и сумку с инициалами Эдварда Рэдклиффа.

– В сумке была папка для документов с инициалами Джеймса Стрэттона; единственное, что в ней лежало, – вот эта фотография.

– Так, значит, Рэдклифф дружил с вашим главным героем?

– Никогда не встречала даже намека на что-либо подобное, – призналась Элоди. – Это-то и странно.

Она глотнула кофе, думая о том, продолжать или нет. В ней боролись два противоположных желания: с одной стороны, жажда поделиться с Пиппой всем, что она знала и подозревала в связи с этим, а заодно получить от подруги какие-нибудь ценные сведения по истории искусств; с другой – странное, похожее на ревность чувство, охватившее Элоди, когда она передавала Пиппе снимок, – стремление не делиться этой историей ни с кем, держать при себе и набросок, и фото. Однако она сочла этот импульс не только необъяснимым, но и недостойным, а потому усилием воли продолжила:

– Но в сумке был не только снимок. Там был альбом.

– Что за альбом?

– В кожаной обложке, примерно вот такой толщины, – она показала на пальцах, – много страниц, и на каждой рисунки, наброски: чернильные, карандашные. Иногда и записи. Думаю, он принадлежал Эдварду Рэдклиффу.

Пиппа, никогда ничему не удивлявшаяся, даже присвистнула. Но сразу опомнилась:

– Может, в нем есть то, что поможет датировать рисунки?

– Я еще не просмотрела его как следует, лишь мельком, но папка Стрэттона помечена восемьсот шестьдесят первым годом. Конечно, у меня

нет доказательств того, что эти двое были как-то связаны между собой, – напомнила она, – только их вещи почему-то оказались вместе и пролежали так сто пятьдесят лет.

– А какие наброски? Что на них?

– Фигуры людей, профили, пейзажи, дом какой-то. А что?

– Ходили слухи о некой незавершенной работе. После смерти невесты Рэдклифф еще писал, но уже без прежней одухотворенности и на другие темы, а потом поехал за границу и утонул. В общем, трагедия. Но миф о его «незавершенном шедевре» до сих пор живет в историко-художественных кругах, обрастает подробностями: многие и сейчас еще надеются, что картина найдется, гадают, что на ней могло быть, строят теории. Время от времени кто-нибудь из ученого сообщества всерьез проникается этой темой и даже посвящает ей статью, хотя никто до сих пор не доказал, что картина на самом деле существовала. Короче, это миф, но такой соблазнительный, что вряд ли ему суждено умереть.

– Думаешь, альбом может иметь к ней отношение?

– Трудно сказать, я же его не видела. Или у тебя в сумке есть еще одно чайное полотенце с сюрпризом?

Щеки Элоди вспыхнули.

– Что ты, альбом нельзя выносить из архива.

– А давай я загляну к тебе на следующей неделе, и ты дашь мне взглянуть на него, хотя бы одним глазком?

Элоди снова почувствовала неприятное напряжение в области желудка.

– Только сначала позвони: мистер Пендлтон в последнее время на взводе.

Но неустрашимая Пиппа только махнула рукой:

– Само собой. – И откинулась на спинку стула. – А я пока займусь твоим платьем. Я уже вижу его: роскошное, романтическое. Такое современное и в то же время викторианское.

– Я никогда особенно не следила за модой.

– Эй, ностальгия – это как раз последний писк.

Конечно, Пиппа сказала эти слова любя, но сегодня они почему-то раздражали. Элоди действительно была склонна к ностальгии, но терпеть не могла, когда ее в этом уличали. Прежде всего, само это слово жутко оболгали. Теперь им пользуются, когда хотят назвать что-то или кого-то сентиментальным, но ведь это совсем другое. Сантименты – они слащавые, слезливые, липучие, тогда как ностальгическое чувство – всегда острота переживания и боль. Ностальгия – это извечный протест человека против

бега времени, и надежда остановить мгновение, чтобы еще раз увидеть человека или место или поступить иначе, и мучительное осознание несбыточности своих желаний.

Но Пиппа хотела лишь поддразнить ее и теперь, собирая свои пожитки, даже не подозревала, о чем думает подруга. Правда, она, Элоди, что-то расчувствовалась сегодня. И вообще сама не своя с тех пор, как заглянула в сумку из той коробки. То и дело отвлекается, будто забыла что-то важное и теперь пытается вспомнить, что это и где оно. Прошлой ночью ей даже приснился сон: она была в том доме с рисунка, вдруг дом стал церковью, и она поняла, что опаздывает на свадьбу – свою собственную, – и побежала, но ноги не слушались ее, гнулись на каждом шагу, словно струны, а добежав, она поняла, что опоздала: свадьба давно кончилась, шел концерт, и ее мать – тридцатилетняя, как на фотографиях, – сидела на сцене и играла соло на виолончели.

– Как твоя свадьба, готовишься?

– Все хорошо. Нормально. – Ответ прозвучал суше, чем она планировала, и Пиппа это заметила. Но Элоди совсем не хотела увязать в трясине душевного разговора, имеющего целью вскрытие всех ее внутренних нарывов, и поэтому шутливо добавила: – За подробностями – к Пенелопе. Она говорит, все будет очень красиво.

– Главное, пусть не забудет тебе сказать, когда и куда явиться.

Они обменялись заговорщицкими улыбками, и Пиппа с обжигающей прямоотой спросила:

– А как поживает женишок?

Пиппа и Алистер не поладили сразу, и неудивительно: Пиппа была девушка самостоятельная, своих взглядов никому в угоду не меняла, резала правду-матку и на дух не выносила дураков. Не то чтобы Алистер был дураком – Элоди болезненно поморщилась от своей мысленной оговорки, – просто оказалось, что они с Пиппой очень разные.

Сожалея о своей недавней резкости, Элоди решила немного подыграть подруге и посплетничать.

– Ему, похоже, нравится, что его мама командует парадом.

Пиппа усмехнулась:

– А твой папа что?

– Ой, ну ты же его знаешь. Он доволен, если я довольна.

– А ты довольна?

Элоди со значением взглянула на подругу.

– Ладно, ладно. Вижу, что довольна.

– Он нашел мне записи.

– Значит, он не против?

– Кажется, нет. По крайней мере, ничего не говорил. Наверное, он, как и Пенелопа, считает, что это восполнит ее отсутствие.

– Ты тоже так считаешь?

Элоди не хотела начинать дискуссию.

– Ну, на свадьбе ведь все равно нужна музыка, – сказала она, оправдываясь. – Почему бы и не семейная?

Пиппа хотела что-то сказать, но Элоди ее опередила:

– А я тебе говорила, что мои родители женились по залету? Свадьба была в июле, а я родилась в ноябре.

– Так-так, ты, значит, зайцем на этот свет протырилась.

– И как всякий нормальный заяц, не люблю привлекать к себе внимание, на вечеринках всегда ищу укромный уголок.

Пиппа улыбнулась:

– Надеюсь, ты понимаешь, что от этой вечеринки тебе не отвертеться? Гости наверняка захотят увидеть тебя хотя бы одним глазком.

– Кстати, о гостях: пожалуйста, будь лапочкой, пришли свой ответ на приглашение, ладно?

– Что? Прямо по почте? В конверте, с маркой?

– Видимо, это очень важно. Так принято.

– Ах, ну если при-и-инято...

– Да, а мне из достоверных источников известно, что мои друзья и родственники идут против системы. Надо поговорить об этом с Типом.

– Тип! Как он?

– Завтра к нему поеду. Хочешь со мной?

Пиппа разочарованно сморщила нос:

– У меня завтра мероприятие в галерее. Кстати, о мероприятии... – Она подозвала жестом официантку и достала из бумажника банкноту в десять фунтов. В ожидании чека она кивнула на фотографию в серебряной рамке, которая лежала рядом с пустой чашкой Элоди. – Мне нужна копия, чтобы начать думать о твоём платье.

Элоди снова почувствовала что-то вроде приступа жадности.

– Я не могу дать ее тебе.

– Да я и не прошу. Щелкну сейчас на телефон, и ладно.

Пиппа подняла рамку и пристроила ее так, чтобы ее тень не падала на снимок. Элоди даже на руки себе села, так ей хотелось, чтобы подруга поскорее покончила с этой процедурой, а потом сразу взяла фото и замотала его в матерчатый саван.

– Знаешь что, – сказала Пиппа, рассматривая снимок на экране

телефона, – покажу-ка я его Кэролайн. Она ведь писала диссертацию о Джулии Маргарет Камерон и Адель Бернард. Почти уверена, что она скажет нам что-нибудь и о модели, и об авторе.

Кэролайн, преподавательница Пиппы из художественного колледжа, всю жизнь занималась кино и фотографией и славилась своим умением поймать прекрасное там, где никакой красоты не предполагалось. В созданных ею образах всегда присутствовала некая притягательная дикость: кривые деревья, обветшавшие дома, печальные пейзажи. Ей было уже под шестьдесят, но ее подвижности и энергии завидовали молодые; детей у Кэролайн не было, и Пиппа в каком-то смысле заменяла ей дочь. Элоди встречалась с ней пару раз на мероприятиях. У Кэролайн были удивительные волосы – густые, серебряные, остриженные прямо и просто на уровне лопаток; а еще ей были присущи такое самообладание и такая безыскусность, что рядом с ней Элоди неизменно начинала чувствовать себя пустышкой.

– Нет, – сказала она поспешно. – Не надо.

– Почему?

– Просто я... – Элоди не знала, как объяснить подруге, что ей больно расставаться с фото как со своей единоличной собственностью и не хочется казаться при этом мелочной, а то и, что греха таить, немного чокнутой. – Просто... не надо лишний раз беспокоить Кэролайн. Она ведь занятой человек...

– Ты что, шутишь? Да она с ума от счастья сойдет, когда увидит это.

Элоди изобразила улыбку и сказала себе, что консультация такого эксперта, как Кэролайн, сильно поможет делу. Личные чувства здесь ни при чем, ее работа – выяснить все, что можно, о фото и альбоме. А если в результате расследования между Рэдклиффом и Джеймсом Стрэттоном возникнет хотя бы тонкая связующая нить, для команды архивистов компании «Стрэттон, Кэдуэлл и К°» это будет настоящей победой. В конце концов, новая информация о знаменитостях викторианских времен всплывает не так уж часто.

Глава 5

Весь долгий обратный путь Элоди прошла пешком, и не просто пешком, а в обход по Лэмз-Кондуит-стрит – потому, что там было красиво, и еще потому, что сизо-серый, как голубь, фасад магазина «Персефона» и его витрина, нарядная, словно коробка шоколадных конфет, всегда поднимали ей настроение. Она зашла – по привычке, – и там, пока она сидела, листая страницы военных дневников Вер Ходжсон и впитывая звуки танцевальных мелодий тридцатых годов, ее застиг пронзительный телефонный звонок.

Это опять была Пенелопа, и Элоди тут же охватила паника.

Она выскочила из магазина, быстро пересекла Теобальдз-роуд и через Хай-Холборн вышла на Линкольнз-Инн-филдз. Проходя мимо здания Королевского суда, она еще прибавила шагу, пропустила красный автобус, метнулась на ту сторону улицы, а по Стрэнду едва не бежала.

Вместо того чтобы вернуться в офис, где мистер Пендлтон спал и видел, как поймать кого-нибудь из сотрудников на нарушении трудовой дисциплины, вроде личного звонка в рабочее время, она свернула в узкий, мощный булыжником переулочек, который спускался к реке зигзагами, словно бродячий пес, обнюхивающий по пути все интересное; на набережной Виктории, недалеко от пирса, Элоди нашла свободную скамью.

Она откопала в сумке записную книжку и стремительно перелистала ее в поисках страницы, где был записан телефон глостерширского особняка для свадебных приемов. Позвонив туда, Элоди договорилась о визите в следующий выходной. И тут же, по горячим следам, набрала Пенелопу, извинилась перед ней за то, что пропустила столько ее звонков, и принялась отчитываться в своих успехах: фата найдена, платье заказано, звонок в особняк сделан и, самое главное, видео для церемонии уже у нее.

Повесив трубку, Элоди ненадолго расслабилась. Пенелопа осталась довольна, особенно когда услышала про чемоданчик с видео, который, как отрапортовала Элоди, теперь находился в ее распоряжении. Она даже предложила не ограничиваться одним клипом в начале, а пустить еще и второй, в конце. Элоди пообещала составить список из трех наименований, чтобы потом отсмотреть их и принять совместное решение.

– Пусть будет пять, – сказала Пенелопа напоследок. – На всякий случай.

Вот планы на выходной и сверстаны.

От пирса отвалил паром до Гринвича с туристами на борту, и человек в звездно-полосатой бейсболке нацелил с его палубы длиннофокусный объектив на Иглу Клеопатры^[1]. Стайка уток немедленно заняла место парома у причала; птицы со знанием дела принялись нырять во взбаламученную воду.

Волны, расходившиеся за кормой парома, плескали в обнаженный отливом берег, наполняя воздух запахами ила и морской соли, и Элоди вспомнилось описание Великого зловония 1858 года, вычитанное ею в одном из дневников Джеймса Стрэттона. Сейчас люди даже не представляют, как смердел Лондон в те дни. На мостовых лежал лошадиный навоз, на тротуарах – собачьи экскременты, отбросы, гниющие очистки, трупы убитых животных. И все это, а также многое другое рано или поздно попадало в реку.

Летом 1858-го вонь от Темзы сделалась нестерпимой; Вестминстерский дворец закрыли, а все, кому было куда бежать, срочно покинули столицу. Событие вдохновило молодого Джеймса Стрэттона на организацию Комитета по очистке Лондона; в 1862-м он даже опубликовал в журнале «Строитель» статью о необходимости активнее браться за дело. В архивах сохранилась переписка Стрэттона с сэром Джозефом Базалгеттом, автором проекта новой лондонской канализации, строительство которой стало огромным достижением для викторианской Англии; система стоков очистила центр многолюдного города от экскрементов, снова сделав воздух пригодным для дыхания, а сливы в реку теперь располагались ниже по течению, благодаря чему лондонцы стали значительно реже болеть дизентерией и холерой.

Думая о Стрэттоне, Элоди вспомнила, что у нее, вообще-то, есть работа, где ей сейчас положено находиться, и обязанности, которые она должна исполнять. Она вскочила, обеспокоенная тем, что отсутствует слишком долго, а когда вернулась, то с радостью услышала, что мистера Пендлтона вызвали куда-то вскоре после ее ухода и он вряд ли вернется до конца рабочего дня.

Решив продемонстрировать максимум эффективности, Элоди провела весь день за каталогизацией вещей из потерянной архивной коробки. Чем скорее они обретут свои места и ярлычки, тем лучше.

Начала она с того, что ввела в базу данных фамилию «Рэдклифф» и очень удивилась, получив аж два результата. Дело в том, что, когда Элоди пришла сюда десять лет назад, ее первым заданием было перенести материалы с рукописных карточек в компьютер; она гордилась своей почти

фотографической памятью на лица и людей, имевших отношение к Джеймсу Стрэттону, и не припоминала, чтобы фамилия Рэдклифф встречалась ей в связи с ним.

Охваченная любопытством, она сходила в хранилище, нашла там указанные компьютером документы и вернулась с ними за стол. Первым оказалось письмо от 1861 года, написанное Джеймсом Стрэттоном торговцу произведениями искусства Джону Хэверстоку, с приглашением отобедать на следующей неделе. В заключительном абзаце Стрэттон выражал желание «узнать, что вам известно о художнике, чье имя я открыл для себя совсем недавно, – Эдварде Рэдклиффе. Я слышал, что он обладает большим талантом, но, получив возможность бегло ознакомиться с образцами его творчества, я пришел к выводу, что этот самый „талант“, по крайней мере отчасти, состоит в том, чтобы очаровывать позирующих ему прелестных девушек, заставляя их открывать его взгляду и кисти более, чем они осмелились бы сделать при иных обстоятельствах, – разумеется, во имя искусства».

Насколько помнила Элоди, у Джеймса Стрэттона не было ни одной картины Рэдклиффа (тут она сделала пометку: «проверить позже»); значит, несмотря на интерес к художнику, он так и не решился купить ни одного из его полотен.

Второе упоминание имени Рэдклиффа нашлось в более поздней дневниковой записи, сделанной Стрэттоном в 1867 году. Описание событий дня заканчивалось следующим сообщением:

«Вечером заходил художник, Рэдклифф. Явился неожиданно, час был очень поздний. Признаться, я задремал у камина с книгой в руках, когда меня разбудил стук дверного молотка; Мейбл уже легла, и мне пришлось позвонить, чтобы разбудить бедняжку и попросить ее принести угощение. Однако я зря не дал поспать бедной, уставшей девушке: Рэдклифф к еде даже не притронулся. Вместо того чтобы сесть за стол и воздать должное ужину, он забегал взад-вперед по ковру перед камином, и остановить его не было никакой возможности. Он был похож на загнанного зверя: глаза смотрели дико, длинные волосы были растрепаны, поскольку он то и дело зарывался в них своими тонкими, бледными пальцами. От него исходила болезненная энергия, как от одержимого. Вышагивая, он бормотал что-то малопонятное насчет проклятий и судьбы, – все это было очень печально видеть и слышать, а одна сказанная им фраза встревожила меня особенно. Я лучше других знаю, что именно он потерял, но видеть его горе непереносимо; глядя на него, понимаешь, что с человеком восприимчивым делает разбитое сердце. Признаться, слухи о его бедственном положении

уже доходили до меня, но я не поверил бы им, если бы не увидел все своими глазами. Я решил сделать для него все, что смогу, и, если это поможет ему снова обрести себя, справедливость будет восстановлена, хотя бы отчасти. Я просил его остаться, уверял, что приготовить для него комнату на ночь будет совсем не сложно, но он отказался. Вместо этого он попросил меня принять на хранение кое-что из его личных вещей, и, конечно, я не мог ему отказать. Он так долго не решался обратиться ко мне с этой просьбой, что я понял – он шел ко мне за другим; эта мысль посетила его внезапно. Он оставил мне кожаную сумку, пустую, не считая альбома с набросками внутри. Я никогда бы не предал его доверия и не заглянул внутрь, но он сам показал мне содержимое. Несчастный заставил меня поклясться, что я сохраню и сумку, и альбом в надежном месте. Я не стал допытываться, кто может покуситься на сохранность этих вещей, а на мой вопрос, когда следует ожидать его возвращения, он не ответил. Только взглянул на меня печально, поблагодарил за ужин, к которому не притронулся, и ушел. Но ощущение его страдальческого присутствия долго не оставляло меня; не оставляет и сейчас, когда я сижу у камина, в котором умирает огонь, и пишу эти строки».

Изложенная в дневнике картина страдания была так убедительна, что Элоди тоже ощутила «страдальческое присутствие» и продолжала чувствовать его еще какое-то время. Итак, дневник прояснил, как вещи Эдварда Рэдклиффа оказались у Джеймса Стрэттона. Непонятным оставалось другое – как за шесть лет Рэдклифф сошелся со Стрэттоном настолько близко, что среди ночи пришел в его дом, одержимый своими внутренними демонами, и почему именно Стрэттону он отвел роль хранителя сумки и альбома. Элоди сделала еще одну заметку: перепроверить архивы друзей и помощников Стрэттона в поисках любых упоминаний о Рэдклиффе.

Ее зацепили слова Стрэттона о справедливости, которая «будет восстановлена». Странное выражение, едва ли не намек на его причастность к беде художника, в чем совсем уже не было смысла. Для этого Стрэттон недостаточно хорошо знал Рэдклиффа: с 1861 по 1867 год в его бумагах, и личных, и предназначенных для чужих глаз, не было ни единого упоминания об этом человеке. К тому же, если верить Пиппе и «Википедии», Рэдклиффа вогнало в протрацию вполне определенное событие: гибель его невесты, Фрэнсис Браун. Ее имя Элоди также ни разу не встречала в стрэттоновских архивах, но сделала себе пометку: не забыть перепроверить и это.

На экране компьютера она открыла новый архивный формуляр и

впечатала в него описание сумки и альбома, добавив краткий пересказ письма и дневниковой записи, а также ссылку на соответствующее архивное дело.

Затем откинулась на спинку стула и потянулась.

Два дела с плеч долой, осталось последнее.

С личностью женщины на фото все будет, конечно, не так просто. Информации не хватает. Рамка превосходного качества, но ведь у Джеймса Стрэттона почти все вещи были такими. Элоди надела лупу и принялась осматривать рамку в поисках проб на серебре. Найдя их, она тщательно переписала данные на отдельную бумажку, хотя понимала: вряд ли они помогут узнать, кто эта красавица на снимке и что связывало ее с Джеймсом Стрэттоном.

Интересно, как ее фото оказалось в сумке Рэдклиффа? Случайно или с какой-то целью? Вероятно, для ответа на этот вопрос надо узнать, кем она была. Хотя не исключено и другое: Джеймсу Стрэттону женщина на фото не приходилась никем, портрет положила в сумку его внучатая племянница, хозяйка того письменного стола, где были обнаружены предметы, – положила непреднамеренно, по ассоциации: вещи старые, пусть хранятся вместе. Может быть, и так, хотя шанс, конечно, ничтожный. Платье женщины на фото, стиль, вид самого снимка – все говорило в пользу того, что и портрет, и натурщица были современниками Стрэттона. Гораздо вероятнее, что он сам положил фотографию – а то и спрятал ее – в папку для документов, которую опустил в сумку.

Элоди закончила осмотр рамки, сделав пометки, позволяющие составить подробное описание ее нынешнего состояния для архива, – вмятина на верхней части, как после удара, тонкие извилистые царапины сзади, – и только после этого опять переключилась на женщину. И вновь ей на ум пришло то же самое слово: «сияющая». Оно так вязалось с выражением ее лица, с тем, как стекали волосы ей на плечи, со светом в глазах...

Элоди вдруг поймала себя на том, что смотрит на женщину так, словно ждет от нее ответа. Но сколько она ни вглядывалась, ни в чертах лица, ни в платье, ни даже в фоне снимка ничто не подсказывало, в каком направлении двигаться дальше. Несмотря на идеальную композицию, ни в одном уголке не было ничего хотя бы отдаленно напоминающего студийный логотип, а Элоди недостаточно хорошо знала фотографию викторианского периода, чтобы судить о происхождении снимка по деталям. Помощь наставницы Пиппы, Кэролайн, могла все-таки оказаться не лишней.

Она поставила рамку на стол и потерла пальцами виски. Да, с этим фото придется поломать голову, но она не из тех, кто легко сдается. Поисковую часть своей работы она любила едва ли не больше всего – расследования сродни детективным вызывали в ней охотничий азарт и уравнивали нудный, хотя и необходимый труд по созданию аккуратных архивных карточек и записей.

– Я тебя найду, – сказала она полушепотом. – Даже не думай.

– Снова сама с собой разговариваешь? – Марго стояла за спиной Элоди и рылась в своей сумке, висевшей на плече. – Первый признак того, что человек сходит с ума, знаешь? – Наконец она отыскала жестянку мятных леденцов и встряхнула ее; пара конфет упала в подставленную ладонь Элоди. – Снова допоздна будешь сидеть?

Элоди бросила взгляд на часы и с удивлением обнаружила, что уже, оказывается, половина шестого.

– Нет, сегодня не буду.

– Алистер заедет?

– Он в Нью-Йорке.

– Опять? Как ты, наверное, по нему скучаешь. Даже не знаю, что бы я делала, не будь у меня дома Гэри.

Элоди подтвердила, что очень скучает по жениху, и Марго одарила ее сочувственной улыбкой, за которой тут же последовало жизнерадостное «чао». Выловив из сумки неоновые рыбки наушников, она включила айфон и выплыла из конторы на волне стартовавшего уик-энда.

В конторе снова повисла шуршащая бумажная тишина. Полоска солнечного света уже возникла на дальней стене и, как всегда, крадучись, двинулась к столу Элоди. Хрустнув подушечкой мятного драже, Элоди отправила на печать только что созданный ярлычок для архивной коробки. И принялась за уборку стола – ритуал, который неуклонно выполняла каждую пятницу, чтобы в понедельник, придя на работу, начать неделю с чистого листа.

Вряд ли Элоди призналась бы себе в этом и, уж конечно, ни за что не стала бы говорить Марго, но маленькая частичка ее «я» радовалась, когда Алистер уезжал в Нью-Йорк на неделю-другую. Конечно, она по нему скучала, но перспектива провести целых шесть ночей в собственной постели, у себя дома, среди своих книг, с любимой чашкой, никому ничего не объясняя и ни за что не оправдываясь, дарила ей ощущение отдыха.

Он все правильно говорил: и квартирка у нее была крошечная, и лестница дешевым жиром провоняла, а у него было просторно, две ванн, горячей воды всегда вдоволь, и нет никакой надобности слушать соседский

телевизор через тонкую, как бумага, перегородку. Но Элоди любила свою квартиру. Да, раковина на кухне то и дело засорялась, и это было сродни чуду – сделать так, чтобы вода все-таки уходила; да, в душе нельзя было нормально помыться, если параллельно включить стиральную машину, и все же ее жилище было тем местом, где могла протекать – и протекала – обычная человеческая жизнь. Здесь у всего была своя история, начиная с чудных старых шкафчиков для посуды и скрипучих половиц и заканчивая туалетом, к которому приходилось подниматься по трем застеленным ковром ступенькам.

Похоже, Алистера даже подкупала эта ее особенность – умение обретать комфорт в таких стесненных условиях.

– Оставайся у меня, когда я уезжаю, – не раз предлагал он, имея в виду свою огромную, тщательно вылизанную квартиру на Канари-Харф. – Зачем тебе возвращаться в свою нору?

– Здесь я чувствую себя счастливой.

– Здесь? Как это возможно?

Такой разговор, с вариациями, происходил у них уже раз пятнадцать, неизменно завершаясь скептическим взглядом, который Алистер всегда устремлял в угол – больше все равно было некуда, – где Элоди поставила старое отцовское кресло с потертой бархатной обивкой, пристроив над ним крошечный светильник и полочку с сокровищами: картинкой, которую миссис Берри нарисовала ей на тридцатилетие, волшебной коробочкой, которую подарил Тип после смерти ее матери, и рамкой с дешевыми фотоснимками, которые они с Пиппой, тринадцатилетние, сделали на одной ярмарке.

Алистер был поклонником минималистичного скандинавского дизайна середины века и считал, что, если вещь не куплена у Конрана, ей нечего делать в квартире. Да, он охотно признавал за жилищем Элоди такое достоинство, как «уютность», но после неизменно добавлял:

– Правда, после свадьбы тебе все равно придется от нее отказаться: куда мы будем ставить детскую кроватку – не в ванную же?

Перспектива переезда в огромную, шикарную квартиру должна была вселять в Элоди восторг, и чувствовать что-либо иное было с ее стороны, как минимум, невежливо, но дело в том, что Элоди мало доверяла всему большому и шикарному и к тому же плохо справлялась с переменами.

– Ничего удивительного, – говорила психологиня, к которой Элоди ходила в свой первый оксфордский год. – Ты же потеряла мать. А это одна из самых серьезных и страшных потерь, которая может выпасть на долю ребенка.

Такая потеря, по надежной информации, полученной от доктора Джудит Дэвис («Зови меня Джуд») после трех месяцев еженедельных сессий в теплой гостиной ее эдвардианского особняка, не могла не наложить свой отпечаток на психику в целом.

– То есть вы хотите сказать, что любые важные жизненные решения, которые я стану принимать, будут нести на себе отпечаток моей потери? – переспросила тогда Элоди.

– Да.

– Всегда?

– Скорее всего, да.

Вскоре после этого она перестала ходить к доктору Дэвис (Джуд). Не было смысла, хотя Элоди с нежностью вспоминала цитрусовый чай с мятой: чайник появлялся на потертой деревянной столешнице перед началом каждого сеанса.

Доктор была права: Элоди так и не научилась справляться с переменами. Стоило лишь представить в своей квартире чужих людей, которые повесят свои картины на крючки, вбитые в стены ее, Элоди, руками, расставят свои чайные чашки на подоконнике, где она выращивала травы в горшочке, будут смотреть в ее окно и наслаждаться ее видом на реку, и ее охватывал тот же страх, как иногда в отпуске: просыпаясь в чужом, равнодушном номере отеля, она не знала, как начать день без единой знакомой отправной точки.

Надо было предупредить квартирную хозяйку о том, что она скоро съезжает, но Элоди не хватало смелости. Миссис Берри было восемьдесят четыре года, и всю свою жизнь она провела в Барнсе, в этом самом доме, во времена ее детства еще не поделенном на три с половиной квартиры и кафе, где подавали жареную рыбу с картошкой. Она и теперь жила здесь, за кафе, в нижней квартире с окнами в сад.

– Раньше здесь была утренняя комната моей матушки, – вспоминала обыкновенно она после стаканчика-другого своего любимого шерри. – Ах, вот она была леди так леди, не подкопаешься. Ну, не аристократка, конечно, я не это имела в виду, но благородство было ее второй натурой. – Когда миссис Берри погружалась в прошлое, ее глаза приобретали особый блеск и она начинала путаться в картах. – Что у нас там с козырями? – переспрашивала она перед каждой раздачей. – Пики? Или крести?

Теперь Элоди придется отменить игру, которую они уже запланировали на вечер. Ведь она обещала Пенелопе список записей и подборку клипов к понедельнику. Раз взялась за дело, нельзя позволить посторонним занятиям сбивать ее с настроем.

Она выключила компьютер и закрыла колпачком ручку, которую положила параллельно верхнему краю блокнота для записей. Стол был чист: на нем не осталось ничего, кроме сумки, альбома и портрета в серебряной рамке. Первое и второе уже можно упаковать в контейнер и отправить на хранение, а вот портрету придется провести еще один выходной среди старинного офисного барахла в недавно обнаруженной коробке.

Прежде чем убрать фотографию, Элоди сняла ее на свой телефон, как утром это сделала Пиппа. Пригодится, если выдастся минутка, чтобы подумать над свадебным платьем. Да и прикинуть, как это платье будет смотреться рядом с ее фатой, тоже не грех.

Немного подумав, она сняла еще и дом из альбома. Не потому, что по-прежнему лелеяла мысль, будто он может каким-то волшебным образом оказаться тем самым домом из материнной сказки. Просто ей очень нравился сам рисунок. Он был прекрасен и вызывал у нее приятные чувства: благодаря ему она будто восстанавливала связь с матерью и со своим детством, когда оно еще было целым, не расколотым.

Затем Элоди опустила сумку и альбом в новенькую коробку, наклеила на нее только что отпечатанный ярлык и отнесла коробку в хранилище, после чего окунулась в шум и суматоху лондонских улиц.

III

Миссис Мак часто повторяла, что чем бедняк ловчее, тем у него карман полнее. Обычно это означало, что она придумала новый вид шельмовства и хочет, чтобы его опробовал кто-нибудь из детей, которыми ее крошечные комнатухи над птичьим магазинчиком на Литл-Уайт-Лайон-стрит кишели, как сточная канава – крысами.

В последнее время много думаю о миссис Мак. И о Мартине, Лили и Капитане. И даже о Бледном Джо, первом, кого я по-настоящему полюбила. (Вообще-то, вторым, если считать отца, только я не всегда его считала.)

Миссис Мак была даже добра, на свой лад. А лад у нее был такой: не скупиться на колотушки для тех, кто попадал ей под горячую руку, и не сдерживать язык, такой острый, что он жег похуже любой розги; и все же она была честнее многих. Правда, тоже на свой лад. Со мной она поступила по-хорошему – взяла к себе, когда я была в отчаянном положении; мне кажется, она даже любила меня. За это я в конце концов предала ее, но не раньше, чем у меня совсем не стало выбора.

В мире теперь все иначе. Люди превратились в хранителей памяти. Каждый – и каждая – носится со своими воспоминаниями, наводит на них лоск, заботливо складывает из них историю покраще. Одни события постоянно подчищаются и прихорашиваются для показа; другие отбрасываются в сторону как никчемные или запихиваются на дальнюю полку в битком набитой кладовой памяти, откуда их и не достать. Там они, если повезет, истлеют до полного забвения. И это вовсе не значит, что человек лжет самому себе: только так и можно выжить, не сломавшись под грузом накопленного опыта.

Но здесь, за чертой, все по-другому.

Я помню все, но из воспоминаний складываются разные картинки, смотря в каком порядке они выпадают.

Время идет иначе, когда я в доме одна; у меня нет способа отмечать течение лет. Я знаю, что солнце по-прежнему встает и заходит, а его место ночами занимает луна, но я больше не чувствую их движения. Прошое, настоящее и будущее потеряли для меня смысл; я вне времени. Я здесь и не здесь, не здесь и здесь в одно и то же время.

Мой гость у меня уже пять дней – его дней. Я так удивилась, когда он приехал: потрепанный чемодан в руке, коричневая торба через плечо, почти

такая, как была у Эдварда. Еще сильнее я удивилась, когда дом закрыли, а он остался. Давненько тут никто не оставался на ночь. С тех пор как Ассоциация историков искусства превратила дом в музей, я вижу только туристов в практичной обуви, с путеводителями в руках.

Люди из ассоциации поселили молодого человека в старой пивоварне; теперь это часть закрытой территории, где одно время жил смотритель, – посетителям «Вход воспрещен». В самом доме его поселить нельзя, там теперь музей. Старинная мебель, по большей части еще та, которую купил вместе с домом Эдвард, «выставлена» так, чтобы освободить проходы для туристов, которые толкуются здесь по выходным. На каждом сиденье – перетянутый фиолетовой ленточкой букетик лаванды, чтобы никто не попытался воспользоваться мебелью по назначению.

Каждое субботнее утро, еще до того как мои часы пробьют десять, являются волонтеры и расходятся по одному на комнату. На шеях у них болтаются таблички с надписью «Гид», а их главная задача – напоминать всем и каждому: «Руками не трогать!» Исторические анекдоты, частью правдивые, частью выдуманные, так и сыплются из них, и стоит зазевавшемуся туристу поймать взгляд одного из гидов, как его тут же начинают потчевать этими рассказами.

Есть среди них некая Милдред Мэннинг, любительница восседать на квакерском кресле^[2] посреди площадки чердачной лестницы, оскалив зубы в некоем подобии улыбки. Вот кого хлебом не корми, дай лишь подловить ничего не подозревающего туриста, когда тот кладет свой путеводитель на столик рядом с ней. Мелкое нарушение правил дает ей возделенную возможность произнести нараспев: «На мебель Эдварда Рэдклиффа ничего класть нельзя».

Эдвард терпеть не мог таких, как она. Он вообще не выносил, когда люди трясутся над вещами. Считал, что красивые вещи следует беречь, но не поклоняться им. Вот почему, в память об Эдварде, когда год клонится к осени, я провожу иногда целые дни, повиснув на Милдред. Что бы она ни делала, как бы ни куталась, ей не согреться, пока рядом я.

Я составила предварительный реестр: волосы у моего нового гостя светлые, но как будто немытые, кожа смуглая, загорелая. Руки сильные, обветренные. Не изящные, как у художника. Нет, это руки мужчины, умеющего обращаться с инструментами, с которыми он выходит на свою каждодневную прогулку.

С самого приезда он все время занят. Просыпается рано, еще до рассвета, и хотя это его, похоже, не радует – судя по тому, как он стонет и

щурится в экран своего телефона, который кладет вместо часов рядом с кроватью, – он все же встает, в постели не валяется. Быстро и неряшливо заваривает чашку чая, потом принимает душ и одевается, всегда в одно и то же: футболка и синие лямпаые джинсы, которые он каждый вечер бросает на венский стул в углу комнаты.

Зачем бы он ни приехал, его дело требует длительных сосредоточенных раздумий над картой усадьбы, из которой он делает выписки. Я прямо-таки пристрастилась стоять у него за спиной, на некотором расстоянии, конечно: хочется понять, чем он занят. Но все бесполезно. Почерк у него мелкий, чернила бледные, так что ничего разобрать нельзя, а подойти ближе я не решаюсь. Наше знакомство еще слишком свежее, и я пока не знаю, насколько близко я могу к нему подобраться. Моя компания не всем подходит, а пугать этого молодого человека я не хочу.

Пока не хочу.

Поэтому жду.

Зато теперь я знаю, что у него в коричневой сумке: вчера он вынимал из нее вещи при мне. Там у него фотоаппарат, настоящий, который наверняка признал бы Феликс, случись ему вдруг материализоваться сейчас рядом со мной.

А вот чего Феликс наверняка не признал бы, так это подключения фотоаппарата к компьютеру, когда образы возникают на экране, точно по волшебству. Вместо темной комнаты и вонючих проявителей.

Вчера вечером я наблюдала, как он пролистывает картинку за картинкой. Фотографии кладбища – сплошные надгробия. Фамилии все незнакомые, но я все равно смотрела как замороженная. Еще бы, ведь я впервые за много лет смогла «покинуть» этот дом.

«Но что эти снимки сообщают о цели его приезда сюда?» – спросила я себя.

Почти ничего.

Сейчас его нет в доме: как ушел после завтрака, так и не возвращался. Но я терпеливо жду, терпения у меня теперь куда больше, чем раньше.

Я стою у окна на лестнице и смотрю сквозь ветви каштана вдаль, туда, где течет моя старая подруга Темза. Я не жду, что мой гость вернется с той стороны: в отличие от тех, кто жил в Берчвуде до него, реку он не жалует. Иногда глядит на нее, будто на картину, но только издали и, как мне кажется, без удовольствия. Катание на лодке его не привлекает.

Ну а я смотрю на реку просто так, для себя. Темза всегда текла через мою жизнь, как кровь течет по телу. Теперь мои передвижения ограничены

амбарной стеной на севере, ручьем Хафостед на западе, фруктовым садом на востоке и японским кленом на юге. За минувшие годы я не раз пыталась продвинуться дальше, но, увы, так и не преуспела. Ощущение такое, будто тебя поставили на якорь и ты, как ни стараешься, не можешь сняться с него. Не знаю, как это объяснить с точки зрения законов физики, но чувствую я себя именно так.

Мой гость – не такой уж и мальчик, как показалось сначала. У него развитая мускулатура, он силен, в движении производит впечатление животного, случайно оказавшегося внутри человеческого жилья, но я вижу: его что-то гнетет. Испытания всегда сказываются на человеке. Мой отец в считанные месяцы после смерти мамы постарел лет на десять; квартирохозяин стал чаще стучать в нашу дверь, их долгие разговоры постепенно становились все громче, пока наконец в один промозглый зимний день хозяин не выкрикнул, что его терпение лопнуло, что даже святой давно не выдержал бы и что у него тут не благотворительное заведение, а моему отцу пора подыскать себе новое место.

У моего гостя проблемы другого рода. В его потрепанном кожаном бумажнике лежит фотография. Я видела, как он вынимает ее по ночам и долго рассматривает. На ней две маленькие девочки, почти младенцы. Одна самозабвенно улыбается в камеру; другая выглядит более сдержанной.

По тому, как он смотрит на это фото, как гладит его большим и указательным пальцем, словно надеясь увеличить, приблизить изображение, я понимаю: это его дети.

И еще, вчера вечером он звонил с мобильного женщине, которую называл Сарой. Разговаривал с ней вежливо и дружелюбно, но при этом сначала чуть не сломал ручку, а потом вцепился пальцами свободной руки в волосы, и я поняла, что сдержанность дается ему с трудом.

Он сказал:

– Но это же было давно. – И еще: – Вот увидишь, я изменился. – А потом: – Разве я не заслужил второго шанса?

А сам все время смотрел на фото и кончиками пальцев то сгибал, то разгибал верхний левый уголок.

Слушая его разговор с той женщиной, я вспомнила отца. Потому что до миссис Мак с Капитаном был отец, и он тоже всегда просил второго шанса. По профессии он был часовых дел мастером, чрезвычайно искусным, мастер – золотые руки, к нему в ремонт несли даже самые дорогие и сложные часы.

– Каждые часы уникальны, – говорил он мне. – Они как люди: циферблат, невзрачный или драгоценный, – это лишь наружность, а за ней

всегда скрывается сложный механизм.

Иногда он брал меня с собой в дома, куда его приглашали ремонтировать часы. Он называл меня своей помощницей, хотя я ничего не делала. Его провожали в кабинет или в гостиную, я оставалась с усердной горничной, которая всякий раз вела меня вниз, в просторную, дышащую жаром кухню, сердце семейного викторианского дома. Там непременно обнаруживалась тучная кухарка, которая трудилась у плиты, как кочегар у топки паровоза: краснощекая, с бисеринками пота на лбу, она не покладая рук набивала кладовые банками с домашним джемом и свежими хлебами.

Отец часто говорил мне, что в таком доме выросла и моя мать. Она сидела у большого полукруглого окна на втором этаже, когда он пришел чинить часы ее отца. Их взгляды встретились, они полюбили друг друга, и с тех пор ничто не могло их разлучить. Конечно, ее родители пытались сделать это, младшая сестра со слезами на глазах умоляла ее остаться, но моя мать была молода, влюблена, упряма и избалованна – и просто убежала из дому. Дети склонны понимать все буквально; вот и я, слушая эту историю, каждый раз представляла себе мать, которая бежит, шелестя атласными юбками, а за спиной у нее встает замок, где плачет ее сестра и бушуют разгневанные властные родители.

И я в это верила.

Отцу приходилось рассказывать мне о матери – сама я не успела ее узнать. Она скончалась, не дожив одного дня до двадцати одного года, когда мне было четыре. Ее убила чахотка, но отец уговорил coronera написать в свидетельстве о смерти «бронхит», так как считал, что это звучит благороднее. И напрасно: все равно, выйдя замуж за моего отца и порвав со своими титулованными родственниками, мать смешалась с серой массой простых людей, о чьей жизни история обычно молчит.

От нее остался единственный портрет, точнее, эскиз; отец оправил его в золотой медальон, и он стал самой большой моей драгоценностью. И был ею до тех пор, пока мы не сняли пару прозябших комнатенок в узком проулке восточного Лондона, где воздух навсегда пропитался запахом Темзы, а вопли чаек и крики матросов слились в монотонную песню; там-то мой медальон и исчез в кармане старьевщика, скупавшего тряпки и кости. Не знаю, куда делся портрет. Наверное, провалился в какую-то щель во времени, вместе с другими потерянными вещами.

Отец называл меня «Берди»^[3]; говорил, что я его маленькая птичка. Мое настоящее имя – очень красивое, говорил он, но больше подходит взрослой даме, к нему пристали шелка и длинные юбки, зато у него нет

крыльев и оно не умеет летать.

– А мне что, нужно имя с крыльями?

– Ну конечно, а ты как думаешь?

– А зачем ты тогда дал мне то, другое?

Тут он серьезнел, как всегда, когда разговор хотя бы краем выходил на нее:

– Твоя мама назвала тебя в честь своего отца. Ей было важно, чтобы в тебе было что-то от ее семьи.

– Хотя они и не хотели меня знать?

– Хотя и не хотели, – говорил он с улыбкой и ерошил мне волосы так, что я сразу чувствовала: никакие беды не страшны той, которую любят так, как он любит меня.

Мастерская отца казалась мне местом чудес. Большой верстак под окном был весь усыпан пружинками, заклепками, металлическими пластинками, проволочками, колокольчиками, маятниками и колючими стрелками. Бывало, я крадучись входила в мастерскую через открытую дверь, вставала на колени на невысокий деревянный табурет и начинала перебирать вещички на верстаке, а он тем временем работал над какой-нибудь любопытной умной штуковиной, прилаживал к ней крохотные хрупкие частички, которые брал у меня из пальцев, иногда поднимая их к свету, так что они сверкали, как драгоценности. В такие моменты я без конца задавала ему вопросы, на которые он отвечал, глядя на меня поверх лупы; при этом он брал с меня клятвенное обещание – ни одной живой душе не говорить о том, что я видела в его мастерской, ведь мой отец не только ремонтировал старые часы, но еще изобретал новые.

Его Главным Проектом были Таинственные Часы, над которыми он подолгу корпел в своей мастерской, ради которых то и дело тайком наведывался в Канцлерский суд, где регистрировали изобретения и выдавали патенты. Отец твердил, что Таинственные Часы озолотят нас, когда он их закончит: какому богачу не захочется иметь у себя прибор для измерения времени с маятником, качающимся без механизма?

Я слушала его и торжественно кивала – этого требовала серьезность его слов, – но на самом деле меня ничуть не меньше впечатляли обычные часы, которые от пола до потолка покрывали стены мастерской, то, как внутри у них тикало, как раскачивались маятники, каждый в своем ритме, одни быстрее, а другие чуть медленнее. Отец показал мне, как они заводятся, и я часто потом вставала посреди комнаты и глядела на их разномастные физиономии, а они хором так-так-такали на меня со стен.

– А какие из них показывают правильное время? – спрашивала я.

– Э-э, маленькая птичка. Ты лучше спроси: какие не показывают?

Нет такой вещи, как правильное время, объяснял он. Время – это идея: у него нет ни начала, ни конца; его нельзя увидеть, услышать или понюхать. Измерить его можно, это верно, но слов, чтобы объяснить его сущность, никто пока так и не нашел. «Правильное» время зависит от того, как люди между собой договорятся.

– Помнишь ту женщину на железнодорожной платформе? – спрашивал он.

Я отвечала «да». Как-то утром отец чинил большие часы на станции к западу от Лондона, а я играла тут же, и вдруг на стене у билетной кассы заметила точную копию тех часов, которые чинил отец, только маленькую. Забыв про игру, я вертела головой, сравнивая два несравнимых циферблата, когда сзади ко мне подошла какая-то женщина.

– Настоящее время показывают вон те, – объяснила она, указав на циферблат поменьше. – А на тех, – и она хмуро указала на большие часы, которые только что завел отец, – на тех время лондонское.

Вот так я узнала, что, хотя человек не может быть в двух разных местах в одно и то же время, он совершенно точно может быть в одном и том же месте в двух разных временах.

Вскоре после этого отец предложил съездить в Гринвич, туда, «где живет меридиан».

Время по Гринвичу. Эти новые для меня слова звучали как заклинание.

– Меридиан – это линия, с которой начинается время, – объяснял отец. – Он тянется от Северного полюса до Южного и режет Землю напополам.

Впечатление от его слов было таким сильным, а мое детское воображение – таким живым, что реальность не могла меня не разочаровать.

Наше путешествие окончилось на краю большого красивого луга, перед дворцом с величественным фасадом, но я напрасно искала следы узкой пропасти с рваными краями, которая, как мне представлялось, должна была резать Землю.

– Вот и он, – сказал отец и протянул вперед руку, – прямо перед тобой, совершенно прямая линия. Нулевой меридиан.

– Но я ничего не вижу. Здесь же одна... трава.

Он рассмеялся, взъерошил мне волосы и спросил, хочу ли я взглянуть в телескоп Королевской обсерватории.

Мы много раз добирались по реке до Гринвича в те месяцы, когда умирала моя мать, и каждый раз на борту парохода отец учил меня читать –

слова в книгах, течения в реке, выражения лиц попутчиков.

Он учил меня определять время по солнцу. Этот огромный огненный шар в небе всегда воспламенял воображение людей, говорил он, «ведь он дает не только тепло, но и свет. То, чего особенно жаждут наши души».

Свет. Я пристрастилась наблюдать за ним в кронах деревьев по весне, замечая, как нежная молодая листва становится прозрачной в его лучах. Я видела его в тенях, которые он отбрасывал на стены; в звездной пыли, которой он присыпал воду; в кружевах кованых оград, которые он выводил на земле. Мне хотелось коснуться его, этого магического художественного инструмента. Подержать его на кончике пальца, как я держала крошечные детали в мастерской отца.

Пленение солнечного света стало моей целью. Я придумала, как это сделать: нашла небольшую жестянку с откидной крышкой, выбросила из нее содержимое и, взяв у отца молоток, несколько раз проткнула ее сверху гвоздиком. Потом вынесла устройство на улицу, поставила в самом солнечном месте и стала ждать, когда крышка раскалится как следует. Увы, когда я открыла коробку, сверкающего пленника внутри не оказалось. Передо мной были ржавые стенки и старое жестяное дно.

Миссис Мак любила говорить: у нас коли дождь, так уж ливнем, – причем имела в виду отнюдь не погоду, как мне сначала казалось, а превратности судьбы и их манеру приходить не поодиночке, а скопом.

После смерти матери несчастья действительно хлынули на нас с отцом как из ведра.

Во-первых, кончились наши поездки в Гринвич.

Во-вторых, стал чаще появляться Иеремия. Он был в некотором роде другом отца – оба выросли в одной деревне. При жизни матери он тоже у нас бывал, но редко – отец время от времени брал его в помощники, когда ему заказывали починку больших вокзальных часов; но я и тогда знала, точнее, чувала, как это часто бывает с детьми, что каждое появление Иеремии вызывает между родителями напряжение. Помню, как отец примирительно бормотал что-то вроде: «Бог не был щедр к нему, но он старается» или «Он хочет как лучше» – и напоминал матери, что, хотя Иеремия был многим обделен от рождения, «парень он добрый, и предприимчивый к тому же».

И здесь он не ошибался: Иеремия не упускал ни одной возможности, которая открывалась ему. Кем он только не побывал: и старьевщиком, и красильщиком, а однажды крепко уверовал в то, что его путь к богатству лежит через торговлю вразнос «Ароматическими леденцами Стила», среди

предполагаемых достоинств которых числилось даже «впечатляющее увеличение мужской силы».

Когда мать умерла и отец стал все глубже погружаться в пучину горя, Иеремия начал выводить его, чтобы «разветься»: уйдя после полудня, они возвращались уже в темноте, причем отец почти спал, повиснув на плече друга. Тогда Иеремия оставался ночевать на диване в гостиной, чтобы «выручить» нас уже с самого утра.

Скоро отцу стало нечем заполнять свои дни. У него тряслись руки, и он потерял способность подолгу заниматься чем-то одним. Чем меньше у него становилось заказов, тем больше он горевал. Но Иеремия всегда был тут как тут, готовый поддержать друга. Он убедил отца в том, что нечего ему терять время и размениваться на разные там починки – надо бросить все силы на завершение Таинственных Часов; когда отец их закончит, Иеремия станет его агентом, вместе они продадут изобретение и уж тогда заживут как короли.

Когда наш квартирохозяин потерял наконец терпение, именно Иеремия через свои связи помог отцу найти те самые две комнатенки в доме, который жался в тени колокольни Святой Анны. Похоже, у него и впрямь было великое множество разных знакомств, он всегда был в курсе всех событий и постоянно «обдeldывал» какие-то дела. Именно Иеремия занимался продажей отцовских патентов, и он же уговаривал меня не бояться, когда в нашу дверь и днем и ночью стучался судебный пристав, с криками требуя возвращения долгов; у него есть один знакомый, который держит в Лаймхаузе игорный притон, заявил он как-то раз. Надо бы отцу туда наведаться: чуть-чуть везения – и его дела снова пойдут на лад.

А когда отец стал все ночи проводить в пивной на Нэрроу-стрит, лишь под утро приволакиваясь домой, где с трубкой в зубах сидел за пустым верстаком, и когда он продал последние пружинки и заклепки, чтобы заплатить карточные долги, все тот же Иеремия печально покачал головой и объявил:

– Эх, не везет твоему старику, крупно не везет. Сроду не видал, чтобы несчастья так льнули к человеку.

Пристав продолжал приходить, но отец не обращал на него внимания. У него появилась новая мания – Америка. Его помутившемуся от пьянства уму идея уехать за океан казалась абсолютно здоровой. Оставим здесь несчастья, горе и тоску, а там заживем новой, радостной жизнью.

– Там столько земли, моя маленькая птичка, – говорил он, – и она вся согрета солнцем. И реки текут чистые, а поля можно пахать без страха, что

твой плуг вывернет из земли давнишние кости.

Он продал последние платья матери, украшения, которые берег для меня, и купил нам обоим самые дешевые билеты на ближайший пароход до Америки. Мы уложили вещи – их было не много, по одному чемоданчику на каждого.

Неделя, на которую был намечен наш отъезд, выдалась холодной, шел первый снег, а отцу втемяшилось, что перед отъездом нам надо запастись монетами. И мы что ни день спускались к реке, где недавно как раз затонуло грузовое судно: в прибрежной грязи всякого, кто не ленился наклониться и покопаться в ней, ждал приз. И мы наклонялись и перекапывали грязь с утра до ночи, и в дождь, и в слякоть, и в снегопад.

Искать монеты в грязи – занятие утомительное, но однажды вечером я почувствовала себя совсем разбитой. Мокрая с головы до ног, я рухнула на матрас и не могла встать. Голова закружилась, руки и ноги заломило, кости сделались тяжелыми и холодными, как куски льда. Лоб горел, зубы стучали, мир вокруг померк так стремительно, будто перед ним опустили большой темный занавес.

Я куда-то плыла, точнее, меня несло, как шлюпку по бурному морю. Иногда до меня доносились голоса отца и Иеремии, но лишь урывками, а остальное время я проводила как бы в театре картин – ярких, причудливых и необыкновенно разнообразных, – которые показывал мой мозг.

Лихорадка сжигала меня, комнату заполняли тени и косматые чудовища; они металась по стенам, пялились на меня своими безумными глазницами, протягивали ко мне когтистые лапы, хватались за простыни. Я металась, увертываясь от них, постель промокла от пота, мои губы шептали беззвучное заклинание, которое, видимо, казалось мне особенно могущественным.

Иногда сквозь бред я различала слова, пронзавшие его, как раскаленные иглы: «Доктор... лихорадка... Америка...» Знакомые слова, когда-то в них заключался смысл.

А потом я услышала голос Иеремии:

– Тебе надо уезжать. Пристав вернется и на этот раз посадит тебя в тюрьму, если не сделает чего похуже.

– Но девочка, моя маленькая птичка – она же не может ехать сейчас.

– Оставь ее здесь. Пришлешь за ней, когда устроишься. Я знаю людей, которые не откажутся приглядеть за ребенком за небольшую мзду.

Легкие, горло, мозг – все загорелось, когда я силилась прокричать: «Нет!» – но сорвалось слово с моих губ или нет, не могу сказать.

– Но она же моя.

– Тем хуже для нее, если судья решит, что за свои долги ты должен расплатиться головой.

Мне хотелось кричать, хотелось вцепиться в отца и не отпускать, чтобы никакая судьба не разлучила нас. Но все напрасно. Чудовища снова утянули меня вниз, в глубины лихорадки, и больше я ничего не слышала. День перешел в ночь; мою хрупкую лодочку опять унесло в бурное море...

Больше о том времени я ничего не помню.

А потом наступило утро, яркое, солнечное, и первое, что я услышала, – голоса птиц за окном. Но это были не те птицы, что приветствуют наступление утра здесь, в Берчвуд-Мэнор, и не те, что вили гнездышки под карнизом дома в Фулэме, где я жила с папой и мамой. Здесь была форменная какофония, птицы оралы, вскрикивали и хохотали, и языки их представлялись странными моему слуху.

Ударил церковный колокол, и я тут же его узнала: звонили у Святой Анны, но даже знакомый звук казался теперь каким-то другим.

Я была как потерпевший крушение матрос, которого море выбросило на незнакомый берег.

И вдруг раздался голос, чужой, женский:

– Она просыпается.

– Папа, – хотела сказать я, но в горле у меня было так сухо, что вышло одно шипение.

– Ш-ш-ш... тихо, тихо, – сказала женщина. – Все хорошо, тихо. Миссис Мак здесь. Все будет хорошо.

Я с трудом открыла глаза: надо мной нависла чья-то массивная фигура.

За ней, на столике у окна, стоял мой чемоданчик. Кто-то открыл крышку и вынул из него всю мою одежду, которая аккуратной стопкой лежала рядом с ним.

– Кто вы? – выдавила я.

– Миссис Мак, конечно, а вот этот паренек – Мартин, а вон там Капитан. – В ее голосе слышалось добродушное нетерпение.

Я обвела комнату глазами, быстро вбирая в себя незнакомую обстановку и людей, о которых она говорила.

– Папа? – У меня потекли слезы.

– Ш-ш-ш. Ну-ну, девочка, нечего тут сырость разводить. Ты прекрасно знаешь, твой папа уехал в Америку и пришлет за тобой, как только устроится на новом месте. А пока он попросил миссис Мак приглядеть за тобой.

– Где я?

Она засмеялась:

– Ну, деточка, ты даешь! Дома, конечно. И кончай реветь, а то вдруг ветер переменится и попортит твою хорошенькую мордашку.

Так я родилась во второй раз.

В первый раз я появилась на свет у моих родителей, в нашем уютном фултонском домике, свежей летней ночью, когда полная луна высоко стояла в небе, звезды светили ярко, а река сияющей серебристой змеей струилась за окном.

Во второй раз, в возрасте семи лет, я родилась у миссис Мак, в ее доме над лавкой, где торговали птицами и птичьими клетками, в закоулке Ковент-Гардена, известном как Севен-Дайелз.

Глава 6

Лето 2017 года

Придя с работы, Элоди застала миссис Берри в саду, среди дельфиниумов и мальв. Дверь прихожей была широко распахнута, и Элоди увидела свою престарелую домохозяйку, занятую осмотром растений. Ее всегда поражало, как старая дама, неспособная отличить бубны от червей без очков с линзами толщиной с доньшки от бутылок, отлично видела малюсенькую тлю на цветочных бутонах.

Элоди не стала сразу же подниматься к себе наверх, а прошла через прихожую, мимо старинных часов миссис Берри, все так же терпеливо, как в дедовские времена, отмечающих минуту за минутой, и встала на пороге.

– В чью пользу счет?

– Мерзавки, – тут же откликнулась миссис Берри, снимая с листа жирную зеленую гусеницу и издали показывая ее Элоди. – Хитрые чертовки, а прожорливые до чего, жуть. – С этими словами она опустила преступницу в старую банку из-под джема, где уже извивались другие. – Выпьешь чего-нибудь?

– С удовольствием.

Элоди опустила сумку на бетонное крыльцо и шагнула в пронизанный летним солнцем сад. Вечер пятницы как-никак, не грех и расслабиться немного, за выходные она наверстает все, что обещала Пенелопе.

Миссис Берри поставила банку с зелеными вредительницами на изящный кованый столик под яблоней и пошла на кухню. Для дамы восьмидесяти четырех лет ее походка была на удивление упругой, что она сама объясняла отказом получать водительские права.

– Эти жуткие вонючие машины! А как они носятся! Страх. Лучше пешком ходить.

Она появилась снова, неся в руках поднос с кувшином апельсиновой шипучки. В прошлом году миссис Берри со своей группой по обучению живописи побывала в Тоскане, откуда вывезла пристрастие к коктейлю апероль-спритц. Наполнив до краев два бокала, она протянула один Элоди:

– Салюте!

– Ваше здоровье.

– Сегодня я отослала ответ на приглашение на твою свадьбу.

– Отличная новость. Очко в мою пользу.
– И подумала над тем, что я буду читать. У Россетти есть одно чудное стихотворение – похоже на ткань по эскизу Морриса, сплошь павлины, да райские плоды, да бирюзовые моря...

– Звучит чудесно.
– Но тривиально. Слишком просто для тебя. Я предпочитаю Теннисона. «Ах, если бы я стал любим тобой, ничто меня сломить бы не смогло: ни смерть, ни бытие, ни даже зло, свершенное на всей Земле большой»^[4]. – Улыбка блаженства выступила на ее губах, сухонькая ручка легла на сердце. – О, Элоди, сколько в этом правды! И свободы! Какая это радость – освободиться от страха перед жизнью благодаря простому знанию любви.

Элоди энергично кивнула, поддакивая старушке:
– Да, это прекрасно.
– Ты согласна?
– Есть только одна маленькая проблема: неизвестно, что мать Алистера скажет по поводу свадебного текста, в котором жизнь описывается как зло, от рождения до смерти...
– Ба! А ей-то какое дело?
– Да, в общем-то, никакого, наверное.
– Стихотворение тут вообще не главное. А главное в том, что, какое бы зло человеку ни встретилось в жизни, быть любимым – значит быть под защитой.

– Вы правда в это верите?
Миссис Берри улыбнулась:
– Я никогда не рассказывала тебе, как познакомилась с мужем?
Элоди покачала головой. Мистер Берри скончался еще до того, как она заняла квартиру на верхнем этаже. Конечно, она видела его снимки, много снимков, и с каждого радостно улыбался человек в очках, с венчиком седых волос вокруг гладкой лысой макушки; в квартире миссис Берри не было стены, шкафа или комода, откуда не глядело бы его лицо.

– Мы были тогда детьми. Его фамилия была Бернштейн. В Англию он приехал в самом начале второй войны на поезде из Германии. Были такие поезда, киндертранспорты, слышала? Мама с папой захотели взять такого ребенка к нам в семью, подали заявление, и в июне тридцать девятого нам прислали Томаса. До сих пор помню, как он у нас появился: мы открыли дверь, а он стоит, один, ножки тоненькие, потертый чемоданчик в руке. Забавный, глаза и волосы черные, и ни слова по-английски. Но вежливый такой. Сел за стол, терпеливо съел капусту – мама хотела изобразить что-то

вроде зауэркуаута, – а потом родители повели его наверх, в комнату, которую приготовили специально для него. Я прямо глаз не могла от него оторвать – ведь я столько раз просила у папы с мамой братика, а в стене между его комнатой и моей была небольшая дырка, мышинная нора, заделать которую все никак руки не доходили. Вот я и повадилась подглядывать за ним через эту нору и так узнала, что вечером он ложится в кровать, куда его укладывает мама, а ночью, когда в доме все стихает, берет подушку, одеяло и идет спать в шкаф. Думаю, тогда я его и полюбила. Когда он приехал, у него была с собой фотокарточка, вложенная в письмо от его родителей. Позже он рассказал мне, что его мама зашила их в подкладку его курточки, чтобы не потерялись в дороге. Она была с ним всю жизнь, эта карточка. На ней его родители, молодые, нарядные, а между ними он, маленький и веселый, и никто из них еще не знает, что их ждет впереди. Они умерли в Аушвице, оба. Мы это потом узнали. Как только мне исполнилось шестнадцать, мы поженились и вместе поехали в Германию. Война кончилась, но там еще царила неразбериха и столько всего было страшного. Но он был очень храбрым. Я все ждала, когда у него наступит шок от потери. И потом, когда мы узнали, что у нас никогда не будет детей, и когда его друг и деловой партнер надул его и мы едва не разорились, и когда у меня нашли рак груди... он всегда был очень храбрым. Гибким, я бы сказала; кажется, у французов это называется *du jouir* – светлый. Не то чтобы он ничего не чувствовал – я много раз видела, как он плачет, – но он всегда как-то справлялся и с разочарованием, и с горем, и с трудностями; падал, снова вставал и скрепя сердце шел дальше. И он не был дурачком, который не замечает зла; нет, он прекрасно знал, что жизнь несправедлива по сути своей. Единственное, что придает ей видимость справедливости, – это та неразборчивость, с которой она раздает тумачи: никого не щадит, правда, одним достается больше, а другим меньше. – Она еще раз наполнила бокалы. – Я говорю это тебе не потому, что мне пришла блажь пройтись по дорожкам сада своих воспоминаний, и не потому, что я хочу в чудную летнюю пятницу нагнать на молодую подружку тоску накануне свадьбы; я просто... хочу, чтобы ты поняла. Чтобы ты ощутила, какой это целительный бальзам – любовь. И что значит одна жизнь на двоих, когда вокруг этих двоих как будто вырастает стена и ничто за ней их уже не пугает. Потому что наш мир – торжище, Элоди, и хотя жизнь, конечно, прекрасна и удивительна, в ней есть и зло, и несправедливость, и боль.

Что Элоди могла сказать в ответ? Только поддакнуть: «Да, мол, миссис Берри, как вы правы», но перед лицом выстраданного знания соседки ее

слова прозвучали бы поверхностно и несерьезно; да и вообще, что может добавить она к восьмидесяти четырем годам опыта своей подружки? Но миссис Берри не ждала ответа. Она глоточками смаковала апероль-спритц, глядя поверх плеча Элоди, и та тоже постепенно задумалась о своем. Она вдруг поняла, что целый день не получала вестей от Алистера. Пенелопа сказала, что у него была ответственная встреча с нью-йоркским советом директоров и все прошло хорошо. Может быть, он где-то с коллегами празднует слияние двух компаний?

Она до сих пор толком не поняла, чем занимается компания Алистера. Что-то приобретает. Он объяснял ей, и не раз, – все дело в консолидации, говорил он, две организации сливаются в одну, тем самым повышая свою совокупную стоимость, – но у Элоди всегда возникали детские вопросы, на которые она так и не находила ответа. В ее профессиональной жизни приобретение неизменно означало одно: кто-то вступал во владение тем или иным предметом. Чем-то конкретным, настоящей вещью, которую можно взять в руки, повертеть, рассмотреть со всех сторон и которая каждой царапиной рассказывает историю своей жизни.

– Когда Томас умирал, – вдруг продолжила миссис Берри, – уже под самый конец, мне стало страшно. Я ужасно боялась – вдруг он испугается; и так не хотелось отпускать его туда одного. Каждую ночь мне снился тот маленький мальчик на крыльце нашего дома, с чемоданчиком в руках, такой одинокий. Я ничего ему не говорила, но за столько лет мы научились читать мысли друг друга, и вот однажды он ни с того ни с сего поворачивает ко мне голову и говорит, что с того самого дня, как увидел меня впервые, никогда ничего не боялся. – Ее глаза влажно блеснули, в голосе послышалось удивление. – Ты понимаешь? Ничто, его вообще ничто не могло напугать, потому что с ним была моя любовь.

В горле у Элоди встал ком.

– Жаль, что я не была с ним знакома.

– И мне тоже жаль. Ты бы ему понравилась. – Миссис Берри сделала большой глоток. Откуда ни возьмись прилетел скворец, сел на кованный столик меж ними, внимательно посмотрел на банку с гусеницами, громко свистнул, вспорхнул и скрылся в ветвях яблони, видимо надеясь пожить там чем-нибудь. Элоди улыбнулась, а миссис Берри засмеялась. – Оставайся обедать, – предложила она. – У меня найдутся истории повеселее. Например, о том, как мы с Томасом случайно купили ферму. Ну а потом я тебя удивлю. Карточный стол уже разложен, и все готово к игре.

– Ой, миссис Берри, я бы с удовольствием, но не могу сегодня.

- Что, и в картишки со мной не перекинешься?
- Нет, мне так жаль. У меня дедлайн.
- Что, опять работа? Ты чересчур много работаешь, ты это знаешь?
- Да нет, не работа. Подготовка к свадьбе.

– Подготовка к свадьбе! Честное слово, люди сейчас так все усложняют. Что нужно для свадьбы, кроме двух людей, которые хотят пожениться, и третьего, который засвидетельствует их желание? Да и тот, на мой взгляд, уже лишний – так, уступка правилам. Эх, повернуть бы время вспять, я бы сбежала отсюда с Томасом в Тоскану, в какой-нибудь средневековый городок на вершине холма, и там произнесла бы все брачные обеты, и чтобы лучи солнца золотили лицо, а волосы украшала веточка цветущей жимолости. А потом мы бы открыли бутылочку старого доброго кьянти.

- Ну конечно, кьянти. Что еще пить в такой день?
- Умница!

Наверху Элоди скинула туфли и распахнула окна. Жимолость в саду миссис Берри за лето разрослась так, что полезла вверх по задней нештукатуренной стене дома, а ее аромат, поднимаясь на крыльях теплого дневного ветерка, сразу заполнил квартирку.

Она опустилась на колени и открыла чемодан с пленками, которые отобрал для нее отец. Чемодан был ей хорошо знаком: она сама купила его отцу лет двенадцать тому назад, убедив того поехать в Вену – классическое музыкальное турне. Лучшие дни чемодана остались далеко позади, и немногие доверили бы ему теперь столь драгоценный груз. Никто не заподозрил бы, что в этот потрепанный чемоданчик ее отец уложил свое сердце, но Элоди, зная ход его мыслей, решила, что именно поэтому он так и поступил: никто не догадается, значит ничего не случится.

Внутри было около тридцати видеокассет, каждая с ярлычком, надписанным мелким, педантичным отцовским почерком: дата, событие, место и название исполняемого произведения. В квартире Элоди еще сохранился видеомагнитофон – наверное, один из последних в Лондоне, – и она, мысленно поблагодарив миссис Берри за это устройство, подключила его к телевизору. Наугад взяла кассету, вставила ее в прорезь. И вдруг занервничала.

Кассета не была перемотана до конца, и музыка тут же наполнила комнату. На экране возникла Лорен Адлер, знаменитая виолончелистка и мать Элоди. Она еще не вступила, но уже приготовилась: рука лежала на грифе виолончели, изгиб которого вторил линии ее шеи; за спиной

скрипачки играл оркестр. На этом видео она была еще очень молода. Приподняв подбородок, она смотрела на дирижера; длинные волосы падали на плечи, спускались на спину. Она ждала. Огни рампы высвечивали одну сторону лица, оставляя в тени другую, – драматичный контраст сразу бросался в глаза. На ней было черное атласное платье с узкими бретельками, которое оставляло обнаженными прекрасные руки – обманчиво-тонкие, сильные руки музыкантши. Никаких драгоценностей, лишь тонкий ободок золотого обручального кольца; пальцы уже заняли нужное положение на струнах.

На экране появился дирижер в черном сюртуке и белом галстуке-бабочке. По его знаку оркестр умолк; дирижер выдержал паузу и через несколько секунд кивнул Лорен Адлер. Та сделала вдох, и раздался голос виолончели.

Авторы многочисленных статей, которыми Элоди зачитывалась в свое время, часто повторяли одни и те же слова: «возвышенный талант Лорен Адлер». Все критики были солидарны в этом. Она родилась, чтобы играть на виолончели, и любое произведение, за которое она бралась, даже самое известное, выходило из-под ее смычка преображенным.

Отец сохранил все некрологи, но особенно ему нравился «таймсовский»: он даже заказал для него багет и повесил на стену рядом со сценическими фото своей жены. Элоди читала его много раз, и один пассаж накрепко засел в ее памяти: «Лорен Адлер своим талантом открывала окно из мира обыденного в мир высокого, и через него мы видели чистоту, непорочность, истину. Таков был ее дар слушателям: благодаря музыке Лорен Адлер многие из нас познали то, что религиозные люди именуют Богом».

Судя по надписи на кассете, концерт был сыгран в 1987-м в Королевском Альберт-холле, а этот конкретный фрагмент назывался «Концерт Дворжака для виолончели с оркестром си минор, опус 104». Элоди сделала пометку в своем списке.

Теперь мать играла одна, без аккомпанемента, а оркестранты – море плохо различимых лиц, женских, сосредоточенных, и мужских, в очках с темными оправками, – сидели за ее спиной очень тихо. Звуки виолончели проникали в самую душу, так что у Элоди мурашки бежали по спине.

Лорен Адлер всегда считала, что в записи нет жизни. «Таймс» напечатала интервью с ней, в котором она рассказывала, что живой концерт – это когда страх, надежда и радость встречаются на краю пропасти – ни с чем не сравнимое переживание, которое в равной мере разделяют исполнители и слушатели и которое теряет всякую силу, будучи

запечатленным для вечности. Но у Элоди были только записи. Никаких воспоминаний о музицирующей матери она не сохранила. В детстве, еще совсем малышкой, Элоди раз или два водили на ее концерты, и, конечно, она слышала ее репетиции дома, но все равно не помнила, как играла мать, – то есть не могла разделить впечатления от материнской игры и впечатления от игры других исполнителей, полученных гораздо позже.

Она ни за что не призналась бы в этом отцу, который глубоко верил в то, что Элоди всю жизнь носит эти впечатления в своем сердце; больше того, что именно они во многом определяют то, какая она есть.

– Твоя мама играла для тебя, когда была беременна, – повторял он ей столько раз, что она уже со счета сбилась. – Она говорила, что биение сердца – это первая музыка, с которой начинается жизнь всякого человека, и что каждый ребенок рождается, уже зная ритм материнской песни.

Он часто говорил с Элоди так, словно их воспоминания были общими.

– Помнишь, как она играла перед королевой, а в конце публика встала и целых три минуты аплодировала стоя? А помнишь тот вечер, когда она сыграла все шесть сюит Баха на одном променад-концерте?

Но Элоди не помнила. Она совсем не знала свою мать.

Она закрыла глаза. Отец тоже был частью проблемы. Его горе было всепроникающим. Вместо того чтобы позволить времени закрыть пропасть, которую смерть Лорен Адлер оставила в его жизни – вместо того чтобы помочь ей закрыться, – он своей непрекращающейся тоской, своим отказом отпустить жену делал эту пропасть еще шире, еще неодолимее.

Один раз – после трагедии прошли уже недели – Элоди играла в саду и вдруг услышала разговор двух добросердечных дам, которые приезжали к отцу предложить свою помощь, а теперь возвращались к машине.

– Хорошо, что девочка еще маленькая, – сказала одна другой, подходя к калитке. – Вырастет, и забудет, и никогда не узнает, чего лишена.

Отчасти они были правы: Элоди действительно забыла. Ей просто не хватало воспоминаний, чтобы заполнить те прорехи, которые смерть матери оставила в ее жизни. И все-таки женщины были правы не до конца, поскольку Элоди точно знала, чего именно она лишена. Забыть об этом ей не позволяли.

Она открыла глаза.

На улице стало совсем темно; ночь смахнула легкую паутину сумерек. В комнате трещал статикой экран телевизора. Элоди не заметила, когда кончилась музыка.

Соскочьзнув с подоконника, она подошла к видеомагнитофону, вынула из него одну кассету, взяла следующую.

На этой было написано: «Моцарт, струнный квинтет № 3 до мажор, К. 515, Карнеги-холл, 1985», и Элоди несколько минут стояла, глядя начало. Видео было снято в документальном стиле, музыке предшествовала краткая биографическая справка о каждом из пяти молодых музыкантов – трех девушках и двух молодых людях, – которые приехали в Нью-Йорк, чтобы сыграть вместе. Рассказ диктора об исполнителях шел на фоне кадров с матерью Элоди, снятых на репетиции, – вот она смеется, глядя вместе со всеми, как темноволосый кудрявый скрипач дурачится со смычком.

Элоди узнала в нем друга матери, американца, который вел машину, когда они с матерью погибли, возвращаясь из Бата в Лондон. Она помнила его, но смутно: американец с женой раз-другой обедали у них, когда приезжали в Англию. Ну и конечно, в газетах после катастрофы печатали его фотографии. Да и дома, в коробке со снимками, которую отцу так и не хватило духу разобрать, попадались фото с ним.

С минуту Элоди внимательно смотрела на скрипача, наблюдая, как камера следует за каждым его движением, и пытаясь определить, какие чувства вызывает в ней вид человека, который, пусть и непреднамеренно, лишил ее матери; человека, чье имя сами обстоятельства их смерти навечно связали с ее именем. Но все, что приходило ей в голову, – это мысль о том, как он невозможно молод и талантлив, и еще – да, миссис Берри права: единственный намек на справедливость жизни заключен в той слепоте, с которой она раздает смертельные удары. Ведь у него тоже остались жена и дети.

Теперь на экране была Лорен Адлер. Правду писали в газетах: от нее захватывало дух. Наблюдая за выступлением квинтета, Элоди делала пометки, пытаясь решить, подойдет оно для свадебной церемонии или нет и, если да, какие фрагменты взять.

За этой пленкой последовала другая.

1982 год, мать с Лондонским симфоническим играла концерт для виолончели Элгара, опус 85, когда зазвонил телефон. Элоди взглянула на часы. Было уже поздно, и у нее сразу мелькнула тревожная мысль: что-то с отцом. Но это оказалась Пиппа.

Элоди вспомнила про презентацию книги в издательстве на Кингс-кросс; подруга наверняка едет оттуда домой и хочет немного поболтать.

Палец Элоди завис над кнопкой ответа, но тут звонок оборвался.

Она решила, что перезвонит потом, поставила телефон на беззвучный режим и бросила его на диван.

Звонкий смех донесся через открытое окно снизу, и Элоди вздохнула.

Встреча с Пиппой оставила по себе чувство какого-то беспокойства. Да, Элоди не хотела давать ей фото викторианской женщины в белом, но дело было не только в этом. Просто, сидя в комнате, полной меланхолических созвучий, которые извлекала из виолончели ее мать, она поняла: причина в том, как Пиппа расспрашивала про записи.

Они уже говорили с ней об этом, когда Пенелопа только предложила использовать отрывки из выступлений Лорен Адлер для сопровождения церемонии бракосочетания. Пиппа тогда еще поинтересовалась, как к этому отнесется отец Элоди, ведь тот до сих пор не мог говорить о жене без слез. Честно говоря, Элоди и сама тревожилась, но оказалось, что ей даже приятно повторять подруге слова Пенелопы: ничего лучшего и пожелать нельзя, разве что сама Лорен Адлер присутствовала бы на церемонии.

И вот сегодня, когда Элоди снова повторила ей слова свекрови, Пиппа не сменила тему, а спросила, как она сама к этому относится.

Теперь, наблюдая, как Лорен Адлер на экране подводит концерт Элгара к щемящему финалу, Элоди подумала, что у Пиппы, возможно, имелись на то причины. В их дружеском дуэте именно она была динамичным началом, привлекала к себе внимание, а Элоди, застенчивая от природы, предпочитала держаться на втором плане; быть может, теперь, когда Элоди искала опоры в выдающейся родительнице, Пиппа ревновала, чувствуя, что на второй план отодвигают ее?

Но Элоди тут же устыдилась этой мысли. Пиппа – хорошая подруга, которая сейчас занята придумыванием свадебного платья для Элоди. И она никогда не делала и не говорила ничего такого, что выдавало бы ее зависть к происхождению Элоди. Больше того, Пиппа была одной из тех немногих, кто вообще не интересовался Лорен Адлер. Элоди уже привыкла: едва услышав о том, чья она дочь, люди из кожи вон лезут, задавая ей разные вопросы, как будто надеются через нее приобщиться к таланту и трагедии Лорен Адлер. Но не Пиппа. За годы их дружбы она тоже задавала Элоди немало вопросов о ее матери – скучает ли Элоди о ней, помнит ли, какой она была, – но ее всегда интересовала Лорен Адлер именно в роли матери. Как будто и музыка, и слава были вещами интересными, но к тому, что действительно важно, отношения не имели.

Элгар кончился, и Элоди выключила телевизор.

Алистера, который вечно уговаривал ее «отоспаться как следует» в выходные, не было рядом, так что она запланировала ранний подъем и долгую прогулку вдоль реки к востоку. Ей хотелось попасть к Типу, своему двоюродному деду, еще до того, как тот откроет магазин.

Она приняла душ, скользнула в постель, закрыла глаза и приказала

себе спать.

Ночь была теплой, и сон не шел. Откуда-то взявшаяся тревога кружила над ней, словно комар, который ищет открытого местечка, чтобы сесть и вонзить свое жало.

Элоди легла на один бок, потом на другой, повернулась опять.

Она вспомнила миссис Берри с ее мужем Томасом и задумалась: правда ли, что любовь женщины – да еще такой крохотной, как миссис Берри, – пять футов «в прыжке» и худенькой, в чем душа держится, – может придать уверенность мужчине, растопить его страхи.

Сама Элоди много боялась. Наверное, нужно время, размышляла она, чтобы уверенность в любви другого человека окрепла? Может, и она когда-нибудь увидит, что любовь Алистера к ней сделала ее бесстрашной?

А вдруг он любит ее не так, как следует? Как узнать?

Вот, например, отец – он точно любил мать так, как надо, но храбрым от этого не стал, скорее, наоборот: утрата сделала его робким. И Эдвард Рэдклифф тоже любил так глубоко, что стал уязвимым. «Я люблю ее, я люблю ее, я люблю ее, и если не смогу быть с ней, то наверняка сойду с ума, потому что, когда я не с ней, мне страшно...»

«Люблю ее». Элоди вспомнила лицо женщины со снимка. Но нет, это уже ее собственная одержимость. Ничто не позволяет связать женщину в белом с Эдвардом Рэдклиффом; да, ее фото лежало в его сумке, но заключенное в рамку, которая принадлежала Джеймсу Стрэттону. Нет, Рэдклифф писал о Фрэнсис Браун, невесте, чья безвременная кончина, как везде пишут, стала причиной его гибели.

«Если не смогу быть с ней...» Элоди перекатилась на спину. Странно, разве мужчина станет писать так о женщине, с которой уже помолвлен? Ведь помолвка означает как раз противоположное: что он уже с ней.

Конечно, он мог написать это после ее смерти, оказавшись на краю той самой бездны отсутствия любимого человека, в которую заглянул когда-то и продолжает глядеть ее отец. И тогда же Рэдклифф нарисовал дом? Существует ли он на самом деле? Может, художник жил в нем какое-то время после смерти возлюбленной – пытался оправиться от потери?

Мысли Элоди металась над ней стайей черных птиц, хлопали крыльями над ее головой.

Отец, мать, свадьба, женщина на фотографии, рисунок дома, Эдвард Рэдклифф с невестой, миссис Берри с мужем, маленький немецкий мальчик один на пороге дома; жизнь, страх, неизбежность смерти...

Элоди поняла, что ее мысли будут теперь бесплодно ходить по кругу, как это бывает только ночью, и решила встать.

Отбросив простыню, она выскользнула из постели. Такое случилось с ней не в первый раз, и она точно знала, что уснуть в ближайшее время не удастся. Лучше заняться чем-нибудь полезным.

Окна были открыты, знакомые звуки ночного города успокаивали. В доме напротив было темно.

Элоди зажгла лампу и сделала себе чашку чая.

Загрузила в видеомэгнитофон новую кассету, на этот раз с надписью: «Бах, сюита 31 соль мажор, Зал королевы Елизаветы, 1984», опустила в бархатное кресло и подобрала под себя ноги.

Стрелки на часах уже ушли за полночь, и день сменился следующим, когда Элоди нажала кнопку воспроизведения и стала смотреть, как красивая молодая женщина, у чьих ног лежал весь мир, вышла на сцену, подняла руку, отвечая на аплодисменты зрителей, села, взялась за смычок виолончели и стала творить волшебство.

Глава 7

Двоюродный дед жил в полуподвальной квартирке с выходом в сад, в дальнем конце Коламбия-роуд. Он был эксцентричным и замкнутым, но, когда мать Элоди была жива, регулярно приходил к ним обедать по выходным. В детстве Элоди его побаивалась; он уже тогда казался старым, ее приводили в трепет кустистые брови, и пальцы, гибкие, словно усики гороха, и то, как дед вдруг начинал ерзать, если разговор переходил на неинтересную для него тему. К тому же если Элоди отчитывали за то, что она опускала кончики пальцев в теплый воск подтаявших свечей и оставляла на скатерти отпечатки, то дедушке Типу, когда он проделывал то же самое – собирал воск в большую кучку на своем краю стола и выкладывал из него филигранные узоры на льняной скатерти, а потом, наскучив этим занятием, просто сметал все в сторону, – никто не говорил ни слова.

Мать Элоди, единственный ребенок в семье, очень любила своего дядю. Их дружба началась, когда Лорен была еще маленькой, и он целый год прожил у них в доме.

– Она всегда говорила, что он не такой, как другие взрослые, – вспоминала Элоди слова отца. – Говорила, что ее дядя Тип – как Питер Пен, мальчик, который отказался взрослеть.

Элоди убедилась в правоте его слов вскоре после смерти матери. Среди разных доброжелательно настроенных взрослых Тип, со своей волшебной коробочкой из глины, сплошь покрытой ракушками и камешками, осколками керамической плитки и сверкающими кусочками стекла – одним словом, теми сокровищами, которые мгновенно выхватывает из мусора острый взгляд ребенка, когда взрослые просто проходят мимо, – занял особое место.

– А почему она волшебная? – спросила его Элоди.

– Потому что в ней магия, – ответил он без тени снисходительной улыбки, которую обычно надевают взрослые, говоря о таких вещах. – Как раз для тебя. У тебя ведь есть сокровища?

Элоди кивнула, думая о крохотном золотом колечке с печаткой, которое мама подарила на Рождество.

– Ну вот, теперь у тебя есть для них надежное хранилище.

Тип сделал это по доброте душевной – заговорил с ребенком на языке детства, пока взрослые были заняты своим горем. Они мало общались с тех

пор, но Элоди не забыла его доброту и очень хотела, чтобы он пришел к ней на свадьбу.

Утро было яркое, ясное, и Элоди, шагая по тротуару вдоль реки, радовалась, что стала его частью. Накануне она так и заснула в кресле, проведя всю ночь в тревожном полусне, пока на заре ее не разбудили птицы. Но, подходя к мосту Хаммерсмит, она поняла, что ночь не прошла для нее даром: шею ломило, в голове крутилась одна и та же виолончельная фраза.

Над водой у моста кружили чайки, дальше, у лодочных сараев, готовились к раннему старту гребцы, обрадованные хорошей погодой. Элоди встала рядом с одной из серо-зеленых опор моста и наклонилась над парапетом, глядя вниз, на крутящиеся волны Темзы. В 1919 году с этого места прыгнул в реку лейтенант Вуд, чтобы спасти тонущую женщину. Элоди вспоминала о нем каждый раз, когда проходила здесь. Женщина выжила, а Вуд умер от столбняка: спасая ее, он получил травму. Какая нелепая судьба: всю Первую мировую лейтенант служил в королевской авиации, а погиб на гражданке, вытаскивая из воды человека.

Когда она вышла на набережную Челси, Лондон уже просыпался. За железнодорожным мостом Чаринг-кросс, у здания Королевского суда, Элоди села на автобус номер 26. Ей удалось найти свободное местечко наверху, в переднем ряду, над кабиной водителя: детское удовольствие, которое до сих пор не оставляло ее равнодушной. Автобус проходил через всю Флит-стрит, въезжал в Сити, шел мимо Олд-Бейли и Святого Павла, затем по Треднидл-стрит и у Бишопсгейт поворачивал на север. Сидя наверху и глядя по сторонам, Элоди, как обычно, представляла себе, как эти улицы могли выглядеть в девятнадцатом веке, в Лондоне Джеймса Стрэттона.

Она вышла на Шорди-Хай-стрит. Под железнодорожным мостом давали урок хип-хопа: ребяташки танцевали, а родители стояли в сторонке, потягивая кофе навынос из картонных стаканчиков. Элоди перешла проезжую часть и углубилась в лабиринт переулков, срезая путь на Коламбия-роуд, где уже открывались магазины.

Коламбия-роуд – улица, на которую не забредают случайные прохожие, но всегда людная. Лондон – большой специалист по таким местам: невысокие кирпичные дома-террасы с витринами – бирюзовыми, желтыми, красными, зелеными и черными от винтажных нарядов, бижутерии ручной работы, самодельных украшений и вообще всякого старинного барахла, никому, в общем-то, не нужного, но так заманчиво разложенного и расставленного, что руки поневоле тянутся к кошельку. В

воскресенье здесь, как всегда, откроется цветочный рынок: воздух между домами сгустится от ароматов, тротуары заполнятся лотками с хрупким живым товаром, начнется толчея – ни пройти ни проехать; но сейчас, ранним утром, улица была почти пуста.

Сбоку у дома Типа была железная калитка, за которой, окаймленная буйно разросшимися фиалками, начиналась дорожка в сад. На белом кирпичном пилястре фасада чернела трафаретная надпись: «ПОДВАЛ», угольно-черный палец показывал направление. Оказалось, что калитка не на замке, и Элоди вошла. Дорожка привела ее в дальний угол сада, к сараю с резной деревянной вывеской на крыше: «Студия».

Дверь студии была приоткрыта. Элоди толкнула ее и тут же увидела – как, впрочем, и всегда – невероятную коллекцию любопытных предметов. Синий гоночный велосипед привалился к печатному прессу времен королевы Виктории, вдоль стен выстроились деревянные верстаки. Все они были уставлены разными старомодными штуковинами: лампы, часы, радиоприемники и пишущие машинки боролись за место с вышедшими из употребления металлическими наборными кассами, полными старинных шрифтов. Ящики ломались от причудливых запчастей и инструментов неясного назначения, а на стенах висели картины маслом и рисунки пером, в огромных количествах – на зависть любой картинной галерее.

– Эй! – окликнула она, входя. И сразу увидела двоюродного деда, сидевшего за высоким столом у задней стены студии. – Тип, привет.

Он взглянул на нее поверх очков, но не выказал удивления.

– Доброе утро. Передай мне, пожалуйста, напильник, самый маленький.

Элоди сняла со стены инструмент, на который он показывал, и протянула ему.

– Так-то лучше, – сказал он, делая крохотный надрез. – Ну... что там у вас новенького? – спросил он так, будто Элоди отлучилась всего на час, чтобы прийти до ближайшего гастронома.

– Я замуж выхожу.

– Замуж? Тебе разве не десять лет?

– Да нет, чуть больше. Надеюсь, ты придешь на свадьбу. Я приглашение тебе послала.

– Вот как? А я его получил?

Тип кивнул в сторону стопки бумаг и газет на краю стола, что стоял у входа. Между счетами за электричество и брошюрами агентств по продаже недвижимости Элоди сразу увидела кремового цвета конверт из хлопковой бумаги, выбранный и подписанный самой Пенелопой. Невскрытый.

– Можно? – спросила она, вынимая конверт из кучи.
– Зачем, раз ты сама пришла? Просто расскажи мне все, что я должен знать.

Элоди села на скамью напротив Типа:

– Свадьба через месяц, в субботу, двадцать шестого. Делать ничего не надо, только приехать. Папа сказал, что с удовольствием отвезет тебя туда и обратно.

– Отвезет?

– Свадьба будет в Котсуолде, в деревне под названием Сауторп.

– Сауторп. – Тип сосредоточился на линии будущего разреза. – Почему именно Сауторп?

– Одна знакомая матери моего будущего мужа сдает там особняк для свадеб. Я там еще не была, но в следующие выходные поеду и погляжу. А что, ты знаешь эту деревню?

– Да, симпатичное местечко. Правда, я в нем давно не бывал. Надеюсь, прогресс его не особо испортил. – Он поднес лезвие к японскому точильному камню, потом поднял его к свету, проверяя, как получилось. – Это все тот же парень? Как его, Дэниел, Дэвид...

– Дэнни. Нет.

– Жаль, мне он нравился. Интересные идеи насчет системы здравоохранения, как я помню. Он все еще пишет диссертацию?

– Кажется, да.

– Что-то насчет введения у нас перуанской системы?

– Бразильской.

– Точно. Ну а твой нынешний? Как его зовут?

– Алистер.

– Алистер. И он тоже врач?

– Нет, он из Сити.

– Банкир?

– Бизнесмен.

– А. – Он протер лезвие тряпочкой. – И что, хороший, наверное, человек?

– Да.

– Добрый?

– Да.

– Веселый?

– Пошутить любит.

– Это хорошо. Важно, чтобы тот, кто рядом, всегда мог тебя рассмешить. Так говорила моя мать, а уж она все про жизнь понимала. –

Отточенным лезвием Тип обвел на своем рисунке кривую. Он работал над речным пейзажем; Элоди видела, что извилистая линия изображает текущую воду. – Знаешь, твоя мама тоже приходила ко мне перед своей свадьбой. Сидела прямо там, где ты сейчас сидишь.

– Тоже хотела получить от тебя письменный ответ на приглашение?

Тип не засмеялся в ответ на шутку:

– Пришла поговорить о тебе, в некотором роде. Накануне она как раз обнаружила, что беременна. – Обеими руками он разгладил кусок линолеума; большой палец задержался на узкой клиновидной выщербинке в верхнем крае. – Это было тяжелое для нее время; она плохо себя чувствовала. Я за нее боялся.

Элоди смутно помнила, как ей говорили, что мать мучилась сильными приступами тошноты по утрам. Если верить отцу, беременность даже заставила Лорен Адлер отменить выступление, чего почти никогда не бывало.

– Не думаю, чтобы я была долгожданным ребенком.

– Да уж, скорее нет, чем да, – согласился он. – Зато любимым, а это куда важнее.

Странно было представлять себе мать тридцать лет назад, как она, еще совсем молодая, сидит на этом самом месте и говорит о ребенке, который станет ею, Элоди. Ей вдруг стало жалко мать. Это было странно, из-за отсутствия привычки думать о ней как о ровне.

– Боялась, что ребенок помешает ее карьере?

– Ну а как же? Времена-то были другие. Все было сложнее. Ей повезло, что Уинстон, твой папа, вызвался жениться.

То, как он говорил об отце – как о мастере по ремонту, который пришел и уладил кризис, связанный с ее появлением на свет, – заставило Элоди внутренне ощетиниться.

– Вряд ли с его стороны это было жертвой. Он гордился ею. Просто его свободомыслие опережало время. Он никогда не считал, что раз она женщина, то с рождением ребенка должна бросить работу.

Тип снова взглянул на нее поверх очков. Собрался что-то сказать, но передумал, и между ними повисло неловкое молчание.

Элоди хотелось защитить отца. И себя, и мать. Они были уникальной семьей, потому что Лорен Адлер была уникальной. И все же ее отец не был мучеником и не заслужил жалости. Он любил преподавать и много раз говорил Элоди, что именно в этом обрел свое призвание.

– Папа всегда был очень проницателен, – продолжала она. – Он и сам был очень хорошим музыкантом, но понимал, что ее талант совсем иного

уровня; знал, что ее место на сцене. Он был самым большим ее поклонником.

Сказанные вслух, эти слова показались ей ужасно банальными, но Тип засмеялся, и она почувствовала, как странное напряжение между ними исчезло.

– В этом ты права, – сказал он. – Тут я с тобой спорить не буду.

– Не всем же быть гениями.

Он ответил доброй улыбкой:

– Мне ли этого не знать.

– Я тут смотрела записи ее концертов.

– Вот как?

– Мы хотим проиграть какой-нибудь отрывок на церемонии, вместо обычного органа. Я должна выбрать, но это непросто.

Тип отложил лезвие:

– В первый раз я услышал ее игру, когда ей было четыре. Она играла Баха. Я в ее годы хорошо если с ботинками сам справлялся.

Элоди улыбнулась:

– Ботинки – штука сложная, особенно со шнурками. – И она принялась сгибать и разгибать уголок конверта с приглашением, который лежал на скамье рядом с ней. – Так странно видеть ее на экране. Мне казалось, я должна буду ощутить какую-то связь, испытать что-то вроде узнавания...

– Ты была совсем маленькой, когда ее не стало.

– Старше, чем она, когда ты услышал, как она играет Баха. – Элоди покачала головой. – Нет, все-таки она была моей матерью. Я должна помнить больше.

– Не все воспоминания так очевидны. Мой отец умер, когда мне было пять, и я тоже многого не помню. Но даже теперь, семьдесят семь лет спустя, я не могу пройти мимо человека с трубкой в зубах, чтобы не услышать стук пишущей машинки.

– Он курил трубку, когда работал?

– Он курил, когда работала мать.

– Ну конечно.

Прабабушка Элоди была журналисткой.

– До войны, в те вечера, когда отцу не надо было в театр, они часто сидели вдвоем за круглым деревянным столом на кухне. Он наливал себе пива, она – виски, они разговаривали, смеялись, а потом она бралась за какую-нибудь очередную статью. – Он пожал плечами. – Все это я помню не в картинках, не как в кино. Слишком много всего я видел с тех пор, зрительные образы затерлись. Но запах табачного дыма из трубки до сих

пор вызывает во мне физическое ощущение того, что я маленький, лежу в постели и мирно уплываю в сон, довольный тем, что папа и мама дома, вместе. – Тип говорил, не отрывая взгляда от лезвия. – Наша память сохраняет все, но некоторые воспоминания лежат на большой глубине. И нужен особый крючок, чтобы зацепить их и поднять на поверхность.

Элоди задумалась:

– Я помню, как она рассказывала мне сказки, когда укладывала меня спать.

– Ну вот, видишь.

– Особенно одну, которая до сих пор звучит у меня в голове. Я всегда думала, что это история из книжки, но папа говорит, что мать услышала ее в детстве. Точнее, – Элоди выпрямила спину, – он говорит, что это семейная история, про лес и про дом в излучине реки, и кто-то рассказал ей эту сказку в детстве.

Тип вытер руки об штаны:

– Пора нам чайку попить.

Доковыляв до стоявшего в углу холодильника, он взял с него чайник, весь в пятнах краски.

– Ты ее когда-нибудь слышал? Знаешь, о какой сказке я говорю?

Он показал ей пустую кружку. Элоди кивнула.

– Я знаю эту историю, – сказал Тип, раскрывая сначала один пакетик с чаем, потом другой. – Это я рассказал ее твоей маме.

В студии было тепло, но Элоди вдруг почувствовала, как холодок пробежал по ее голым рукам и все волоски на них встали дыбом.

– Я жил у них одно время – в смысле, у моей сестры Беатрис. Твоя мама была тогда еще совсем маленькой. Симпатичная была малышка. И такая умница, даже без музыки. Сам я тогда был в полной заднице – потерял работу, жену, квартиру; но детям на такие вещи плевать. Я-то, конечно, предпочел бы, чтобы меня оставили в покое и дали погружаться в трясину отчаяния, но не тут-то было. Твоя мать ходила за мной по пятам из комнаты в комнату, неотвязная, как дурной запашок. Я просил сестру приструнить малышку, но Беа всегда поступала так, как считала нужным. Вот тогда я и рассказал твоей маме эту историю, чтобы хоть несколько минут отдохнуть от ее вездесущего жизнерадостного голоса, которым она то комментировала каждый мой шаг, то задавала мне вопросы. – Он с нежностью улыбнулся. – Мне приятно, что она рассказывала эту историю тебе. Истории надо рассказывать, иначе они умирают.

– Это была моя любимая сказка на ночь, – сказала Элоди. – Только для меня в ней все было по-настоящему. Я думала о ней в те ночи, когда матери

не было дома, видела ее во сне.

Запел чайник.

– Так было и со мной в детстве.

– Тебе рассказала ее мама?

– Нет. – Тип достал из холодильника стеклянную бутылку с молоком и плеснул по чуть-чуть в каждую чашку. – В детстве меня эвакуировали из Лондона; точнее, мы уехали все вместе: мама, брат с сестрой и я. Неофициально. Это мама все устроила. В наш дом попала бомба, и мама нашла нам место в деревне. Изумительный старый дом, а какая мебель! Словно первые хозяева вышли погулять, да так и не вернулись.

Элоди тут же вспомнился этюд из архива – точнее, ее догадка о том, что сказку могли взять из книги с картинками, для которой и делал наброски художник. Где, как не в старом деревенском доме, викторианская книжка с картинками могла пролежать в чудном старинном шкафу полвека, пока на нее не наткнулся городской мальчик? Ей живо представилась эта сцена с Типом в роли мальчика.

– Так ты ее там прочитал?

– Я ее не читал. Эта история не из книги.

– Значит, тебе ее кто-то рассказал? Кто же?

Элоди заметила, что Тип слегка замялся, прежде чем ответить.

– Друг.

– Ты познакомился с ним в деревне?

– Сахару?

– Нет, спасибо. – Элоди вспомнила про фото, которое она сняла на телефон. Пока Тип заканчивал приготовления к чаю, она достала его, заметила еще один пропущенный звонок от Пиппы и нашла фото наброска. И протянула ему, пока он ставил перед ней чашку.

Его пушистые, словно ватные, брови поползли вверх, и он взял телефон.

– Откуда у тебя это?

Элоди стала объяснять про архив, про коробку, найденную под стопкой портьер в старом гардеробе, про сумку.

– Стоило увидеть этот рисунок, как меня будто ущипнули: мне показалось, что я знаю это место, хотя совершенно точно никогда там не была. А потом я сообразила, что это тот самый дом, из сказки. – Она внимательно следила за его лицом. – Это ведь он, да?

– Да, он самый. А еще это дом, в котором мы жили в эвакуации.

У Элоди даже от сердца отлегло. Значит, она не ошиблась. Это действительно дом из ее сказки. И он действительно существует. Ее

двоюродный дедушка Тип жил там в войну, кто-то из местных придумал и рассказал ему эту сказку, пленившую воображение впечатлительного ребенка, а он, став взрослым, пересказал ее своей племяннице.

– А знаешь, – сказал Тип, все еще разглядывая рисунок, – твоя мать тоже приходила ко мне и спрашивала об этом доме.

– Когда?

– Примерно за неделю до смерти. Мы тогда пообедали и пошли гулять, а когда вернулись, она спросила меня про дом в деревне, где я жил, пока немцы бомбили Лондон.

– И что она хотела узнать?

– Сначала только то, какой он был. Вспоминала, что в детстве, когда я рассказывал ей сказку, дом виделся ей громадным, как волшебный замок. А потом стала спрашивать, помню ли я, где именно он находится. Ну, адрес, название ближайшей деревни.

– Она хотела туда поехать? Зачем?

– Я знаю только то, что сейчас сказал. Она приходила и спрашивала про дом из сказки. Больше я ее не видел.

Голос его осип от нахлынувших эмоций, и он двинул пальцем, чтобы убрать изображение дома с экрана. Но вместо этого случайно вывел предыдущую картинку. Элоди видела, как от его лица отхлынула кровь.

– В чем дело? – забеспокоилась она.

– Откуда у тебя это? – Он протянул ей телефон с другим снимком – портретом женщины в белом.

– Оригинал я нашла на работе, – сказала она. – Лежал в той же сумке, что и альбом. А что? Ты ее тоже знаешь?

Но Тип молчал, устремив взгляд на портрет, и, похоже, даже не слышал вопроса.

– Дедушка Тип? Ты знаешь, как ее зовут?

Он поднял на нее глаза. Но в них больше не было присущей ему открытости. Так смотрит ребенок, когда его уличают во лжи, а он начинает отпираться.

– Не смейся, – сказал он. – Откуда? Да я ее в жизни не видел.

IV

Еще не рассвело, и я сижу в ногах у моего гостя. Это очень интимный процесс – рассматривать человека, когда он спит; раньше я бы наверняка сказала, что нет другого момента, когда человек настолько уязвим, как во сне, но теперь я по опыту знаю, что это не верно.

Помню, как я впервые провела ночь в студии Эдварда. Настала полночь, а он все писал, и лишь когда свечи в зеленых стеклянных бутылках прогорели до самого горлышка, истаяв волнистыми лужицами воска, и продолжать было нельзя, он остановился. Мы заснули на подушках, которые он бросил прямо на пол, поближе к печи. Я проснулась раньше, наклонный стеклянный потолок над нами медленно светлел, и я, повернувшись на бок и подперев голову рукой, наблюдала, как сны скользят за его веками.

Интересно, что снится этому молодому человеку. Вчера уже темнело, когда он вернулся, и с его приходом энергия дома сразу изменилась. С порога он направился прямо к себе, в комнату в старой пивоварне, которая стала его лагерем, а я пошла за ним. Здесь он одним плавным движением стянул с себя рубашку, и у меня не хватило сил отвести взгляд.

Он красив так, как бывают красивые мужчины, не думающие о своей красоте. Широкий торс и крепкие руки, как у тех, кто много работает и часто поднимает тяжести. Такие тела были у мужчин, которые работали в гаванях на Темзе.

Когда-то я выходила из комнаты, если незнакомый мужчина начинал раздеваться; просто удивительно, до чего глубоко сидят в нас заученные правила. Но теперь мой взгляд ничем не может повредить ему, и я продолжаю наблюдение.

Кажется, у него сводит шею, потому что он часто трет ее рукой; вот и теперь, наклоняя голову то в одну сторону, то в другую, он идет в пристроенную к комнате крошечную ванную. Ночь сегодня теплая и влажная, и я не могу отвести глаз от его шеи в том месте, где заканчиваются волосы и где только что лежала его ладонь.

Как мне хочется прикоснуться к нему.

Как мне не хватает прикосновений.

Тело Эдварда не напоминало тела мужчин из гавани, и все же он был сильнее, чем я могла бы ожидать от человека, который целыми днями водил кистью по холсту да смотрел то на натурщицу, то на ее изображение. Я

помню его при свете свечей; в лондонской студии и здесь, в доме, в ту грозовую ночь.

Мой гость поет в душе. Неважно поет, но ведь он не знает, что его слушают. Я выросла в Ковент-Гардене и иногда приходила под окна театра послушать, как репетируют оперные певцы. Правда, рано или поздно всегда появлялся какой-нибудь распорядитель, начинал кричать и размахивать руками, и я убегала подальше.

Хотя мой гость не закрыл за собой дверь, я все равно его не вижу – в ванной так мало места, что пар заполнил ее целиком, и он, покончив с мытьем и встав перед зеркалом, протер его рукой. Я стояла у него за спиной, так близко, что если бы могла дышать, то непременно затаила бы дыхание. Раз-другой, когда свет падал под нужным углом, я видела свое отражение в зеркале. Лучше всего я вижу себя в круглом зеркале в столовой, – видимо, это как-то связано с его формой. Изредка мне удается сделать так, чтобы меня видели и другие. Нет, заставить их я не могу, потому что не знаю, как это сделать.

Но этот гость меня не увидел. Он провел ладонью по щетине у себя на лице и пошел за одеждой.

Мне так не хватает моего лица. И голоса. Настоящего голоса, слышного другим людям.

До чего же одиноко бывает в лиминальном пространстве.

Миссис Мак жила с человеком, которого все звали «Капитан»; сначала я думала, что он ее муж, но потом выяснилось, что это брат. Худой, настолько же, насколько она была кругла, он ходил странной кренищей походкой, припадая на деревянную ногу – результат столкновения с экипажем на Флит-стрит.

– Это он в колесе ногой застрял, – рассказывал кто-то из уличных ребятишек, живших у их дома. – Так его и тащило по мостовой целую милю, а потом нога хр-рясь! – и оторвалась, начисто.

Деревянная нога была хитрой самодельной штуковиной, которая крепилась под коленом целым набором кожаных ремешков с серебряными пряжками. Ее изготовил для Капитана один его друг, который жил где-то в доках. Капитан страшно гордился своей искусственной конечностью и осыпал ее нескончаемыми знаками внимания: полировал пряжки, вощил ремешки, шлифовал песком деревяшку, заглаживая каждый заусенец. В конце концов дерево сделалось таким гладким, а ремешки и пряжки – такими навощенными и начищенными, что фальшивая нога стала попросту соскальзывать с предназначенного ей места, не раз и не два вызывая

настоящий переполох среди тех, кто не был знаком с превратностями судьбы Капитана. Говорят, он любил отстегнуть ногу, взять ее на манер дубинки и погрозить тем, чье поведение вызывало у него особое недовольство.

Я была не единственным ребенком, кто очутился на попечении у миссис Мак. Наряду с другими ее делами, которые обсуждались исключительно полупшепотом и на каком-то птичьем языке, миссис Мак занималась еще и тем, что брала детей на воспитание. Каждую неделю она давала в газете объявление:

ТРЕБУЮТСЯ

Приличная особа, вдова, без маленьких детей, примет на воспитание или усыновит ребенка любого пола.

* * *

За небольшое вознаграждение подательница сего объявления обеспечит ребенку уютный дом и родительскую заботу; детей старше десяти лет не предлагать.

* * *

УСЛОВИЯ

5 шил. в неделю, усыновление младенцев до трех месяцев – 13 фунтов.

Я не сразу поняла, почему младенцы до трех месяцев заслуживают отдельного упоминания, но у нас была девочка постарше, которая знала всего понемножку, и от нее я услышала, что миссис Мак и раньше усыновляла младенцев. Лили Миллингтон, так ее звали, рассказала мне про

малыша Дэвида, и про малютку Бесси, и про близнецов, чьих имен никто уже не помнил. Как ни печально, все они оказались хилыми и скоро умерли. Я сразу решила, что миссис Мак просто ужасно не везет, и тут же поделилась этой мыслью с Лили Миллингтон, но та приподняла брови и ответила, что везение – или невезение – тут совершенно ни при чем.

Миссис Мак заявила, что взяла меня к себе только из расположения к отцу и Иеремии, которого, как выяснилось, хорошо знала; на меня у нее были особые виды, и она была уверена, что я ее не подведу. И вообще, добавляла она, устремив на меня суровый взгляд, мой папа лично заверил ее, что я девочка хорошая, которая всегда делает то, что велют, и не заставит отца краснеть из-за своего непослушания.

– Ты ведь хорошая девочка, скажи? – спросила она меня. – Твой папа не ошибся?

Я сказала, что да, я хорошая.

Дело в том, продолжила она, что в ее доме нахлебников нет, каждый зарабатывает себе на пропитание как может. А все, что я заработаю сверх того, она будет отсылать в Америку, моему отцу, чтобы помочь ему поскорее встать на ноги.

– Чтобы он поскорее послал за мной?

– Да, – подтвердила она и взмахнула рукой. – Вот именно. Чтобы он послал за тобой как можно скорее.

Лили Миллингтон расхохоталась, когда я сказала ей, что у миссис Мак есть на меня виды.

– О да, к делу она тебя пристроит, даже не сомневайся. Уж чего-чего, а изобретательности ей не занимать, нашей миссис Мак, да и от своего фунта мяса в день она тоже не готова отказаться.

– А потом я поеду в Америку, к папе.

Каждый раз, когда я произносила эти слова, Лили ерошила мне волосы точно так же, как это делал отец. Как было не полюбить ее, хотя бы только за это?

– Вот как, куколка? – говорила она и прибавляла: – То-то у вас все будет расчудесно. – А если бывала в особенно веселом настроении, спрашивала: – А для меня в твоём чемоданчике местечка не найдется?

Ее папаша был «негодником», заявила она, без него только лучше. Зато мать была актрисой («Ну, можно и так сказать», – фыркала миссис Мак всякий раз, когда это слышала), и сама Лили, когда была помладше, на Рождество всегда участвовала в постановках.

– «Газовые феечки», вот как нас называли. Потому что мы были у

самой рампы и на нас светили желтым.

Я легко могла представить себе Лили и феей, и актрисой, которой она собиралась стать.

– Я буду актрисой-антрепренером, как Элиза Вестрис или Сара Лейн, – обычно говорила она и проходила по кухне, подняв подбородок и широко, по-кукольному, расставив руки. Миссис Мак, когда оказывалась поблизости, никогда не упускала возможности запустить в нее через всю кухню мокрым полотенцем и прикрикнуть:

– А ну-ка, перемой лучше посуду да расставь по полкам! И не забывай, с какого боку твой кусок хлеба маслом намазан.

Лили Миллингтон обладала острым язычком и горячим нравом, а еще – настоящим талантом вызывать гнев миссис Мак, но при этом была веселой и сметливой девочкой. В те первые недели после беспамятства в комнатах над птичьей лавкой в Севен-Дайелз она стала для меня настоящим спасением. Рядом с ней жизнь казалась не такой мрачной. Лили Миллингтон придавала мне отваги. Мне кажется, не будь рядом ее, отсутствие отца просто убило бы меня, ведь я так привыкла быть дочерью часовщика, что без него даже не знала, кто я такая.

Странная, однако, штука – человеческий инстинкт самосохранения. Живя у миссис Мак, я не раз воочию наблюдала, как людей приучали терпеть нестерпимое. Да я и сама обучилась этому искусству. Лили Миллингтон взяла меня под свое крыло, и дело пошло.

Миссис Мак сказала чистую правду: в ее доме каждый сам зарабатывал себе на кусок хлеба. Но мне, в соответствии с природой ее «особых» видов на меня, была предоставлена короткая начальная передышка.

– Оглядишься у нас чуток, попривыкнешь, – сказала она, со значением кивая Капитану. – А я пока все подготавливаю.

Пока шла подготовка, я старалась как можно реже попадаться на глаза хозяйке. Для женщины, которая брала на воспитание детей, миссис Мак не особенно их любила и то и дело громко обещала, что не пожалеет ремня для всякого, кто будет «вертеться у нее под ногами». Дни тянулись долго, а уголков, где можно было спрятаться от миссис Мак, в доме оказалось не так много, и поэтому я увязывалась за Лили Миллингтон, когда та выходила по утрам на работу. Сначала это пришлось ей не по вкусу: она боялась, как бы из-за меня ее не «сцапали». Но потом смирилась и со вздохом сказала, что должен ведь кто-то показать мне, зеленой, что к чему в нашем ремесле, а не то я сразу попадусь, как только пойду на дело.

На улицах тогда царил настоящий хаос: по мостовым гремели пестрые

экипажи и тяжелые омнибусы на конной тяге; на рынок в Лиденхолл везли уток и поросят; продавцы всевозможной еды – тушеных бараньих ножек, маринованных улиток, пирогов с угрем – громогласно расхваливали свой товар на каждом углу. Дальше к югу тянулись темные, мощенные бульжником переулки Ковент-Гардена, приводившие нас на рыночную площадь, где лоточники, предлагавшие снедь вразнос, выстраивались в очереди к телегам фермеров, носильщики перетаскивали на головах целые пирамиды корзин с овощами и фруктами, и всюду сновали бродячие торговцы с птицами и змеями, щетками и метелками, Библиями и балладами, дольками ананаса ценой в пенни, фарфоровыми фигурками, связками лука, тростями и живыми гусями.

Вскоре я стала узнавать завсегдатаев рынка в лицо, а Лили Миллингтон позаботилась о том, чтобы и они меня запомнили. Моим любимцем стал фокусник-француз, который каждый второй день давал представления на южном углу рынка, ближайшем к Стрэнду. За его спиной был прилавок, с которого фермеры продавали яйца, крупные и свежие, так что вокруг постоянно толкался народ, и недостатка в зрителях у фокусника не было. Меня особенно привлекла его внешность: он был высок и строен, а цилиндр и узкие брюки-трубы подчеркивали изящество фигуры; он носил фрак и жилет, над щегольской темной эспаньолкой вились аккуратно подстриженные и подкрученные усики. Он работал молча, выразительно поглядывая темными глазами, которые казались еще больше оттого, что были подведены угольным карандашом, а монеты тем временем исчезали со стола и потом находились в шарфах и чепцах зевак. Еще он умел вынимать из карманов кошельки и незаметно снимать украшения со зрителей, не знавших, возмущаться или радоваться, когда обнаруживали свои ценности в руках этого экзотического чужака.

– Ты видела, Лили? – воскликнула я, когда впервые стала свидетельницей того, как он вытащил монету из-за уха какого-то ребенка. – Магия!

Но Лили Миллингтон только вцепилась зубами в морковку, которую взяла неизвестно где, и велела мне в следующий раз смотреть лучше.

– Иллюзия, – сказала она, перебрасывая длинную косу через плечо. – Магия – это для тех, кто может ее себе позволить, то есть не для таких, как мы.

Я еще только начинала понимать, кто такие «мы» и чем зарабатывала себе на хлеб Лили Миллингтон и другие. Но что бы они ни делали, мастерства им было не занимать, это я знала точно. В основном «работа» сводилась к многочасовым блужданиям по улицам. Время от времени,

приказав мне ждать, Лили ныряла в толпу и вскоре выныривала из нее. А иногда начиналась погоня: раскрасневшиеся, мы бежали, не знаю от кого, петляли по лабиринтам переулков, запруженных товарами и людьми.

Но бывало и по-другому. В такие дни, стоило нам выйти за двери дома миссис Мак, Лили Миллингтон становилась пугливой и походила на тощую задиристую кошку, не очень-то доверяющую людям. Она находила на рынке уголок, где оставляла меня, наказывая не отлучаться и ждать ее.

– Никуда не уходи, слышишь? И ни с кем не говори, ясно? Лили скоро за тобой придет.

Куда в таких случаях отправлялась Лили, я не знаю, но отсутствовала она дольше обычного, а возвращалась с угрюмым и замкнутым видом.

Именно в такой день ко мне впервые подошел человек в черном. Я ждала Лили уже целую вечность – так мне, по крайней мере, казалось – и, устав стоять, покинула уголок, где она меня оставила, подошла к кирпичной стене и присела, опершись на нее спиной. Я так засмотрелась на девочку-цветочницу, которая продавала розы, что увидела человека в черном пальто только тогда, когда он подошел и остановился прямо напротив меня. От его голоса я вздрогнула.

– Так-так, кто это тут у нас? – Он нагнулся, взял меня ладонью под подбородок и повернул к себе лицом, не прерывая внимательного осмотра. – Как тебя зовут, девочка? И кто твой отец?

Я уже открыла было рот, чтобы ответить, как вдруг, откуда ни возьмись, выскочила Лили и встала между нами.

– Вот ты где, – сказала она, вцепляясь своими худыми, но сильными пальцами мне в руку, – а я тебя по всему рынку ищу. Ма уже купила яйца, ждет нас. Пора нести их домой.

Я и глазом моргнуть не успела, а она уже тащила меня за собой, петляя по переулкам.

Но, немного не дойдя до Севен-Дайелз, остановилась. И развернула меня к себе: на щеках у нее горели два красных пятна.

– Ты ему что-нибудь сказала? – спросила она меня. – Тому типу?

Я потрясла головой.

– Точно?

– Он только хотел знать, как меня зовут.

– Ты ему сказала?

Я опять потрясла головой.

Она положила обе ладони мне на плечи, которые еще ходили ходуном от быстрого и долгого бега.

– Никому и никогда не говори, как тебя зовут на самом деле, слышишь

меня, Берди? Никогда. Особенно ему.

– Почему?

– Это опасно. Здесь нельзя называть свое имя. Когда ты выбираешься отсюда, тебе надо становиться кем-нибудь другим, иначе никак.

– Как в фокусе?

– Точно.

А потом она рассказала мне про рабочий дом и про то, что человек в черном пришел оттуда.

– Если узнают правду о том, кто ты такая, Берди, тебя запрут в рабочем доме и больше никуда не выпустят. А там люди только и делают, что работают, пока пальцы в кровь не сотрут, и за малейшую провинность их порют. Миссис Мак тоже, конечно, не сахар, но там с такими, как мы, случаются вещи и похуже. Одной девочке велели подмести пол. Она подмела, но оставила пятнышко грязи, тогда ее раздели догола и избili до синяков палкой от метлы. А какого-то паренька сунули в мешок и подвесили на стропилах за то, что он в постель писал.

Набегающие слезы уже жгли мне глаза, и Лили подобрела.

– Ну ладно. Закрывай свою водокачку, пока я сама тебя не вздула. Но обещай, что ты никогда и никому не назовешь своего настоящего имени.

Я дала торжественную клятву, которая пришлась ей по вкусу.

– Хорошо. – Она кивнула. – Пошли домой.

Повернув за угол, мы оказались на Литл-Уайт-Лайон-стрит, а когда увидели витрину с птицами и птичьими клетками, Лили сказала:

– И еще одно, раз уж мы говорим про обещания. Ты ведь не побежишь к миссис Мак жаловаться, что я одну тебя оставила, а?

Я обещала, что не побегу.

– У нее на тебя планы, она мне голову оторвет, коли узнает, что я вытворяю.

– А что ты вытворяешь, Лили?

Она повернулась ко мне, несколько секунд смотрела на меня в упор, потом наклонилась к самому моему уху, и я ощутила запах ее пота.

– Я коплю деньги, – зашептала она. – Работать на миссис Мак, конечно, надо, но, если себе ничего не прикапливать, никогда отсюда не вырвешься.

– Так ты торгуешь, Лили?

Собственная догадка показалась мне сомнительной: подружка не носила с собой ни цветов, ни рыбы, ни фруктов, как другие торговки.

– Вроде того.

Больше она ничего не говорила, а я не спрашивала. Хотя миссис Мак и

ругалась, что у Лили «язык как помело», но, когда той хотелось молчать, она была нема как рыба.

Я не успела ничего выпросить у нее. Я знала Лили Миллингтон всего шесть недель, когда ее убил какой-то пьяный матрос, видимо не сойдясь с ней в цене на ее товар. Да, я прекрасно понимаю, как странно то, что я навеки связала себя с девочкой, о которой мне известно так мало. И все же она дорога мне, Лили Миллингтон, ведь она подарила мне свое имя – самое ценное, что у нее было в жизни.

Хотя у миссис Мак лишнего гроша отродясь не водилось, она любила корчить из себя леди, да и замашки у нее были едва ли не великосветские. В доме постоянно твердили о Лучшей Участи, для которой некогда была предназначена ее семья и которая стала ей недоступна в результате Безжалостного Удара Судьбы, постигшего предков миссис Мак двумя поколениями ранее.

Вот почему, как и положено женщине непростого происхождения, она держала в доме комнату, которую называла «залой», и тратила на ее украшение каждый лишний пенни. Цветные подушки и мебель красного дерева, бабочки, наколотые на бархатные подложки, чучела белок под стеклянными колпаками, портреты королевской семьи с автографами и коллекция безделушек из хрусталя, почти без трещин.

Одним словом, «зала» была святыней ее дома, и детям запрещалось туда входить, разве что по особым случаям, которых на моей памяти не бывало. Кроме самой миссис Мак, в святая святых были вхожи лишь двое: Капитан и Мартин. Да и еще собака миссис Мак, здоровый датский дог, «списанный на берег» с какого-то корабля. Миссис Мак взяла его себе и назвала Гренделем – это имя она вычитала в какой-то поэме, и ей понравилось звучание. Хозяйка прямо-таки обожала своего пса, осыпала его ласками и вообще проявляла по отношению к нему столько заботы, сколько в жизни не дарила ни одному двуногому существу.

Вторым – после Гренделя – любимцем миссис Мак был ее сын Мартин. Ему было десять лет, когда я, семилетняя, появилась в доме на Литл-Уайт-Лайон-стрит. Мартин был крупным для своего возраста – не просто высоким, но каким-то внушительным, в его присутствии всегда казалось, что он занимает больше пространства, чем ему требуется. Мальчишка не отличался умом и тем более добротой, зато обладал замечательным талантом к приспособлению, и, надо сказать, в то время и в том месте, где ему выпало жить, этот талант явился для него истинным благословением.

В минувшие годы я не раз думала о характере Мартина и гадала, стал бы он другим, доведись ему жить в более благоприятных обстоятельствах. Например, родился он в семье Бледного Джо, стал бы он джентльменом с тонким вкусом и безупречным поведением? Я почти убеждена, что да: природное чутье помогло бы ему надеть именно ту личину и усвоить именно те манеры, которые нужны для того, чтобы не только выжить, но и преуспеть в таком обществе. В этом и заключался главный талант Мартина – врожденная способность безошибочно определять, откуда ветер дует, и соответствующим образом ставить паруса.

Родился он, судя по всему, от непорочного зачатия – об отце в доме никогда и слуху не было. Миссис Мак горделиво именовала его: «Мой мальчик, Мартин». Что она его мать, было ясно как божий день, стоило посмотреть на их одинаковые физиономии, но если миссис Мак была женщиной оптимистичной, то Мартину жизнь казалась окрашенной в мрачные цвета. Потери виделись ему повсюду, и, даже если ему делали подарок, он сразу задумывался над тем, какую вещь он мог бы получить, если бы не подвернулась вот эта, и без чего ему теперь придется обходиться. И надо сказать, что в том углу Лондона, где мы жили, эта привычка – всегда просчитывать второй вариант – много раз сослужила ему неплохую службу.

В доме над птичьей лавкой я жила уже месяца два, а Лили Миллингтон не было в живых уже две недели, когда однажды после ужина меня позвали в «залу».

Я очень волновалась, идя туда, ведь мне уже доводилось видеть, что бывает с детьми, которые чем-то не потрафили миссис Мак. Дверь была притворена, но не заперта, и я, прежде чем войти, остановилась и прижала к щели глаз: так делал Мартин, когда миссис Мак принимала там «деловых партнеров».

Капитан стоял у окна и глядел на улицу, разглагольствуя на свою излюбленную тему – о невиданных зимних туманах 1840 года:

– Белым-бело все было, белым-бело; корабли, белые, как призраки, сталкивались прямо посреди Темзы.

Грендель лежал, растянувшись, на диване; Мартин, ссутулившись, сидел на трехногом табурете и грыз ногти; а миссис Мак, которую я разглядела последней, уютно устроилась у камина в кресле с большим подголовником. Вечерами она уже давно занималась шитьем, причем свою работу никому не показывала, а если кто-то начинал проявлять любопытство, она тут же советовала: «Найди себе дело, пока я тебе его не нашла». Рукоделие, как я видела из-за двери, и теперь лежало у нее на

коленях.

Тут я, наверное, слишком сильно надавила на дверь, потому что она громко заскрипела и открылась.

– Ага, вот и ты, – сказала миссис Мак, быстро переглянувшись с Капитаном и Мартином. – Ох уж мне эти маленькие кувшинчики с большими ушками. – Она еще раз воткнула в рукоделие иголку, с торжествующим видом, зубами перекусила нитку и закрепила конец. – Ну давай, иди сюда, мы на тебя поглядим.

Я поспешно подошла; миссис Мак развернула то, что лежало у нее на коленях, встряхнула им в воздухе, и я увидела платье. Таких нарядных платьев я не носила с детства, выросши из тех, которые заботливо штопала и починяла моя мать, пока была жива.

– Так, девочка, повернись-ка и подними руки. Посмотрим, как оно сидит.

Миссис Мак расстегнула пуговицы на спине платья и через голову стянула его с меня. В комнате было не холодно, но я вся вздрогнула, когда новый красивый наряд скользнул по моим рукам и лег мне на плечи.

Я не понимала, что происходит, чем я заслужила такой экстравагантный и прекрасный подарок, но я знала свое место и ни о чем не спрашивала. Крошечные пуговицы-жемчужинки змеились по моей спине от пояса до самой шеи, широкий кушак из бледно-голубого атласа мягко обнял талию.

Миссис Мак долго пыхла за моей спиной, добиваясь полной гармонии, и то и дело обдавала меня своим влажным, тяжелым дыханием. Наконец она закончила, развернула меня лицом к себе и спросила, обращаясь ко всем присутствующим:

– Ну?

– Ну что ж, она хорошенькая малютка, – прокаркал Капитан, не выпуская изо рта трубки. – И голосок сладкий, что конфетка, – да, таких у нас еще не было. Настоящая маленькая леди.

– Нет, пока не совсем настоящая, – услышала я довольный голос миссис Мак. – Но мы ее отполируем: пара уроков этикета да несколько локонов, и будет леди что надо. Ну разве она не картинка, Мартин?

Взгляд Мартина я выдержала, хотя мне и не понравилось, как он на меня пялился.

– Ну, как тебе карманы? – спросила миссис Мак. – Карманы-то нашла?

Мои ладони скользнули по боковым складкам юбки вниз и нащупали две прорези. Карманы оказались глубокими – чтобы достать до дна, пришлось засунуть туда всю руку целиком. Ощущение было такое, будто к

платью изнутри пришили два мешка.

Я очень удивилась, но, очевидно, так было нужно, потому что миссис Мак рассмеялась каркающим смехом и переглянулась с остальными.

– Вот и хорошо, – сказала она и облизнулась, как кошка, поймавшая птичку. – Теперь-то вы поняли? А?

– Теперь, конечно, да, – отозвался Капитан. – Отличная работа. Прекрасно, миссис Мак. Настоящая куколка: глядя на нее, никто ничего не заподозрит. Я предсказываю большую добычу. Разве найдется бессердечный человек, который откажется проводить заблудившуюся малютку до дома?

Наконец-то гость пошевелился.

По-моему, это первый из моих посетителей, кому так не хочется вставать и начинать новый день. Джульетта отлеживалась в постели до последнего, пока ее дети, которые уже встали и носились по всему дому, не являлись за ней и чуть не силком стаскивали ее с кровати, – но и она вставала с большей охотой.

Встану-ка я поближе к изголовью и посмотрю, как он себя поведет. Пора уже узнать. Одни гости – бесчувственные, я задеваю их, проходя мимо, а они и ухом не ведут. Другие, наоборот, чувствуют меня сами, без подсказки, как мой маленький друг, тот, что жил здесь во времена бомб и самолетов. Он был так похож на Бледного Джо.

Итак, попробуем. Сейчас я медленно, не спеша, подойду к изголовью и посмотрю, что будет.

И вот что я вижу.

Он вздрагивает, хмурится и вылезает из постели с таким видом, будто готов заколотить окно досками, – видимо, винит во всем сквозняк.

Чувствительный. Это хорошо, что я выяснила; буду с ним осторожнее.

То есть это, конечно, усложнит мне задачу, но в то же время я рада. Вечное мое тщеславие. Люблю, когда на меня обращают внимание.

Он вынимает из ушей беруши, которые всегда вставляет, ложась спать, и идет в ванную.

Фото двух маленьких девочек стоит теперь там, на полочке над раковиной, и он, закончив с бритьем, не уходит, а берет снимок и долго на него смотрит. За выражение, которое появляется тогда на его лице, я бы простила ему все что угодно.

Накануне вечером я слышала его второй разговор с Сарой. Он сказал ей, уже не так терпеливо, как в первый раз:

– Это случилось давно, с тех пор много воды утекло, – и потом,

понижив голос, добавил ясно и медленно, и почему-то это было хуже, чем если бы он кричал: – Но, Сар, дети ведь даже не знают, кто я.

По всей видимости, он ее в чем-то убедил, потому что они договорились встретиться в четверг за ланчем.

Правда, потом он показался мне каким-то растерянным, словно не знал, что делать со своей неожиданной победой. Он взял бутылку эля, вышел на улицу и устроился за деревянным столом для пикника: Ассоциация историков искусства расставила несколько таких столов на лужайке у дикой яблони, откуда открывается вид на ручей Хафостед. По субботам там полно народу, посетители покупают чай, булочки и сэндвичи в кафе – оно теперь в старом амбаре, там, где когда-то ставили спектакли школьницы, – а потом пытаются донести все это до столиков, ничего не расплескав и не рассыпав по дороге. Но по будням там тихо, так что он сидел один, с бутылкой пива, смотрел на виднеющуюся вдали реку цвета вороненой стали, и я даже издали видела, как напряжены его плечи.

Он напомнил мне Леонарда в то лето, много лет назад, когда Люси собралась передать дом и управление им ассоциации. Леонард тоже часто сидел на этом месте, надвинув шляпу на глаза, с неизменной сигаретой, словно приклеенной к губам. С собой он всегда носил небольшую сумку для инструментов, а не портфель, как многие, и в этой сумке было все, что, по его мнению, могло ему пригодиться. Раньше он был солдатом, это многое объясняет.

Мой молодой человек пошел на кухню – кипятить воду для утреннего чая. Двигается он слишком резко и поэтому наверняка прольет чай на стол, ругнется без злобы, сделает, обжигаясь, два больших шумных глотка, потом поставит чашку, чтобы остыло, а сам пойдет в душ.

Я хочу узнать, для чего он здесь; зачем ему лопата и какое отношение фотографии имеют к его занятиям. Когда он снова выйдет из дому, с лопатой в руке и коричневой фотосумкой через плечо, я останусь здесь и буду ждать его возвращения. Но мое терпение истощается, мне уже недостаточно просто наблюдать.

Где-то произошло изменение. Я знаю это, чувствую так, как раньше ощущала грядущую перемену погоды. Вот и это изменение кажется мне сдвигом в атмосфере.

Сдвигом, как-то связанным со мной.

Словно кто-то повернул выключатель, и хотя я не знаю, чего ждать, я чувствую, как оно приближается.

Глава 8

Лето 2017 года

Надев фату матери, Элоди сидела у себя в квартире, на подоконнике, и смотрела на реку, безмолвно несущую свои воды к морю. Был один из тех редких, безупречных дней, когда воздух вокруг полнится ароматами чистого белья и скошенной травы, светло искрится тысячами детских воспоминаний. Но Элоди думала не о детстве.

Она ждала, когда на Хай-стрит покажется Пиппа, но той все не было. После ее звонка прошел час, и Элоди не могла сосредоточиться ни на чем, кроме ожидания. Подруга отказалась сообщать подробности по телефону, просто сообщила, что дело важное, ей надо кое-что передать Элоди. Голос был взволнованный, с придыханием – совсем не похоже на Пиппу, – а когда она сказала, что вечером в субботу приедет в Барнс, Элоди и вовсе удивилась.

Хотя этот уик-энд с самого начала выдался странным. И вообще, все идет не так с тех пор, как Элоди открыла на работе старую архивную коробку и извлекла из нее альбом и снимок.

Женщина в белом. Утром Тип упорно стоял на своем: не знает он эту женщину, не видел ее никогда, а стоило Элоди немного поднажать, он и вовсе захлопнулся, как устрица. А потом чуть не вытолкнул ее из студии, твердя, что засиделся он тут с ней, магазин уже открывать пора и что да-да, конечно, на свадьбе они увидятся. Но Элоди не могла ошибиться. Он явно видел эту женщину раньше. И самое главное, теперь было ясно, что между ними – женщиной на фото и домом из альбома – есть связь, ведь Тип узнал и дом на рисунке. Он сам жил в нем во время войны, в детстве.

Изгнанная Элоди направилась на Стрэнд и зашагала по нему на работу. Набрала на двери код выходного дня, вошла внутрь. В полуподвале было темно и холодно. Даже холоднее, чем обычно, но она не собиралась там задерживаться. Достав из коробки у себя под столом снимок, а из архива – альбом, она снова вышла на улицу. На этот раз никакого чувства вины она не испытывала. Просто знала, что фото и альбом принадлежат ей, хотя и не могла объяснить почему. Но именно для нее они были предназначены.

Она снова взяла фотографию – маленькая, та почти скрылась у нее в

ладони – и встретила гордый, вызывающий взгляд. «Найди меня, – как будто говорил он. – Узнай, кто я». Элоди еще повертела рамку в руках, кончиком пальца ощупала паутинку царапин. Они оказались с двух сторон, и с лицевой, и с тыльной, словно кто-то специально нанес их тонким острым предметом вроде булавки.

Элоди поставила рамку на подоконник: так, по ее мнению, она могла стоять у Джеймса Стрэттона.

Стрэттон, Рэдклифф, женщина в белом... все они как-то связаны, но как?

Мать Элоди, Тип в эвакуации, друг, который рассказал ему историю дома на Темзе...

Взгляд Элоди снова устремился в окно, к «ее» повороту реки. Мелькнула мысль о том, сколько раз в подобных случаях она уже сидела вот так, глядя на реку. Что только не тонуло в этих глубоких, молчаливых водах: желания и надежды, рваные сапоги и серебряные монеты, воспоминания. Вот и сейчас одно из них словно вынырнуло из глубин памяти: она, маленькая, сидит на берегу реки, теплый ветерок ласково гладит кожу, рядом мама и папа, они пришли на пикник...

Кончиком пальца она провела по фестончатому краю молочно-белой фаты, такому шелковистому на ощупь. Вот так же, может быть, сделала и ее мать тридцать с небольшим лет назад, прежде чем войти в церковь, где ее ждал отец Элоди. А какая музыка играла, когда Лорен Адлер шла к алтарю? Элоди не знала; ей никогда не приходило в голову спросить.

Весь день она просматривала видео, перервавшись лишь раз, чтобы ответить на звонок Пиппы, и теперь в голове плыли обрывки виолончельных мелодий.

– Все будет так, словно она сама здесь, – говорила ей Пенелопа. – Это лучшая замена живой матери.

Но ее будущая свекровь ошиблась. Теперь Элоди это поняла.

Останься мать в живых, ей было бы под шестьдесят. Молодость, простодушие, девичья улыбка и задорный смех навсегда ушли бы. Волосы поседели бы, кожа увяла. Жизнь отметила бы ее своей печатью, причем не только тело, но и душу: остудила бы накал эмоций, бьющих на каждом ее видео через край, поубавила энтузиазма. За ее спиной люди по-прежнему шептали бы: «гениально», «необыкновенно», но, не понижая голоса, добавляли бы еще одно слово: «трагедия», еле слышное, но стократ усиливающее эффект всего остального.

Вот что имела в виду Пиппа, когда спросила, согласна ли сама Элоди с тем, чтобы на ее свадьбе показывали видео Лорен Адлер. Это была не

злость и не ревность. Просто она заботилась о подруге и раньше ее поняла, что это будет выглядеть не так, словно мать здесь, рядом с Элоди, а так, словно к алтарю с виолончелью в руках идет сама Лорен Адлер, отбрасывая за собой густую длинную тень, в которой за ней робко следует дочь.

Домофон ожил, Элоди спрыгнула с окна и побежала открывать.

– Алло? – спросила она.

– Привет, это я.

Она нажала на кнопку, открывая дверь подъезда, и отперла замок на своей двери. Знакомые звуки субботнего дня вперемешку с ароматами жареной рыбы и картошки доносились снизу, пока она стояла на пороге и ждала Пиппу, которая взлетала по лестнице.

Запыхавшаяся Пиппа показалась на верхней площадке:

– Господи, на твоей лестнице с голоду умереть можно. Шикарная вуаль.

– Спасибо. Я все думаю, надевать ее или нет. Сделать тебе чашечку чего-нибудь?

– Лучше стаканчик. – Пиппа вложила ей в руки бутылку вина.

Элоди сняла фату, накинула ее на край дивана, налила два бокала пино-нуар и понесла их к окну, где на подоконнике уже сидела Пиппа. В руках она держала фотографию и внимательно ее рассматривала. Элоди подала ей бокал:

– Ну?

Элоди сразу перешла к делу, нетерпение выжгло всякое желание поддерживать светский разговор.

– Ну так вот... – Пиппа отложила фото и стала смотреть на Элоди. – Вчера я встретилась на вечеринке с Кэролайн. Я показала ей фото с телефона, и она сказала, что женщина на нем кажется ей знакомой. Правда, она так и не вспомнила ее имя, но зато уверенно определила, что снимок сделан в середине шестидесятых – все в нем отвечает стилистике этого периода; больше того, как мы и думали, его автор был связан с прерафаэлитами и Пурпурным братством. Она говорит, что для более точной датировки ей нужно видеть оригинал, и еще, что фотобумага, на которой снимок напечатан, также может стать ключом к личности фотографа. Тогда я сказала ей про Рэдклиффа – я как раз думала об альбоме, который ты нашла вместе со снимком, вдруг в нем обнаружится хотя бы намек на потерянную картину? А Кэролайн сказала, что у нее много книг о Пурпурном братстве и я могу прийти и взять что-нибудь, если

нужно.

– И?

Пиппа порылась в рюкзаке и выудила старую книжку в потрепанном пыльном переплете. Элоди изо всех сил старалась сохранять спокойствие, когда подруга небрежно распахнула ее так, что хрустнул корешок, и стала стремительно перелистывать желтые от времени, припорошенные пылью страницы.

– Вот, Элоди, смотри, – сказала она, добравшись до вкладки с иллюстрациями посреди книги и торжествующе ткнув пальцем в первую. – Это она. Женщина с фотографии.

Края вкладки истрепались от времени, но в центре изображение было целым. Внизу еще читалась надпись: название – «Спящая красавица» и имя автора – Эдвард Рэдклифф. Женщина на картине покоилась в фантастическом будуаре из листьев и бутонов, которые будто замерли и ждали момента, когда она откроет глаза, чтобы тоже раскрыться. Между сплетенных ветвей везде притаились птицы и насекомые; длинные рыжие волосы волнами лежали вокруг ее лица, величественного в своем покое. Правда, глаза у нее были закрыты, но все остальное – форма скул, изгиб рта – было таким же.

– Значит, это его натурщица, – прошептала Элоди.

– Натурщица, муза и, если верить этой книге, – тут Пиппа снова быстро перелистала страницы, – любовница.

– Любовница Рэдклиффа? Но как ее звали?

– Насколько я успела понять за одно утро, тут кроется какая-то тайна. Она позировала под вымышленным именем. Здесь сказано, что ее знали как Лили Миллингтон.

– Но зачем ей понадобилось придумывать себе имя?

Пиппа пожала плечами:

– Ну, может, она была из хорошей семьи и ее родственники не одобряли того, что она позировала; или она была актрисой и пользовалась сценическим псевдонимом. Актрисы часто подрабатывали натурщицами.

– А что с ней случилось? Здесь объясняется?

– Подробно я не читала, времени не было – так, позаглядывала в разные места. Как говорит автор в начале, трудно вообще понять, что тогда случилось, ведь даже подлинное имя натурщицы до сих пор остается неизвестным. Но все же он предлагает собственную теорию: она разбила Рэдклиффу сердце, украв какую-то драгоценность – старинную, фамильную – и сбежав в Америку с другим мужчиной.

Элоди вспомнила статью из «Википедии», где говорилось об

ограблении, в котором погибла невеста Эдварда Рэдклиффа. Она коротко пересказала ее Пиппе и спросила:

– Как ты думаешь, это то самое ограбление? В нем была замешана эта женщина, его натурщица?

– Понятия не имею. Может быть, и так, но я бы поостереглась принимать на веру теории. Мало ли кто что говорит. Я заглянула сегодня утром в «Джейстор» и нашла критические отзывы об этой книге: автор якобы почерпнул много неизвестной прежде информации из источника, который отказался назвать. Но для нас-то важнее всего портрет: теперь мы знаем наверняка, что Рэдклифф и твоя женщина в белом действительно были связаны.

Элоди кивнула, думая при этом о страничке, найденной в альбоме, и о заключенных в ней словах любви, безумия и страха. Неужели эти отчаянные строки написал Рэдклифф после того, как женщина в белом, его натурщица «Лили Миллингтон», исчезла из его жизни? И сердце Рэдклиффа разбил ее побег в Америку с драгоценностью, реликвией его семьи, а вовсе не смерть невесты, девушки с приятным лицом? А как же Стрэттон? В каких отношениях с ней состоял он? Ведь это он хранил у себя ее фотографию в рамке, спрятав ее на всякий случай в сумку, которая принадлежала Рэдклиффу.

Пиппа сходила к кухонному столу, взяла бутылку и снова наполнила стаканы.

– Элоди, мне надо показать тебе еще кое-что.

– Еще одну книгу?

– Нет, не книгу. – Она снова села, но как-то нерешительно, даже робко, и это было до того несвойственно ей, что Элоди насторожилась. – Я рассказала Кэролайн, что спрашиваю обо всем этом для тебя, поскольку ты нашла кое-что в архивах. Она всегда хорошо к тебе относилась.

Ну, это Пиппа по доброте своей так решила. Кэролайн и Элоди были едва знакомы.

– Я сказала, что шью тебе платье, мы заговорили о свадьбе, о записях, о музыке, о том, как тебе, наверное, тяжело пересматривать концерты матери, и тут Кэролайн вдруг как-то примолкла. Сначала я испугалась, что обидела ее чем-нибудь, но она сказала, что с ней все в порядке, просто она должна отлучиться в студию и принести одну вещь.

– И что же это было?

Пиппа снова нырнула в рюкзак и вытащила из него прозрачный файл с кусочком картона внутри.

– Это фотография. Элоди, на ней твоя мама.

– Кэролайн была знакома с моей матерью?

Пиппа помотала головой:

– Она сняла ее случайно. Говорит, только потом узнала, кто они такие.

– Они?

Пиппа открыла рот, видимо собираясь что-то объяснить, но передумала и просто протянула Элоди папку.

Фотография оказалась по формату больше обычной и, судя по неровным краям и зернистости, была напечатана с негатива. Черно-белый снимок, на нем двое, мужчина и женщина, заняты разговором. Сидят где-то на улице, точнее, на открытом воздухе, в красивом месте, за их спинами зеленеет настоящий ковер из плюща, а на дальнем плане виден краешек каменного строения. Покрывало, корзина, какие-то объедки – видимо, остатки ланча – наводят на мысль о пикнике. Женщина в длинной юбке и ременных сандалиях сидит, скрестив ноги и уперев локоть в колено, вполоборота к мужчине. Подбородок ее приподнят, уголок рта дрогнул, точно предвещая улыбку. Вся сцена освещена лучом солнца, прорвавшимся сквозь листву. Прекрасный снимок.

– Снято в июле девяносто второго, – сказала Пиппа.

Элоди не ответила. Обе понимали важность этой даты. Именно тогда не стало матери Элоди. Она погибла в автокатастрофе вместе с американским скрипачом, с которым они возвращались после концерта в Бате, и все же вот она, живая и невредимая, сидит вместе с ним в тени густой листвы, всего за неделю – а может быть, и за день? – до смерти.

– Говорит, это один из ее любимых снимков. Свет, выражение лиц, фон – все идеально.

– Как она смогла... где это было?

– В сельской местности, недалеко от Оксфорда – пошла однажды гулять, завернула за угол и увидела их. Даже не раздумывала: просто подняла фотоаппарат и остановила мгновение.

Элоди не сообразила тогда, какие вопросы задать – почти все придут ей в голову позже. Она просто сидела, пораженная этим новым образом матери – не знаменитости, а обычной молодой женщины, занятой важным личным разговором. Элоди впитывала каждую подробность. Рассматривала подол материнской юбки, которым играл ветерок, щекоча тонкую лодыжку, увидела соскользнувший с запястья узкий ремешок от часов, вглядывалась в обращенный к скрипачу изящный жест руки.

Фото напомнило ей другой снимок, семейный, который она обнаружила дома лет в восемнадцать. Она заканчивала шестой класс, и редактор школьной газеты решила соединить портреты выпускников с их

детскими фото. Отец Элоди никогда не был большим аккуратистом, и неразобранные снимки в конвертах с надписью «Кодак» десятки лет томились в двух картонных коробках, на дне шкафа с бельем. Он всегда обещал достать их и разложить по альбомам – как-нибудь в дождь, когда заняться будет решительно нечем.

Со дна одной из тех коробок Элоди извлекла небольшую стопку квадратных, желтых от времени фотографий, на которых молодые люди и девушки дурачились за обеденным столом с подтаявшими свечами и узкогорлыми винными бутылками. Над ними распростерся праздничный баннер – поздравление с Новым годом. Она сидела, перебирая снимки, любуясь водолажкой и расклеванными джинсами отца, тонкой талией и загадочной улыбкой матери. И вдруг натолкнулась на снимок, где отца не было, – может быть, он как раз держал фотоаппарат? Сцена та же, только рядом с матерью был совсем другой мужчина – черноглазый, напряженный, тот самый скрипач, – и они были поглощены разговором. И здесь левая рука матери тоже расплылась, захваченная в движении. У нее была привычка говорить руками. В детстве Элоди всегда представляла их двумя крошечными, изящными птичками, что порхают в такт словам матери, как бы вышивая их в воздухе.

Элоди сразу все поняла, едва взглянув на фото. Глубокое, интуитивное знание сказало ей все. Воздух между ее матерью и этим мужчиной был до предела насыщен электричеством, все мигом становилось ясно – так, словно между ними был протянут кабель. В тот день Элоди ничего не сказала отцу – он и без того потерял слишком много, но знание оставило в памяти зарубку; несколько месяцев спустя они с отцом смотрели фильм, французский, про адюльтер, и Элоди не удержалась от колкого замечания в адрес изменницы-героини. Произнесенное вслух, оно оказалось куда злее и острее, чем тогда, когда звучало в голове Элоди; в нем был вызов – ей было больно за отца, и одновременно она злилась на него и на мать. Но отец не клюнул на ее наживку.

– Жизнь длинна, – только и сказал он спокойным голосом, не отрывая глаз от экрана. – А быть человеком сложно.

Ну а сейчас Элоди подумала, что, учитывая известность и матери, и Кэролайн, автора фотографии, а также принимая во внимание выдающиеся качества самого снимка, который Кэролайн, по ее собственному признанию, особенно любила, маловероятно, чтобы он никогда и нигде не был опубликован. Так она и сказала Пиппе.

– Я спрашивала ее об этом. Она сказала, что проявила всю пленку целиком через несколько дней после того, как сделала снимок, и что кадр с

твоей мамой сразу понравился ей. Он еще плавал в ванночке с проявителем, а она уже поняла, что это тот редкий случай, когда и объект, и композиция, и свет – все пребывает в гармонии. В тот же вечер, проявив пленку, она включила телевизор и увидела репортаж о похоронах твоей мамы. Но даже тогда она не связала это со снимком, и лишь когда на экране показали ее лицо крупным планом, по спине Кэролайн, как она выразилась, пробежал холодок узнавания, особенно когда она услышала, что этот человек тоже был в машине. Что она видела их двоих прямо...

Тут Пиппа беспомощно улыбнулась, глядя на Элоди, – словно извинялась.

– То есть она не стала публиковать снимок из-за катастрофы?

– Она говорит, что в тех обстоятельствах это показалось ей неправильным. Ну и еще из-за тебя.

– Из-за меня?

– В новостях показывали и тебя тоже. Когда Кэролайн увидела, как тыходишь в церковь, держась за отцовскую руку, она решила, что ни за что не опубликует этот снимок.

Элоди снова перевела взгляд на двух молодых людей, запечатленных в роще, на ковре из плюща. Колено ее матери касалось его колена. Вся сцена была предельно интимной, позы – раскованными. Элоди подумала, что и Кэролайн наверняка сразу поняла истинную подоплеку их отношений. Видимо, этим частично объяснялось ее решение оставить снимок при себе.

– Она не раз вспоминала тебя за все эти годы, думала о том, какой ты стала. Ощущала какую-то связь с тобой, будто, запечатлев их в последний день, сохранив это мгновение, она сама стала частью их истории. А когда узнала, что ты моя подруга и придешь на мою выпускную выставку, сразу захотела познакомиться с тобой: говорит, противостоять этому желанию было невозможно.

– Так вот почему она тогда пошла ужинать с нами?

– Я и сама не знала в тот момент.

Когда Пиппа сказала, что Кэролайн пойдет с ними, это стало неожиданностью. Элоди сначала чувствовала себя неловко – еще бы, известная фотохудожница, о которой Пиппа говорила так часто и с таким уважением. Но Кэролайн вела себя с ними так, что Элоди скоро полегчало; больше того, исходившее от нее тепло оказалось заразительным. Кэролайн расспрашивала ее о Джеймсе Стрэттоне и об архивоведении, причем, судя по всему, не из вежливости. А еще Элоди понравился ее смех – музыкальный и какой-то одухотворенный: Элоди даже почувствовала себя умнее и остроумнее, чем была на самом деле.

– Она хотела познакомиться со мной из-за моей матери?

– В общем, да, но не все так просто. Кэролайн вообще любит молодежь; ей интересно, что молодые делают и думают, они ее вдохновляют – поэтому она преподает. Но с тобой все было иначе. Она чувствовала, что связана с тобой и через события того дня, и через то, что было позже. И еще она хотела рассказать тебе о фото – сразу, как только тебя увидела.

– Почему же не рассказала?

– Боялась, что для тебя это окажется чересчур. Что это может тебя расстроить. Но когда я сегодня утром заговорила о тебе – о свадьбе, о записях, о твоей маме, – она спросила меня, что я об этом думаю.

Элоди снова взгляделась в снимок. По словам Пиппы, Кэролайн проявила его через несколько дней, когда о похоронах ее матери уже повсюду писали в газетах и рассказывали в новостях. И все же вот она, здесь – делит ланч со скрипачом-американцем. Оба выступали в Бате 15 июля, а на следующий день их не стало. Похоже, фотограф застала их как раз на пути в Лондон: они остановились, чтобы перекусить. Теперь понятно, почему вместо шоссе они оказались на проселочной дороге.

– Я сказала Кэролайн, что, по-моему, ты будешь рада, если снимок останется у тебя.

Элоди действительно была рада. Ее мать фотографировали очень часто, но этот снимок, как она понимала, стал последним в ее жизни. И она выглядела на нем такой молодой – моложе, чем сейчас Элоди. Камера Кэролайн запечатлела приватный момент, когда мать была самой собой, а не той самой Лорен Адлер, и без виолончели.

– Я рада, – сказала она Пиппе. – Поблагодари за меня Кэролайн.

– Само собой.

– И тебе тоже спасибо.

Пиппа улыбнулась.

– И за книгу, и за то, что привезла все это сюда. Путь неблизкий.

– Да, кстати, я тут подумала, что мне будет не доставать этой твоей квартирке. Хотя езды до нее почти как до Корнуолла. Кстати, как твоя хозяйка приняла новость?

Элоди взяла бутылку:

– Допьем?

– Господи! Ты ей не сказала.

– Не смогла. Не хотела расстраивать ее прямо перед свадьбой. Она так вдумчиво отнеслась к выбору отрывка, который будет читать.

– Думаешь, сама обо всем догадается, когда медовый месяц пройдет, а

ты не вернешься?

– Уверена. Чувствую себя погано.

– Сколько еще у тебя оплачено?

– Два месяца.

– Так ты хочешь?..

– Прожить их молчком, надеясь, что все как-нибудь рассосется.

– Могучий план.

– Есть еще вариант: продлить аренду и заходить два раза в неделю за почтой. Можно иногда подниматься наверх, чтобы посидеть тут, у окошка. Можно даже оставить тут мебель, мое старое колченогое кресло, мои разномастные чашки.

Пиппа сочувственно улыбнулась:

– Может быть, Алистер еще передумает?

– Может быть.

Элоди перевернула бокал подруги вверх дном. Ей не нравилось говорить с Пиппой об Алистере; разговор неизменно перетекал в расспросы, от которых Элоди чувствовала себя совершенно растерзанной. Пиппа вела себя бескомпромиссно.

– Знаешь что? Я есть хочу. Может, останешься со мной, перекусим вместе?

– Конечно, – ответила Пиппа, без лишних слов давая понять, что тема Алистера на сегодня закрыта. – Ты напомнила, и я тоже рыбки с картошечкой захотела.

Глава 9

Элоди планировала слушать музыку и в воскресенье, чтобы отдать наконец Пенелопе давно обещанный список, но накануне, между первой и второй бутылками красного вина, приняла решение. Она не пойдет к алтарю под видео, где Лорен Адлер играет на виолончели. Не важно, насколько эта идея по вкусу Пенелопе (а может быть, и Алистеру тоже?): ей, Элоди, становилось неловко, как только она представляла себя в фате и в белом платье, идущей навстречу огромному экрану, на котором играет ее мать. Все-таки это странно, разве нет?

– Ага! – ответила ей Пиппа, когда они сидели у реки, ели рыбу с картошкой и смотрели, как гаснут на горизонте последние отблески дня. – Да и вообще, ты ведь, по-моему, не любишь классическую музыку?

Это было правдой: Элоди предпочитала джаз.

Вот почему воскресным утром, едва в окно вплыли первые удары церковного колокола, Элоди уложила кассеты в отцовский чемодан и села в обитое бархатом кресло. Новое фото матери стояло на полочке с сокровищами, между акварелью миссис Берри с видом Монтепульчано и волшебной шкатулкой Типа; глядя на него, Элоди чувствовала, как разрозненные до того мысли выстраиваются в список конкретных вопросов, которые она хотела задать теперь двоюродному деду, – о матери, о доме на рисунке, о скрипаче. Но это после, а пока надо взять книгу Кэролайн и прочитать все, что там написано о женщине в белом. Когда она пристроила открытую книгу у себя на коленях, ей сразу стало так легко и хорошо, точно это было главным, тем, чем следовало заниматься сейчас.

«Жизнь и любовь Эдварда Рэдклиффа». Заголовок, конечно, немного слащавый, но ведь книга вышла в свет в 1931-м, так что не стоит судить ее по сегодняшним меркам. На клапане суперобложки имелась фотография автора, доктора Леонарда Гилберта, – черно-белый снимок молодого человека в светлом костюме, со строгим лицом. Трудно было сказать, сколько ему лет.

Всего в книге было восемь глав. Первые две рассказывали о детстве Рэдклиффа, его семье, любви к народным сказкам, рано проявившихся художественных способностях, об особом интересе, который он питал к домам; здесь же выдвигалась идея о том, что тема «дома» и вообще закрытого пространства, центральная для его творчества, стала, видимо, следствием беспорядочного воспитания. В третьей и четвертой главах

описывались ранние успехи Рэдклиффа в Королевской академии и история возникновения Пурпурного братства, говорилось о его участниках. Пятая глава была посвящена личной жизни художника, в особенности его отношениям с Фрэнсис Браун, которые привели к помолвке; и лишь в шестой, посвященной тому периоду в жизни Эдварда Рэдклиффа, когда он создал свои самые поразительные работы, наконец-то появлялась Лили Миллингтон, натурщица.

Элоди не очень-то любила такие вещи, но все же не удержалась и начала читать шестую главу. И тут же погрузилась в захватывающее повествование Леонарда Гилберта о встрече Эдварда Рэдклиффа с женщиной, чье лицо и фигура вдохновили его на создание самых ярких полотен в истории всего братства, – женщиной, в которую, по словам автора, художник влюбился сразу и безоглядно. Он уподоблял Лили Миллингтон Смуглой Леди шекспировских сонетов, пространно рассуждая о том, кем она могла быть на самом деле.

Как и предупреждала Пиппа, большую часть информации, в особенности биографической, автор почерпнул из некоего «анонимного источника» – так он называл местную жительницу, которая «имела удовольствие близко знать всю семью Рэдклиффов». По словам Гилберта, особенно доверительные отношения связывали ее с младшей сестрой Рэдклиффа, Люси, которая сообщила много важных фактов о детстве художника и о событиях лета 1862-го, когда невеста художника, Фрэнсис Браун, пала от шальной пули грабителей, а Лили Миллингтон исчезла без следа. Гилберт познакомился с информанткой в деревне Берчвуд, где работал над завершением докторской диссертации; позднее, между 1928 и 1930 годом, он взял у нее несколько интервью.

Несмотря на то что глубоко интимные подробности отношений Рэдклиффа и его натурщицы наверняка были высосаны из пальца самим Гилбертом или его источником – выведены из имеющихся фактов, если выражаться более корректно, подумала Элоди, – поданы они были выразительно и ярко. Гилберт глубоко проникал в психологию персонажей и равнодушно относился к ним, благодаря чему мужчина и женщина представляли на страницах книги как живые. Драматическая история читалась на одном дыхании, вплоть до трагического конца в Берчвуд-Мэнор летом 1862 года. Тон автора так тронул Элоди, что она задумалась над причиной выбора столь необычной для научного труда интонации и пришла к простому выводу: Леонард Гилберт без памяти влюбился в Лили Миллингтон. Созданный им портрет этой незаурядной и прекрасной женщины был настолько притягателен, что Элоди невольно почувствовала

странное притяжение обворожительной и загадочной красавицы. По крайней мере, под пером Гилберта она выглядела неотразимой. Каждое его слово подчеркивало незаурядный характер, начиная с первого появления в жизни художника той, чье «пламя горело так ярко», и до горького окончания главы.

Седьмая глава продолжалась в том же духе – в ней подводились итоги жизни и карьеры Рэдклиффа, причем Гилберт не побоялся предложить свое видение событий: художник погиб вовсе не от тоски по своей нареченной, а потому, что не смог перенести разлуки со своей музой и единственной настоящей любовью – Лили Миллингтон. Основываясь на «ранее неизвестных» полицейских отчетах, Леонард Гилберт выдвинул теорию о том, что натурщица была сообщницей грабителя, застрелившего Фрэнсис Браун, а позже сбежала с ним в Америку, прихватив наследную драгоценность Рэдклиффов.

Официальная версия, утверждал Гилберт, своим широким распространением обязана самим Рэдклиффам. Влияние их в округе Берчвуд-Мэнор было настолько велико, что отразилось даже на полицейском расследовании: члены семьи приложили много усилий, чтобы замаять происшествие с «этой женщиной, которая разбила сердце Эдварду Рэдклиффу». В этом их поддержали родственники убитой невесты, также хотевшие, чтобы все забылось как можно скорее. Оба семейства надеялись войти в историю и хотели предстать перед потомством как герои трагедии, а не скандала; вот почему они предпочитали официальную версию о грабителе, который пробрался в дом, похитил камень и случайно застрелил Фрэнсис Браун, что потом привело к смерти ее жениха. Пропавшую подвеску искали, но, кроме пары-тройки ложных следов, ничего не нашли.

Теорию о причастности Лили Миллингтон к краже Гилберт излагал совершенно в ином тоне, чем все остальное: он писал механически, словно по затверженному, чему немало способствовало обширное цитирование материалов дела, обнаруженных им в полицейских архивах. Как исследователь, Элоди хорошо понимала нежелание Гилберта верить в предательскую натуру женщины, которую он сам с такой любовью вызвал к жизни на страницах своей книги. При чтении этой главы казалось, что две полярные стороны характера одного человека вступили в смертельную схватку: честолюбивый ученый, сделавший опьяняющее своей новизной открытие, боролся с писателем, полюбившим свою героиню, чей образ он так долго и кропотливо создавал. И еще это лицо. Ведь женщина с портрета в серебряной рамке сразу же запала в душу и ей, Элоди. Строго напоминая себе о той опасной власти, которую красота имеет над душами людей, она

все равно не верила, что женщина в белом была способна на такое вопиющее двуличие.

Гилберт явно не желал верить в причастность Лили Миллингтон к исчезновению подвески, но все же уделил место описанию самой пропажи, причем выяснилось, что камень был далеко не рядовой драгоценностью. Оказалось, это голубой бриллиант весом в двадцать три карата, настолько редкий, что он даже имел имя: «Синий Рэдклифф». Свое происхождение подвеска вела от Марии Антуанетты: именно для нее голубой бриллиант был впервые взят в оправу. Однако история самого камня уходила куда дальше – некий Джон Хоквуд, наемник, завладел им в четырнадцатом веке во Флоренции, куда наведлся для разбоя и грабежа, и так прикипел к камню, что не расстался с ним и на смертном одре, где лежал, как написал о нем один современник, «с богатствами и почестями». Но первый след камень оставил еще раньше, в десятом веке, в Индии, где, по одному свидетельству – недостоверному, как считал Гилберт, – был похищен странствующим купцом со стены индуистского храма. Так или иначе, когда в 1816-м камень попал к Рэдклиффам, его поместили в золотую филигранную оправу и повесили на тонкую и короткую цепочку, так чтобы он лежал как раз в яремной ямке на шее. Красивая, конечно, вещь, но уж слишком привлекательная для грабителей, а потому почти все то время, что Рэдклиффы владели бриллиантом, он хранился в их сейфе у Ллойда, в Лондоне.

История «Синего Рэдклиффа» не особенно заинтересовала Элоди, зато, прочитав следующую строку, она едва не подпрыгнула на месте. По словам Гилберта, Эдвард Рэдклифф извлек драгоценность из банковского хранилища именно летом 1862-го, чтобы его натурщица могла надевать подвеску, с которой он собирался писать ее на своей новой картине; завершить работу он планировал к концу летнего сезона. Так, значит, картина, которую историки и любители искусства по всему миру считали мифом, страстно желая при этом увидеть, все же была написана!

Во второй половине седьмой главы обсуждалась возможность существования этой картины, в законченном виде или в каком-либо ином. Гилберт выдвигал несколько теорий, основанных на изучении творчества Эдварда Рэдклиффа, но в конце все же признавал, что без документальных подтверждений все это не более чем гипотезы. И хотя другие члены Пурпурного братства в своей переписке не раз упоминали неоконченное полотно Рэдклиффа, сам художник, по всей видимости, хранил о нем полное молчание.

Взгляд Элоди скользнул к альбому, найденному в архиве. А что, если в

нем как раз и содержится то доказательство, которое тщетно искал Леонард Гилберт? Неужто подтверждение, которого так долго жаждал весь художественный мир, все это время лежало себе тихонечко в кожаной сумке, в доме Джеймса Стрэттона, видного социального реформатора Викторианской эпохи? Эта мысль заставила Элоди снова задуматься о Стрэттоне, ведь теперь ей было известно, что звено, которое связывало его с Эдвардом Рэдклиффом, носило имя Лили Миллингтон. Стрэттон знал Лили настолько хорошо, что даже хранил у себя ее фотографию; Рэдклифф был в нее влюблен. Между собой эти двое не были близко знакомы, по крайней мере на первый взгляд, и все же именно к Стрэттону Рэдклифф пришел посреди ночи, когда неутолимая сердечная тоска выгнала его из дому. И видимо, именно Стрэттону Рэдклифф отдал на хранение наброски своего великого, но так и не созданного полотна. Но почему? Надо полагать, ответ на этот вопрос крылся в личности Лили Миллингтон. Имя было незнакомо Элоди, но она подумала, что надо проверить его на всякий случай по компьютерной базе стрэттоновской переписки.

В последней главе вновь шла речь об интересе Рэдклиффа к домам, и особенно к дому на Темзе, названному им «зачарованным домом... уютно устроившимся в собственной излучине реки». Так Гилберт закольцевал композицию книги, перебросив мостик от жизни своего героя к собственной жизни. Оказалось, что Гилберт провел в «зачарованном доме» Рэдклиффа целое лето и, заканчивая там свою диссертацию, буквально дышал тем же воздухом, которым некогда дышал хозяин дома.

Леонард Гилберт, солдат Первой мировой, потерявший на полях сражений во Франции тех, кто был ему дорог, с грустью, которую порождает только опыт, писал о том, какие страдания доставляет человеку ощущение оторванности от своего мира. И все же его книга заканчивалась долгим и оптимистическим рассуждением о возвращении «домой» и о том, что это значит – оказаться в уютном и защищенном месте после долгих скитаний по пустыне. Себе в союзники он взял современника Рэдклиффа, великого викторианца Чарльза Диккенса, который проникновенно и просто написал о том, что такое «дом» в жизни человека: «И хотя дом – это лишь слово, лишь имя, но оно сильно; сильнее любого заклинания, какими призывают к себе духов волшебники...» Для Эдварда Рэдклиффа, писал Леонард Гилберт, таким домом был Берчвуд-Мэнор.

Элоди еще раз перечитала эту строчку. Значит, у дома было имя. Она впечатала его в поисковую строку телефона, нажала кнопку «ввод», затаила дыхание и... вот оно! Снимок, описание, адрес. Дом стоял на границе Оксфордшира и Беркшира, в долине Белого Коня. Нажав на одну из

выпавших ссылок, она узнала, что дом был подарен Ассоциации историков искусства в 1928 году, причем дарительница, Люси Рэдклифф, поставила условие – использовать его для проживания стипендиатов ассоциации. Когда затраты на содержание особняка стали чрезмерными, пошли разговоры о превращении дома в музей Эдварда Рэдклиффа и Пурпурного братства, под эгидой которого наблюдался невиданный расцвет искусств, однако и на этот проект деньги нашлись не сразу. Пожертвования собирали много лет, пока наконец в 1980-м щедрый взнос от неизвестного жертвователя не позволил АИИ воплотить планы в жизнь. Так что теперь в доме был музей, открытый для широкой публики по субботам.

Дрожащими руками Элоди прокрутила веб-страницу до конца и ткнулась в пометку «Контакты». Открылась новая фотография, где дом был снят в ином ракурсе, и Элоди увеличила ее на весь экран. Скользя взглядом по саду, по кирпичному фасаду за ним, по слуховым окнам под острроверхой крышей, она затаила дыхание...

И тут картинка исчезла, сменившись оповещением о входящем звонке. Звонок был международным – Алистер, – но Элоди, сама не зная зачем, нажала кнопку отмены и смахнула оповещение с экрана, чтобы опять вернуться к снимку дома. Увеличила картинку еще больше, прицелившись в одно конкретное место, пригляделась – и точно, вот же он: флюгер с изображениями луны и солнца!

Значит, Рэдклифф рисовал свой собственный дом, укрытый в собственной излучине реки, и одновременно это был дом из сказки, которую рассказывала ей в детстве мать, и дом, где Тип жил с семьей в эвакуации во время Второй мировой. Семья Элоди была каким-то образом связана и с домом Рэдклиффа, и с той тайной, к которой она случайно прикоснулась на работе. Странно, пожалуй, даже невероятно, и все же это было так, ведь Тип, сколько бы он ни отнекивался, явно узнал ту женщину по имени Лили Миллингтон.

Элоди взяла в руки фото в рамке. Кем она была? Как ее звали по-настоящему и что с ней все-таки случилось? По непонятным причинам Элоди вдруг ощутила отчаянное, жгучее желание найти ответы на эти вопросы.

Она опять пробежала пальцами по краю рамки, ощупала еле заметные царапины. И вдруг заметила, что задник с ножкой-подставкой не совсем плоский, не такой, как передняя часть. Повернув рамку тыльной стороной вверх, она поднесла ее к глазам, чтобы та оказалась прямо на уровне зрачков; и точно, выпуклость, небольшая, но заметная. Элоди слегка надавила на нее кончиками пальцев. Ей лишь кажется или там

действительно что-то есть, какая-то небольшая подушечка?

По тому, как учащенно забилось ее сердце, Элоди, с ее тренированным чутьем охотника за сокровищами, поняла, что не ошиблась, и, хотя это было против правил, завертела головой в поисках того, чем можно вскрыть рамку, не оставив на ней следа. Потом потянула за уголок липкой ленты, которой когда-то проклеили тыльную сторону, и та подалась, – видимо, лента давно утратила липкость и держалась на месте только по привычке. Внутри обнаружился клочок бумаги, свернутый вчетверо. Одним уголком он был вставлен в нижний край. Элоди аккуратно высвободила его, развернула и сразу поняла – листок очень старый.

Это было письмо, написанное красивым летящим почерком, и начиналось оно так: «Мой дорогой, любимый и единственный Дж, то, что я скажу тебе сейчас, – мой самый большой секрет...» У Элоди даже дух захватило: вот, наконец голос той самой женщины в белом. Скользнув глазами по строчкам, она уставилась на украшенную парой завитушек-инициалов подпись: «Вечно тебе благодарная и неизменно любящая тебя, ББ».

Часть вторая

Особые люди



V

Долгое время, до того как Ассоциация историков искусства открыла здесь музей и до того как появился нынешний гость, в доме никто не жил. Приходилось лишь изредка довольствоваться компанией ребятишек, которые в будние дни прибегали сюда и забирались в окна первого этажа, чтобы показать своим друзьям, какие они храбрые. Иногда я им подыгрывала, если была в духе: громко хлопала дверью или скрипела окном, – и тогда они с визгом, толкаясь и мешая друг другу, бросались наутек.

Я давно уже соскучилась по настоящему жильцу. За прошедший век здесь побывало не много людей и еще меньше – тех, к кому я привязалась, но были среди них и такие вот, особые. А теперь я вынуждена каждую неделю терпеть наплыв разных зазнаек и чинуш, да еще выслушивать, как они бесцеремонно препарируют мое прошлое. Туристы, те, наоборот, чаще говорят об Эдварде, только называют его то «Рэдклифф», то «Эдвард Джулиус Рэдклифф», словно какого-то старого зануду. Люди забывают, сколько ему было лет, когда он жил в этом доме. Он едва отпраздновал свой двадцать второй день рождения, когда мы решили смыться из Лондона. А эти так серьезно и глубокомысленно разглагольствуют об искусстве, глядят в окна и, показывая на реку, добавляют:

– Вот тот вид, который вдохновил его на пейзажи верховий Темзы.

Фанни тоже интересует многих. Она стала настоящей трагической героиней – вот уж во что не поверил бы ни один человек, знавший ее при жизни. Люди все время ломают голову над тем, где произошло «это». В газетах о случившемся писали туманно, отчеты противоречили друг другу; и хотя в доме в тот день было немало людей, никто из них так и не рассказал ничего конкретного, и все подробности канули в Лету. Сама я ничего не видела – меня в тот момент не было в комнатах, – но гораздо позднее, по какому-то капризу судьбы, смогла прочитать полицейские отчеты. Один из моих прежних жильцов, Леонард, где-то раздобыл хорошие, контрастные копии, за чтением которых мы с ним провели не один тихий вечер. Правда, все в них оказалось чистой воды выдумкой, но так уж тогда делались дела. А может быть, и сейчас не лучше.

Портрет Фанни работы Эдварда, тот самый, где она изображена в зеленом бархатном платье и с изумрудом в форме сердца на фоне глубокого бледного декольте, привезли сюда, когда ассоциация надумала пускать в

дом туристов. Теперь он висит на стене в спальне второго этажа, как раз напротив окна, за которым видны сад и тропинка, ведущая к сельскому кладбищу. Иногда я думаю: интересно, что сказала бы об этом сама Фанни? Она была такой впечатлительной и совсем не хотела жить в спальне, окно которой глядело чуть ли не прямо на могилы.

– Это всего лишь сон, только другой, вот и все, – так и слышу я голос Эдварда, который пытается ее успокоить. – Просто мертвые спят очень долго.

Иногда туристы подолгу стоят перед портретом Фанни, сравнивая его с картинкой в путеводителе. Некоторые говорят, что, мол, она была красивой и богатой и надо же, прожила так мало; другие ломают голову над тем, что здесь тогда произошло. Но чаще всего люди просто качают головами да вздыхают, довольные; в конце концов, недаром размышления над чужой бедой испокон веку были любимым развлечением человечества. Вот и они без конца перемалывают одно и то же: отец Фанни и его деньги, ее жених и его разбитое сердце, письмо, которое она получила от Торстона Холмса за неделю до смерти. Мне это понятно: стать жертвой убийства – значит обрести бессмертие. (Правило распространяется на всех, кроме круглых сирот в возрасте десяти лет, живущих на Литл-Уайт-Лайон-стрит – в их случае стать жертвой убийства означает просто перестать существовать.)

Ну и конечно, туристы много говорят о «Синем Рэдклиффе». Иные прямо до хрипоты спорят о том, куда он мог деться.

– Вещи не исчезают просто так, – приговаривают они значительно, вытаращив глаза.

Иногда говорят и обо мне. За это мне следует поблагодарить Леонарда, моего молодого солдата, ведь это он написал книгу, где первым назвал меня возлюбленной Эдварда. До него я была всего лишь натурщицей. Книгу тоже можно купить здесь, в магазине подарков. Иногда я вижу его бледное лицо, которое смотрит на меня с оборота обложки, и тогда вспоминаю, как он жил в этом доме и как ночами громко звал «Томми».

Туристы, которые ходят здесь по субботам – руки сложены за спиной, на лице заученное выражение самодовольного всезнайства, – называют меня «Лили Миллингтон», что вполне понятно, учитывая, как все вышло. Некоторые спрашивают, откуда я взялась, куда исчезла и кто я вообще была такая. Такие мне нравятся, хотя все, что они думают обо мне, неверно. Все равно приятно, когда на тебя обращают внимание.

Каждый раз, когда незнакомый человек произносит при мне «Лили Миллингтон», я вздрагиваю от удивления. Сколько раз я пыталась

нашептать им на ухо мое настоящее имя, но слышали меня лишь двое – в том числе мой маленький друг с красивой челкой, которая лезла в глаза. Ничего странного: дети вообще восприимчивее взрослых, причем во всех смыслах.

Миссис Мак часто говорила: меньше слушай, что болтают вокруг, не узнаешь о себе дурного. Немало она говорила разного, но тут оказалась права. Меня запомнили как воровку. Самозванку. Нахалку, которая вылезла из грязи и даже целомудрие не сохранила.

Так оно и было, в одни годы больше, в другие меньше, а когда и похуже случилось. Но в одном они обвиняют меня напрасно. Я не убийца. Не я сделала тот выстрел, от которого погибла Фанни Браун.

Мой нынешний гость здесь уже полторы недели. В субботу он смылся из дому с утра пораньше и не появлялся весь день – до чего же я ему завидовала, как бы мне хотелось сделать то же самое, – после чего еще несколько дней все шло как по заведенному. Я уже стала думать, что так и не выясню, зачем он здесь, он ведь не болтлив, не то что иные до него: он никогда не оставляет на столе бумаг, в которых я могла бы подглядеть ответы, и не радуется меня долгими содержательными разговорами.

И вот наконец сегодня он поговорил по телефону. Так я узнала, зачем он здесь. А еще я узнала его имя. Его зовут Джек – Джек Роулэндс.

Целый день он, как всегда, провел на улице – ушел куда-то с утра, как обычно, с лопатой и фотоаппаратом. А когда вернулся, я сразу поняла: что-то изменилось. Во-первых, он отнес лопату к старому сараю, где есть уличный кран с водой, и начисто ее вымыл. Видимо, копать больше не будет.

Да и его самого как подменили. Движения стали свободнее, размашистее, будто он принял какое-то решение. Войдя в дом, он даже приготовил рыбу на ужин, что на него совсем не похоже: до сих пор он ел только суп из банок.

Все это заставило меня насторожиться. Наверное, он закончил то дело, ради которого сюда приехал, сразу подумала я. И тут, словно подтверждая мою догадку, раздался тот самый звонок.

Джек, видимо, его ждал. Он еще за ужином пару раз взглядывал на телефон, точно проверял время, а отвечая, точно знал, кто на том конце.

Я уже забеспокоилась, что это Сара хочет отменить завтрашний ланч, но нет; это оказалась другая женщина, некая Розалинд Уилер, она звонила из Сиднея, и их разговор не имел никакого отношения к тем двум малышам с фотографии, которую разглядывал Джек.

Я сидела на скамье в кухне и слушала их беседу, как вдруг он произнес имя, которое я давно и хорошо знала.

Сначала разговор представлял собой неловкий обмен вымученными любезностями, но потом Джек, который, вообще-то, не мастер ходить вокруг да около, сказал:

– Послушайте, мне неприятно вас разочаровывать. Но я десять дней подряд проверял все места из вашего списка. Камня здесь нет.

Есть лишь один камень, о котором вспоминают люди, когда говорят об Эдварде и его семье, вот почему я сразу поняла, что именно он ищет. Признаюсь, поначалу я даже была немного разочарована. Как это предсказуемо. Но, с другой стороны, люди вообще предсказуемы, просто одни больше, а другие меньше. Тут уж ничего не поделаешь. Да и кто я такая, чтобы осуждать охотника за сокровищами?

Но тут мне стало интересно, почему Джек решил искать «Синий Рэдклифф» именно здесь, в Берчвуде. Из разговоров туристов я знала, что о пропавшем бриллианте по-прежнему помнят, больше того, вокруг его исчезновения сложилась целая легенда, но Джек первым додумался приехать за ним сюда. С тех пор как в газетах были опубликованы первые репортажи об этом деле, общественное мнение склонялось к тому, что драгоценность увезли в Америку в 1862-м, где ее след затерялся. Леонард зашел дальше многих, высказав предположение, что камень вынесла из этого дома именно я. Конечно, он был не прав, и я уверена, что в глубине души он и сам знал это. Его сбили с толку отчеты полиции – после смерти Фанни полицейские опрашивали всех и каждого, но с предубеждением, и оттого получали неверные ответы, которые толковали вкривь и вкось. Но все же мне было обидно. Я-то думала, что мы с ним поняли друг друга, я и Леонард.

И вот в Берчвуд явился Джек, посланец какой-то миссис Уилер, чтобы искать здесь «Синий Рэдклифф»; заинтригованная, я погрузилась в задумчивость, из которой меня вывели следующие слова:

– Вы как будто хотите, чтобы я пробрался в дом.

Все прочее тут же вылетело у меня из головы.

– Я знаю, как это для вас важно, – продолжал он, – но в дом я не полез. Люди, которые тут всем заправляют, совершенно ясно дали мне понять, что я пребываю здесь на известных условиях.

Я так боялась что-нибудь пропустить, что, сама не заметив, подвинулась слишком близко к Джеку. Он вздрогнул, встал и пошел закрывать окно, наверное думая, что это сквозняк; телефон он положил на стол, но, должно быть, нажал какую-то кнопку, потому что я вдруг

услышала вторую половину разговора. Женщина – судя по голосу, немолодая – говорила с американским акцентом:

– Мистер Роулэндс, я заплатила вам, чтобы вы сделали определенную работу.

– И я проверил все места из вашего списка: лес, излучину реки, поляну на холме – все, о чем Ада Лавгроув писала родителям.

Ада Лавгроув.

Сколько лет прошло с тех пор, как я в последний раз слышала это имя; признаюсь, я даже расчувствовалась. Кто же эта женщина на том конце? Американка, которая звонит из Сиднея. И как к ней попали старые письма Ады Лав-гроув?

Джек повторяет:

– Камня нигде нет. Мне очень жаль.

– При нашей личной встрече, мистер Роулэндс, я выразилась предельно ясно: если поиск в указанных местах не принесет результатов, задействуйте план «Б».

– Вы ничего не говорили о вторжении в музей.

– Это очень важно для меня. Как вы знаете, я бы полетела сама, если бы мое физическое состояние не исключало такую возможность.

– Послушайте, мне страшно жаль, но...

– Уверена, мне незачем напоминать, что вторую половину гонорара вы получите лишь в том случае, если обеспечите результат.

– И все-таки...

– Дальнейших указаний ждите по электронной почте.

– А я говорю вам, что схожу в дом в субботу, когда там открыто для публики, и посмотрю, что к чему. Не раньше.

Она повесила трубку, явно недовольная разговором, но Джека это, похоже, не тронуло. Надо же, какой он, оказывается, невозмутимый. Прекрасное качество, только мне почему-то сразу захотелось его позлить. Ну так, самую малость. Боюсь, что со временем у меня испортился характер; а все от того, что я слишком давно вожу компанию со скукой и ее близкой подружкой – хандрой. Ну и наверное, Эдвард отчасти тоже виноват: для него несдержанность в проявлениях эмоций всегда была равносильна красоте духа, причем он так страстно отстаивал свою точку зрения, что не поддаться его очарованию было просто невозможно.

Взволновал меня этот звонок, растревожил не на шутку. Джек достал фотоаппарат и начал переносить снимки в компьютер, а я отправилась в свой любимый теплый уголок дома, туда, где лестница делает поворот, чтобы посидеть там и все хорошо обдумать.

С одной стороны, причина моего беспокойства ясна. При мне упомянули имя Ады Лавгроув, которого я не слышала уже много лет, вот я и удивилась. Столько воспоминаний нахлынуло сразу, столько вопросов – и ни одного ответа. В том, что имя Ады связывают с «Синим», есть логика; но почему именно сейчас? Почему через сто лет после того, как подошел к концу недолгий срок ее пребывания в этом доме?

Однако у моего беспокойства была и другая подоплека. Не столь очевидная. И более личная. Никак не связанная с Адой. Зато имевшая отношение к упорному нежеланию Джека сделать то, на чем настаивала эта миссис Уилер. Нет, сама миссис Уилер тут совершенно ни при чем, просто я пришла в смятение от того, что поняла: Джек закончил дело, которое привело его сюда. Оно никак не связано с двумя малышами на фотографии, к которым он проявляет постоянный интерес, а значит, он скоро уедет.

А я не хочу, чтобы он уезжал.

И даже наоборот: я очень-очень хочу, чтобы он остался; хочу, чтобы он вошел в мой дом. И не в субботу, вместе со всеми, а сам по себе, один.

В конце концов, это мой дом, а не их. Больше того, это мой единственный настоящий дом. Я, конечно, терплю их здесь, но лишь ради Эдварда, в память о котором они здесь все затеяли; он был достоин столь многого, а получил так мало. Но все равно, дом мой, и я буду принимать в нем кого захочу.

К тому же у меня так давно не было гостя, настоящего, моего собственного.

Тогда я встала и пришла сюда, в старую пивоварню, где мы с Джеком так и сидим вдвоем: он молча разглядывает снимки на экране компьютера, а я также молча разглядываю его.

Он переводит глаза с одного изображения на другое, а я внимательно слежу за его лицом, пытаюсь уловить в нем малейшие перемены. Но все спокойно; никаких перемен нет. Я слышу, как в доме тикают мои часы: те самые, которые Эдвард подарил мне перед нашим приездом сюда, в то лето.

– Сколько бы времени ни отмерили эти часы, знай, что моя любовь к тебе будет длиться дольше, – пообещал он в тот вечер, когда мы выбрали место для них.

За спиной Джека – стена, а в стене – дверь на кухню. Из кухни открывается проход ко второй, непарадной лестнице на второй этаж. На площадке между этажами есть окно, его подоконник достаточно широк, чтобы на нем могла усесться женщина. Помню один июльский день: напоенный ароматами цветов теплый ветерок влетает в приподнятое окно и

щекочет мою обнаженную шею; рукава Эдварда закатаны до локтей; тыльная сторона ладони гладит мне щеку...

Джек убрал пальцы с клавиатуры. Сидит так тихо, будто вслушивается в далекую мелодию. Но вот его внимание снова обратилось к экрану.

Помню, как Эдвард смотрел мне в глаза; как билось у меня сердце; помню слова, которые он шептал мне в ухо, его теплое дыхание на моей коже...

Джек снова отрывается от компьютера и оглядывается на дверь у себя за спиной.

Вдруг мне в голову приходит одна мысль. Я подхожу к нему.

«Войди внутрь», – шепчу я.

Теперь он хмурится; локтем он упирается в стол, подбородок лежит на сжатых в кулак пальцах. Он смотрит на дверь.

«Войди в мой дом».

Он встает, подходит к двери и замирает, положив ладонь на ее поверхность. Вид у него озадаченный, как у человека, который силится разгадать арифметическую загадку, оказавшуюся сложнее, чем ему думалось.

Я стою прямо рядом с ним.

«Открой дверь...»

Но он не открывает. Поворачивается к ней спиной. И выходит из комнаты.

Я иду за ним, пытаюсь повлиять на него силой мысли, но он подходит к старому чемодану, где хранит одежду, открывает его, роется внутри и наконец достает черный футлярчик с инструментами. Какое-то время он стоит, глядя на него и даже подбрасывая на ладони, точно оценивает вес. Но я понимаю, что мысли его заняты не только набором инструментов, потому что он с решительным видом поворачивает назад.

Он возвращается!

На стене у двери есть сигнализация – ассоциация поставила ее, когда держать зрителя стало слишком дорого; по субботам, когда посетители уходят, механизм заводят, как часы, и этого завода хватает на неделю. И вот я жадно слежу за каждым движением Джека, который при помощи инструмента из футляра пытается обхитрить механизм. Ему это удастся, он переходит к замку, с легкостью открывая его уже другим инструментом, и я невольно вспоминаю Капитана: вот на кого он точно произвел бы впечатление. Дверь распахивается, и Джек мгновенно скрывается за ней.

У меня в доме темно, а фонарь он с собой не захватил; дорогу ему освещает только луна, чей серебристый свет льется в окна. Он проходит

через кухню в холл, останавливается.

А потом разворачивается и возвращается в старую пивоварню.

Мне бы очень хотелось, чтобы он остался и все увидел. Но меня обнадеживает задумчивое выражение его лица на обратном пути. Опыт подсказывает мне, что он еще вернется. Те, к кому я проявляю интерес, всегда возвращаются.

Сегодня я даю ему уйти и остаюсь в темном доме одна, слушая, как он запирает дверь с другой стороны.

Мужчина, умеющий открыть замок без ключа, приводит меня в восхищение. Да и женщина тоже, если уж на то пошло. Наверное, дело в моем воспитании; миссис Мак, которая много знала о жизни, а еще больше – о том, как обтяпывать разные делишки, часто повторяла: коли дверь заперта, стало быть есть что прятать. Правда, самой мне вскрывать замки не доводилось, – по крайней мере, это не входило в мои обязанности. Предприятие, которым заправляла миссис Мак, было устроено не просто, а залогом его преуспевания была гибкость; выражаясь словами самой хозяйки, которые я бы высекала на ее могиле, «шкурку с кошки можно снимать по-разному».

Я была хорошей воровкой. Как и предвидела миссис Мак, все оказалось просто: люди знали, что уличные мальчишки таскают из карманов кошельки, и сразу настораживались, заметив поблизости одного или нескольких чумазных сорванцов. Но чистенькая девочка, в нарядном платьице, с сияющими медно-рыжими локонами до плеч, не вызывала ровным счетом никаких подозрений. Так что мое появление в доме миссис Мак позволило ей вывести свою предпринимательскую деятельность за границы Лестер-сквер и распространить сферу своего влияния до Мэйфера на западе и Линкольнз-Инн-филдз и Блумсбери на севере.

Радуюсь такой экспансии, Капитан потирал руки и весело приговаривал:

– Вот где настоящие богачи, у которых карманы трещат от денег, – знай только выгребай.

В сценке с Заблудившейся Девочкой ничего сложного не было: от меня требовалось только стоять на виду и крутить головой с выражением тревоги и страха на лице. Слезы тоже очень шли к этой роли, но были необязательны – они отнимали много сил, к тому же их непросто было унять, если вдруг выяснялось, что на мою наживку клюнула не та рыбка, поэтому я берегла их для особых случаев. Скоро у меня выработалось чутье: я стала понимать, ради кого стоит постараться, а с кем и так сойдет.

Когда рядом со мной оказывался подходящий джентльмен – а это всегда случалось, рано или поздно – и начинал расспрашивать меня, где я живу и почему стою одна на улице, я излагала ему свою печальную историю и добавляла адрес, respectable, но не роскошный, чтобы не рисковать; он слушал развесив уши, потом ловил кеб и усаживал меня в него, предварительно оплатив проезд. Сунуть руку ему в карман и вытащить оттуда бумажник, пока он занимался Благородным Делом, было парой пустяков. Податель помощи ближнему обычно испытывает прилив праведного самодовольства, очень полезного в нашем деле; притупляя способность к здравому суждению, оно делает благодетеля слепым и глухим ко всему вокруг.

Однако Заблудившейся Девочке приходилось подолгу стоять на одном месте, и это было скучно, а зимой к тому же сыро, неудобно и холодно. Но я скоро сообразила, как сделать условия работы приемлемыми, не потеряв при этом в деньгах. А заодно предотвратить возникновение проблемы Благородного Джентльмена, которому вздумается проводить меня до самого «дома». Миссис Мак умела ценить изобретательность в других – она сама была настоящей, природной аферисткой, и любое новое плутовство приводило ее в восторг; к тому же она мастерски управлялась с иглой и ниткой. Вот почему, когда я изложила ей свой план, она, не откладывая дела в долгий ящик, раздобыла где-то пару белых лайковых перчаток и принялась перешивать их для моего удобства.

Так появилась на свет Маленькая Пассажирика, тихое, незаметное существо, ведь ее задача была совсем не той, что у Заблудившейся Девочки. Если Девочка всем своим видом взывала о внимании, то Пассажирика, напротив, делала все, чтобы его избежать. Она часто путешествовала в омнибусах, где всегда занимала местечко у окна и сидела тихо как мышка, скромно сложив на коленках ручки в белых лайковых перчатках. Естественно, рядом с такой чистенькой и невинной малышкой охотно садились леди, также путешествующие в одиночестве. Но стоило такой леди ненадолго увлечься разговором с нечаянным попутчиком или созерцанием проплывающих за окном городских красот, раскрыть книжку или начать разглядывать букетик в своих руках, как настоящие руки Пассажирики, совершенно невидимые, погружались в пышные складки объемистых юбок соседки и начинали аккуратно прощупывать их в поисках кармана или сумочки. До сих пор помню это ощущение: вот моя рука оказывается между складками юбки нарядной леди, холодный, гладкий шелк обнимает ее со всех сторон, пальцы погружаются в него все глубже, кончики их раздвигают упругую материю, а в это время фальшивые

руки в белых лайковых перчатках лежат у меня на коленях.

В иных омнибусах за небольшую мзду можно было ездить весь день. А если подкупить кондуктора не получалось, в игру снова вступала Заблудившаяся Девочка – одинокая и беззащитная, она стояла, испуганно озираясь, на улице, где было полно нарядной публики.

В те дни я многое узнала о людях. Например, вот это.

1. Богатство делает человека доверчивым, особенно если этот человек – женщина. Жизненный опыт не предупреждает ее о том, что кто-то может желать ей зла.

2. Ни один джентльмен не откажется помочь, если это видят другие.

3. Искусство иллюзиониста состоит в знании того, что люди ожидают увидеть, и умении уверить их, что они видят именно это.

В последнем меня окончательно убедил французский волшебник из Ковент-Гарден, ибо я твердо помнила завет Лили Миллингтон и внимательно следила за его руками, пока не поняла, откуда в них берется монета.

А еще я узнала, что, если случится худшее и за мной погонятся с криками «Держите! Воровка!», моим самым надежным союзником станет Лондон. Ведь для ребенка, маленького и верткого, к тому же знающего, куда бежать, давка и толчея на улицах – не помеха, а, наоборот, лучшее укрытие; лес движущихся ног надежно ограждает от погони, особенно если у маленького беглеца есть друзья. И опять я должна поблагодарить Лили Миллингтон за науку. Так, всегда можно было положиться на человека-сэндвича: обвешанный досками с рекламой, он так неуклюже вертелся на тротуаре, что обязательно пару раз попадал по голени некстати возникшему полицейскому. Или на шарманщика, чей громоздкий, снабженный колесиками инструмент имел прямо-таки сверхъестественную привычку срываться с места и катиться наперерез преследователям. А последней моей надеждой был фокусник-француз: в нужный момент он доставал искомый бумажник из кармана и вручал его запыхавшемуся владельцу, приводя того в неопишное замешательство, которое отчасти умеряло его гнев и давало мне возможность скрыться.

Итак, я была воровкой. Хорошей воровкой. Которая полностью обрабатывала свое содержание.

Каждый день я возвращалась домой с добычей, и миссис Мак с Капитаном были довольны. Много раз я слышала от нее, что моя мать была настоящей леди и что те леди, у которых я воровала, ничем не лучше меня, а то и хуже, ведь не у всякой дамы пальчики устроены так, чтобы выполнять самую тонкую работу, а значит, у меня есть все основания

гордиться собой. Думаю, так она хотела предупредить появление у меня мук совести.

Зря она волновалась. Все мы порой делаем то, чего потом стыдимся; мелкие кражи у богачей стоят невысоко в списке моих постыдных деяний.

После того как Джек вчера ушел из моего дома, я всю ночь не находила себе места, да и он плохо спал – в розовато-лиловых предутренних сумерках его одолела тревога. Сегодня у него встреча с Сарой, так что он оделся за несколько часов до выхода. Постарался: непривычная одежда сидит на нем несколько неуклюже.

Вообще, готовился тщательно. Нашел пятнышко-невидимку на рукаве, долго его тер, потом так же долго стоял перед зеркалом; побрился и даже провел щеткой по мокрым волосам. Раньше я за ним такого не замечала.

Закончив, он снова встал перед зеркалом и оценивающе посмотрел на себя. Вдруг его отражение в зеркале повело глазами, и долю секунды мне казалось, что он видит меня. У меня чуть не оборвалось сердце, но я вовремя поняла, что он смотрит на двух малышей с фото. Потом он протянул руку и коснулся большим пальцем их мордашек – сначала одной, потом другой.

Я было решила, что причина его беспокойства – сегодняшняя встреча, и, в общем-то, конечно, так оно и есть. Но теперь я думаю, что дело не только в ней.

Он заварил себе чашку чаю, пролив, как обычно, половину, потом с тостом в руках подошел к круглому столику в центре комнаты, где у него стоит компьютер. За ночь пришли два новых письма, одно от Розалинд Уилер, как та и обещала, с довольно длинным списком и еще каким-то рисунком. На это Джек отреагировал так: достал из кармана маленькую черную штучку, воткнул ее компьютеру в бок, затем нажал пару кнопок и снова спрятал штучку в карман.

Не знаю наверняка, связано ли сообщение Розалинд Уилер с тем, что сегодня утром он снова побывал в моем доме. Когда он ушел, я подошла к столу поближе и в строке «Тема» прочла: «Дальнейшие инструкции: записки Ады Лавгроув»; но больше ничего узнать не смогла, мешало открытое предыдущее письмо с рекламой подписки на «Ньюйоркер».

Как бы то ни было, после компьютера он снова достал свой футлярчик с инструментами и отпер дверь в мой дом.

Он и теперь здесь, со мной.

Ничего особенного он пока не делал; судя по тому, как он ходит, никакой определенной цели у него нет. Сейчас он в Шелковичной комнате,

стоит у окна, прислонившись к большому письменному столу красного дерева. Взгляд как будто устремлен в сад за домом, на каштан и амбар за ним. На самом же деле он смотрит дальше, куда-то на реку, и выражение лица у него опять тревожное. Когда я подхожу ближе, он моргает и начинает смотреть на луг и амбар.

Я вспоминаю, как в то лето мы с Эдвардом лежали под крышей амбара, смотрели на солнечные лучи, которые просачивались кое-где сквозь щели между черепицами, и он шепотом рассказывал мне о том, где хотел бы побывать.

А в этой комнате, в кресле у камина, Эдвард впервые подробно поведал мне о том, как напишет портрет Королевы Фей, каким он будет; потом улыбнулся, опустил руку во внутренний карман, вынул черный бархатный футляр и открыл – в нем лежала драгоценность. До сих пор помню прикосновения его пальцев, когда он повесил этот холодный синий камень мне на шею.

Конечно, не исключено, что Джек просто ищет, чем занять время, как убить последние минуты перед выходом; он наверняка думает о Саре, об их скорой встрече, поэтому и бросает порой взгляд на мои часы. Когда они наконец показывают то, что ему нужно, он торопливо уходит из моего дома прочь и так быстро запирает кухонную дверь и восстанавливает сигнализацию, что я едва успеваю за ним.

Я провожаю его до ворот, наблюдаю, как он садится в машину и уезжает.

Надеюсь, он ненадолго.

А я, пока его нет, наведу снов в пивоварню. Может, найду там еще что-нибудь от Розалинд Уилер. До смерти хочется знать, как к ней попали письма Ады Лавгроув.

Бедная малышка Ада. Детство – такое жестокое время. Вот ты плывешь, беззаботный, по бескрайнему небу среди серебристых звезд, а вот уже лежишь, уткнувшись носом в землю, и вокруг тебя – темная чаща отчаяния.

Когда Фанни умерла и полиция завершила свое расследование, люди покинули Берчвуд-Мэнор, и все здесь надолго погрузилось в тишину и неподвижность. Дом отдыхал. Так прошло двадцать лет, до возвращения Люси. Тогда я узнала, что Эдварда нет больше в живых и что этот дом, который он так любил, он завещал младшей сестре.

Поступок совершенно в духе Эдварда, ведь он обожал своих сестер, а те – его. Но я знаю, почему он выбрал именно Люси. Наверняка он решил,

что Клэр сама обеспечит свое будущее удачным замужеством либо устроится иначе, но так, чтобы кто-нибудь заботился о ней. А Люси совсем не такая. Никогда не забуду, как я впервые увидела ее: бледная внимательная мордашка выглядывала из окна верхнего этажа темного кирпичного дома в Хэмпстеде, когда Эдвард привел меня в свою студию, стоявшую в саду его матери.

Такой она и останется для меня навсегда: ребенком, юной девочкой, которая злилась на ограничения лондонской жизни, но расцветала, стоило привезти ее в деревню и отпустить на волю – в леса, поля, луга и на берег реки, где она исследовала, копала, собирала коллекции в свое удовольствие. Хорошо помню ее в тот день, когда мы всей компанией приехали в деревню – со станции мы шли пешком, а Люси плелась за нами и не могла догнать, потому что ее чемодан был набит драгоценными книгами, которые она не решилась положить в экипаж, бок о бок с остальной поклажей.

Зато до чего же удивительно было наблюдать за ней, когда она появилась здесь много лет спустя, чтобы обследовать доставшуюся ей собственность. Малышка Люси превратилась в строгую взрослую женщину. Ей было тогда тридцать три – уже немолодая, по представлениям той эпохи. И все же, глядя на Люси, на ее длинную прямую юбку безобразного оливкового цвета и жуткую шляпку, я испытала прилив всепобеждающей нежности. Волосы под уродливой шляпкой уже растрепались – шпильки у Люси никогда не держались на месте, – ботинки покрылись коркой грязи.

Люси не стала осматривать все комнаты подряд, да и нужды не было: дом, со всеми его тайнами, она знала не хуже меня самой. Зашла только в кухню, огляделась, пожалала руку поверенному и сказала, что он может быть свободен.

– Но, мисс Рэдклифф, – в его голосе сквозило изумление, – разве вы не хотите, чтобы я показал вам дом?

– В этом нет необходимости, мистер Мэтьюз.

Она подождала, пока его экипаж не скроется из виду, потом снова вернулась на кухню и застыла. Я подошла к ней совсем близко и могла видеть все тонкие морщинки, которыми время уже пометило ее лицо. Но и за ними малышка Люси осталась прежней, ведь люди не меняются с течением лет. Они остаются такими же, как в юности, только делаются печальнее и раннее. Как же мне хотелось обнять ее тогда. Мою верную защитницу Люси.

Вдруг она подняла голову, и мне показалось, будто она смотрит прямо на меня. Или сквозь меня. Но тут ее внимание привлекло что-то другое, и

она, смахнув меня с пути, вышла в холл и стала подниматься на второй этаж.

Я думала о том, что Люси будет делать с домом. Надежды было мало, но я все же надеялась, что она останется здесь жить. А потом стали привозить вещи: сначала деревянный ящик, затем парты, стулья, узкие железные кровати, грифельные доски и целые подносы с мелом. И наконец прибыла женщина по фамилии Торнфилд, на чьем письменном столе красовалась табличка с надписью «Заместитель директора».

Школа. Я обрадовалась. Малышка Люси всегда тянулась к знаниям. Эдвард тоже порадовался бы: мы с ним часто останавливались у витрин книжных магазинов, а потом он затаскивал меня внутрь – купить новую книжку для Люси. Ее любопытство было ненасытным.

Иногда я все еще слышу голоса школьников. Тихие, далекие голоса – они поют, спорят, смеются, а по ночам многие плачут в подушки, умоляя отца или мать пожалеть их и забрать отсюда. Их голоса вплелись в ткань этого дома, стали его частью.

Все те годы, что я жила с миссис Мак, Мартином и Капитаном, моим главным желанием было, чтобы за мной вернулся отец, но я никогда не плакала. В письме, которое отец оставил миссис Мак, говорилось предельно ясно: я должна быть смелой и стараться быть хорошей; я должна работать, чтобы содержать себя, и помогать другим; я должна выполнять все, что велит миссис Мак, ибо он полностью доверяет ей и не сомневается, что она будет действовать в моих интересах.

– Когда он вернется? – спрашивала я.

– Он пришлет за тобой, как только устроится на новом месте.

Боль никогда не утихает в душе покинутого ребенка. Таковую же боль я ощутила в душе Эдварда и иногда даже задавалась вопросом, уж не это ли свело нас друг с другом. Ведь его тоже бросили в детстве. Эдвард и его сестры жили со строгими родителями отца, пока их собственные родители путешествовали.

Ада Лавгроув страдала от той же боли, – я сразу это почувствовала.

Я много думала о ней в прошедшие годы. Размышляла о том, какими недобрыми могут быть дети. Вспоминала ее страдания. И тот день на реке.

Так давно все это было и в то же время как будто вчера. Мне даже напрягаться не нужно, я вижу ее перед собой как живую: вот она сидит по-турецки на постели у себя в мансарде, жгучие слезы бегут по щекам, перо в ее руке скребет бумагу, едва успевая выводить страстную мольбу: пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, вернитесь за мной.

Глава 10

Лето 1899 года

Своего высокого, богатого отца и свою умную, ухоженную мать Ада Лавгроув ненавидела одинаково. Это было новое для нее чувство – до двадцать пятого апреля она обожала обоих родителей, – однако новизна не делала ненависть менее острой. Каникулы, говорили они, небольшая поездка в Англию. Ах, Ада-Медвежонок, Лондон тебе понравится – театры и парламент! А вот погоди, ты еще увидишь, как мягко и нежно зеленеют летом английские луга и поля! А как благоухает цветущая жимолость в живых изгородях, как желтые звездочки примул весной усыпают обочины узких деревенских тропок...

Для Ады это были иностранные слова, которых девочка не понимала и которым не верила, несмотря на звучащую в них романтическую тоску, но все же она перебирала их в уме, с бесстрастным интересом археолога выстраивая картину жизни далекой цивилизации. Она родилась в Бомбее, и Индия была такой же частью ее самой, как ее нос или веснушки на нем. Слова «нежный», «мягкий», «узкий» применительно к пейзажу были ей непонятны: в ее мире все было большим, внезапным и пламенеющим. Ее страна была местом несказанной красоты – ярких цветов на террасах и одуряюще-сладких ночных ароматов – и невыразимой жестокости. Таким был ее дом.

Впервые мать Ады обмолвилась о предстоящей поездке мартовским днем, когда девочка ужинала. В тот день ее кормили в библиотеке, потому что вечером мама и папа ждали гостей и в столовой уже накрывали огромный стол красного дерева (он приехал на корабле из Лондона). В библиотеке было полно книг (тоже из Лондона) с именами вроде «Диккенс», «Бронте» и «Китс» на корешках, а на другом конце стола стояла книжка-раскладушка с картинками, по которой мама перед ужином учила с ней «Бурю». В комнате было жарко, волосы девочки прилипли ко лбу, в перегретом воздухе кругами летала ленивая муха, чье непрерывное жужжание навевало мысль об угрозе, неотступной, но пока еще далекой.

Ада думала о Калибане и Просперо, пытаясь понять, почему морщинка неодобрения прорезала мамин лоб, когда Ада сказала, что ей жалко Калибана, и тут ее внимание привлекли слова «съездим ненадолго

в Англию».

Горячее, влажное дуновение снаружи вспучило тюлевую занавеску, и Ада спросила:

– А сколько туда ехать?

– Уже не так долго, как раньше, ведь теперь прорыли канал. Прежде, как ты знаешь, приходилось добираться поездом.

Но Ада, не умеющая плавать, как раз предпочла бы поезд.

– А что мы там будем делать?

– О, все что угодно. Ездить в гости к друзьям и родственникам, знакомиться с достопримечательностями. Мне так хочется показать тебе места, которые я знала еще девочкой: парки и галереи, сады и дворцы.

– Здесь тоже есть сады.

– Верно.

– И дворец тоже есть.

– Но без короля и королевы.

– А мы долго там будем?

– Ровно столько, сколько понадобится, чтобы завершить все дела, и ни секундой больше или меньше.

Этот ответ, который вовсе не был ответом, звучал совсем не по-маминому – обычно мама хорошо могла противостоять шквалу вопросов Ады, но в тот раз девочке не хватило времени докопаться до сути того, что от нее скрывали.

– Все-все, иди к себе, – сказала мама и сделала своими ухоженными пальцами такое движение, как будто отметала от себя что-то. – С минуты на минуту вернется из клуба твой отец, а у меня еще цветы не расставлены. У нас сегодня будет лорд Керзон, ты же знаешь, а значит, в доме все должно быть безупречно.

Потом на террасе Ада пару раз неспешно сделала колесо, наблюдая за тем, как мир из пурпурного становится оранжевым, словно картинка в калейдоскопе, где цветы индийской сирени и гибискуса сменяют друг друга. Садовник мел газон, а его помощник расставлял на широкой веранде плетеные кресла.

Вообще-то, Ада любила делать колесо, но в тот вечер она не вложила в него всю душу, как обычно. Вращение мира вызвало у нее не восторг, а головокружение, даже тошноту. Немного погодя она бросила эту забаву и села на краю веранды, там, где росли нильские лилии.

Отец Ады был важной персоной, так что их особняк стоял в самом центре Бомбея, на вершине холма; со своего наблюдательного пункта Ада видела Висячие сады, спускавшиеся туда, где катило на берег свои валы

Аравийское море. Девочка сидела, задумчиво обрывая с огромной белой лилии длинные тонкие лепестки, похожие на паучьи лапки, когда ее нашла *айя*, нянька по имени Шаши.

– Вот ты где, *пилла*, – сказала Шаши, старательно выговаривая английские слова. – Пойдем-ка: твоя мама хочет, чтобы мы с тобой принесли еще фруктов для десерта.

Ада встала и взяла протянутую руку Шаши.

Обычно ей нравилось ходить с нянькой на рынок – там был один продавец закусок, он всегда давал ей лишнюю *чаккали*, которую Ада грызла, следуя за Шаши и ее огромной корзиной долгим замысловатым путем, от одного прилавка с фруктами и овощами к другому, – но сегодня тревога, вызванная внезапными словами матери, облаком висела над ней, и девочка в задумчивости едва переставляла ноги, пока они шли по склону холма вниз.

На востоке собиралась гроза, и Ада надеялась, что скоро пойдет дождь. Хлынет могучими потоками прямо на экипажи, которые везут гостей к ее родителям. Она тяжело вздохнула, так и эдак поворачивая в уме неожиданное предложение матери, ища подвоха в ее словах. Англия. Далекая земля, где ее родители были маленькими, владения таинственной и легендарной «бабушки», родина людей, которых отец Шаши называл обезьяньими задницами...

Шаши перешла на пенджаби.

– Что-то ты притихла, *пилла*. Не подумай чего-нибудь, мои уши только рады тишине, но я все-таки удивляюсь, уж не случилось ли чего с твоей любопытной мордашкой?

Ада, которая сама еще не решила, что думать о недавнем разговоре, выложила его няньке весь, до последнего слова. Под конец она выдохнула:

– А я не хочу ехать!

– Вот упрямый маленький мул! Столько шума из-за какой-то поездки домой?

– Это *их* дом, а не мой! Не хочу я ехать ни в какую Англию и так маме и скажу, как только мы придем с рынка.

– Но, *пилла*, – заходящее солнце коснулось нижним краем линии горизонта, золотом изливаясь в море, которое несло его сверкающие чешуйки назад, к берегу, – ведь это будет поездка на *остров*.

Шаши была мудра и хорошо понимала, что Аде безразлична какая-то там «Англия», зато девочка любит острова и сейчас просто забыла, что Англия – это как раз остров, только очень далекий, посреди Северного моря, небольшой тускло-розовый клочок земли в самом верху карты, с

узким пояском посередине, совсем как песочные часы. В кабинете отца был глобус – большой, сливочного цвета шар в объятиях дугообразного зажима красного дерева, – Ада, когда бывала допущена в это святилище, пропахшее ароматом сигар, иногда крутила его для развлечения: ей нравилось, как он щелкает на ходу, словно целый рой цикад. Она заметила остров под названием «Великобритания» и сказала отцу, что, на ее взгляд, не так уж он и велик. Тот рассмеялся и ответил, что внешность часто бывает обманлива.

– Этот маленький остров, – добавил он потом с гордостью, от которой у Ады почему-то сильно забилося сердце, – мотор, который приводит в движение весь мир.

– Конечно, – согласилась она теперь с нянькой, – остров – вещь хорошая. Но ведь Британия – это остров обезьяньих задниц!

– *Пилла!* – Шаши подавила смешок. – Нельзя говорить такие вещи, особенно там, где тебя могут услышать мать и отец.

– Мать и отец – тоже обезьяньи задницы! – горячо выпалила Ада.

Восхитительный риск, на который пошла Ада, прелестное непочтение, с которым она говорила о своих многоуважаемых родителях, стали искрами, которые разожгли пламя, и Ада почувствовала, как ее решимость быть сердитой начинает плавиться на этом огне. Смех уже рвался из нее наружу. Тогда она взяла руку своей *айи* и крепко-крепко сжала ее:

– Ты тоже должна поехать со мной, Шаши.

– Я останусь здесь и буду ждать, когда ты вернешься.

– Нет, я буду очень без тебя скучать. Ты должна поехать. Мама и папа разрешат.

Но Шаши лишь покачала головой:

– Я не могу поехать с тобой в Англию, *пилла*. Я там увяну, как сорванный цветок. Моя почва здесь.

– И моя тоже. – Они достигли подножия холма и ряда пальм, которые росли вдоль берега. Лодки-*дхоу*, свернув паруса, чуть покачивались на гладкой поверхности моря, а на берегу парсы в белых одеждах уже готовились к закатной молитве. Ада остановилась и повернулась к золотистому океану лицом, ощущая тепло заходящего солнца. Ее переполняло чувство, названия которого она не знала, прекрасное и болезненное в одно и то же время. И она повторила, на этот раз медленнее: – Моя почва тоже здесь, Шаши.

Шаши ласково улыбнулась, глядя на нее, но ничего не сказала. Это было необычно, и молчание *айи* еще больше встревожило Аду. Мир как будто накренился, когда солнце перешло за полдень, и все в нем вдруг

сдвинулось с места. Привычное поведение взрослых изменилось, словно часы, прежде надежные, теперь показывали неправильное время.

С некоторых пор Ада часто ловила себя на этом чувстве. Интересно, связано ли оно с тем, что ей недавно исполнилось восемь? Может быть, так начинается взрослость?

Ветерок приносил запахи морской соли и перезрелых фруктов, слепой нищий протянул к ним свою чашку, когда они проходили мимо. Шаши опустила в нее монетку, а Ада начала снова:

– Не могут же они заставить меня поехать.

– Могут.

– Но это нечестно.

– Да ну?

– Совсем нечестно.

– А ты помнишь сказку «Свадьба крысы»?

– Конечно помню.

– Разве это честно, что крыса, которая никому ничего плохого не сделала, в итоге осталась с паленой задницей?

– Нет, нечестно!

– А «Неудачную сделку медведя» помнишь? Разве честно, что бедный медведь сделал все, о чем его просили, но не получил ни *кичри*, ни *груш*?

– Нет, конечно!

– Ну так вот.

Ада нахмурилась. Ей никогда и в голову не приходило задуматься над тем, что многие истории, которые рассказывала Шаши, учат одному: в жизни нет места справедливости.

– Этот медведь был *бевкупх*! Глупый. Будь я на его месте, уж я бы показала этой жене *дровосека*.

– Конечно очень глупый, – согласилась Шаши, – и ты бы, конечно, показала.

– Она была *лгунья*.

– Да.

– И *обжора*.

– Мм, кстати, об *обжорах*... – Они уже дошли до рынка, где Шаши взяла Аду за руку и повела ее к любимому прилавку со *снедьё*. – Сдается мне, что пора нам подкормить твою маленькую мордашку. Чтобы она не докучала мне жалобами, пока я буду выбирать фрукты.

Трудно продолжать сердиться, когда держишь в руке теплую, свежую, соленькую *чаккали*, и песнопения парсов плывут над морем, свечи и цветы *гибискуса* качаются на волнах, яркими точками окружая прилавки, и

весь мир вокруг тебя становится пурпурным и оранжевым в сумерках. Ада была так счастлива, что даже не помнила, из-за чего сердилась совсем недавно. Просто папа и мама решили взять ее с собой в короткую поездку на один остров. Вот и все.

Мама требовала фрукты немедленно, и у Шаши не оказалось времени, чтобы обойти, как обычно, все прилавки и перебрать всё в поисках лучшей папайи и самых спелых мускусных дынь. Ада еще не слизала с пальцев последние крошки *чаккали*, а они уже повернули домой. Она попросила:

– Расскажешь мне сказку про принцессу Баклажан?

– Опять?

– Это же моя любимая. – По правде говоря, Ада любила слушать все, что рассказывала Шаши. Она даже не огорчилась бы, если бы вместо обычной сказки на ночь та вдруг решила почитать Аде что-нибудь из дипломатической переписки ее отца; ведь больше всего ей нравилось просто лежать рядом с Шаши, чье имя означало «луна», и, пока в небе не погаснут последние отблески дня, уступив место ярким звездам, замороженно слушать, как *айя* вплетает в сказку шелестящие, щелкающие слова на пенджаби. – Пожалуйста, Шаши.

– Может быть.

– Пожалуйста!

– Ладно. Если сможешь мне занести фрукты на вершину холма, так и быть, расскажу тебе вечером про принцессу Баклажан и про то, как она обманула злую королеву.

– А давай лучше сейчас, пока мы идем наверх?

– Бандара! – сказала Шаши, притворяясь, будто хочет оттрепать Аду за уши. – Маленькая обезьяна! Да за кого ты меня принимаешь, что просишь такое?

Ада ухмыльнулась. Попробовать все равно стоило, хоть она и знала, что Шаши не согласится. Правила есть правила, Ада усвоила это крепко. Лучшие сказки рассказываются, когда стемнеет. Много раз душными ночами, когда они бок о бок лежали на платформе, возвышавшейся над крышей, и окна были широко раскрыты, но жара все равно не давала уснуть, Шаши рассказывала Аде о своем детстве, которое она провела в Пенджабе.

– Когда мне было столько лет, сколько сейчас тебе, – говорила она, – от восхода солнца и до самого заката никто историй не рассказывал, потому что у всех была работа. Нет, я не прохлаждалась, как ты! Целый день я делала лепешки для очага, чтобы было чем его растопить, когда стемнеет, моя мать сидела за прялкой, а отец с братьями запрягали с утра волов и шли

пахать. В деревне у всех есть какая-нибудь работа.

Ада не раз слышала эту маленькую лекцию, и хотя девочка знала, что главная цель этого – подчеркнуть праздность и легкость ее собственной жизни, она не возражала: Шаши так говорила о своем доме, что эти ее рассказы были ничуть не менее интересными и настолько же волшебными, как те, которые начинались со слов «Давным-давно...».

– Ну ладно, – сказала она, беря корзинку поменьше и вешая ее себе на локоть. – Вечером. Но если я обгоню тебя на пути домой, ты дважды расскажешь мне сказку про принцессу Баклажан!

– Вот мартышка!

Ада пустилась бежать, а Шаши подбодрила ее криком. Отчаянно хохоча, они понеслись наперегонки, причем старшая веселилась ничуть не меньше младшей; а когда Ада бросила искоса взгляд на смеющееся лицо своей *айи*, на ее добрые глаза и улыбчивый рот, то подумала, что никого так сильно не любила в своей жизни. Если бы Аду спросили: «В чем твоя жизнь?» – как спрашивала принцессу Баклажан злая королева, желая выведать ее слабое место, пришлось бы признаться, что ее жизнь – в Шаши.

Итак, в тот жаркий день, в Бомбее, гнев Ады Лавгроув угас на закате вместе с солнцем. А когда они с Шаши вернулись домой, терраса была чисто выметена, на веранде в стеклянных кувшинчиках горели свечи, ветерок разносил божественный запах свежескошенной травы, а сквозь открытые окна лилась фортепьянная музыка. Ада испытала такой прилив счастья и экстатической полноты бытия, что, бросив корзинку с фруктами, тут же помчалась к маме сказать: да, она согласна, она поедет с ними в Англию.

Однако родители сказали ей неправду.

После невыносимо долгого морского путешествия через Суэцкий канал, когда Ада то мучилась от тошноты на палубе, то с мокрой повязкой на лбу лежала в каюте, они провели неделю в Лондоне и еще неделю катались по Глостерширу – мама самозабвенно восторгалась красотами английской весны и неустанно сетовала на то, как мало «смен времен года» видят они в Индии, – пока наконец не приехали в дом с двумя фронтонами, стоявший у излучины Темзы, в ее верхнем течении.

Тучи начали собираться, когда экипаж катил на юг через деревню Берфорд. Не доезжая Леклейда, они свернули с главной дороги в сторону, и тут закапал дождь. Ада сидела, прижавшись щекой к стенке экипажа, и, глядя в окно на проплывающие мимо мокрые поля, размышляла о том,

почему все цвета в этой стране выглядят так, словно их разбавили молоком. Родители были необычайно молчаливы с тех пор, как простились с леди Тернер, радушной хозяйкой, но тогда это ничуть не насторожило Аду, она вспомнила об этом лишь после.

Они миновали зеленый треугольник лужайки в центре какой-то деревушки и паб под названием «Лебедь», а за церковью с кладбищем экипаж свернул на узкую извилистую дорогу с продавленными колеями, что делало езду по ней особенно тряской.

И когда им уже казалось, что этой муке не будет конца, за окном экипажа вдруг мелькнула створка ворот, врезанных в высокую стену из камня. За ней показалось какое-то строение, очень похожее на большой сарай, а впереди раскинулась просторная зеленая-презеленая лужайка, дальний край которой окаймляли ивы.

Лошади встали, а кучер, спрыгнув с высокого облучка, распахнул перед мамой дверцу экипажа. Затем он раскрыл большой черный зонт и подал маме руку, помогая ей выйти наружу.

– Берчвуд-Мэнор, мэ, – сказал он кисло.

Родители Ады много рассказывали ей о людях и местах, которые им предстояло посетить в Англии, но она не помнила, чтобы кто-нибудь из их друзей жил в доме под названием Берчвуд-Мэнор.

Дорожка из плитняка, с двух сторон обсаженная розами, вела к парадной двери, где их встретила очень сутулая женщина: ее плечи были так сильно наклонены вперед, будто она все время куда-то шла, поспешно и целеустремленно. Она назвала свое имя: мисс Торнфилд.

Ада не без любопытства отметила, что эта женщина с чисто вымытым лицом и волосами, гладко зачесанными в пучок на затылке, не похожа на тех дам, у которых они бывали в гостях в последнюю неделю, но тут же догадалась, что это, наверное, экономка, хотя по платью и не скажешь.

Родители Ады были безукоризненно вежливы с этой женщиной – мама часто напоминала Аде, что истинная леди уважительно обращается со слугами, – и Ада последовала их примеру. Она сложила губы в приятную улыбку, за которой спрятала зевок. Если им повезет, сейчас их проведут к хозяйке дома, предложат чаю с кусочком пирога (пироги у англичан, надо признать, очень хороши), и где-нибудь через час они двинутся дальше.

Полутемным коридором, через два холла и мимо одной лестницы, мисс Торнфилд привела их в комнату, которую назвала «библиотекой». Посредине стояли диван и пара потертых кресел, полки вдоль стен переполняли книги и *objets d'art*^[5]. В окно дальней стены был виден сад с раскидистым каштаном в центре; за ним к каменному амбару спускалась

просторная лужайка. Дождь уже перестал, и сквозь многоярусные облака сочился слабый свет; даже дождь в Англии и тот какой-то ненастоящий.

И тут события приняли непредвиденный оборот: Аде велели сидеть в комнате и ждать, пока ее родители будут пить чай где-то в другом месте.

Когда они уходили, Ада хмуро поглядела на мать – выказать недовольство никогда не бывает лишним, – но, вообще-то, она не возражала против своего исключения из компании взрослых. Ведь с ними, как выяснила Ада за время семейной поездки в Англию, ужасно скучно, к тому же библиотека была полна всяких любопытных штук, по крайней мере на первый взгляд, а их куда интереснее исследовать без назойливых сопровождающих с ежеминутным «Ничего не трогай!».

Едва взрослые удалились, она принялась за осмотр: брала с полок книги, поднимала крышки странных горшочков и бонбоньерок, разглядывала рамки с засушенными перьями, цветами и папоротниками на стенах, внимательно читала подписи под ними – выведенные тонким курсивом черные чернильные буквы. Наконец она добралась до стеклянной витрины с коллекцией камней разного размера. На витрине, правда, оказался замок, но Ада приятно удивилась, обнаружив, что верх легко поднимается, и тут же запустила руки внутрь и стала перебирать камни, попутно проглядывая любопытные ярлычки на каждом из них, пока не поняла, что это совсем не камни, а окаменелости. Ада читала о них в «Новой иллюстрированной естественной истории» Вуда, которую отец выписал из Лондона к ее седьмому дню рождения. Все они были остатками древних форм жизни, часто уже не существующих. Дома, в Бомбее, мама читала ей на уроках отрывки из книги мистера Чарльза Дарвина, так что о происхождении видов Ада знала все.

На стеклянной полочке, в самом низу, лежал еще один камень, поменьше размером, треугольной формы. Он был темно-серым, гладким, без характерных спиральных отметин, какие бывают на окаменелостях. В одном его уголке имелось аккуратное отверстие, а по боку шли едва заметные рельефные полоски, почти все параллельные. Ада вынула его из витрины и стала рассматривать, поворачивая то так, то сяк. От камня шел холод, странно было держать его в руках.

– Знаешь, что это?

От неожиданности Ада вскрикнула и чуть не выронила камень.

Затем резко обернулась, ища ту, которая это сказала.

Диван и кресла были по-прежнему пусты, дверь заперта. Краем глаза Ада заметила какое-то движение в углу и повернула голову туда. Женщина стояла у камина, в уголке, которого девочка даже не заметила, когда вошла

в комнату.

– Я ничего не хотела трогать, – сказала она, пряча в кулаке гладкий камень.

– Почему же? Мне кажется, эти сокровища прямо-таки приглашают к ним прикоснуться. И ты мне не ответила: знаешь ли ты, что это такое, или нет?

Ада помотала головой, хотя мама вечно твердила, что это очень невежливо.

Женщина подошла и протянула руку за камнем. Рассмотрев ее вблизи, Ада поняла, что та моложе, чем она сначала подумала, – такого же возраста, как мама, но в остальном совсем не похожа на нее. Во-первых, подол ее юбки был таким же грязным, как у Ады, когда она играла в загоне для кур на огороде, там, в Бомбее. Шпильки в волосах еле держались, многие даже вылезли наружу – сразу видно, что их втыкала рука неопытной горничной, – а на конопатом носу не было ни грана пудры.

– Это амулет, – сказала женщина, принимая камень в сложенную лодочкой ладонь. – Тысячи лет тому назад кто-то носил его на шее для защиты. Вот для чего нужна эта дырочка. – Она просунула в отверстие мизинец, так глубоко, как смогла. – Сюда вставлялся шнурок; правда, он давно сгнил.

– Для защиты от чего? – спросила Ада.

– От зла. Во всех его многочисленных проявлениях.

Ада всегда знала, когда взрослые говорят правду, а когда обманывают; это было одним из ее особых умений. Эта женщина, кем бы они ни была, верила в то, что говорила.

– А где находят такие штуки?

– Этот я нашла давно, в лесу за домом. – Женщина положила камень на полку, опустила стекло, вынула из кармана ключ, вставила его в замок и заперла витрину. – Хотя некоторые люди говорят, что это амулет находит своего владельца. И что земля сама знает, когда и кому открывать свои тайны. – Она посмотрела Аде в глаза. – А ты, наверное, девочка из Индии?

Ада сказала, что да, она приехала в Англию погостить, а дом ее в Бомбее.

– Бомбей, – повторила за ней женщина, словно пробуя название на вкус. – Расскажи мне. Чем там пахнет море? Какой на берегу Аравийского моря песок – зернистый или каменистый? И какой там свет – правда ли, что он намного ярче здешнего?

Она показала жестом, что им лучше сесть, Ада повиновалась и ответила на эти и многие другие вопросы с осторожной радостью ребенка,

не привыкшего к тому, чтобы взрослые проявляли к его словам искренний интерес. Женщина, опустившись на диван рядом с ней, слушала внимательно и время от времени издавала короткие возгласы, то ли дивясь сказанному, то ли, наоборот, радуясь тому, что слова девочки подтверждали ее мысли, а иногда испытывая и то и другое. Наконец она сказала:

– Да, хорошо. Спасибо тебе. Я запомню все, что ты мне рассказала, мисс?..

– Лавгроув. Ада Лавгроув.

Женщина протянула ей руку, и Ада пожалала ее так, словно обе они были взрослыми и встретились где-нибудь на улице.

– Рада нашему знакомству, мисс Лавгроув. Меня зовут Люси Рэдклифф, а это моя...

Тут дверь распахнулась, и в библиотеку впорхнула мать Ады, по обыкновению распространяя вокруг себя волны радостного возбуждения. Отец Ады и мисс Торнфилд вошли следом за ней, и Ада тут же вскочила, готовая отправиться в дорогу. Но...

– Нет, дорогая, – с улыбкой возразила мать, – ты останешься здесь до вечера.

Ада нахмурилась:

– Одна?

Мама рассмеялась:

– О нет, дорогая, вряд ли ты будешь одна. Здесь мисс Торнфилд, и мисс Рэдклифф, и много очаровательных девочек, посмотри.

Ада обернулась и взглянула через окно в сад, где тут же, как по команде, действительно появились девочки – белокурые маленькие англичанки в локонах и лентах. Смеясь и болтая, они шли к дому небольшими стайками, некоторые несли мольберты и наборы красок.

Совпадение было таким неожиданным и произвело на Аду такое глубокое впечатление, что в тот момент она так и не поняла, где именно оказалась. Позже, когда она уже устала казнить себя за глупость и начала подыскивать себе оправдание, ее «я» робко напомнило, что ведь ей всего восемь лет, и откуда ей знать о школах, раз она никогда не была в них; да и вообще, в прежней жизни Ады не было ничего такого, что могло бы хоть как-то подготовить ее к затее родителей.

Вот почему в тот момент она просто стояла, пока мать обнимала ее на прощание – еще один странный поворот того крайне необычного дня, – а отец бодро похлопывал по плечу, и потом, выслушав от него наставления (стараться как следует и быть хорошей девочкой), спокойно смотрела, как они повернулись к ней спиной, под руку выплыли за дверь и двинулись по

коридору туда, где ждал экипаж.

В конце концов мисс Торнфилд все ей объяснила. Ада кинулась было за родителями, чтобы спросить их, что именно она должна делать здесь до вечера и в чем надо проявлять старание, но мисс Торнфилд ухватила ее за руку, не давая сдвинуться с места.

– Добро пожаловать, мисс Лавгроув, – сказала она с натянутой улыбкой, – в школу мисс Рэдклифф для юных леди.

Школа. Юные леди. Добро пожаловать. Ада любила слова и коллекционировала их, но эти рухнули ей на голову, словно кирпичи.

В панике она совсем забыла о манерах, о которых вечно твердила мать. Она назвала мисс Торнфилд лгуньей и макакой; кричала, что она злая старуха; может быть, даже выкрикнула «Бевкупх!» во всю силу своих легких.

Потом она вырвала свою руку и со скоростью гепарда помчалась прочь, в холле растолкала других девочек, которые только вошли с улицы, а в одну из них, золотоволосую, врезалась на всем ходу, и та громко вскрикнула. Зашипев сквозь зубы, Ада отпихнула девочку, хотя та была постарше, добежала по коридору до входной двери и по выложенной плитняком дорожке бросилась туда, где всего час назад стоял экипаж, доставивший ее сюда вместе с родителями.

Но экипажа уже не было, и Ада испустила вопль разочарования и злобы.

Что все это значит? Мать ведь говорила, что она останется здесь до вечера, а эта мисс Торнфилд повернула все так, будто ей придется жить тут, в этой школе... сколько?

Дольше, чем до вечера.

Следующие часы Ада провела у реки – вытягивала стебли камышей из зеленых ножен и секла ими траву, которой порос берег. На гадкий дом у себя за спиной она старалась даже не оглядываться, ненавидя его всеми силами души. Она вспоминала Шаши, и из глаз брызгали горячие, злые слезы.

Лишь когда солнце стало клониться к закату и Ада поняла, что в роще она совсем одна, а между деревьями уже сгущается темнота, она вышла на луг и, держась подальше от каменной ограды дома, направилась к воротам. Там, скрестив ноги, она села прямо на землю в таком месте, откуда была хорошо видна вся дорога от дома до деревни. Как только на ней появится экипаж и покатит к Берчвуд-Мэнор, она сразу его увидит. Ада наблюдала, как мерк желтый свет вокруг, и на сердце стало тяжело, когда она

вспомнила зазубренные росчерки пальм на фоне пурпурно-оранжевого горизонта, резкие запахи, человеческую суету и песнопения парсов там, дома.

Уже почти стемнело, когда она ощутила, что позади нее кто-то стоит.

– Идемте, мисс Лавгроув. – Из тени выступила мисс Торнфилд. – Накрывают к обеду. Не годится ходить голодной в первый вечер.

– Я буду обедать с мамой и папой, когда они вернутся, – сказала Ада. – Они приедут и заберут меня.

– Нет. Они не приедут. Не сегодня. Как я уже пыталась вам объяснить, они оставили вас здесь, чтобы вы учились в школе.

– Я не хочу оставаться здесь.

– И тем не менее.

– Не хочу.

– Мисс Лавгроув...

– Я хочу домой!

– Вы уже дома, и чем скорее вы примете этот факт, тем лучше для вас. – С этими словами мисс Торнфилд выпрямила спину и даже как будто подросла, потянувшись вверх, точно раскладная лестница, и расправив вечно опущенные плечи, чем живо напомнила Аде аллигатора, когда тот подергивает шкурой, словно расправляя на ней чешую. – Может, попробуем еще раз? В школе, – произнесла она очень четко, – накрывают к обеду, и, к чему бы вас ни приучили на субконтиненте, мисс Лавгроув, здесь, смею вас заверить, еду дважды не подают.

Глава 11

И вот, шестьдесят три дня спустя, она сидела, скорчившись, в пропахшем сыростью тайнике, устроенном в стене холла второго этажа школы мисс Рэдклифф для юных леди. Ее родители, как понимала Ада, были уже на пути в Бомбей, хотя напрямую она не получала никаких известий, – как объяснила мисс Торнфилд, они хотели дать дочери время «подстроиться», прежде чем посылать письма.

– Очень продуманный шаг, – решительно высказалась мисс Торнфилд. – Не хотят давать тебе поводов для огорчения.

Приложив ухо к деревянной стенной панели, Ада закрыла глаза. Вокруг и так было темно, но при закрытых глазах обострились другие чувства. Иногда ей даже казалось, что она слышит, как потрескивают, извиваясь, прожилки внутри древесины. Слово «прожилки» очень походило на другое слово, «поджилки», и Аде нравилось представлять, что дерево напоминает человека и у него тоже есть поджилки. Она даже воображала, как дерево говорит с ней приятным тихим голосом. И как от этого голоса ей становится легче.

Но тут в холле раздались настоящие голоса, слегка приглушенные перегородкой, и глаза Ады мгновенно раскрылись.

– Но я же видела, как она пошла сюда.

– Значит, ты ошиблась.

– Нет, не ошиблась.

– Ну? И где же она теперь? Растворилась в воздухе?

После недолгой паузы один из двух голосов капризно повторил:

– Я *видела*, как она шла сюда. Знаю, что видела. Значит, она где-то здесь; надо только подождать.

Сидя в тесном укрытии, Ада бесшумно перевела дух. У нее затекла нога; уже минут двадцать пять, не меньше, она не меняла позы, не имея возможности пошевелиться, но если что и давалось ей легко – в отличие от таких вещей, как шитье, игра на фортепьяно, рисование, да и вообще почти все, чему ее пытались научить в этой школе для *бевкупхов*, – так это упрямство. Недаром Шаши звала ее *хакара* – маленький мул. Пусть девчонки стерегут ее в коридоре, сколько им заблагорассудится; она их пересидит, вот и все.

Шарлотта Роджерс и Мэй Хокинс – вот как звали ее мучительниц. Обе были старше нее – им уже исполнилось двенадцать, – причем Шарлотта

отличалась необыкновенно высоким ростом для своего возраста. Ее отец был членом парламента, а отец Мэй – известным промышленником. У Ады было не так много возможностей сблизиться с другими детьми, но она быстро училась и обладала недюжинной наблюдательностью, а потому скоро поняла: в школе мисс Рэдклифф для юных леди всем заправляет группа старших девочек, которые ждут от младших безоговорочного, а главное, добровольного подчинения.

Но Ада не привыкла, чтобы ею командовали другие дети, а присущее ей неистребимое чувство справедливости делало ее неспособной заключить мир на столь чудовищных условиях. Вот почему, когда Шарлотта Роджерс потребовала отдать ей новые ленты, которые мама Ады купила ей в Лондоне, та ответила «нет». Спасибо, конечно, за комплимент маминому вкусу, но ленты ей и самой по душе, лучше она оставит их себе. А когда неразлучные подружки подстерегли ее на лестнице и велели молчать, пока Мэй Хокинс будет проверять, как далеко назад гнется ее мизинец, Ада с размаху наступила тяжелым ботинком на ногу Мэй и завопила:

– А ну, оставь в покое мои пальцы!

Тогда девочки пожаловались экономке, будто это Ада залезла в кладовку и открыла там банку с джемом (ложь), но она и тут не смолчала, во всеуслышание заявив о том, что она не преступница, и сообщив к тому же, что собственными глазами видела, как Шарлотта Роджерс кралась по коридору, когда во всей школе уже погасили свет.

Конечно, после такого Шарлотта Роджерс и Мэй Хокинс невзлюбили Аду еще сильнее, хотя, по правде сказать, их неприязнь к ней возникла гораздо раньше – с самого первого дня. Когда Ада выбежала из библиотеки в надежде догнать родителей и в холле толкнула какую-то девочку, это была как раз Шарлотта Роджерс. От неожиданности Шарлотта завопила пронзительно, как банши, так что другие ученицы, даже самые маленькие, захихикали и стали показывать на нее пальцем. Да и то, что Ада, налетев на нее, зашипела ей прямо в лицо, делу не помогло.

– Вон она, та дикая индийская кошка, – сказала Шарлотта, едва увидела Аду снова.

Их пути пересеклись в саду перед домом, где Ада сидела одна у стены, под молодым японским кленом, а Шарлотта подошла к ней со своей свитой из хихикающих девочек в локончиках и ленточках.

Широкая злая улыбка расплзлась по смазливому личику Шарлотты, когда она обратила их внимание на Аду:

– Это о ней я вам говорила, леди. Родители привезли ее к нам из

Индии в надежде, что здесь ее смогут хотя бы немного цивилизовать. – Одна из девочек хихикнула, услышав эти слова, и Шарлотта, ободренная, еще шире распахнула свои голубые глаза. – Я хочу, чтобы ты знала, Ада: мы все готовы тебе помочь, и, если тебе что-нибудь нужно, все что угодно, ты только попроси. Да, кстати, в доме есть ватерклозет, но ты можешь выкопать себе яму здесь, в саду, если тебе так привычнее.

Девочки залились смехом, а глаза Ады обожгло обидой и гневом. Тут же явилось непрощеное воспоминание: они с Шаши лежат бок о бок на платформе дома, в Бомбее, и *айя*, улыбаясь всем своим круглым, как солнце, лицом, рассказывает истории из своего детства в Пенджабе и легонько поддразнивает девочку за то, что ее жизнь течет без горя и забот в богатом особняке в центре Бомбея. Непонятно, почему так происходило, но, говоря неуважительно об Индии, Шарлотта как будто насмеялась и над Шаши; да еще и делала Аду своей сообщницей.

Но Ада решила не доставлять им удовольствия и не показывать свою боль; запретив себе думать о Шаши и о том, как мучительно ей хочется домой, она смотрела прямо перед собой, притворяясь, будто никого не видит и не слышит. Однако насмешки не прекращались, и тогда Ада, чтобы отвлечься, начала мысленно рассказывать себе сказку на пенджаби, с таким видом, будто ее совсем ничто не беспокоит. Шарлотте это не понравилось; улыбка сползла с ее лица, и, скомандовав свите отступить, она напоследок послала Аде озадаченный хмурый взгляд, будто перед ней была проблема, требовавшая решения. Крепкий орешек, который надо расколоть во что бы то ни стало.

В одном Шарлотта была права: родители Ады поместили ее в школу мисс Рэдклифф для молодых леди в ложном уповании на то, что одно это приведет к волшебному преобразению их своенравной дочери в настоящую английскую школьницу. Но хотя Ада не хуже других умела пользоваться ватерклозетом, «молодой леди» она не была и ни малейшего намерения становиться ею не имела. Она так и не овладела искусством правильного стежка, задавала слишком много вопросов, готовых ответов на которые не существовало, а навыков игры на пианино так и не приобрела. Еще в Индии, когда к инструменту садилась мать, чудесные мелодии лились из-под ее пальцев, заполняя комнату и вытекая в окно, в сад, но Ада, заняв ее место, извлекала из тех же самых клавиш такие звуки, что даже отец, обычно находивший оправдание любым ее *faux pas*^[6], не выдерживал и поднимал воротник, прикрывая уши.

Вот почему почти все уроки в школе мисс Рэдклифф для молодых леди были для Ады сущей мукой. Лишь два предмета, которые, кстати, вела сама

мисс Рэдклифф, доставляли Аде пусть маленькую, но радость: естественная история и география. Ада вступила в основанное мисс Рэдклифф Общество изучения естественной истории и была его единственным членом, не считая бестолковой девочки по имени Мег, у которой в голове сроду не встречались две мысли сразу; всем довольная, она бродила по лугам, мурлыча под нос романтические танцевальные мелодии, и плела из клевера замысловатые венки.

Зато для Ады Общество изучения естественной истории стало единственным, что скрашивало ее подневольное пребывание в Берчвуд-Мэнор. В субботу утром и в четверг после полудня мисс Рэдклифф выводила их на бодрую прогулку по сельской местности, которая продолжалась иногда по несколько часов кряду; девочки с наставницей во главе шлепали через поля, форсировали разлившиеся ручьи, поднимались на холмы и углублялись в лес. А иногда они садились на велосипеды и отправлялись еще дальше, в Уффингтон, чтобы посмотреть на Белого Коня, или в Барбери, чтобы взобраться на земляную крепость железного века, а если погода была особенно благоприятной, то и в Эйвбери с его каменными кругами. Девочки поднаторели в выискивании круглых ямок в земле, которые мисс Рэдклифф называла «росными прудами»: по ее словам, их выкапывали доисторические люди, чтобы обеспечить себя запасом питьевой воды. Вообще, если верить мисс Рэдклифф, следы жизни древних общин окружали их повсюду, надо было только знать, где смотреть.

Даже в лесу за школой было полно секретов прошлого: мисс Рэдклифф водила их туда и показывала холм за поляной, который называла «драконьим курганом».

– Вполне возможно, что здесь захоронен какой-нибудь англосаксонский воин, а то и не один, – говорила она и пускалась в рассказ о том, почему курган «драконий»: оказывается, древние англосаксы верили, что их сокровища стерегут именно драконы. – Хотя кельты с ними вряд ли бы согласились. Они сочли бы, что это – холм фей, а внутри него кроется вход в страну фей.

Тут Ада вспомнила про амулет из библиотеки и спросила, не здесь ли мисс Рэдклифф откопала свой оберег.

– Недалеко отсюда, – ответила та. – И даже очень близко.

Для Ады членство в Обществе изучения естественной истории было сродни игре в детективов, ведь здесь тоже нужно было искать улики и разгадывать тайны. Любая вещь, извлеченная ими из земли, содержала в себе целую историю, свидетельствовала о жизни, прожитой задолго до того, как предмет попал к ним в руки. У них даже возникло соревнование –

кто сочинит о той или иной находке самый необычный рассказ (но обязательно правдоподобный: они же ученые, а не сказочники).

Мисс Рэдклифф никогда не забирала у девочек их сокровища. Она придерживалась твердого убеждения: земля всегда раскрывает свои тайны кому нужно и когда нужно.

– А река тоже? – спросила Ада, когда одним субботним утром приключения привели их к кромке воды. Ей на ум пришла одна история, которую рассказывала Шаши, – о реке, которая вышла однажды из берегов, затопила их деревню и унесла с собой все ее любимые детские сокровища. И тут же прикусила язык, поняв, какую ужасную оплошность совершила: в школе ходили слухи, что брат мисс Рэдклифф погиб от воды, утонул.

– Нет, с реками все иначе, – ответила директриса, подумав, и ее голос оставался спокойным, хотя лицо побелело так, что веснушки на нем выступили ярче обычного. – Реки всегда в движении. Свои тайны и секреты они несут в море.

Мисс Рэдклифф и сама была загадкой. Для той, чье имя стояло в названии учебного заведения, ставившего своей целью превращение маленьких девочек в цивилизованных леди, она слишком уж не походила на леди. О нет, конечно, «манеры», о которых твердила мама, у мисс Рэдклифф были – она не жевала с открытым ртом, не рыгала за столом, – но в чем-то другом она неуловимо напоминала скорее папу, чем маму: выводя девочек на прогулки, шагала уверенно и твердо, не стесняясь, говорила на любые темы, в том числе о политике и религии, была убеждена, что святой долг каждого человека – стремиться к обретению знаний и требовать более качественной информации для достижения этой цели. Она много времени проводила вне дома и совершенно не думала о моде, всегда одеваясь одинаково: темные кожаные ботинки на пуговицах и зеленый прогулочный костюм с длинной юбкой, подол которой был вечно заляпан присохшей грязью. У нее была большая плетеная корзина, которая напоминала Аде о Шаши, и она также брала ее с собой повсюду; но если Шаши клала в свою фрукты и овощи, то мисс Рэдклифф складывала в корзину палки, камни, птичьи яйца, перья и разные другие природные штуковины, которые вызывали у нее интерес.

Но странности мисс Рэдклифф были видны не только Аде. Школа принадлежала ей, однако ее участие в школьной жизни сводилось к редким, хотя и пламенным речам о том, что «вы, девочки, должны учиться как можно больше», и общим наставлениям типа: «Время – величайшая драгоценность, девочки, и нет большей глупости, чем тратить его по пустякам». В основном же делами заправляла помощница директрисы,

мисс Торнфилд. Среди учениц ходили упорные слухи, будто мисс Рэдклифф – ведьма. Прежде всего об этом свидетельствовали разные растения и прочие диковины, которые она собирала во время прогулок, не говоря уже о комнате, где она их хранила. В эту каморку рядом с ее спальней ученицам запрещалось входить под страхом смерти.

– Там она и творит свои чары, – утверждала Анжелика Барри. – Я сама слышала с другой стороны стены, как она читает что-то нараспев и подвываает.

А Мередит Сайкс клялась и божилась, что заглянула однажды, совсем случайно, в приоткрытую дверь и, кроме камней и растений, увидела на бюро настоящий человеческий череп.

Лишь одно можно было сказать наверняка: мисс Рэдклифф любила свой дом. Она никогда не повышала голос на учениц, за исключением тех случаев, когда заставляла кого-нибудь из них катающейся по перилам лестницы или пинающей носком ботинка панели на стенах. Однажды, во время прогулки по сельскому Уилтширу, речь зашла об одиночестве и особых местах, и мисс Рэдклифф сказала Аде, что Берчвуд-Мэнор когда-то принадлежал ее брату, что брат умер много лет назад и что она до сих пор скучает по нему, как ни по кому другому, но здесь, в его доме, ей все время кажется, будто он рядом.

– Он был художником, – однажды сообщила Аде Мег, ее всегдашняя компаньонка по скитаниям, поднимая голову от очередного венка из клевера, – брат мисс Рэдклифф. Знаменитым художником, а потом его невесту застрелили из ружья, и он сошел с ума от горя.

Выведенная из мечтательного состояния близостью своих мучительниц, Ада осторожно шевельнулась внутри тайника в стене, но очень осторожно, так, чтобы не издать ни звука. Слова «влюбленные» и «невеста» пока что ничего не значили для нее, зато она хорошо знала, как это больно – быть разлученной с тем, кого любишь, и ей было очень жаль мисс Рэдклифф. Ада решила, что именно эта утрата объясняет выражение глубокой скорби, появлявшееся иногда на лице мисс Рэдклифф, когда она думала, что ее никто не видит.

И тут, словно в ответ на ее мысли, с той стороны панели долетел голос: – Девочки, что вы делаете в коридоре? Увиливаете от занятий? Знаете ведь, что скажет мисс Торнфилд.

– Да, мисс Рэдклифф, – в один голос ответили они.

– Ума не приложу, что вы здесь нашли интересного.

– Ничего, мисс Рэдклифф.

– Надеюсь, вы не корябаете мне стены клюшками для хоккея?

– Нет, мисс Рэдклифф.

– Ну тогда бегите, а я постараюсь не упоминать об этом нарушении дисциплины при мисс Торнфилд, когда она будет составлять список наказаний.

Ада услышала шелест поспешно удаляющихся шагов и удовлетворенно вздохнула.

– Вылезай, девочка, – сказала мисс Рэдклифф и тихонько постучала по стенке. – Ты ведь тоже какое-нибудь занятие пропускаешь.

Пальцы Ады уверенно нащупали в темноте замок, откинули крючок, и панель отъехала в сторону. Мисс Рэдклифф уже ушла – по крайней мере, ее нигде не было видно, – и Ада, торопливо выбравшись из укрытия, вернула панель на место, в который уже раз подивившись тому, как искусно она подогнана: ни шва, ни зазора. Если не знать, что она здесь, ни за что не догадаешься.

Мисс Рэдклифф сама показала ей этот тайник. Как-то раз она обнаружила Аду в библиотеке за тяжелыми парчовыми занавесками, где та пересиживала урок шитья, и велела прийти к ней в кабинет «для небольшого разговора». Ада приготовилась к хорошей головомойке, но вместо этого директриса предложила ей сесть туда, куда она захочет, и сказала:

– Я была ненамного старше, чем ты сейчас, когда попала в этот дом впервые. Мой брат и его друзья были уже взрослыми и не могли заниматься мною – у них не хватало времени. Мне, как они выражались, предоставили полную свободу, и, будучи от природы... – тут она замешкалась, – довольно любознательной, я пустилась в такие исследования, каких от меня никто не ждал.

Этому старому дому, продолжила она, несколько сотен лет, и построили его в такие времена, когда у многих людей были особые причины искать убежища. Тут она пригласила Аду пойти за ней и, пока внизу девочки пели «Оду к радости» Бетховена, показала ей тайник.

– Не знаю, как у вас, мисс Лавгроув, – сказала она тогда, – а у меня в жизни случались такие минуты, когда очень нужно было исчезнуть.

Ада поспешила по коридору к центральной лестнице. Но пошла не вниз, на урок музыкального образования, а совсем в другую сторону, в мансарду, к двери с надписью «Восточный лофт», – это был дортуар, который Ада делила с другой пансионеркой, Маргарет Уортингтон.

Времени у нее было совсем мало; урок музыкального образования надолго не затянется, и девочек скоро отпустят. Ада встала на колени рядом с кроватью и отбросила льняной подзор. Чемодан был на месте, там, где

Ада его оставила, и она осторожно выдвинула его наружу.

Ада подняла крышку, и из глубин чемодана на нее глянул крошечный пушистый комочек, разинув ротик в безмолвном жалобном «мя-а!».

Она посадила котенка в ладошку и прижала его к себе.

– Тише, тише, маленький, – шептала она в теплое местечко между его ушками. – Не бойся, я здесь.

Котенок, мяся бархатными лапками ее платье, пустился в долгий горестный рассказ о голоде и нужде; Ада улыбнулась и, опустив руку в карман фартучка, купленного мамой в «Хэрродсе», достала оттуда баночку сардинок, которые незадолго до того утащила с кухни.

Покуда котенок разминал лапки, бродя по полу между ковром и стеной, словно гепард по саванне, Ада вскрыла баночку и выудила из нее скользкую рыбку. Держа ее в вытянутой руке, она тихонько позвала:

– Эй, Били, сюда, котенок.

Били подковылял к ней и тут же истребил болтавшуюся у него перед носом сардинку, потом еще одну, и так до тех пор, пока баночка не опустела; тогда он принялся жалобно мяукать, и Ада поставила баночку перед ним на пол, а котенок, опустив в нее мордочку, стал лакать рыбный сок.

– Ах ты, маленький обжора, – в полном восхищении сказала девочка. – Посмотри, какая у тебя теперь мокрая мордочка.

Неделю назад Ада спасла Били жизнь. Прячась от Шарлотты и Мэй, она забрела на дальнюю сторону луга, с задней стороны дома, где река делала петлю вокруг небольшой роци и скрывалась из виду.

Вдруг она услышала за деревьями какой-то шум, почему-то вспомнила о праздниках в Бомбее, пошла вдоль берега, обогнула роцу и очутилась на поляне, где, как оказалось, стояли табором цыгане. У них были повозки и костры, лошади и собаки; ребятишки бегали, запуская в воздух змея с длинным хвостом из разноцветных лент.

Тут она заметила чумазого мальчишку, который в полном одиночестве шел к воде. На плече у него был мешок, а еще он насвистывал песенку, которую Ада почти узнала. Сгорая от любопытства, Ада пошла за ним. Она притаилась за деревом и стала следить за мальчишкой, который доставал из мешка какие-то штучки и опускал в воду. Сначала она подумала, что он полощет маленькие одежки, как делали люди во время праздника Доби Гхат в Бомбее. И лишь услышав первый тоненький писк, она поняла, что из мешка достают вовсе не одежду и стирка тут ни при чем.

– Эй! Ты! Что ты делаешь? – закричала она, подбегая к мальчишке.

Удивление мальчишки было заметно даже сквозь грязь на его лице.

Ада дрожащим голосом продолжала требовать объяснений:

– Я тебя спрашиваю, что ты делаешь?

– Избавляю их от горестей жизни. Как мне велели.

– Ах ты, ужасный, жестокий мальчишка! Ах ты, противный трус!

Разбойник с большой дороги!

Брови мальчика поползли вверх, и Ада разозлилась еще больше, поняв, что ее гнев только забавляет его. Ни слова не говоря, мальчишка сунул руку в мешок, нащупал последнего котенка и весьма неделикатно вытащил его за шкурку.

– *Убийца!* – прошипела она.

– Если я их не утоплю, как папаша велел, он меня самого прикончит.

– Отдай мне котенка, немедленно.

Мальчик пожал плечами и сунул обмякшего котенка Аде, а сам, забросив пустой мешок на плечо, поплелся обратно в табор.

После того дня Ада много думала о братьях и сестрах Били. Иногда она просыпалась по ночам и долго лежала без сна, не в силах прогнать из памяти картину: мертвые мордочки и безжизненные тельца под слоем воды, которая несет их к морю, баюкая и колыхая.

Вот и теперь Били недовольно пискнул, когда Ада стиснула его слишком сильно.

На лестнице послышался шум, раздались шаги, и Ада, поспешно засунув котенка в чемодан, закрыла крышку, не забыв, однако, оставить небольшую щелку, чтобы питомец не задохнулся. Решение, конечно, не идеальное, но пока придется ограничиться этим. Мисс Торнфилд, разумеется, не потерпит в школе кошек.

Дверь распахнулась как раз тогда, когда Ада вставала на ноги. Подзор, как заметила она, был все еще подоткнут под край матраса – но теперь ничего уже не поделаешь.

На пороге стояла Шарлотта Роджерс.

Она улыбалась Аде, но та знала цену ее улыбкам и не улыбнулась в ответ. Она продолжала оставаться en garde^[7].

– Вот ты где, – сладким голосом начала Шарлотта. – Тебя сегодня не поймать, прямо маленькая скользкая рыбка! – В первое мгновение, помня про баночку из-под сардин у себя в кармане, Ада подумала даже, что Шарлотта Роджерс как-то разгадала ее секрет. Но старшая девочка продолжила: – Я пришла передать тебе кое-что – новость, к сожалению, плохая. Мисс Торнфилд знает, что тебя не было на музыкальном уроке, и послала меня сказать, чтобы ты спустилась принять наказание. – На этот раз ее улыбка выражала поддельное сочувствие. – Насколько легче тебе

жилось бы здесь, Ада, научись ты следовать простым правилам. Правило первое: я всегда выигрываю. – Она повернулась, чтобы уйти, помешкала и обернулась. – И поправь кровать. А не то придется рассказать мисс Торнфилд о том, какая ты неряха.

Ада так крепко сжала кулаки, спускаясь в кабинет мисс Торнфилд, что следы от ногтей на ладонях держались еще несколько часов. Понятно, что в затяжной войне с Шарлоттой Роджерс и Мэй Хокинс не победить, если она будет лишь игнорировать противниц и избегать их. Но уступить им она тоже не может, а значит, придется нанести ответный удар, да такой, чтобы они раз и навсегда оставили ее в покое.

Она почти не слышала, как мисс Торнфилд читала ей нотацию о недопустимости пропусков занятий, а когда та назначила наказание – две недели, вместо участия в походах Общества изучения естественной истории, помогать шить костюмы к концерту в конце семестра, – девочка так углубилась в свои мысли, что не стала возражать.

Весь остаток дня она так и сяк примеряла друг к другу разрозненные обстоятельства, точно головоломку собирала, и лишь поздно вечером, когда ее соседка Маргарет уже вовсю сопела в постели, а Били мурлыкал от удовольствия у нее в руках, ее вдруг осенило.

Идея сложилась в голове сразу и целиком, точно кто-то вошел тихонько в комнату, на цыпочках приблизился к кровати Ады и, встав рядом с ней на колени, нашептал все прямо в ухо.

Ада беззвучно ухмыльнулась в темноте: план был идеальным, а значит, ко всему прочему, очень простым. И что особенно приятно, средство для его осуществления она получила стараниями самой Шарлотты Роджерс.

Глава 12

Летний семестр в школе мисс Рэдклифф для юных леди всегда заканчивался концертом, а потому репетиции начинались сразу после каникул. Мисс Байатт, худенькая, нервная учительница драмы и декламации, устраивала серию прослушиваний, в ходе которых постепенно доводила число концертных номеров до пятнадцати, неизменно включавших игру на музыкальных инструментах, пение, декламацию и драматические монологи.

Ада получила статичную и бессловесную роль Второй Музы в сцене из пантомимы «Золушка»; Шарлотту Роджерс, как-никак приходившуюся четвероюродной племянницей самой мисс Эллен Терри, считали (не в последнюю очередь – она сама) превосходной шекспировской актрисой, а потому она появлялась перед публикой трижды: сначала читала сонет, затем исполняла монолог леди Макбет «Прочь, проклятое пятно!» и, наконец, пела популярную тогда в гостиных песню под фортепианный аккомпанемент своей подруги Мэй Хокинс.

Оба холла в доме были недостаточно велики для столь многолюдных собраний, и потому концерт проводился в длинном каменном амбаре у въездных ворот. В дни подготовки каждой девочке вменялось в обязанность приносить в амбар стулья и выстраивать их там ровными рядами; вообще, те, кому не доставалось ролей, автоматически попадали в разряд рабочих сцены, и на них возлагались все технические задачи, включая подготовку сцены и подвешивание занавеса к потолочным балкам.

С учетом наказания, назначенного мисс Торнфилд, Ада была занята больше всех – ее приписали к кружку швей, которые спешно подгоняли и украшали сценические костюмы юных артисток. Занятие это давалось ей с трудом; Ада едва могла держать иголку в руках, а уж сделать ровный ряд мелких, аккуратных стежков, которые надежно удерживали бы вместе два куска ткани, было выше ее сил. Однако она сумела доказать всем, что в обрезании свободных концов ниток ей нет равных, а потому ей доверили небольшие серебристые ножнички и велели «подравнивать края».

– Она всегда первой приходит на каждую репетицию, но на сцену даже не глядит, до того она предана работе, – сообщила учительница рукоделия мисс Торнфилд, когда та поинтересовалась успехами Ады.

Помощница директрисы едва заметно улыбнулась и сказала:

– Очень приятно слышать.

Утро великого дня едва началось, а вся школа уже гудела, как растревоженный улей. Дневные занятия заменили генеральной репетицией, представление начиналось в четыре.

За две минуты до срока Валери Миллер, не прошедшая прослушивание с песней «Моя дикая ирландская роза», которую играла на колокольчиках, по кивку мисс Торнфилд ударила в те самые колокольчики, оповещая публику о скором начале. Впрочем, почти все девочки, их родители, сестры, другие родственники и, разумеется, Очень Важные представители местной общины уже были в сборе; но звон заставил их смолкнуть, после чего лампы в амбаре погасли, черный занавес упал, и оставшимся в темноте зрителям осталось только смотреть на сцену в ярких огнях рампы.

Одна за другой юные артистки выходили на сияющую сцену, где пели и декламировали во всю мочь, а публика шумно выражала свое одобрение. Вот только программа была не из коротких, и к концу первого часа энтузиазм зрителей заметно ослабел. Так что, когда Шарлотта Роджерс появилась на сцене в третий раз, самые маленькие зрительницы уже ерзали на своих местах и зевали, а их животики подводило от голода.

Но Шарлотту, как настоящего профессионала, этим было не пронять. Она уверенно встала посреди сцены и взмахнула ресницами, глядя в зал. Золотые локоны каскадом спадали с очаровательной головки, на каждом плече лежало по тугому завитку, а за фортепьяно, ожидая сигнала, сидела Мэй Хокинс, глядя на подругу, и на ее лице было написано невероятное восхищение.

Однако Аду куда больше занимал костюм юной исполнительницы: взрослый ансамбль из блузки с юбкой – скопированный, разумеется, с одного из недавних сценических облачений Эллен Терри, – в котором Шарлотта казалась старше своих лет.

Из темноты зала Ада смотрела на девочку так пристально, словно одной силой взгляда надеялась сдвинуть ее с места. Для нее это был волнительный момент, – даже выходя на сцену в роли Второй Музы, она и то чувствовала себя спокойнее. Ее руки, лежавшие на коленях, были сжаты в кулаки.

Все случилось, когда Шарлотта взяла свою самую высокую ноту, ту, которую училась брать добрую половину месяца. Что было причиной, неизвестно: то ли она чересчур глубоко вдохнула, готовясь к верхнему до, то ли слишком резко простерла руки к аудитории. Но так или иначе, голос Шарлотты взмыл вверх, а юбка в ту же секунду скользнула вниз.

Впрочем, скользнула – даже не то слово. Она свалилась вся, целиком, и

круглым озерцом из кружев и белого льна легла вокруг тонких щиколоток хозяйки.

Действительность в тысячу раз превзошла самые смелые ожидания Ады.

Подрезая стежки у пояса Шарлоттиной юбки, она надеялась, что та сползет вниз в достаточной мере, чтобы вызвать смешки и волнение в публике, но такого она даже вообразить не могла. Как она упала, эта юбка! Разом пролетела от верха до самого пола, и в какой момент, – точно некая невидимая сила, подвластная разуму Ады, всплыла вдруг в зал и по ее безмолвной команде сдернула юбку с певицы...

Ничего смешнее Ада не видела уже много месяцев. И, судя по неудержимому хохоту, который волной прокатился по амбару, скакнул под потолок и эхом закувыркался между стропилами, другие девочки думали так же.

И пока Шарлотта, с пунцовыми от ярости щеками, допевала куплет, а зрители осыпали ее бешеными аплодисментами вперемешку с насмешливыми выкриками, Ада, впервые за все время своего пребывания в Берчвуд-Мэнор, почувствовала себя почти счастливой.

По традиции, ужин после концерта всегда проходил в более свободной обстановке, чем обычные вечерние трапезы в школе, и даже мисс Торнфилд, убежденную сторонницу несовместимости школьной жизни с духом веселья, уговорили вручить в этом году награду «Лучшая шутка». Ученицы вспоминали разные курьезы и выходки, которые случились в школе за год, и та, которая набирала наибольшее количество голосов, признавалась самой смешной. Конкурс был призван подчеркнуть атмосферу праздника и радостного ожидания, воцарявшуюся в школе по мере того, как учебный год близился к концу.

Для большинства девочек этот ужин был последней школьной трапезой семестра. Лишь немногие – те, которые жили настолько далеко, что и на поезде не доедешь, или те, чьи родители уезжали на континент и не планировали брать дочерей с собой, – оставались в Берчвуд-Мэнор на все каникулы. Ада была одной из них.

Это обстоятельство отравляло ей удовольствие от грандиозного недавнего успеха, и на обеде после концерта она сидела тихо как мышка – доедая вторую порцию бланманже, вертела в руках награду «Маленькая Мисс Рукодельница», врученную за «Успехи в шитье» (надо полагать, ее изготовили еще до катастрофы с юбкой), и старалась не прислушиваться к щебету девочек, деливших планами на каникулы. Тут прибыла почта.

Ада привыкла к тому, что при раздаче писем ее обходят стороной, и соседке пришлось дважды толкнуть ее, прежде чем она услышала свою фамилию. Когда она подняла голову, то увидела возле учительского стола дежурную девочку из старших с большой коробкой в руках.

Ада вскочила; ей так не терпелось получить коробку, что она чуть не упала по дороге.

Едва вернувшись за стол, она начала распутывать бечевку, которой была перевязана коробка, но, потеряв терпение, вынула из кармана маленькие серебряные ножнички и разрежала последние узлы. Внутри оказалась прекрасная шкатулка с картинками на крышке и на боках, в которой Ада сразу распознала отличный новый дом для Били; внутри лежал толстый конверт, обещавший письмо от мамы, новая шляпа от солнца, два платья и еще один конвертик, поменьше, при виде которого у Ады часто забилось сердце. К подарку прилагалась открытка, и Ада сразу узнала почерк Шаши. «*Пилла*, – писала та, дальше переходя на пенджаби, – это маленькое напоминание о доме, чтобы ты не забыла его, пока живешь среди обезьяньих задниц».

Ада вскрыла пакет: внутри оказалась маленькая черная книжка в кожаной обложке. Но под обложкой были не слова, а много-много страниц с засушенными цветами: оранжевыми гибискусами, лиловой индийской сиренью, пурпурным страстоцветом, белыми нильскими лилиями, красными пеларгониями. И каждый из них, знала Ада, был сорван в саду ее дома, так что на миг она словно перенеслась в Бомбей. Ей даже показалось, будто солоноватый бриз дохнул ей в лицо пьянящими ароматами индийского лета, донес песнопения парсов с закатного берега океана.

Замечтавшись, Ада заметила подошедшую Шарлотту Роджерс, лишь когда длинная тень протянулась к ней через стол.

Ада подняла голову и увидела серьезное лицо противницы. При ней, как обычно, была Мэй Хокинс, ее верный *aide-de-camp*^[8]; их появление у стола Ады заставило всех вокруг замолчать. Ада инстинктивно захлопнула книжечку Шаши и сунула ее обратно в конверт.

– Полагаю, ты видела, что произошло во время представления, – начала Шарлотта.

– Ужас, – ответила Ада. – Такое невезение.

Шарлотта мрачно усмехнулась:

– Везение и невезение я всегда считала досужими выдумками. Каждый сам творит свою судьбу.

Крыть было нечем. Ада решила, что поддакивать будет неразумно.

– Надеюсь, впредь ничто не помешает мне самой творить свою

судьбу. – Шарлотта протянула ей руку. – Мир?

Ада некоторое время смотрела на протянутую ладонь, но потом все же взяла ее:

– Мир.

Мировую скрепили торжественным рукопожатием, и когда Шарлотта сопровождала его сдержанной улыбкой, Ада позволила себе сделать то же самое.

Вот так и вышло, что Ада, которая и думать не думала, что будет предвкушать пикник по случаю окончания семестра, теперь, в свете недавнего примирения с Шарлоттой Роджерс, с энтузиазмом ждала назначенного часа. Для младших девочек были приготовлены развлечения вроде игры в волан, метания колец в цель, прыганья через скакалку, а ученицы постарше упросили мисс Рэдклифф позволить им спустить на воду маленькую гребную лодочку, которая обычно хранилась в полевом амбаре за домом. Работник, следивший за спортивными площадками, осмотрел ее на прошлой неделе и после небольшой починки признал годной.

День после рассвета оказался теплым и ясным. Солнце быстро растопило туман, который летом иногда наползает от реки, и к полудню небо было ярко-голубым, а в саду все сверкало. У реки, на ровном травянистом пятачке между двумя ивами, расстелили скатерти; учительницы уже были там, радуясь погоде. Берег усеивали круглые белые пятна зонтов от солнца и широкополых шляп, а в тени, на краю площадки для пикника, стояли большие плетеные корзины с крышками, наполненные провизией для ланча. По указанию мисс Рэдклифф служитель, который занимался лодкой, вынес из дома деревянный стол и поставил в тень; теперь стол покрывала кружевная скатерть, на которой стояла ваза с нежно-розовыми и желтыми розами, кувшины с холодным лимонадом, фарфоровый чайник и целая батарея стаканов и чашек.

Шаши часто дразнила Аду, называя ее прожорливым маленьким зверьком, и была права: девочка всегда с радостью бежала к столу, когда наступало время. К счастью, пикник в этом смысле не подвел. Она сидела на сложенном в несколько раз куске ткани, возле мисс Рэдклифф, а та, уплетая один за другим увесистые сэндвичи с сыром, рассказывала ей, как впервые увидела Берчвуд-Мэнор: ее брат, Эдвард, заставил тогда всю их компанию шагать сюда пешком со станции в Суиндоне, и, когда они вышли на луг из леса, дом предстал перед ними неожиданно, подобно видению.

Ада внимательно слушала. Она по-прежнему была жадной до историй,

а мисс Рэдклифф редко делилась своими воспоминаниями. Всего раз она рассказывала нечто в таком роде. Их маленькое общество возвращалось с очередной долгой прогулки, когда на фоне быстро темнеющего неба возник Берчвуд, огромный, словно корабль. В окне под крышей еще горел последний луч оранжевого заката, и вдруг, откуда ни возьмись, прямо из вечернего воздуха, соткалась история про волшебных детей и их мать, Королеву Фей. Ада была тогда в таком восторге, что умоляла мисс Рэдклифф рассказать что-нибудь еще, но та отказалась. И добавила, что это единственная сказка, которую она знает.

На прогретой солнцем траве рядом с поляной для пикника затевалась игра в жмурки. Бóдой была Индиго Хардинг, которой завязали глаза белым шарфом; шесть или семь девочек обступили ее и кружили, вслух отсчитывая каждый полный оборот. Досчитав до десяти, они с визгом бросились во все стороны, а Индиго, покачиваясь от легкого головокружения и хихикая, пошла к ним, протягивая вперед руки и пытаясь кого-нибудь поймать. Вообще-то, Ада не хотела в это играть, но ноги сами принесли ее туда, и не успела она оглянуться, как уже вместе с другими девочками увертывалась от рук Индиго, выкрикивая сочиненные на ходу дразнилки.

Бóдой побыли все по очереди, и наконец шарф перешел к Аде. Ее радость мгновенно испарилась, сменившись нехорошим предчувствием. Игра основывалась на доверии, а она слишком мало знала этих девочек; к тому же рядом была река, внушавшая ей страх. Эти и другие мысли мигом пронеслись у нее в голове, а еще она заметила, как Мэй Хокинс переглянулась с другой девочкой, а та кивнула, словно желая сказать: «Ага». Перемирие было заключено вчера вечером; теперь Ада поняла, что настало время проверить его в действии.

Она молча стояла, пока другие девочки повязывали ей шарф, и не сопротивлялась, когда те десять раз повернули ее вокруг себя. Голова у Ады закружилась, и она чуть не прыгнула, сделав шаг и почувствовав, что ее шатает. Она взмахнула руками, прислушиваясь к голосам вокруг себя; густой от тепла воздух медленно тек сквозь пальцы; в сухой траве громко стрекотали кузнечики, а где-то за ее спиной выскочила из воды рыба и с выразительным «плюх» упала обратно. Наконец ее пальцы коснулись чьего-то лица, и хохот возобновился. Ада стянула с глаз повязку. Мелкие бисеринки пота выступили на ее верхней губе. Шея ныла от напряжения. Щурясь от неожиданно яркого света, она испытала прилив странного торжества, смешанного с облегчением.

– Идем, – сказала ей Мэй, оказавшись вдруг рядом. – Я придумала, чем

нам заняться.

Шарлотта уже сидела в лодке, когда Ада и Мэй подошли к реке. Увидев их, она улыбнулась и жестами стала звать их к себе.

– Я вас уже заждалась.

– Извини, – откликнулась Мэй, – мы в жмурки играли.

– Ничего, забирайтесь скорей!

Но Ада встала на месте как вкопанная и помотала головой:

– Я не умею плавать.

– И я тоже, – ответила Мэй, щурясь на солнце. – А кто тут собирается плавать?

– Да здесь мелко совсем, – сказала Шарлотта. – Мы только пройдем на веслах чуть выше по течению, а потом оно принесет нас обратно. День такой славный.

Ада понимала, что Шарлотта права: подводные растения колыхались под самой поверхностью воды – река в этом месте действительно была совсем мелкой.

Шарлотта взяла со дна лодки бумажный пакетик:

– А у меня карамельки есть.

Мэй широко улыбнулась, скакнула на простой деревянный причал, у которого стояла лодка, а оттуда – в лодку, где села на среднюю скамью.

Ада с вождением смотрела на пакетик с конфетами, на двух улыбающихся девочек, на солнечные блики на поверхности реки – и вдруг услышала голос Шаши, которая побуждала ее быть смелее, иначе страх отъест половину жизни, как это бывает со многими...

– Ну, скорее! – торопила ее Мэй. – А то наша очередь пройдет.

И Ада решилась. Она быстро подошла к краю причала и, опираясь на протянутую руку Мэй, шагнула в лодку.

– Что мне делать?

– Ничего, просто сидеть, – ответила Шарлотта, отвязывая лодку. – Мы сами все сделаем.

Ада обрадовалась. Честно говоря, ей было очень страшно, и от нее в этот момент вряд ли был бы толк. Когда старшая девочка взяла весло и оттолкнулась им от причала, так что лодка слегка закачалась с боку на бок от толчка, Ада очень испугалась. И так вцепилась руками в борта, что побелели костяшки.

И тут они поплыли. Это было почти здорово. По крайней мере, Аду нисколько не тошнило.

– Ну еще бы, – со смехом заметила Шарлотта, когда Ада сказала об

этом, – здесь ведь не море.

Старшие девочки гребли, и лодка медленно продвигалась вверх по течению; навстречу им плыли мама-утка и девять утят. Птицы пели в кронах ив над водой; в поле заржала лошадь. Берег и девочки на нем уменьшались, скрываясь вдали. Но вот лодка ушла за поворот, и они остались одни.

Цыганский табор стоял немного дальше. Ада гадала про себя: заплывут ли они так далеко, чтобы поравняться с ним? А может быть, поплывут еще дальше, до шлюза Сент-Джонс?

Но едва лодка поравнялась с рощей, Шарлотта перестала грести.

– Ну все, хватит. У меня руки устали. – Она подняла бумажный пакет. – По конфетке?

Мэй взяла карамельку из ячменного сахара и протянула пакет Аде, которая выбрала черно-белый мятный леденец.

Течение в этом месте было такое слабое, что лодка не плыла, а лишь слегка покачивалась на месте. И хотя полянка для пикника давно скрылась за поворотом, за полями Аде был хорошо виден двойной фронтон на заднем фасаде школы. Она вспомнила, как мисс Рэдклифф назвала Берчвуд-Мэнор «видением», и испытала теплое чувство, вдруг поняв, что начала заражаться любовью учительницы к этому странному дому.

– Как жаль, что мы так плохо начали, – заговорила вдруг Шарлотта, нарушив тишину. – А ведь я только хотела помочь тебе, Ада. Я же знаю, как это трудно – быть новенькой.

Ада кивнула, посасывая леденец.

– Но ты никогда меня не слушаешь и, похоже, ничему не учишься, – продолжила та.

Шарлотта улыбалась, но Аду вдруг посетило тяжелое предчувствие. На другом конце лодки старшая девочка наклонилась, вытягивая что-то из-под своей скамьи.

Это была расписная индийская шкатулка.

Ада застыла, а Шарлотта сняла со шкатулки крышку, опустила руку внутрь и вытащила крошечный пушистый комок.

– Он, конечно, милый, нельзя не признать. Но в школе мисс Рэдклифф не разрешено держать питомцев, Ада.

Ада вскочила со своей скамьи, отчего лодка закачалась из стороны в сторону.

– Отдай его мне.

– У тебя будут очень большие неприятности, если ты не примешь мою помощь.

- Отдай.
- Что, по-твоему, скажет мисс Торнфилд, если я все ей расскажу?
- Отдай!
- Кажется, она не поняла, – подала голос Мэй Хокинс.

– Ты права, – согласилась Шарлотта, – как жаль. Придется преподавать ей урок. – Она подвинулась на край своей скамьи и вытянула руку с котенком так, что Били почти коснулся воды. Котенок был совсем крошечным в сравнении с ее ладонью и трогательно скреб по воздуху задними лапками, в надежде найти опору и безопасность. – Я ведь говорила тебе, Ада. Правило первое: я всегда выигрываю.

Ада сделала шаг, и лодка закачалась еще сильнее. Но она должна его спасти.

Она едва не потеряла равновесие, но и тут не села. Надо быть смелой. Мэй ухватила ее за ноги, чтобы не дать ей двигаться дальше.

– Время прощаться, – сказала Шарлотта.

– Нет! – Ада рывком освободилась из хватки Мэй и бросилась на Шарлотту.

Теперь лодку мотало из стороны в сторону так, словно на реке поднялась буря, и Ада упала на дощатое дно.

Шарлотта еще держала Били над водой, и Ада опять вскочила на ноги. Снова рванулась вперед и снова упала. Но на этот раз удар пришелся не о доски.

Вода оказалась куда холоднее, чем она ожидала, и куда жестче. Она задышалась, хватая воздух ртом, размахивала руками, все вокруг стало вдруг нечетким, как на размытой акварели.

Она не могла удержаться на поверхности. Позвать на помощь тоже не могла. Ее сковал страх.

Речная поверхность уже сомкнулась над ее телом, и она, бестолково молотя руками и ногами, погружалась все глубже и глубже, на самое дно, вода затекала в рот, легкие горели.

В реке все оказалось иначе, чем на суше. Звуки наземной жизни стали приглушенными. Свет потускнел. Солнце превратилось в крошечный серебристый диск над поверхностью, от которой удалялась Ада, падая сквозь воду, как сквозь космос; вокруг было полно звезд, но они проскакивали меж пальцев, стоило протянуть к ним руку.

Сквозь илистую воду, между мохнатых стеблей подводной травы, она вдруг увидела террасу своего дома в Бомбее и на ней – Шаши с широкой белозубой улыбкой во все лицо, маму за письменным столом в библиотеке, папу в кабинете с вращающимся глобусом. «Тик, тик, тик, – пощелкивал

он, стоило толкнуть его хорошенько, – тик, тик, тик...»

Ей купят *чаккали*, когда они придут на рынок.

Но где же Шаши? Она ушла. Свечи мигают...

Ада забылась.

Но она не осталась одна. В воде с ней был кто-то еще, в этом она не сомневалась. Она не видела, кто именно, но знала, что рядом кто-то есть. Чья-то тень... призрак...

Последнее, что почувствовала Ада, – как ее тело ударилось о речное дно, руки и ноги коснулись круглых камней и скользких стеблей, а легкие стали шире, чем грудная клетка, чем все тело, подкатили к гортани, заполнили голову.

И тут случилось самое странное: ее мозг пылал, но прямо перед собой она ясно видела что-то синее, яркую искру, похожую то ли на драгоценный камень, то ли на осколок луны, и почему-то знала, что стоит лишь протянуть руку и схватить его, как синий огонек сам выведет ее на правильный путь.

VI

Произошло нечто крайне любопытное. Сегодня у нас побывала гостья. Все утро Джек сидел в старой пивоварне, разглядывал какие-то бумаги, которые привез вчера с собой, – целую кипу. Я тоже заглянула в них, пока он выходил на кухню и ставил в духовку пирог к ланчу, и поняла, что это копии тех писем, которые прислала вчера Розалинд Уилер. Почти все – тексты, и только в одном какая-то карта. Точнее, план этажа, в целом совпадающий с планировкой моего дома и нарисованный от руки; возможно даже, что это сделала таинственная миссис Уилер. Видимо, предполагается, что в сочетании с другими сведениями он приведет Джека к «Синему Рэдклиффу».

Джек вернулся в мой дом незадолго до полудня, и мы провели вместе целый благодатный час, пока он то вглядывался в свой план, то вымерял шагами длину той или иной комнаты, то останавливался, чтобы сделать на бумаге карандашную пометку.

Был уже почти час дня, когда в дверь постучали. Он удивился, а я – нет, ведь я еще раньше обратила внимание на хрупкую, невысокую женщину, которая стояла на краю дорожки, у ограды со стороны фасада. Сложив на животе руки, она смотрела на дом, и что-то в ее осанке заставило меня задаться вопросом, не видела ли я ее раньше. Нет, не видела; это стало понятно, когда она подошла ближе, – я никогда не забываю лиц. (Я никогда ничего не забываю. С некоторых пор.)

Люди часто останавливаются на дорожке и смотрят на дом – люди с собаками, в тяжелых грязных ботинках, с туристическими справочниками в руках стоят и показывают на дом пальцами, – так что ничего необычного тут нет. Но войти в сад, подойти к крыльцу и постучать в дверь решаются не все.

Джек, хоть и удивился сначала, отнесся к вмешательству спокойно. Выглянув в окно кухни, он сразу потопал к двери, целеустремленный, как всегда, и распахнул ее одним мощным рывком. После вчерашней встречи с Сарой он все время мрачен. Не зол, нет, скорее, огорчен и поэтому печален. Я, конечно, умираю от любопытства, желая узнать, что у них вышло, но он молчит. Вечером сделал один звонок, как оказалось, отцу; у них там какой-то юбилей, я слышала, как Джек говорил:

– Сегодня двадцать пять лет. Не верится, правда?

– Ой, – сказала женщина, удивленная тем, как резко распахнулась

дверь. – Здравствуйте, – вообще-то, я... Я думала, музей закрыт по рабочим дням.

– Но вы все-таки постучали.

– Да.

– По привычке?

– Наверное. – Оправившись от удивления, она открыла сумочку, достала оттуда карточку цвета слоновой кости и маленькой красивой рукой протянула ее Джеку. – Меня зовут Элоди Уинслоу. Я архивист из «Стрэттон, Кэдуэлл и К°», это в Лондоне. Занимаюсь архивом Джеймса Уильяма Стрэттона.

Тут уже удивилась я, а это, можете мне поверить, нечасто бывает. Конечно, услышав вчера из уст Джека имя Ады Лавгроув, я отчасти подготовилась к возвращению прошлого, но все-таки была поражена. Много лет я не слышала имени Джеймса Стрэттона и даже не думала, что кто-нибудь еще помнит о нем.

– Не знаю такого, – сказал Джек, поворачивая карточку и так и эдак. – А что, должен?

– Да нет, вряд ли. Он жил при королеве Виктории, был социальным реформатором: заботился об улучшении условий жизни бедняков и так далее. Это к вам обращаться насчет музея?

Судя по голосу, она сомневалась, и не зря. Джек ничуть не похож на тех гидов, которые обычно встречают посетителей у входа и скороговоркой, с заученными интонациями выпаливают свой текст, в котором не меняют ни слова, независимо от того, сколько раз за день уже произнесли его.

– Ну, в некотором роде. Просто здесь никого больше нет.

Видимо, это ее не убедило, но она сказала:

– Я знаю, что по пятницам здесь обычно закрыто, но я приехала из Лондона. Я вообще не рассчитывала никого здесь застать. Хотела только заглянуть через стену в сад, но...

– Хотите осмотреть дом?

– Если вы не против.

«Пригласи ее войти».

Подумав секунду, Джек шагнул в сторону и щедрым, как всегда, взмахом руки пригласил ее войти. После чего быстро запер за ней дверь.

Она вошла, огляделась в полутемном холле, как делают почти все, кто попадает сюда впервые, подошла к одному из снимков, которые развесили там сотрудники Ассоциации историков искусства, и приблизила к нему лицо.

Иногда, когда мне особенно не хватает развлечений, я спускаюсь в

холл и прислушиваюсь к словам Посетителей Определенного Типа, которые с благоговением в голосе пытаются выяснить, что изображено на фото.

– Этот снимок относится к периоду, – изрекает обычно мужчина преклонных лет в приличном костюме, – когда между членами Пурпурного братства шли бурные дебаты о том, способна ли фотография породить произведение с художественными достоинствами, или ее следует признать скорее наукой, нежели искусством.

На что его многострадальный спутник (или спутница) неизменно отвечает:

– А, понятно.

– Чувствуйте себя как дома, – сказал Джек. – Но не забывайте об осторожности.

Она улыбнулась:

– Не волнуйтесь. Я работаю в архиве. Бережное отношение к вещам – моя вторая натура.

– Извините, я вас ненадолго оставлю: у меня пирог в духовке, и я чувствую, что он уже горит.

С этими словами он попятился к двери пивоварни, где я оставила его договаривать свои извинения, а сама последовала за нашей гостьей.

Она переходила из одной комнаты нижнего этажа в другую, и по ее лицу нельзя было прочесть ничего. Лишь раз она вдруг замерла, чуть заметно вздрогнула и оглянулась, как будто почувствовала, что позади нее кто-то есть.

На втором этаже она помешкала у окна, выходящего на лес, взглянула на реку и тут же стала подниматься на чердак. Там она положила рюкзачок на стол Милдред Мэннинг, чем сразу расположила меня к себе, а затем достала из рюкзачка вещь, при виде которой я едва не подпрыгнула. Альбом Эдварда, один из его альбомов. Я узнала бы его где угодно. Мое потрясение было почти физическим. Больше всего на свете в тот момент мне хотелось схватить ее за оба запястья и потребовать ответа: кто она такая и как альбом Эдварда оказался у нее? Она уже произносила имя Джеймса Уильяма Стрэттона, упоминала о «Стрэттон, Кэдуэлл и К°» и о каких-то архивах. Значит, там он и лежал все это время? Но как это возможно? Ведь они не были знакомы; насколько я знаю, они никогда не встречались.

Пролистав страницы альбома – так стремительно, словно делала это уже не раз и точно знала, что именно хочет найти, – женщина выбрала один набросок и стала пристально вглядываться в него; потом подошла к окну,

откуда был виден луг, приподнялась на цыпочки и вытянула шею.

Раскрытый альбом остался на столе, и я бросилась к нему.

Это был он, тот самый, в котором Эдвард рисовал летом 1862 года. Я сидела подле него, когда его рука выводила на этом куске хлопковой бумаги вот эти самые линии: набросок картины, которую он планировал создать, которая жила в его воображении уже много лет. Дальше, я знала, будет сначала лесная поляна, потом холм фей, потом каменная ферма у воды, а еще в нижнем уголке одной страницы будет сердечко – нарисованное небрежно, одним росчерком пера, – а рядом кораблик, плывущий по морским волнам: Эдвард набросал их машинально, почти не глядя, пока мы взволнованно обсуждали наши планы.

Мне ничего не хотелось так сильно, как перелистать страницы этого альбома, взглянуть на другие рисунки, *прикоснуться* к памяти прежних дней. Но, увы, после многих попыток, предпринятых мной за долгие годы, пришлось признать, что мои способности двигать вещи имеют предел. Я могу хлопнуть дверью или громыхнуть оконной рамой, могу сдернуть подпортовую юбку с вредной девчонки, но более тонкие манипуляции – вытащить нитку из шитья или перевернуть страницу – мне неподвластны.

Но я должна узнать, что привело ее сегодня в мой дом. Кто она – обычная любительница живописи или тут что-то другое? После стольких лет двое гостей являются ко мне одновременно, и один называет имя Ады Лавгроув, а вторая – Джеймса Стрэттона; и это еще ладно, но то, что у гостыи в сумочке обнаруживается альбом, в котором Эдвард рисовал летом 1862 года, меня прямо-таки пугает. Я начинаю думать о заговоре.

Мой молодой человек, Джек, тоже был заинтригован, но на свой манер, так что, когда она спустилась, заглянула в кухню старой пивоварни и крикнула ему «Спасибо!», он поднял голову от почерневшей формы, с которой выскребал что-то в раковину, и спросил:

– Ну как, нашли то, что искали?

И услышал ответ, такой уклончивый, что он кого угодно довел бы до белого каления.

– Вы были так добры, – заявила она, – спасибо, что пустили меня в музей в пятницу.

И ни намек на то, зачем ей это понадобилось.

– Вы где-нибудь тут остановились? – спросил Джек, когда девушка уже шла к выходу. – Или возвращаетесь в Лондон?

– Я сняла комнату в «Лебеде» – это паб здесь, недалеко, у дороги. На уик-энд.

Подкравшись к нему поближе, я сосредоточилась на передаче ему

своих мыслей. «Пригласи ее остаться. Пусть она придет еще».

– Заходите в любое время, – сказал он и как будто смутился, но ненадолго. – Я здесь каждый день.

– Может быть, приду.

Ну что ж, спасибо, что в лоб не ударили, как говорят те, кому отказали в исполнении их самого заветного желания.

Она пробыла здесь всего ничего, но последствия ее визита я переживала весь день. Взволнованная и озадаченная, я оставила Джека инспектировать дом в одиночестве – он сейчас в холле второго этажа простукивает стену, – а сама удалилась в мой любимый уголок на повороте лестницы и села там, чтобы отвлечься, размышляя о былом.

В основном я думала о Бледном Джо и вспоминала то утро, когда мы встретились.

Да, я была хорошей воровкой, но и у меня случались промашки. Обычно они были нестрашными и обходились без последствий: иногда я выбирала не того человека, и тогда приходилось давать деру от полицейских, или его кошелек оказывался пуст, как обещание глупца. Но однажды – мне было двенадцать – ошибка завела меня очень далеко.

Утро в Лондоне, как нередко бывает, выдалось таким: о восходе солнца можно было судить лишь по тому, что туман на улицах из густо-черного стал сначала свинцовым, а затем цвета вороненой стали, подернутой желтой патиной. В воздухе висел дым из фабричных труб, от реки пахло машинным маслом; так продолжалось не один день, и это плохо сказалось на моей добыче в ту неделю. Так бывало всегда, когда на Лондон накатывал туман: богатые леди просто не хотели выезжать в одиночку.

В то утро мы с Маленькой Пассажижкой сели в омнибус, который шел из Риджентс-парка в Холборн, в надежде повстречать жену или дочь какого-нибудь законника, едущую домой с прогулки. План был вполне пристойным, но мне не хватило ловкости рук, потому что я все время думала о нашем с миссис Мак разговоре накануне вечером.

Как я уже говорила, миссис Мак была оптимисткой по натуре, но положение, что называется, обязывало, а потому ее можно было мясом не кормить, лишь бы дать поворчать вдоволь. Одним из ее любимых поводов для жалоб на меня, кроме дороговизны моих платьев, было еще и то, что я росла не по дням, а по часам.

– Не успеешь расставить твои платья в боках или отпустить подол, как изволь начинать все сначала! – Но в тот раз она пошла дальше: – Мы тут с Капитаном подумали: пора кое-что поменять в твоей работе. Для

Маленькой Заблудившейся Девочки ты стала уж очень взрослой. Глядишь, у Добросердечных Джентльменов замелькают другие мыслишки насчет того, чем можно «помочь» хорошенькой девчонке вроде тебя. А вернее, чем ты можешь помочь им.

Мне ничего не хотелось менять в своей работе, а еще мне не понравились намеки миссис Мак на «помощь» джентльменам. Я сама уже заметила, что завсегдатаи пивных, куда она посылала меня звать Капитана домой к ужину, поглядывают на меня не так, как прежде, и понимала, что причиной была та «пара славных маленьких грудок», которые заприметила у меня миссис Мак, обмеряя меня для подгонки платья.

И Мартин тоже стал на меня заглядываться. Под тем или иным предлогом он вечно торчал в том коридоре, куда выходила дверь моей комнаты, а по утрам, одеваясь, я видела в замочной скважине темноту, а не яркое светлое пятно. Он ходил за мной как пришитый, скрыться от него было невозможно. В предприятии матери ему, кроме прочего, отводилась роль соглядатая – следить за тем, чтобы никто из нас, детей, не привел за собой вечером хвост, – но здесь было другое.

Вот почему, когда в то утро в омнибусе я привычным движением запустила руку в карман соседки и кончиками пальцев нащупала кошелек, мысли были совсем о другом; из головы не шло встревожившее меня заявление миссис Мак, я примеривалась к нему и так и этак, ища потаенные смыслы, и в который уже раз задавалась вопросом, почему отец все не шлет за мной. Раз в месяц или около того к миссис Мак являлся Иеремия и брал деньги для отправки в Америку, и тогда миссис Мак читала мне последнее отцовское письмо. А когда я спрашивала, не просит ли отец купить мне билет на корабль, она говорила, что нет, еще не время.

Вот почему, занятая своими переживаниями, я слишком поздно поняла, что моя соседка собирается покинуть омнибус: меня вдруг потянули за руку, – оказалось, леди встала, и ее карман, а с ним и моя рука, пополз вверх. И тут же раздался крик:

– Ах ты, маленькая воровка!

К такому сценарию я готовилась много лет. Вновь и вновь я представляла себе, как это будет. Следовало изобразить невинность, притвориться, что все это какая-то ошибка, сделать большие глаза, а то и выдавить пару слезинок. Но меня застали врасплох. Я промешкала на пару секунд дольше, чем было нужно. И теперь у меня в ушах звучал голос миссис Мак, который твердил: обвинять – значит знать, на чьей стороне сила. А я рядом с этой леди, ее нарядной шляпкой, прекрасными манерами и оскорбленной невинностью – никто.

По проходу ко мне уже спешил кондуктор; джентльмен, сидевший двумя местами дальше, тоже вскочил. Оглянувшись через плечо, я увидела, что путь к задней двери относительно свободен, и побежала.

Бегала я быстро, но, на беду, поблизости оказался новоиспеченный бобби – он как раз делал обход своего участка, услышал крики и шум, увидел, как я бегу, и, подталкиваемый служебным рвением, бросился за мной в погоню.

– Стой! Воровка! – вопил он, размахивая над головой дубинкой.

Конечно, удирать от полиции мне было не впервой, но в то утро из-за тумана я оказалась слишком далеко на севере, где у меня не было друзей и некому было помочь мне в моем бегстве. Лили Миллингтон предупреждала, что в моем возрасте угодить в руки полиции – значит получить бесплатный билет в один конец до ближайшего рабочего дома, вот я и драпала что было сил к знакомому и безопасному Ковент-Гардену.

Сердце едва не выскакивало у меня из груди, когда я неслась по Ред-Лайон-сквер. Полицейский, конечно, отличался дородностью, но все-таки был взрослым мужчиной, с ногами длиннее моих. Хай-Холборн кишел каретами и экипажами, и я обрадовалась: проще простого затеряться между их колес и так оторваться от погони. Но, увы, когда я перебралась на другую сторону улицы и оглянулась, полицейский по-прежнему топал за мной, и его сопение раздавалось даже ближе, чем раньше.

Я нырнула в какой-то переулок и тут же поняла свою ошибку: с той стороны маячили Линкольнз-Инн-филдз, на зеленом просторе которых мне совсем некуда будет деться. Выбора не было, полицейский едва не наступал мне на пятки, когда я заметила другой проулок, совсем узкий – щель вдоль задних фасадов внушительного ряда домов, причем по одной из кирпичных стен змеилась металлическая лестница.

Меня охватила бурная радость – я решила, что все-таки скроюсь от полицейского, если мне удастся перенести погоню на крыши.

И я начала карабкаться вверх, работая ногами со всей быстротой, на какую была способна. Лестница подо мной вздрогнула и заходила ходуном, когда преследователь полез за мной, гремя по ступенькам подкованными сапожищами. Я поднималась все выше: позади остался первый ряд окон, потом второй и, наконец, третий. И тут лестница кончилась, а я очутилась на крыше, выложенной плитками шифера.

Раскинув для равновесия руки, я пошла вдоль водосточного желоба, а на границе двух домов перелезла через перегородку, разделяющую крыши, и шмыгнула за дымовые трубы. Я правильно предположила, что наверху у меня будет преимущество: полицейский, правда, не отстал совсем, но

расстояние между нами слегка увеличилось.

Но все же я рано радовалась. Я уже прошла половину пути по крышам, и, когда дойду до края, деваться мне будет некуда.

И тут, едва сообразив, в какое отчаянное положение я попала, я увидела его! Окно, полуоткрытое окно мансарды. Раздумывать было некогда – я толкнула раму вверх до упора и скользнула внутрь.

Я сильно ударилась об пол, но у меня не было ни секунды на то, чтобы оценить ущерб. Ползком я забралась под широкий подоконник и замерла, прижавшись к стене. Сердце билось так громко, что казалось, полицейский найдет меня по одному этому стуку. Значит, надо унять его, чтобы услышать, когда он пройдет мимо, и только потом, зная, что опасность миновала, вылезти из укрытия и пойти домой.

Открытое окно стало для меня истинным спасением, и, запрыгивая внутрь, я совсем не думала о том, куда оно меня приведет. Но когда мое дыхание стало постепенно выравниваться, я повернула голову, осмотрелась и поняла, что попала в спальню ребенка. И это бы еще ничего: беда в том, что означенный ребенок в это самое время сидел в постели и смотрел на меня.

Такого бледного существа, как он, я не видела никогда в жизни. Примерно одного возраста со мной, он имел изнуренное, болезненное лицо, волосы цвета выгоревшей соломы почти сливались с белизной огромной перьевой подушки, на которую он опирался спиной, а тонкие, словно восковые, руки покоились на гладкой льняной простыне. Мне захотелось как-то ободрить его, и я уже открыла было рот, но поняла, что не знаю слов, которые прозвучали бы здраво в сложившихся обстоятельствах; больше того, с минуты на минуту должен был появиться полицейский, и для нас обоих было лучше не издавать ни звука.

Понимая, что моя судьба зависит сейчас от этого мальчика, я поднесла палец к губам, умоляя его молчать, и тут он заговорил:

– Если ты подойдешь ближе... – он так чисто выговаривал все гласные, что они, будто крохотные острые лезвия, резали на куски душный, застойный воздух спальни, – я позову отца, и ты окажешься на пути в Австралию раньше, чем начнешь извиняться.

Высылка в Австралию была, пожалуй, единственным, что пугало меня больше работного дома, и я лихорадочно подыскивала слова, чтобы объяснить ему, почему я попала через полуоткрытое окно в его спальню, когда слышала другой голос, мужской; стоя под окном, его обладатель хрипло, еще не переведя дух от долгой погони, смущенно спрашивал:

– Прошу прощения, сэръ... молодой господин... тут была девчонка, я

гнался за ней: маленькая девчонка дала от меня деру.

– Девчонка? На крыше? Вы с ума сошли?

– Вовсе нет, молодой господин, она так лезла по лестнице, ну чисто обезьяна...

– И вы хотите сказать, что не сумели догнать маленькую девочку?

– Э-э, гм, сэр... не сумел.

– И вы взрослый человек?

Небольшая пауза.

– Да, сэр.

– Отойдите от моего окна сию же секунду, не то я закричу. Вы знаете, кто мой отец?

– Да, сэр, но я... сэр, тут девочка...

– Сию. Секунду!

– Сэр. Да, сэр. Хорошо, сэр.

Послышался скрежет, что-то тяжелое проехало по шиферу, ворчание стихло вдали.

Теперь все внимание мальчика обратилось на меня.

Опыт напоминал мне, что, если сказать нечего, лучше ничего не говорить, поэтому я просто ждала, куда подует ветер.

Смерив меня долгим, насмешливым взглядом, он наконец произнес:

– Здравствуй.

– Здравствуй.

Полицейский ушел, никакой нужды сидеть на полу на корточках, больше не было, и я выбралась из-под окна. Теперь я наконец могла оценить комнату во всем ее великолепии и, не стыжусь признаться, озиравшись по сторонам раскрыв рот.

Ничего подобного я в жизни не видела. Комната была не только спальней, но и детской, где каждая стена под скошенным мансардным потолком была сверху донизу занята полками, а на них рядами стояли игрушки – как мне показалось, все, какие есть в мире. Деревянные солдатики и кегли, мячи, биты и мраморные шарики, изумительный заводной паровозик с вагончиками, в которых вместо пассажиров сидели куколки, ковчег, где было «каждой твари по паре», целая галерея волчков разного размера, красно-белый барабан, чертик в коробочке, а в углу на все это богатство равнодушно взирал деревянный конь-качалка. И еще куклы из театра Панча и Джуди. И кукольный дом высотой с меня, считая от подставки до конька крыши. И серсо – палочка с обручем блестели новеньким лаком так, будто их еще не касалась ничья рука.

Я продолжала исследовать комнату, и тут мой взгляд упал на поднос в

ногах кровати. Он был переполнен едой, какую я видела в витринах богатых магазинов Мэйфера, но даже не мечтала попробовать сама. У меня сразу заурчало в животе, а мальчик – должно быть, заметив мой голодный взгляд – сказал:

– Ты окажешь мне большую услугу, если что-нибудь съешь. Меня вечно пытаются накормить, хоть я и говорю всем, что почти никогда не хочу есть.

Второго приглашения не потребовалось.

Еда еще не успела остыть, и я с благодарностью поглощала ее, присев на край пухового одеяла. С полным ртом я не могла говорить, да и хозяин комнаты был не расположен прерывать молчание, так что мы лишь обменивались настороженными взглядами поверх подноса.

Наевшись, я промокнула салфеткой рот так, как это делала миссис Мак, и робко улыбнулась:

– Почему ты лежишь?

– Я болен.

– А что с тобой такое?

– Доктора еще не пришли к заключению.

– Ты умрешь?

Он задумался:

– Возможно. Однако пока этого не случилось, что я считаю хорошим знаком.

Я кивнула, сразу и соглашаясь с ним, и ободряя его. Этот странный белесый мальчик был мне совсем не знаком, но я была рада, что он не стоит на пороге смерти.

– Но как это невежливо с моей стороны, – сказал он. – Прости. У меня редко бывают гости. – И он протянул мне тонкую холеную руку. – Меня, разумеется, назвали в честь отца, но ты можешь звать меня просто Джо. А тебя зовут?.

Беря его за руку, я сразу вспомнила Лили Миллингтон. Придуманное имя гораздо безопаснее, но ему, сама не знаю почему, я сказала правду. Что-то как будто толкнуло меня изнутри, сила этого толчка ширилась и нарастала, пока не заполнила меня всю, и я уже не могла ей противиться.

– А меня назвали в честь отца моей мамы, – сказала я. – Но друзья зовут меня Берди.

– И я буду так тебя звать, потому что ты присела на мой подоконник, как птичка.

– Спасибо, что не прогнал меня с него.

– Не за что. Не раз, лежа здесь и глядя на него, ведь больше мне

глядеть не на что, я думал о том, зачем строители потратили столько материала и сделали его таким широким. Теперь я понимаю, что они поступили мудро, а вовсе не наоборот, как я считал раньше.

Он улыбнулся мне, а я – ему.

На столике рядом с ним стоял предмет, какого я никогда не видела. Осмелев от проявленной ко мне доброты, я взяла вещь в руки. Это был диск, к противоположным краям которого крепились две бечевки; с одного боку была нарисована канарейка, с другого – клетка.

– Что это?

Он жестом попросил меня передать предмет ему.

– Это называется «тауматроп». – Он взял за одну бечевку и закрутил диск так, что она туго намоталась на него. Потом, держа в каждой руке по кончику, он стал растягивать их в разные стороны, и диск быстро завертелся. Восхищенная, я захлопала в ладоши, когда у меня на глазах птичка влетела в клетку.

– Магия, – сказал он.

– Иллюзия, – уточнила я.

– Да. Ты права. Это, конечно, фокус. Но очень милый.

Бросив на тауматроп последний взгляд, я поблагодарила Джо за все и сказала, что мне пора идти.

– Нет, – быстро ответил он и помотал головой. – Я тебе запрещаю.

Это было так неожиданно, что я даже не нашлась с ответом. Успела только подавить смешок, который едва не вырвался при мысли, что этот бледный, прикованный к кровати мальчик думает, будто он может что-нибудь мне запретить; а еще мне стало грустно от того, как всего тремя словами он разоблачил передо мной и свою суть, и свою ограниченность.

Наверное, абсурдность приказа дошла и до него самого: он тут же сменил тон и попросил, почти взмолился:

– Пожалуйста. Ты должна побыть подольше.

– Мне попадет, если я не вернусь домой до темноты.

– До заката еще полно времени – два часа, не меньше.

– Но я ничего сегодня не сделала. Мне нечем будет отчитаться за день.

Бледный Джо смутился при этих словах и спросил, что я должна была сделать. Если уроки – где тогда мои книги и грифельная доска и где я встречаюсь со своей гувернанткой? Я ответила, что говорю вовсе не про уроки, что я никогда не была в школе, и рассказала ему все про свой омнибусный маршрут, про перчатки и платья с глубокими карманами.

Он слушал, и глаза его открывались все шире, а когда я кончила, попросил показать перчатки. Я села к нему поближе, достала их из кармана

и устроила на коленях, исполняя роль маленькой леди, едущей в экипаже.

– Ты видишь мои руки здесь, – сказала я и кивнула на перчатки. Он согласно кивнул мне в ответ. – А тогда, – продолжила я, – что это такое?

Он тихонько вскрикнул, когда я, совсем не меняя позы, если глядеть со стороны, просунула свою настоящую руку под одеяло и легонько пощекотала его колено.

– Вот так это работает, – сказала я, спрыгнула с кровати и расправила юбки.

– Но... это же здорово, – ответил он; по лицу растеклась улыбка, на миг даже вернув ему краски. – И ты каждый день так работаешь?

Я уже стояла у окна, обозревая путь к отступлению.

– Почти. Иногда я притворяюсь, что заблудилась, и залезаю в карман джентльмена, который вызывается меня проводить.

– А то, что ты у них берешь, – кошельки, драгоценности – ты относишь домой, маме?

– Моя мама умерла.

– Сирота, – благоговейно выдыхает он. – Я читал о них в книгах.

– Нет, я не сирота. Мой отец уехал, но это временно, он пошлет за мной, как только устроится.

Я забралась на подоконник.

– Не уходи, – снова попросил мальчик. – Побудь еще.

– Надо идти.

– Тогда приходи опять, ладно? Скажи, что придешь.

Я замешкалась. Обещать, что я приду опять, было глупо, я знала: во-первых, это был не тот район, в котором юная девушка может одна, без сопровождения, бродить, где ей вздумается, – ее сразу заметят; во-вторых, меня знал теперь полицейский в конце улицы. Правда, он не видел моего лица, но если он погнался за мной один раз, то может погнаться и во второй, и тогда мне не поздоровится. С другой стороны, еда – я в жизни не ела ничего такого же вкусного. И эти полки, которые ломаются от игрушек и разных чудес...

– Возьми, – сказал вдруг Бледный Джо и протянул мне тауматроп. – Он твой. А в следующий раз, когда ты придешь, я покажу тебе кое-что получше, обещаю.

Вот так я познакомилась с Бледным Джо, и он стал моей тайной, так же как я – его.

В настроении дома произошел сдвиг. Случилось что-то важное, пока я сидела и думала о моем старом друге Бледном Джо. Ну конечно, причиной

этому Джек, он в холле, и вид у него как у кота, который добрался до сметаны. Я сразу понимаю почему. Он стоит перед тайником, потайная панель которого широко открыта.

Вот он ушел, вернее, убежал к себе – за фонарем, не иначе. Сколько он ни твердил Розалинд Уилер, что не войдет в дом раньше субботы, я-то знаю: у любопытства свои законы, с которыми не поспоришь, так что сейчас он принесет фонарь и прочешет с ним каждый квадратный дюйм тайника, проверит каждую щелочку в полу, в надежде обнаружить завалившийся туда бриллиант. И ничего не найдет. Камня там нет. Но каждой правде свое время, так что пусть поищет. Ему это не повредит. К тому же он нравится мне даже больше, когда злится.

Пусть занимается, а я пока подожду его в пивоварне. Мне есть о чем подумать, вот хоть об Элоди Уинслоу, например. Было что-то смутно знакомое в том, как она двигалась, как держалась. Я долго не могла понять, в чем дело, но теперь, кажется, разобралась. Когда она вошла в дом и пошла по комнатам, она вздохнула, так тихо, что этого не услышал бы никто, кроме меня, а на ее лице появилось выражение удовлетворения, такого глубокого, что его можно было назвать совершенным. И этим она напомнила мне Эдварда. Это он так смотрел и так вел себя, когда мы с ним вошли сюда впервые.

Однако у Эдварда была причина для такой сильной привязанности. Она возникла еще в детстве, после жуткой ночи, проведенной в окрестных полях. Но при чем здесь Элоди Уинслоу? Какое она имеет отношение к Берчвуд-Мэнор?

Надеюсь, она еще вернется. И вкладываю в эту надежду весь пыл своей души, который считала давно угасшим. Только теперь я начинаю понимать, как, должно быть, чувствовал себя бедняга Бледный Джо, обещая показать мне что-то чудесное, лишь бы я пришла к нему еще раз. Человек поневоле становится зависимым от гостей, когда сам лишается возможности ходить в гости.

Больше всего в нынешнем своем межеумочном положении я скучаю именно по Бледному Джо – ну, после Эдварда, конечно. Я часто вспоминала его, гадала, как сложилась его жизнь, потому что он был особенным, не таким, как все; когда мы с ним повстречались, он уже довольно долго болел, и чем дольше он оставался пленником своей комнаты, полной нетронутых сокровищ, тем острее делался его интерес к миру за окном. Все, что Бледный Джо знал о нем, он вычитал из книг, а потому часто не понимал, как все устроено на самом деле. Он не сразу понял мой рассказ про убогие, сырые комнатухи в тени церкви Святой

Анны, где мы ютились с отцом; про общий нужник и беззубую старую каргу, которая чистила его в обмен на остатки золы из каминов; а то, что случилось с Лили Миллингтон, опечалило его всего сильнее. Он хотел знать, почему люди выбирают такую жизнь, и всегда расспрашивал меня о моем Лондоне – о переулках Ковент-Гардена, о темных уголках под мостами через Темзу, где идет оживленная торговля, о детях, у которых нет родителей. Он не уставал слушать о младенцах, которые попадали к миссис Мак, и его глаза неизменно наполнялись слезами, когда я рассказывала ему о бедных малютках, оказавшихся слишком хилыми для этой жизни.

Интересно, что он подумал, когда я полностью исчезла из его жизни? Искал ли он меня? Сначала, конечно, нет, но потом, когда прошло столько времени, что никакие логические объяснения уже не подходили? Сомневался ли он, задавал ли вопросы или сразу поверил в худшее? Бледный Джо и я были ровесниками, оба родились в 1844-м; если он дожил до старости, то в год, когда Леонард опубликовал свою книгу, ему должно было быть восемьдесят семь. Он всегда был жаден до книг – мы часто читали вместе, в его спальне под крышей, сидя плечом к плечу на постели, словно в гнезде из белого льна, – и всегда знал, что и где вышло нового; а еще он страстно любил живопись, унаследовав эту страсть от отца, чей дом на Линкольнз-Инн-филдз был увешан полотнами Тернера. Да, Бледный Джо наверняка заинтересовался бы книгой Леонарда. Интересно, что бы он подумал о его теориях? Неужели поверил бы, что я – бессердечная воровка, похитившая фамильную драгоценность у человека, которому объяснялась в любви, и упорхнувшая с ней в Америку за легкой жизнью?

Конечно, Бледный Джо знал, что я опытная воровка. Во многих отношениях он знал меня куда лучше, чем Эдвард. В конце концов, мы познакомились, когда я удирала от полицейского, и он с самого начала засыпал меня вопросами о предприятии миссис Мак, восторгался моими рассказами о приключениях Маленькой Заблудившейся Девочки и Маленькой Пассажирки, а потом и Леди-Театралки, просил у меня все новых и новых историй, точно речь шла о невероятно дерзких похождениях.

А еще Бледный Джо знал, что я решила: если мой отец так и не придет за мной, я сама поеду в Америку и разыщу его. Ибо, хотя Иеремия регулярно являлся к миссис Мак с отчетами и, со значительным видом встав посреди гостиной, слушал, как она читает очередное письмо, где отец описывал, как его дела постепенно начинают идти на лад, а заодно призывал меня во всем слушаться миссис Мак и беспрекословно исполнять все ее требования, меня каждый раз охватывало тревожное чувство, что

мне чего-то недоговаривают. Ведь если дела у моего отца действительно шли так, как он писал, почему он продолжал настаивать, чтобы я оставалась вдали от него?

Но потом Бледный Джо узнал, что я полюбила Эдварда. Точнее говоря, он был первым, кто это понял. До сих пор помню тот вечер, сразу после открытия выставки 1861 года в Королевской академии, куда Эдвард пригласил меня посмотреть, как снимут занавес с его картины «La Belle»^[9]. Оттуда я пошла напрямик к окну Бледного Джо. У меня было время поразмыслить над тем, что сказал Бледный Джо, когда я отчиталась ему о своем посещении выставки.

– Ты влюблена, – сказал он, – именно так проявляет себя любовь. Сначала она требует сбросить маску, открыть другому свое истинное лицо, а потом признать, иногда с ужасом, что этот другой может не испытывать таких же чувств.

Для мальчика, который нечасто покидал свою обитель, Бледный Джо удивительно много знал о любви. Мать возила его на балы, где он мог знакомиться со всеми лондонскими дебютантками, и не раз, прощаясь с ним, я оставляла его наедине с черно-белым костюмом, в который ему предстояло облачиться как раз для такого выхода. Возвращаясь переулками к себе, в Ковент-Гарден, я часто представляла своего бледного, прихрамывающего и такого добросердечного друга в элегантном костюме, думала о том, как он вырос за пять лет нашего знакомства, каким стал красивым; в моем воображении я всегда смотрела на нас обоих точно с высоты птичьего полета и видела, как мы спешим по одному и тому же городу врозь, каждый сам по себе.

Наверное, Бледный Джо повстречал кого-нибудь на одном из этих балов, леди, в которую влюбился так же безоглядно, как я в Эдварда, и которая, должно быть, не ответила ему взаимностью; вот почему слова, произнесенные им в тот вечер, были так точны.

Но он так и не успел сказать мне, кто она. В последний раз я видела Бледного Джо, когда нам обоим было по восемнадцать. Я пришла к его окну, чтобы сообщить ему о своем решении – провести с Эдвардом лето в Берчвуд-Мэнор. О других своих планах я не сказала ни слова и даже не попрощалась с ним как следует. Правда, я ведь не знала тогда, что уже пора. Думала, что впереди у нас еще много времени. Людям всегда так кажется.

Джек вернулся в пивоварню, и мой дом успокоился, переводя дух после непривычно деятельного дня. В тайник уже много лет никто не

заглядывал.

Джек подавлен, но не потому, что не нашел камня. Правда, теперь ему придется снова звонить Розалинд Уилер, и его ждет неприятный разговор: та будет недовольна. Но поиск «Синего Рэдклиффа» для Джека – просто работа; у него нет никакой личной заинтересованности, кроме простого человеческого любопытства. Нет, я уверена, его плохое настроение связано с теми двумя малышками и вчерашней встречей с Сарой.

Мне до смерти хочется узнать, что между ними произошло. Чужие истории отвлекают меня, пусть ненадолго, от моих воспоминаний, да еще от бесконечного, бесцельного течения времени.

Джек отложил в сторону записи миссис Уилер с планом этажа и взялся за камеру. Я обнаружила у него такую привычку: огорченный чем-нибудь, он достает фотоаппарат и начинает смотреть в видоискатель, наводя его то на одно, то на другое – не важно на что, – меняет фокус и выдержку, приближая объект, снова удаляя. Иногда он делает снимок; но чаще – нет. Все это, по-видимому, позволяет ему восстановить душевное равновесие, и фотоаппарат снова возвращается в футляр.

Но сегодняшнее настроение, видимо, починке не поддается. Он кладет фотоаппарат в сумку и вешает ее на плечо. Собирается снимать на улице.

Подожду его в своем любимом уголке на лестнице. Мне нравится смотреть оттуда на Темзу – деревья на дальнем краю луга для нее как рама. Течение там тихое; иногда проходят узкие длинные лодки для каналов, за ними тянутся прозрачные плюмажи угольного дыма. Слышно, как булькает грузило, когда забрасывает удочку рыбак, как стайка уток опускается на поверхность, свистя крыльями и расплескивая воду, а иногда, если день выдается теплый, до меня доносится смех купальщиков.

Кстати, я сказала неправду насчет того, что совсем никуда не могу пойти. Один раз я дошла до самой реки, правда, это больше не повторялось. Я и промолчала об этом потому, что до сих пор не могу понять, как это вышло. Но в тот день, когда Ада Лавгроув выпала из лодки, я была в реке рядом с ней и видела, как она тонет.

Эдвард часто говорил, что реки со стародавних времен хранят память обо всем, что творилось на их берегах. Я часто думаю, что и с этим домом так же. Он помнит все, как и я. Ничего не забывает.

Эти мысли возвращают меня к Леонарду.

Раньше он был солдатом, но в Берчвуд-Мэнор приехал уже ученым, работал над диссертацией об Эдварде, и его бумаги устилали весь письменный стол в Шелковичной комнате. Именно от него я узнала многое

из того, что случилось после смерти Фанни. Среди его бумаг встречались письма, вырезки из газет, а потом стали появляться и полицейские протоколы. До чего же странно было видеть в них имя «Лили Миллингтон» рядом с другими именами. Торстон Холмс, Феликс и Адель Бернارد, Фрэнсис Браун, Эдвард, Клара и Люси Рэдклифф.

Я видела полицейских, которые расследовали смерть Фанни. Видела, как они обшаривали комнату за комнатой, как рылись в вещах Адель и срывали обои в каморке, где Феликс проявлял фотографии. Я была там, когда один из них, коротышка, стащил фото Адель в кружевной сорочке – сунул во внутренний карман едва сходявшегося на нем жилета. Я была там, когда они расчищали студию Эдварда, вынося все, что имело хоть какое-то отношение ко мне...

У Леонарда был пес, который любил спать в кресле, пока хозяин работал, – крупная мохнатая тварь с вечно грязными лапами и выражением нерушимого терпения на морде. Я люблю животных: они замечают меня чаще, чем хозяева, рядом с ними я не чувствую себя пустым местом.

Он привез с собой проигрыватель и поздними ночами часто слушал песни, а на столике у кровати держал стеклянную трубку – предмет, хорошо знакомый мне с тех пор, когда мой отец стал пропадать ночами в китайском притоне в Лаймхаузе. Иногда к нему приезжала женщина, Китти, и тогда трубка убиралась в шкаф.

Ночами я наблюдала за ним, когда он спал, так же как наблюдаю теперь за Джеком. У него была выправка военного, как у того старого майора, знакомого Капитана и миссис Мак: майор мог прибить девчонку ни за что ни про что, но никогда не лег бы спать, не вычистив сапоги и не поставив их рядком около кровати, – это было ниже его достоинства.

Но Леонард никого не бил, его самого мучили кошмары. Днем он был тих, вежлив и аккуратен, как старая дева, а ночами ему снилось что-то ужасное. Во сне он трясся, корчился и кричал голосом, срывающимся от страха.

– Томми! – звал он каждый раз. – Томми!

Я часто задумывалась о том, кто он такой, этот Томми. Судя по тому, как плакал о нем Леонард, он мог быть его ребенком, умершим ребенком.

В те ночи, когда он раскуривал стеклянную трубку и погружался в тяжелый сон без сновидений, где его не мог отыскать Томми, я сидела одна в тихом доме и думала об отце, вспоминая, как долго ждала его возвращения.

Но если Леонард ложился без трубки, я оставалась с ним. Отчаяние и я – давние знакомцы; вот почему в такие ночи я опускалась на колени рядом

с его кроватью и шептала ему в ухо: «Все хорошо. Утешься. Томми говорит, что у него все хорошо».

«Том... Томми...» Я все еще слышу это имя в ночи, когда ветер над рекой завывает так громко, что в доме начинают дрожать половицы.

Глава 13

Лето 1928 года

День выдался жарким, как никогда, и Леонард, проснувшись, сразу решил пойти поплавать. Он пристрастился гулять по бечевнику вдоль Темзы ранним утром, а иногда и пасмурным днем, который тянется долго, а потом гаснет так внезапно, словно выключили огни рампы.

Темза тут совсем не такая, как в Лондоне: там она разливается широко и своевольно несет через город свои грязные воды. Здесь она тоже проворна, но при этом мила и простодушна. Она прыгает по камешкам и скользит вдоль берегов, такая прозрачная, что вся растительность на дне видна до последней травинки. Леонард решил, что именно здесь река проявляет свою женскую природу. Ибо, при всей ее солнечной незамутненности, все же встречались места, где трудно было на глаз определить глубину.

В июне долго не было дождей, что дало Леонарду возможность исследовать окрестности и обнаружить особенно приятную излучину двумя милями выше Полупенсового моста в Леклейде. Компания разновозрастных ребяташек устроила на близлежащем поле летний палаточный лагерь, но их было почти не видно из-за березовой рощи на берегу.

Он сидел, привалившись спиной к стволу ивы, и жалел, что так и не взялся за починку маленькой гребной лодки, которую нашел в амбаре за домом. День был совсем безветренным, и Леонард думал о том, как бы сейчас было хорошо вывести лодку на реку и лечь на дно, опустив весла, – пусть течение несет его, куда захочет.

Вдалеке какой-то парнишка лет одиннадцати, долговязый, с торчащими от худобы коленками, выбежал из тени одного дерева и бросился к другому. Он мчался через залитое солнцем пространство, размахивая руками, словно мельница, и по улыбке, расплывшейся на лице, было видно, что он делает это просто так, для удовольствия.

На долю секунды Леонард ощутил ту текучую радость, которую дает ощущение молодости, скорости и свободы. «Бежим со мной, Ленни, бежим!» Эти слова он и сейчас слышал то в шелесте ветра, то в пении птиц над головой. «Бежим со мной, Ленни!»

Мальчик не видел Леонарда. Он и его друзья получили задание набрать хвороста: подбирая длинные, как мечи, ветви, они относили их мальчику, который сидел у входа в пятнистую палатку и после тщательного осмотра принимал одни и отвергал другие, мотая головой. На взрослый взгляд Леонарда, в этом мальчике не было ничего такого, что объясняло бы, почему его слушаются остальные. Ну, может быть, он был чуть выше других и даже, наверное, немного старше, но дети инстинктивно чувствуют силу.

Леонард ладил с детьми. В них еще нет того двуличия, которое часто развивается во взрослых, когда те прокладывают себе путь в жизни. Дети говорят, что думают, рассказывают обо всем, что видят, могут подраться во время ссоры, но потом обязательно мирятся. У них с Томом все было именно так.

Откуда-то взмыл теннисный мячик, глухо стукнулся о землю и покатился по траве в воду. Пес погнался за ним, потом неторопливой рысцой вернулся к хозяину и положил добычу у его ног. Леонард принял мокрое подношение, взвесил его на ладони и, размахнувшись как следует, запустил его туда, откуда оно прилетело.

Солнце уже не только светило, но и пригревало. Он снял рубашку, брюки и в одних плавках подошел к воде. Пощупал пальцами воду, глядя, как мимо плывет по течению утиная семейка.

Не давая себе времени передумать, Леонард с головой нырнул в воду.

От ее резкого утреннего холода стянуло кожу. Не закрывая глаз, он спускался все глубже и глубже, пока не достиг дна, и захватил его двумя горстями, подняв облачка ила. Он держался и считал. Из комка скользкой растительности ему улыбался Томми.

Леонард не помнил жизни до Тома. Они были погодками – всего тринадцать месяцев разницы. До рождения Леонарда их мать уже потеряла одного ребенка, девочку по имени Джун – умершую на втором году жизни от скарлатины, – и ей была ненавистна мысль о том, чтобы опять остаться без потомства. Он слышал, как за чаем мать призналась его тетке, что родила бы с десятков детей, если бы не «женские проблемы».

– Наследник у тебя уже есть, запасной тоже, – с привычным прагматизмом ответила тетка, – лучше, чем ничего.

После того разговора Леонард много раз спрашивал себя, он ли этот «наследник», и если да, то хорошо это или плохо. Мать всегда боялась, когда ночью поднимался ветер и начинал тряссти оконные рамы.

Том был младше, но крупнее Леонарда. Когда ему исполнилось пять, а Тому четыре, младший брат уже перерос старшего. Он был крепким,

широкоплечим – как пловец, любил повторять их отец с едва скрытой мужской гордостью, – а еще обладал чудесным характером, легким, открытым, чем привлекал к себе людей. Мать часто говорила им, что сразу определила, кто каким будет, еще когда впервые держала их на руках.

– Ты поджал ручки и ножки, а подбородок уткнул в грудь, словно хотел спрятаться от мира. А Том, наоборот, кулачки сжал, подбородок выпятил, нижнюю губу оттопырил, будто хотел сказать: «А ну-ка, достань меня, если сможешь!»

У Леонарда заломило в груди, но он все не выныривал. Он не сводил глаз со смеющегося лица брата, когда между ними скользнула стайка мелкой рыбешки. И продолжал считать.

Тома любили женщины; так было всегда. Да, брат был красив – даже он, Леонард, видел это, – но это было не главным. Он был привлекателен по-человечески. Был веселым и щедрым. Когда он начинал смеяться, всем вокруг казалось, будто из-за пелены облаков вдруг выглянуло солнышко и ласково их пригрело. Леонард, у которого с тех пор было достаточно времени, чтобы поразмыслить над этим, пришел к выводу, что люди так реагировали на природную искренность Тома. Даже когда он бывал зол или сердит, неподдельность его эмоций притягивала.

Кровь стучала в ушах Леонарда, едва не раскалывая череп, и он не выдержал. Оттолкнувшись руками от дна, он стрелой прошил воду навстречу сверкающей поверхности и, пробив ее, резко выдохнул. Сощурился, когда мир обернулся на миг белой вспышкой, потом перекатился на спину и стал восстанавливать дыхание.

Раскинув руки и ноги, Леонард звездой лежал на поверхности воды, солнце приятно грело живот. Девяносто три секунды. До рекорда, который Том вырвал у него летом тринадцатого, еще далековато, но ничего, завтра он попробует еще разок. Где-то рядом пел жаворонок, и Леонард закрыл глаза. Вокруг него мягко плескалась вода. Вдали звенели радостные вопли мальчишек, одуревших от полноты лета.

Леонард медленно плыл к берегу. День был обычный, такой же, как всегда.

«Hora pars vitae». В школе учитель латыни заставлял его писать это изречение много раз. «Каждый час – частица жизни».

«Serius est quam cogitas» – было написано на циферблате солнечных часов во Франции. Скромное сооружение в саду у одной церквушки – солдаты Леонарда забрели туда во время беспорядочного отступления и упали без сил. «Позже, чем ты думаешь».

– Пошли, Пес.

Собака тут же подбежала к нему, и Леонард в который уже раз отметил присутствующий этому животному заряд оптимизма. Пес объявился в Берчвуде вечером того дня, когда Леонард приехал сам, и они сразу приняли друг друга, по молчаливому уговору. Какой он был породы, сразу не скажешь: большой, рыжеватый, с длинным мохнатым хвостом, который всегда будто жил своей жизнью.

Они шли к дому, рубашка Леонарда липла к мокрому телу. Два воздушных змея с красными хвостами, как по волшебству, стояли в небе над полем пшеницы, и ему сразу вспомнился фронт. Громадный заброшенный особняк, где они ночевали однажды во Франции, совершенно целый с одной стороны, а с другой – превращенный в руины. В черно-белом коридоре стояли часы – старинные, дедовские, с маятником, который отсчитывал минуту за минутой, по ночам особенно громко, но для чего он вел отсчет, Леонард так и не понял; никакого конца не предвиделось.

Кто-то из его людей нашел скрипку наверху, в пыльной комнате, полной книг и других мирных удовольствий, принес ее вниз, в сад, и заиграл проникновенную мелодию, которая показалась Леонарду смутно знакомой. Война была сюрреалистична по самой своей природе – то, что творилось вокруг, не было нормой и не могло стать ею; до чего же страшен был шок, когда это все-таки случилось. Дни и ночи тянулся диссонанс, пока две реальности, прежняя и нынешняя, притирались друг к другу, пока люди, которые недавно были типографскими рабочими, сапожниками или конторскими клерками, досылали патрон в ствол и отбивались от крыс в мокрых окопах.

За все четыре года войны Леонард ни разу не ощущал ее иронии так остро, как в тот день, когда он в солнечном саду слушал скрипку, зная, что всего в миле от них рвутся снаряды и гибнут люди. Тогда в небе он видел птиц, соколов-сапсанов: те парили над полем боя, ничуть не боясь того, что творилось внизу. Грязь, кровь, убийство, бессмысленные жертвы не казались им чем-то из ряда вон выходящим. У них была долгая память, как у всех птиц; они уже видели такое в прошлом.

Теперь и люди умеют смотреть через время вспять. И этому их тоже научила война. Будто в насмешку: аэрофотосъемку придумали затем, чтобы бомбардировщики точнее попадали в цель, а теперь ею вовсю пользуются картографы, потому что, как выяснилось, сверху прекрасно видны любые шрамы, которые хранит на себе земля.

Видно, и от войн есть польза. Школьный друг Леонарда, Энтони Бакстер, доказывал это ему пару месяцев назад, за кружкой пива.

Необходимость – мать изобретательности, говорил он, а какая необходимость может быть более насущной, чем желание выжить? Энтони работал на производстве, где выпускали новый материал, заменявший стекло. Кучу денег можно заработать, – продолжал он, раскрасневшись от эля и алчности, – если не быть зажатым и мыслить креативно.

Леонард презирал деньги. Точнее, не сами деньги, а ту суету, которую люди поднимали в погоне за ними. На его взгляд, единственным позитивным итогом войны было понимание того, как мало человеку нужно для жизни. И как мало на самом деле значит все, кроме самой жизни. Взять хоть те же дедовские часы, тикавшие в пустом доме: люди, которым они принадлежали, просто заперли двери своего особняка и ушли, бросив все, спасая себя и своих детей. Он понял, что если в этом мире и есть что-то настоящее, так это почва под ногами. Природа, которая способна дать человеку все необходимое, и земля, которая хранит следы всех мужчин, женщин и детей, когда-либо ходивших по ней.

Прежде чем отправиться в Берчвуд-Мэнор, Леонард купил в магазине Стэнфорда на Лонг-Акре пару подробных карт и долго изучал по ним пространства Оксфордшира, Уилтшира и Беркшира. На них были видны римские дороги, за тысячи лет найденные и наезженные до такой степени, что их уже ничем было не вытравить из меловой породы; круги на полях там, где когда-то стояли окруженные рвами земляные укрепления; параллельные борозды, оставленные плугами средневековых пахарей. Но и это еще не все: приглядевшись, можно было различить капиллярную сетку неолитических захоронений – следы, оставленные людьми эпохи последнего оледенения.

Земля была тем идеальным музеем, где время претворялось в текст, сохранявшийся навеки; здесь, в Риджуэе, он выглядел особенно внятным – меловая равнина Солсбери, Белый Конь Уффингтона и Великан из Серн-Эббас были его самыми отчетливыми знаками. Мел не оползает так же легко, как глина; память у него лучше. Леонард знал, что такое мел. Во Франции у него была работа – рыть туннели под полями сражений; лагерь, где этому учили, располагался в Ларкхилле, Уилтшир, и там он узнал, как обустроить под землей секрет, как сидеть в нем, часами сохраняя неподвижность, и слушать, прижав стетоскоп к холодной породе. Свой первый настоящий туннель он вырыл под Аррасом, куда его забросили в составе полка новозеландцев. Неделями он сидел в сырых потемках, жег свечку и согревался огнем, который разводил в дырявом ведре-жаровне.

Леонард знал, что такое мел.

Британия – древний остров, где всюду обитают духи, где каждый акр

земли хранит память о предках, но в этом его уголке таких напоминаний особенно много. На одном клочке земли сплетаются следы тех, кто жил здесь и до начала истории, и в железном веке, и в Средние века; теперь к ним прибавились туннели, в которых обучали разведчиков во время большой войны. Через центр карты змеилась Темза – тонкий волосок у истока в Котсуолде, она крепла, набирала мощь и ширину, струясь на восток. На стрелке, у впадения в Темзу малозаметного притока, приютилась деревушка Берчвуд. Неподалеку по известняковому кряжу тянулась дорога, подозрительно прямая, каких не бывает в природе, – наверное, линия лей. Леонард читал и Альфреда Уоткинса, и доклад Уильяма Генри Блэка на заседании Британского археологического общества в Херефорде о «протяженных прямых линиях», которые якобы соединяют неолитические памятники Британии и Западной Европы. Древние пути, созданные тысячи лет назад, магические места концентрации силы, священные линии.

Тайны и мистика прошлого – вот что привлекло сюда Эдварда Рэдклиффа и остальных летом 1862-го. По той же причине – по крайней мере, отчасти – Рэдклифф и купил этот дом. Леонард много раз перечитывал манифест Рэдклиффа и письма, которые тот писал одному из своих друзей-художников, Торстону Холмсу. В отличие от Рэдклиффа, чье имя после смерти невесты было забыто широкой публикой – лишь кучка энтузиастов хранила память о нем как о выдающемся деятеле, – Холмс писал и радовался жизни до семидесяти с лишним лет. Он скончался совсем недавно, передав свою обширную корреспонденцию и дневники библиотеке Йоркского университета, куда Леонард в последние месяцы ездил неоднократно, неделями просиживая над рукописями в надежде обнаружить факты, способные пролить новый свет на связь Эдварда Рэдклиффа с домом в Берчвуде.

В письме, отправленном в январе 1861-го, Рэдклифф писал:

Я купил дом. Довольно приятный, небольшой, но изысканных пропорций. Он, будто робкая, хотя и величественная птица, притаился в излучине реки, между березовой рощей и маленькой, но сказочно красивой деревушкой. Но, Торстон, это еще не все. Я не хочу верить бумаге настоящую причину покупки; подожди, пока мы встретимся, и тогда ты узнаешь, что еще есть в этом доме – древнее, сущностное и слегка неотмирное, притягивающее меня. Оно давно уже звало меня к себе, ибо мы – мой новый дом и я – давние знакомцы.

Больше в письме Рэдклифф не упомянул о доме ни слова, и хотя Леонард еще раньше выяснил, что художник ребенком жил в тех местах, но

что именно привело его в этот дом и когда это случилось, оставалось тайной: пару раз Рэдклифф бросал завуалированные намеки на некое происшествие, которое случилось с ним в ранней юности и оказалось «судьбоносным» и «до сих пор не дающим покоя», но Леонард так и не узнал, в чем дело. Но что-то с ним все-таки случилось; Рэдклифф не хотел об этом говорить, однако он был одержим поместьем Берчвуд-Мэнор еще до того, как получил его во владение. В декабре 1860-го он продал все свои полотна и взял еще двести фунтов займа, заключив с заимодавцем договор на шесть картин в счет погашения долга. Когда вся необходимая сумма была собрана, он подписал контракт, по которому Берчвуд-Мэнор наконец перешел в его полную собственность.

Пес коротко, предупредительно твякнул, и Леонард проследил за его взглядом. Он ожидал увидеть стайку уток или даже гусей, но к ним приближались, держась за руки, мужчина и женщина. Явно влюбленные.

Леонард стал смотреть на них. Мужчина рассмеялся в ответ на какие-то слова спутницы; громкий, сердечный смех на миг перекрыл все другие утренние звуки, и женщина ткнула мужчину острым локотком в бок.

Она улыбалась, и Леонард обнаружил, что тоже улыбается, глядя на них. Они были такими сияющими и цельными, эти двое, так выделялись на фоне окружающего пейзажа. Они шли так, словно имели полное право быть в этом мире; словно ни на секунду не сомневались в том, что их место – именно здесь и сейчас.

Рядом с ними Леонард мгновенно ощутил себя бесплотным, почти прозрачным, и ему стало стыдно. Он не знал, сумеет ли он ответить на их, без сомнения, радостное «Здравствуйте»; не знал, найдет ли слова или ограничится простым кивком. Он и раньше чувствовал себя неуверенно с людьми, а после войны, которая выпотрошила его, оставив лишь пустую оболочку, всякое взаимодействие с ними стало для него мукой.

На земле лежала палка, гладкий кусок светлого дерева, к которому так и тянулась рука. Леонард поднял ее, взял поудобнее.

– Эй, Пес, давай, мальчик, неси.

Леонард запустил палку через луг, и Пес с восторгом бросился за ней, забыв про мужчину и женщину.

Повернувшись к реке спиной, Леонард пошел следом за собакой. Острые фронтоны Берчвуд-Мэнор вздымались над кронами ив, которые росли вдоль ручья Хафостед, и Леонард обратил внимание, что одно из чердачных окон так ярко сверкает на солнце, словно за ним горит еще какой-то свет.

Когда в восемнадцать лет Леонард поступил в Оксфорд, он и представить себе не мог, что будет когда-нибудь изучать Рэдклиффа и жить в его четырехсотлетнем доме, в сонном английском захолустье. Впрочем, многое из того, что случилось с ним в следующие пятнадцать лет, было неподвластно его юношескому воображению. Честно говоря, в 1913-м он и думать не думал о научной карьере. Он и в Оксфорд поступил просто потому, что был умным мальчиком из семьи, принадлежавшей к определенному классу; в их среде молодой человек, окончив школу, поступал в Оксфорд, вот и все. В университете он выбрал курс истории в Крайстчерч-колледже, прежде всего потому, что ему очень понравился ухоженный зеленый луг и величественное старое здание за ним. В первый, подготовительный год он познакомился с профессором Харрисом и открыл для себя современное искусство.

Случайный выбор стремительно перешел в страсть. Леонарда воспламенила эффектная смелость «Обнаженной, спускающейся по лестнице, № 2» Марселя Дюшана, раскалывавшая публику противоречивость «Авиньонских девиц» Пикассо; ночами он штудировал Маринетти и даже съездил в Лондон на выставку Умберто Боччони в галерее Доре. Ирония редимейда, дюшановское велосипедное колесо на табурете стали для него откровением, и Леонард исполнился оптимизма. Он жаждал новизны, поклонялся скорости и прогрессу, впитывал новые представления о времени, пространстве и их отражении в искусстве; он ощущал себя смелым мореходом, который оседлал огромную волну и на ней въезжает в будущее.

Но 1914 год катился вперед, и как-то вечером к нему в колледж приехал брат. Они собирались вместе поужинать, но Том предложил сначала прогуляться по лугу. Стояло лето, было тепло, солнце уже село, но света еще было достаточно, и Том размяк, пустился в воспоминания, торопливо заговорил об их детстве, о прошлом, и Леонард понял: что-то приближается. Они уже сидели за столиком в ресторане, когда Том сказал:

– Я записался добровольцем.

С этими словами в их мир ворвалась война, которая до сих пор бушевала лишь в броских заголовках газет.

Леонард не хотел идти воевать. Этим он отличался от Тома – поиски приключений были не по его части. Он долго боролся с собой, прежде чем ему удалось наконец разжечь в своей душе искру долга. Какое ему дело до того, что некий псих в Сараево, дорвавшись до оружия, невзлюбил австрийского эрцгерцога в шляпе с большим плюмажем и всадил в него

пулю? Леонард скрывал свои мысли от всех, в первую очередь от отца с матерью, которые до слез гордились Томом в его новенькой форме, и все же постоянно думал: как неудачно, что война началась именно сейчас, когда он только что открыл для себя страсть всей жизни.

Но.

Думал он.

Ну сколько это может продлиться?

Наверняка недолго, к тому же война даст ему новый опыт, который поможет увидеть мир с иной стороны; на фронте он будет ближе к современной технике, сможет изучить ее вживую...

Что толку рассуждать о разных «как» и «почему»? Том едет во Францию, значит и Леонард тоже.

Пять лет спустя он вернется в другую страну и в другой мир, о которых не будет знать ничего.

Глава 14

Послевоенный Лондон вызвал у него шок. История, как всегда, посмеялась последней, и дома Леонарда ждали такие перемены и такой прогресс, какие прежде ему и не снились. Но изменился не только мир, изменились и люди. Толстомордые типы, которых он раньше в глаза не видел, теперь были повсюду и хотели плясать, праздновать и веселиться; трясая длинными волосами, они стряхивали с себя старомодные манеры, решительно освобождаясь от всего, что привязывало их к прошлому, скончавшемуся за время долгой войны.

Леонард снял комнату на втором этаже дома у Холлоуэй-роуд. В садике за домом рылась свинья, а под ним по кишке тоннеля ходили поезда. Свинью он заметил сразу, как только пришел посмотреть квартиру, а вот о поездах узнал, лишь когда, заплатив за месяц вперед, присел с кружкой эля и сигаретой к деревянному столику у кровати. Были уже сумерки – Леонард никогда не доверял этому времени суток, когда свет и тот предавал, – и он подумал, что началась бомбардировка, что произошла ужасная ошибка и война не кончилась; но это оказался всего лишь поезд. В панике он сбил со стола кружку с пивом, и, когда та с грохотом покатила по полу, женщина, жившая под ним, резко стукнула в потолок ручкой швабры.

Леонард пытался идти в ногу со временем, но вместо раскованности и свободы ощущал только неприкаянность. Все кругом много пили, но если другие веселились от спиртного, то Леонарда от него прошибала слеза. По вечерам его часто приглашали в какой-нибудь клуб, и он всегда приходил, исполненный лучших побуждений: в костюме, при галстукке, с намерением помалкивать, слушать, вовремя кивать и улыбаться влопад. Но все заканчивалось одинаково: позволив втянуть себя в беседу, Леонард начинал вспоминать о друзьях, которых потерял; точно со стороны, он слышал свой голос, говоривший о том, как те навещают его в тишине его съемной комнаты, как иногда, бреясь, он видит кого-нибудь из них в зеркале или, идя по слабоосвещенной улице, слышит за спиной эхо их шагов в армейских ботинках.

И тогда в грохоте и сумбуре клуба он обнаруживал, что соседи по столику сначала смотрят на него искоса, а потом и вовсе отворачиваются, уязвленные его неделикатностью, недоумевая, почему он решил испортить им веселье. Но Леонард и без разговоров о погибших друзьях не обладал волшебным даром ведения легкой, непринужденной беседы. Слишком он

был серьезен для этого. И прямолинеен. Мир стал вдруг огромным мыльным пузырем, тонкостенным и радужным, и всем знакомым Леонарда нашлось место внутри него. И только сам Леонард оказался чересчур тяжел и угловат для этого пузыря. Он словно выпал из времени: для бойкой молодежи – слишком старый, для безнадежных пьянчуг, слоняющихся у реки, – слишком молодой. Всем чужой, он ни с кем не чувствовал связи.

Как-то днем, стоя на мосту Чаринг-кросс – мимо сновали люди, под мостом проплывали лодки, – он вдруг увидел своего бывшего преподавателя, который спешил в Национальную галерею. Профессор Харрис пригласил Леонарда с собой и по пути, как со старым другом, говорил с ним о жизни и об искусстве, о людях, с которыми оба были когда-то знакомы, а Леонард слушал и кивал, мысленно вертя в мозгу его слова, словно это были милые, забавные, неведомо как уцелевшие реликвии прошлого. У входа в залы Ренессанса, когда профессор предложил ему возобновить занятия в области искусствоведения, Леонард посмотрел на него так, словно Харрис заговорил на незнакомом ему языке. Даже если бы Леонард захотел вернуться в обескураживающе-прекрасный Оксфорд, модернизм все равно умер: Боччони погиб в 1916-м, французские критики ратовали теперь за «возвращение порядка». Война выпила юность и молодой задор из искусства и из самого Леонарда, они остались гнить на полях сражений, среди грязи и костей.

Но нужно было что-то делать. Лондон оказался слишком стремительным и шумным, и в Леонарде давно назрело желание бежать. Оно росло, как столбик барометра перед бурей: барабанные перепонки покалывало от нетерпения, ноги просились в путь. Он просыпался ночью в поту, когда очередной поезд сотрясал изголовье кровати, а худая крашенная женщина из комнаты снизу захлопывала дверь за буйным клиентом. Черные крылья паники стискивали горло, мешая дышать, и тогда он молился, чтобы они надавили еще сильнее и довели дело до конца. Он обнаружил, что в такие мгновения вспоминает тропинки, по которым ходил в детстве, – особенно одну, которую любили они с Томом: перелезали через кирпичную стену в дальнем конце сада, пробирались через заросли кустарника и шли, пока тропа не истаивала под их ногами на лугу, на полпути к лесу. «Ленни, бежим». Он все чаще и чаще слышал эти слова, но, оборачиваясь, видел лишь стариков в барах, да молодых мальчиков на улицах, да тощих бездомных котов, которые отвечали ему стеклянным взглядом.

Не дожидаясь конца оплаченного срока, он сунул под стекло на письменном столе деньги за следующие два месяца, вышел из дома и

покинул Лондон на поезде, грохотавшем мимо окон, за которыми шла чья-то чужая жизнь. Родительский дом показался ему меньше, да и скромнее, чем он помнил, – как старый щеголь на стоптанных каблуках, – но пахло в нем по-прежнему, и это было даже неплохо. Мать открыла детскую, но не подумала убрать вторую кровать от противоположной стены. В углах комнаты скопились бесчисленные разговоры; неслышные днем, ночью они звучали так отчетливо, что Леонард иногда садился и включал лампу, уверенный, что с кровати напротив ему улыбнется брат. В темноте он слышал, как скрипят ее пружины, когда воспоминание о брате поворачивалось во сне.

Их старые игрушки и книжки тоже были там, на полках: набор деревянных солдатиков, волчок, потертая коробка с игрой «Змейки и лесенки»; а еще Леонард перечитал «Машину времени» Герберта Уэлса. В тринадцать лет это была его любимая книга; и Тома тоже. Тогда они только и делали, что мечтали о будущем, фантазировали, какие чудеса открылись бы им, сумеют ли они как-нибудь проскользнуть вперед во времени. Зато теперь Леонард осознал, что его взгляд прикован к прошлому. Иногда он сидел, держа в руках нераскрытую книгу, и дивился ее плотности, совершенству формы. До чего же все-таки достойный предмет – книга, прямо-таки благородный, учитывая ее предназначение.

В иные ночи он брал с полки «Змейки и лесенки». Фишки у них всегда были одни и те же. Леонард играл идеально круглым камешком, найденным у моря в Саликоуме, куда их возили родители. Том – серебряной монеткой, двухпенсовиком, который подарил ему один старичок: тот упал на улице, а Том помог ему подняться. Оба относились к своим счастливым фишкам с почти религиозным трепетом, и каждый настаивал, что его фишка лучше, но Леонард втайне завидовал Тому, ведь тот выигрывал девять раз из десяти. Том всегда был самым везучим из них двоих. Кроме того единственного раза, когда это оказалось по-настоящему важно.

Как-то раз, в начале 1924 года, ногам Леонарда особенно сильно захотелось пуститься в путь. Он положил в вещмешок бутылку с водой и вышел на прогулку, как поступал часто, но, когда стало темнеть, не повернул к дому; шел и шел куда глаза глядят. Он не знал, куда идет, да и не хотел знать. Он заснул там, где его настигла усталость: в открытом поле, под ясным небом, откуда на него глядел месяц. А когда на заре его разбудил жаворонок, он встал, взял мешок и продолжил путь. Так он пересек весь Дорсет, от края до края, и углубился в Девон, находя пути через Дартмур, беседея с духами. Он увидел, сколько оттенков зеленого существует на

свете: листва в кронах деревьев над головой, трава, стебли которой были тем белее, чем ближе к земле.

Он оброс бородой и загорел. Натер мозоли на пятках и на пальцах ног, которые скоро загубели так, что его ступни теперь будто принадлежали другому человеку, который нравился ему больше, чем он сам. Он узнал, как выбрать надежную палку для ходьбы. Научился разжигать огонь, а кожа на ладонях у него заскорузла. Он не чурался работы: брался за все, во что не надо было вкладывать душу, что не требовало прочных связей с другими людьми, делал дело, брал нищенскую плату и шел дальше. Иногда в пути он встречался с людьми: такие же странники, как он, попадались ему навстречу, кивали, а то и махали рукой издалека. И уж совсем редко, в каком-нибудь деревенском пабе, он заговаривал с одним из них, с непривычки пугаясь звуков собственного голоса.

Именно в пабе Леонард впервые увидел фотографию Англии, сделанную с воздуха. Была суббота, время обеденное, в пабе полно народу; снаружи за деревянным столом сидел какой-то человек, один, рядом стоял прислоненный к стене пыльный черный велосипед, а на голове у незнакомца была кожаная кепка велосипедиста. Он сидел, наклонившись над большим печатным снимком, всматривался в него, делал пометки и не сразу заметил, что Леонард на него смотрит. Тогда он нахмурился и инстинктивно прикрыл изображение руками, и Леонарду даже показалось, что незнакомец сейчас бросится на него, но тут выражение лица человека в кепке изменилось, и Леонард понял: его узнали. Не то чтобы они знали друг друга раньше; нет, это была их первая встреча. Просто на них было общее клеймо, оттиск тех мест, где оба побывали, событий, свидетелями которых были, и дел, которые им доводилось совершать. По этому клейму все они узнавали друг друга.

Человека звали Крофорд, он воевал в Королевских ВВС. После войны его взяли на работу в государственную картографическую службу, и он разъезжал теперь по Уилтширу и Дорсету, отмечая на картах расположение археологических памятников; ему уже удалось найти несколько мест, неизвестных прежде. Леонард всегда предпочитал не говорить, а слушать, вот и теперь он черпал успокоение из рассказа Крофорда. Сказанное подтверждало смутные, едва оформившиеся догадки самого Леонарда об уступчивости времени. На снимках Крофорда пространство и время сливались в единый образ, показывали прошлое, существующее бок о бок с настоящим; и Леонард вдруг понял, что связь с людьми, в древности ходившими теми же тропами, которыми теперь ходит он, для него куда существеннее связи с молодыми умниками, которые ночи напролет

отплясывают в далеких лондонских клубах. Шагая, он обретал чувство принадлежности, понимал, что прежде всего он – часть этой земли, и каждый шаг по ней придавал ему уверенности. *Принадлежность*. Слово пустило ростки в его мозгу, и, когда в тот день он возобновил свой путь, ноги двигались в ритме этих четырех слогов.

Вечером того же дня, когда Леонард решал, где устроиться на ночь, у него вдруг забрезжила мысль, вернее, смутное воспоминание из тех времен, когда он был первокурсником в Оксфорде, – статья о группе викторианских художников, куда входил человек по имени Эдвард Рэдклифф. И хотя в самопровозглашенном Пурпурном братстве было немало других персонажей, именно Рэдклифф запомнился ему своей трагической историей: гибель невесты привела к преждевременному закату таланта, а затем и к физической смерти художника. Но в то время объединение не смогло заинтересовать Леонарда даже этим: они были викторианцами, а значит, скучными. Кроме того, он возмущался их уверенностью в том, что им известно все на свете, и презирал их старомодные черные кружева и загроможденные мебелью комнаты. Как все модернисты, как все дети, он хотел выразить себя через бунт против гранитной глыбы истеблишмента.

Однако профессор Харрис, читавший у них курс истории искусств, ни для кого не делал поблажек, и изучение той статьи входило в обязательную программу. Там же шла речь о «манифесте», написанном в 1861-м и озаглавленном «Искусство принадлежать»; в нем Эдвард Рэдклифф изливал свои восторги по поводу связи, которую он обнаружил между пространством и людьми, а также между пространством и искусством. «Земля ничего не забывает, – вдруг вспомнились Леонарду его слова. – Пространство – портал, который ведет человека сквозь время». Дальше художник пускался в рассуждения о некоем доме, который приворожил его и в котором он, как ему хотелось верить, обрел свою «принадлежность». Восемнадцатилетнему Леонарду размышления Рэдклиффа о пространстве, времени и принадлежности казались затянутыми и скучными. С тех пор прошло всего десять лет, и теперь он сам не мог выбросить из головы это слово.

В родительский дом Леонард вернулся более худым и обросшим, чем был, когда уходил; он загорел и обносился. Он ждал, что мать, увидев его, отпрянет и завизжит от ужаса, а потом отправит его наверх, мыться. Но ничего такого не случилось. Открыв дверь, мать долю секунды удивленно смотрела на него, а потом чайное полотенце выскользнуло из ее рук на пол,

и она с такой силой стиснула его в объятиях, что он едва не задохнулся.

Молча проведя сына внутрь, она усадила его в отцовское кресло и принесла ведро теплой воды с мылом. Сняла с него ботинки, потом носки, затвердевшие за время странствий, и стала обмывать ему ноги. Он смотрел, как тихие слезы медленно стекают по ее щекам, и не мог вспомнить, чтобы она делала так раньше, ну разве что когда он был совсем маленьким. Она склонила голову совсем низко, и Леонард вдруг увидел – будто впервые, – как поседели и поредели ее волосы, став тонкими и легкими, как пух. За ее плечом, на столике с кружевной скатертью, стояли семейные фотографии: Том и Леонард – солдаты в новеньких мундирах; они же – мальчики в коротких штанишках и шапочках; и, наконец, младенцы в вязаных чепчиках. Каждому времени – своя форма. Вода была такой теплой, а материнская ласка – столь неожиданной и чистой, что Леонард, отвыкший и от того и от другого, почувствовал, что тоже плачет.

Позже они вместе попили чаю, и мать спросила его, чем он занимался эти месяцы.

– Ходил, – ответил Леонард.

– Ходил, – повторила она. – Тебе было хорошо?

Леонард ответил, что ему было хорошо.

Волнуясь, она добавила:

– На днях у меня был гость. Кто-то, кого ты знаешь.

Выяснилась, что университетский преподаватель Леонарда разыскал его по документам, которые хранились в колледже со времен его учебы. Профессор Харрис подал одну из его работ на университетский конкурс, и та выиграла приз – совсем небольшую сумму денег, которой хватило на покупку новых крепких ботинок и пары карт в Стэнфорде. На сдачу Леонард приобрел билет на поезд. За время своего бродяжничества он ощутил духовное родство с Рэдклиффом и теперь ехал в Йорк – читать дневники и письма Торстона Холмса. Ему казалось, что совсем еще молодой человек – всего-то двадцати лет от роду – не мог ни с того ни с сего пуститься в пылкие рассуждения о пространстве и принадлежности, не мог без причин влюбиться в старый дом. Что-то должно было случиться в его жизни. Да и вообще, разве человек, не чувствующий себя чужим в мире, станет задумываться о таких вещах?

В тот раз ему не особенно повезло. В архивах Холмса отыскалось немало писем Рэдклиффа, но все они относились не к тому периоду, который интересовал Леонарда в первую очередь. Он был разочарован, но в то же время заинтригован. В 1859-м, 1860-м и в начале 1861-го Рэдклифф и Холмс писали друг другу регулярно, из их развернутых писем-бесед

следовало, что они часто виделись, и каждый дорожил мыслями и искусством другого, находя в них стимулы для собственного творчества. Но после краткого упоминания о доме Рэдклифф не стал развивать эту тему, а потом послал Холмсу короткую резкую записку с просьбой вернуть набор красок, взятых в займы в январе 1862-го, и переписка между ними почти сошла на нет, сведясь к сухому обмену формулами вежливости.

Конечно, не исключено, что за всем этим не было никаких тайн: дружба могла остыть без всяких причин, а может, переписка продолжалась, просто листы с более содержательными записями пошли зимой на растопку камина или затерялись среди других бумаг, а позже пали жертвой истовой весенней уборки. Узнать это было никак нельзя, и Леонард не стал ломать голову. Как бы то ни было, в середине 1862-го отношения между ними оставались еще достаточно теплыми, и оба, вместе с двумя другими членами Пурпурного братства – Феликсом и Адель Бернард, – а также с сестрой Эдварда, Клэр, которая позировала для Торстона Холмса, на все лето отправились к Рэдклиффу в его берчвудский дом.

Итак, хотя Леонард не нашел ответа на вопрос, который особенно интересовал его, нельзя сказать, что он уходил из архива ни с чем. Он обнаружил дверь, а за этой дверью – компанию молодых людей, которые через полстолетия протянули ему руку и пригласили к себе, в свой мир.

Особенно поразил его Эдвард Рэдклифф – вот уж действительно человек с искрой Божьей, это было заметно даже по его письмам. Он был энергичен и открыт, радостно принимал жизнь во всех ее проявлениях и видах, не боялся идти в своем искусстве вперед, расти, учиться отражать все новые стороны реальности. Каждая строчка каждого письма буквально пульсировала молодостью, перспективами, чувственностью, и Леонард ясно представлял себе блаженное состояние почти домашней свободы, в котором пребывал Рэдклифф, беззаботно балансируя на грани божественной нищеты, – так, словно побывал с ним рядом. Ему была понятна и их непринужденная близость, и царивший в братстве дух товарищества, из-за которого другие, завидуя, часто обзывали их «кликкой»; нет, они были братьями – братьями по духу. Такое же, почти собственническое чувство Леонард испытывал к Тому, их точно вылепили из одного куска теста, они были одним человеком. Они могли бороться, катаясь по траве, а потом, устав, раскинуться на ней бок о бок и смеяться, переводя дух; любой мог прихлопнуть комара на ноге другого так же легко, как на своей собственной. Леонард хорошо понимал, что дух соревнования может стимулировать мужчин, не вызывая при этом вражды между ними, и каждый будет лихорадочно трудиться, стремясь оставить неизгладимый

след на глыбе академического искусства. И ждать похвалы Джона Рёскина, пылких статей Чарльза Диккенса и покровительства какого-нибудь джентльмена с глубокими карманами.

Леонард был опьянен этим чтением: переписка молодых людей, брызжащая радостью творчества, стремлением найти подходящие слова для мыслей и идей, пробудила в нем что-то глубинное, давно забытое. Вернувшись из Йорка, он продолжал читать и, гуляя по полям, думал о предназначении искусства, о важности пространства, о текучести времени; а когда Эдвард Рэдклифф стал для него почти вторым «я», он вдруг вернулся в университет и постучал в дверь профессора Харриса.

Показался длинный амбар позади дома, Пес припустил вперед и вброд перебрался через прозрачный холодный ручей Хафостед, предвкушая завтрак, который, по его понятиям, должен был ждать его по возвращении. Для приبلудной собаки он как-то уж слишком полагался на доброту незнакомого человека. Хотя какой уж там незнакомый – они теперь свои.

Рубашка Леонарда почти просохла к тому времени, когда он, покинув залитое солнцем поле, переходил ручей по стволу поваленного дерева. Пройдя лугом, он оказался на подъездной дороге, которая шла вдоль стены сада перед домом. С трудом представлялось, что когда-то этой дорогой пользовались постоянно, по ней подъезжали экипажи, и гладкие, холеные лошади нетерпеливо переступали ногами, ожидая, когда их выпрягут и дадут воды после долгого путешествия из Лондона. В тот день там не было никого – только Леонард, Пес да деловито снующие утренние пчелы.

Железная створка ворот висела на одной петле, как он ее и оставил, темно-зеленая краска на ней выцвела. Жасмин, цепляясь спутанными усиками за шишковатую каменную стену, взобрался на арку ворот, крохотные розовато-белые лепестки сыпались с нее, как брызги пены, запах кружил голову.

Леонард ущипнул себя, как делал всегда, подходя к дому. Надо же, он – и Берчвуд-Мэнор, краса и гордость Эдварда Рэдклиффа. Ему неслыханно повезло. Став докторантом, Леонард вдруг – в кои-то веки – ощутил себя нужным человеком в нужном месте и в нужное время: женщина по имени Люси Рэдклифф обратилась в Ассоциацию историков искусства и заявила, что собирается оставить организации солидный дар. Дом перешел в собственность мисс Рэдклифф после смерти брата, и она прожила в нем много лет. И только сейчас, за два года до восьмидесятилетия, решила подыскать себе другое жилье, с меньшим количеством углов и лестниц, а дом подарить от имени брата. Ей представлялось, что Берчвуд-Мэнор

станет хорошим местом для тех, кто вместе учится или работает для получения знаний; или для тех, кто творит, постигая красоту и истину, кому важен свет, чувство пространства и дома. Поверенный предложил ей сначала испытать эту идею на одном человеке.

Леонард прочитал о новой стипендии с проживанием в «Черуэлле» и тут же принялся готовить документы. Подав заявление и резюме, он через несколько месяцев получил ответ: в письме, написанном от руки, его извещали, что он получил стипендию и может занять дом в Берчвуде на три месяца, летом 1928 года. Наткнувшись на предупреждение о том, что в доме нет электричества, а потому необходимо иметь запас свечей и керосиновые лампы, он было напрягся, но тут же прогнал воспоминания о мрачных меловых туннелях Франции, говоря себе, что это же лето, дни будут долгими и темноты он почти не увидит. И вообще, станет ложиться с курами, а вставать – с петухами. «Ad occasum tendimus omnes», – прочитал он однажды на сером выщербленном надгробии в Дорсете. «Все мы идем к закату».

Леонард приехал с твердым намерением полюбить это место во что бы то ни стало, однако действительность, как это редко, но все-таки бывает, превзошла его самые смелые мечты. В первый раз он подходил к дому со стороны деревни; улица превратилась в петляющую тропу, которая провела его мимо коттеджей на окраине и вывела в поле, где не было ни души, не считая скучающих коров и любопытных телят, а после тихо скончалась, немного не доходя до Берчвуд-Мэнор.

Он сразу увидел восьмифутовую стену, а над ней – двойные фронтоны и серую сланцевую крышу. Леонард с удовольствием отметил, что плитки на крыше выложены с соблюдением законов природы: небольшие прямоугольники у конька сменялись более крупными по мере приближения к водостокам, в точности как перья на птичьем крыле: мелкие, покровные – наверху, большие, маховые – пониже. Вот, значит, откуда взял Рэдклифф это сравнение дома с птицей, которая сидит, нахохлившись, в излучине реки, как в гнезде.

Ключ он нашел в небольшом углублении в стене, за расшатавшимся камнем, как и было обещано в письме. В тот день Леонард не видел никого рядом с домом и подивился: кто же положил серебристый ключ в этот своеобразный тайник?

Повернув ручку калитки, он замер: картина, открывшаяся ему, была слишком хороша, чтобы оказаться правдой. Все пространство между калиткой и домом, поделенное на две части мощеной дорожкой, буйно цвело: легкий ветерок качал колокольчики наперстянок, фиалки и

маргаритки шептались над каменными плитами. Жасмину на стене вторили цветущие плети на фасаде: обрамляя частые переплеты старинных окон, они сплетались в единый гобелен с огненно-красными цветами ползучей жимолости, карабкавшейся по столбикам навеса над входом. Весь сад гудел насекомыми, звенел голосами птиц, а дом напротив притих и молчал, как зачарованный замок Спящей красавицы. Ступивший на дорожку Леонард чувствовал себя так, будто шагнул сквозь время; он бы не удивился, если бы Рэдклифф и его друзья вышли сейчас из дома с красками и мольбертами и расположились на лужайке, вон там, у зарослей ежевики...

Но в то утро Леонарду некогда было воображать призраков из прошлого. Подойдя к воротам, он увидел вполне реальную персону, которая стояла у входной двери, небрежно привалившись спиной к столбику навеса. На ней была рубашка – «моя», невольно отметил про себя Леонард, – и почти ничего больше, в руке она держала зажженную сигарету, задумчивый взгляд был устремлен на японский клен у дальней стены.

Наверное, она его услышала, потому что тут же обернулась, а ее лицо приняло иное выражение. Легкая улыбка скользнула по капризно изогнутым губам, и она помахала ему маленькой ручкой.

Он ответил ей тем же.

– Я думал, тебе надо в Лондон к полудню?

– Хочешь от меня избавиться? – Прикрыв один глаз, она затянулась сигаретой. – Ах да. Ты ведь ждешь гостей. К тебе придет твоя старая дама. Хочешь, чтобы я очистила помещение до того, как она появится? Не удивлюсь, если таково одно из здешних правил: гости не должны оставаться на ночь.

– Она сюда не приходит. Мы встречаемся у нее.

– Вот как? Может быть, мне приревновать?

Она рассмеялась, но от ее смеха Леонарду стало грустно.

Китти не ревновала, она шутила; вообще, она была большая любительница пошутить. Китти не любила Леонарда, а он никогда не позволял себе думать иначе, даже в те ночи, когда она прижималась к нему крепко, до боли.

Подойдя к двери, он чмокнул Китти в щеку, и та с беспечной улыбкой вернула ему поцелуй. Они познакомились много лет назад; оба были еще детьми, ей – шестнадцать, ему – семнадцать. Пасхальная ярмарка 1913-го. Китти была в бледно-голубом платье – он помнил это, – с маленькой атласной сумочкой в руке. С какой-то части ее туалета отпоролась и упала

на землю ленточка. Она не заметила, и никто больше не увидел; Леонард, подумав, наклонился, поднял ленточку и отдал ей. Тогда они были совсем детьми.

– Позавтракаешь с нами? – спросил он. – Пес хочет яиц.

Она пошла за ним на кухню, где после яркого утреннего света, казалось, было совсем темно.

– Не могу, нервничаю. Но чаю выпью, чтобы от голода не упасть.

Леонард взял спички из жестянки, стоявшей на полке за плитой.

– Понять не могу, как ты живешь здесь совсем один.

– Одному спокойно.

Леонард зажег капризную горелку и, пока кипятился чайник, разбил несколько яиц.

– Ленни, скажи мне еще раз, где это случилось?

Леонард вздохнул. Он уже пожалел, что вообще рассказал ей о Фрэнсис Браун. И что на него тогда нашло? Наверное, не привык выслушивать вопросы о своей работе, да еще пребывание в Берчвуд-Мэнор так подействовало на него, что все стало казаться более чем реальным. А у Китти прямо глаза загорелись, когда он поведал ей о похитителе драгоценностей, забравшемся однажды в дом и застрелившем невесту Рэдклиффа.

– Убийство? – выдохнула она тогда. – Какой ужас!

Теперь же сказала:

– Я заглядывала в гостиную, там никаких следов.

Леонарду совсем не хотелось обсуждать убийство и его следы; не сейчас и не с Китти.

– Передай мне, пожалуйста, масло.

Китти протянула ему масленку.

– А полицейские расследовали это дело? И как вору удалось скрыться совсем бесследно? Разве такой редкий камень не опознали бы, если бы кто-то попытался его продать?

– Я знаю об этом не больше твоего, Кит.

Но если честно, судьба «Синего Рэдклиффа» интересовала Леонарда. Китти сказала правильно: камень в украденной подвеске был настолько дорогим и редким, что его мгновенно опознал бы любой ювелир, и тому, кто решил бы держать в секрете его обнаружение и продажу, пришлось бы проявить недюжинную смекалку и хитрость. И потом, драгоценные камни – не сосульки, они не могут взять и растаять: даже распиленный на части, бриллиант все равно где-то существует. Больше того, по слухам, именно похитители «Синего» убили Фанни Браун, чья смерть, в свою очередь,

сломила дух Эдварда Рэдклиффа и послала его в затяжное разрушительное пике – теория, которая особенно заинтересовала Леонарда, не в последнюю очередь потому, что с некоторых пор стала вызывать у него некоторые сомнения.

Пока Леонард готовил, Китти перебирала что-то на деревянном столе посреди кухни. Немного погодя она вышла и, когда Леонард уже нагружал едой поднос, чтобы вынести его наружу, вернулась с сумкой.

Вместе они сели на кованые стулья за кованым столом под кроной дикой яблони.

Теперь Китти была полностью одета. В строгом, скроенном по фигуре костюме она казалась старше своих лет. Она отправлялась на собеседование, рассчитывая занять должность машинистки в страховом агентстве в Холборне. Сначала пешком до Леклейда, а там – она уже договорилась – ее подхватит один из друзей отца и отвезет в Лондон на машине.

Если она получит эту работу, ей придется перебраться в Лондон. Леонард надеялся, что так и будет. Это было ее четвертое собеседование за четыре недели.

– ...Не твоя старушка, конечно, кто-то другой.

Леонард посмотрел на нее; от волнения Китти всегда впадала в болтливость, и он давно перестал ее слушать.

– Я знаю, ты кого-то встретил. Такой рассеянный – больше, чем всегда. Скажи мне... кто она, Ленни?

– Ты о чем?

– О женщине. Я слышала, прошлой ночью ты говорил во сне.

Леонард почувствовал, как кровь прилила к его лицу.

– Ты покраснел.

– Нет.

– Ты увливаешь.

– Просто я занят, вот и все.

– Ну, как скажешь. – Китти достала из сумки портсигар и вынула из него сигарету. Закурив, она выдохнула облачко дыма, потом, разгоняя его, рассеянно повела перед собой правой рукой. Леонард заметил, как на ее пальце вспыхнул тонкий золотой ободок. – Тебе никогда не хочется заглянуть в будущее?

– Нет.

– Никогда?

Пес ткнул головой в колено Леонарду и уронил у его ног мячик. Странно, откуда он его взял? Похоже, кто-то из ребятишек в лагере у реки

будет огорчен.

Леонард поднял игрушку и запустил ее подальше, а сам стал смотреть, как Пес мчится за ней, не разбирая дороги, через цветы и травы, прямо к Хафостедскому ручью.

У Леонарда никого не было – в том смысле, который Китти вкладывала в это слово, – и все же он не мог отрицать, что в его жизни что-то происходит. Весь месяц в Берчвуде ему снились невероятно яркие сны. Это началось с первого дня, вернее, ночи: закрывая глаза, он погружался в немыслимую смесь холстов и красок, природы и красоты, а когда выныривал на поверхность, почти не сомневался, что там, в том мире, он сейчас подглядел ответы на главные вопросы бытия. И вдруг его сны изменились, в один миг: теперь к нему приходила какая-то женщина. Точнее, не какая-то, а одна из натурщиц Рэдклиффа. Во сне она говорила с ним; обращалась к нему так, точно он был наполовину самим собой, а наполовину Рэдклиффом, но, просыпаясь, он не мог вспомнить ни слова.

Конечно, причиной всему был дом, впитавший и сохранивший столько страсти и творческой энергии прежнего владельца, дом, который тот обессмертил в своих письмах; неудивительно, что Леонард, и без того склонный к навязчивым идеям, подсознательно стал входить в роль Рэдклиффа, видеть мир его глазами, прежде всего во сне.

Но Китти он ничего такого не скажет: легко представить, как сложится такой разговор. «Знаешь, Китти, мне кажется, я влюблен в женщину по имени Лили Миллингтон. Я никогда не видел ее живьем, никогда не говорил с ней. Скорее всего, она давно умерла, а если нет, то сделалась древней старухой; не исключено, что при жизни она промышляла кражей драгоценностей. Но я никак не могу перестать думать о ней, а ночами она приходит ко мне во сне». Леонард точно знал, что ответит на это Китти. Скажет, что это не сны, а галлюцинации и что ему давно пора завязать.

Китти не скрывала своего отношения к трубке. Бесполезно было объяснять ей, что опиум избавлял его от ночных кошмаров: сырой, холодный окоп, кругом вонь, грохот рвет барабанные перепонки, раскалывает череп изнутри, а он беспомощно наблюдает, как его друзья, его брат бегут сквозь дым и грязь навстречу своему концу. И если теперь ночами вместо Тома он видит ту женщину с картины... какая в этом беда?

Китти встала, перебрала сумочку через плечо, и Леонард вдруг почувствовал себя виноватым: она приехала к нему сюда, в такую даль, и, хотя ничего подобного он от нее не ждал и ни о чем ее не просил, они все же связаны, он и она, и он несет за нее ответственность.

– Проводить тебя до Леклейда?

– Не надо. Я дам тебе знать, как все прошло.

– Уверена?

– Точно.

– Ну, тогда у...

– Не надо.

– Ладно, ни пуха.

Она улыбнулась ему одними губами. Глаза были полны другим, невысказанным.

Он смотрел ей вслед, пока она шла к амбару по дороге, где раньше ездили экипажи.

Минуты через две она дойдет до тропы, которая приведет ее сначала в деревню, а оттуда – на леклейдскую дорогу. И тогда исчезнет из виду и из его жизни, до следующего раза.

Он говорил себе, что пора сказать ей, ради нее и ради него самого, прекратить их связь раз и навсегда. Он твердил себе, что должен отпустить ее на свободу; нельзя с ней так поступать, нельзя больше удерживать ее возле себя.

– Китти?

Она обернулась, вопросительно подняв бровь.

Смелость покинула Леонарда.

– У тебя все получится, – сказал он. – Ни пуха ни пера.

Глава 15

Встреча со «старой леди, приятельницей» Леонарда была назначена на четыре часа, или «время чая», как она сама упорно величала эту часть суток. Ее манеры отдавали благополучным детством, в котором «время чая» означало сэндвичи с огурцом и пирог от Баттенберга и было таким же естественным и неизменным, как восход и заход солнца.

Весь день Леонард провел над своими заметками, читая и перечитывая их, выверяя список вопросов, а когда закончил, сразу вышел из дому, хотя назначенное время еще не подошло: ему хотелось пройти долгим путем: отчасти – чтобы снять возбуждение, отчасти – чтобы взглянуть на сельское кладбище в конце тропинки.

Впервые Леонард увидел надгробие случайно, двумя неделями раньше. Он и Пес возвращались домой после долгой прогулки по окрестным лугам и полям, и, когда уже подходили к деревенской улице, Пес забежал вперед, нырнул в дыру под оградой и стал что-то вынюхивать среди плюща, зеленой волной захлестнувшего могилы. Леонард тоже зашел за ограду, привлеченный скромной красотой каменного строения, которое приютилось среди буйной кладбищенской зелени.

В южной части кладбища оказалась еще одна постройка, тоже полускрытая вьюнками, а перед ней – широкая мраморная скамья, на которой Леонард посидел, любуясь славной церквушкой двенадцатого века и ожидая, когда Пес удовлетворит свой исследовательский интерес. Его взгляд скользнул по ближайшему надгобию и замер, натолкнувшись на знакомое имя – Эдвард Джулиус Рэдклифф, – вырезанное на камне простым, изящным шрифтом.

С тех пор он ходил туда каждый день. На его взгляд, место для погребения было выбрано удачно. Кладбище красивое, тихое и совсем близко к дому, который Рэдклифф некогда любил. Наверняка он сам нашел бы в этом большое утешение.

Теперь, приближаясь к кладбищу, Леонард посмотрел на часы. Всего три тридцать; можно зайти на пару минут внутрь, посидеть на скамье, а потом сделать круг и подойти к коттеджу в обход деревни. Хотя «деревня» – слишком громко сказано: весь Берчвуд – это три улочки, разбегающиеся от треугольного луга в центре.

Знакомой тропой он подошел к могиле Рэдклиффа и опустился на мраморную скамью. Пес, бежавший за ним, задержался возле надгробия,

обнюхивая его края там, где землю, казалось, потревожили. Не вынюхав ничего интересного, он наострил уши, прислушался к шороху в кустах неподалеку и помчался туда – искать причину.

На могиле под именем Рэдклиффа была еще одна надпись, помельче: «Здесь лежит тот, кто искал правды и света и видел прекрасное во всем, 1840–1881». Леонард снова поймал себя на том, что не может отвести глаз от черты между цифрами. Надо же, один короткий штрих, полускрытый кружевами лишайника, и целая жизнь: детство человека, все, кого он любил, всё, что он потерял и чего боялся, все это – в одной черточке на камне посреди тихого кладбища на краю деревни. Леонард не мог понять, нравится это ему или, наоборот, огорчает: каждый день он думал об этом по-разному.

Тома похоронили во Франции, у деревни, о которой при жизни он знать ничего не знал. Леонард прочитал письмо, полученное родителями от командира, и подивился тому, как под его пером смерть и ужас превратились в отвагу, в благородную и необходимую жертвенность. Наверное, это тоже дело привычки. Видит бог, командирам на той войне пришлось написать немало таких писем, было время отточить стиль. Все они стали мастерами умолчания, ни словом не упоминая о кошмарном хаосе фронта и, уж конечно, не позволяя себе и намека на чудовищную бессмысленность понесенных жертв. Просто удивительно, до чего целесообразной и оправданной казалась эта война при взгляде с начальственных высот.

Леонард дважды прочел это письмо, которое показала ему мать. Она нашла в нем поддержку, Леонард же за гладкими словами безликого утешения слышал страшный хор: голоса друзей, которые кричали от боли и страха, звали матерей, плакали об ушедшем детстве, о доме. Но поле боя – самое далекое от дома место на земле, и никто не хочет домой так сильно, как идущий на смерть солдат.

На днях, сидя на скамье у церкви и думая о Томе, Китти и Эдварде Рэдклиффе, Леонард впервые увидел свою «приятельницу, старую леди». Когда она пришла, день клонился к вечеру – он не мог ее не заметить, ведь, кроме них двоих, на кладбище никого не было. Дама принесла букетик, который положила на могилу Рэдклиффа. Леонард с интересом наблюдал за ней, гадая, знала она художника лично или просто любила его картины.

Ее лицо было морщинистым от старости, а волосы, седые и тонкие, собраны на затылке в крохотный пучок. Платье на ней было такое, какие, наверное, надевают путешественницы, отправляясь на сафари в Африку. Она стояла очень тихо, опершись на тонкую трость с изящным серебряным

набалдашником, опустив плечи и сосредоточенно глядя на могилу, словно вела с покойным беззвучный разговор. Вся ее поза выражала глубокую любовь, несвойственную, на взгляд Леонарда, обычным почитательницам талантов. Потом, когда она наклонилась выдернуть сорняк, проросший между камнями у края плиты, он понял: эта женщина наверняка знала Рэдклиффа лично и, может быть, приходилась ему родственницей.

Возможность поговорить с тем, кто знал Эдварда Рэдклиффа при жизни, выглядела заманчиво. Новые материалы – это же святой Грааль любого исследователя, особенно историка, ведь именно в исторической науке шансы натолкнуться на новую информацию практически равны нулю.

Он встал, осторожно, чтобы не напугать, приблизился к ней и сказал:

– Доброе утро.

Дама тут же вскинула голову, словно встревоженная птичка.

– Извините, что помешал, – заторопился он с объяснениями. – Но я недавно живу в этой деревне. В доме, что в излучине реки. Временно.

Она изо всех сил выпрямила спину и устремила на него оценивающий взгляд поверх очков в проволочной тонкой оправе.

– Ну и как, мистер Гилберт, нравится вам Берчвуд-Мэнор?

Леонард удивился: оказывается, она знает его имя. Правда, деревушка маленькая, а он по опыту знал, что в таких местах новости распространяются со скоростью ветра. И ответил, что дом очень нравится ему, что он много читал о нем еще до того, как приехал сюда, но реальность превзошла все его самые смелые ожидания.

Она слушала, изредка кивая, но в остальном не выказывая никакого одобрения или, напротив, неодобрения. Когда Леонард умолк, она сказала:

– А ведь в доме когда-то была школа. Для девочек. Вы знали?

– Я об этом слышал.

– Очень жаль, что все так вышло. Она обещала стать прорывом в женском образовании. Эдвард часто говорил, что образование – ключ к спасению.

– Эдвард Рэдклифф?

– А кто же еще?

– Вы его знали.

Она слегка прищурилась:

– Да.

Леонарду пришлось собрать все свое самообладание, чтобы его ответ прозвучал спокойно.

– Я исследователь, из Оксфорда. Работаю здесь над диссертацией

о Рэдклиффе, этой деревне, его доме и его творчестве. Прошу вас, не откажите мне в любезности, расскажите о нем.

– Мне казалось, что именно это я и делаю, мистер Гилберт.

– Да, конечно...

– Или вы хотите сказать, что сами будете задавать мне вопросы? Братъ у меня *интервью*?

– До сих пор мне приходилось полагаться лишь на хранящиеся в архивах письма его друзей, таких как Торстон Холмс...

– Пха!

Леонард даже моргнул от такой неожиданной горячности.

– Этот самовлюбленный хорек! Вот уж на чьи слова я не стала бы полагаться, что бы он там ни нацарапал!

Тут ее внимание привлек другой сорняк, и она стала подковыривать его концом своей трости.

– Не люблю такие разговоры, – сказала она между двумя резкими тычками. – Просто терпеть не могу. – Она наклонилась, потянула сорняк за стебель, встряхнула так, что комочки земли с корней посыпались на могилу, и с яростью швырнула в кусты. – Однако, мистер Гилберт, я вижу, что с вами мне все же придется поговорить, хотя бы для того, чтобы вы не напечатали о нем еще какую-нибудь ложь. Хватит и той, что уже есть.

Леонард залепетал слова признательности, но она отмахнулась от него властным, нетерпеливым жестом:

– Да-да, конечно, поберегите все это на потом. Я поступаю так против своей воли, но буду ждать вас к чаю в четверг.

Она продиктовала ему свой адрес, и Леонард хотел было попрощаться, когда вдруг понял, что даже не спросил ее имени.

– Да что с вами такое, мистер Гилберт? – хмуря брови, ответила она на его вопрос. – Конечно, я Люси; Люси Рэдклифф.

И как он не догадался? Люси Рэдклифф – младшая сестра, унаследовавшая любимый дом брата после его смерти, слишком любившая его самого, чтобы отдать то, чем он дорожил при жизни, в чужие, возможно, менее заботливые руки, – одним словом, домохозяйка Леонарда. Сразу после их встречи Леонард вернулся домой, распахнул дверь, с порога нырнул в послеполуденные сумерки дома и вынырнул в комнате с орнаментом из ягод и листьев шелковицы на обоях, у письменного стола красного дерева, на котором он расположил свои бумаги. Здесь были сотни страниц рукописных заметок, цитат, которые он год за годом собирал по библиотекам и частным архивам, выписывал из дневников и писем; из них

рождались его собственные идеи, которые он тут же набрасывал вчерне, обводил кружочками, а потом стрелочками соединял в схемы.

То, что он искал, нашлось лишь ночью, когда лампа горела уже так давно, что комната пропахла керосином. Это были фрагменты из писем, хранившихся в частной коллекции в Шропшире: Эдвард писал их младшей сестре, когда учился в школе. Средняя сестра Рэдклиффа, Клэр, вышла замуж за представителя известного рода, и письма, которые, видимо, хранились у нее, по многочисленным ветвям его фамильного древа перекочевали в Шропшир.

Тогда Леонард не нашел в них ничего существенного или важного: ни слова о доме или искусстве – обычный обмен новостями между сестрой и братом, который на девять лет старше ее. Он и переписал их только потому, что хозяйка коллекции ясно дали понять: его присутствие в их доме нежелательно, и второй возможности взглянуть на переписку у него не будет. Но теперь, перечитывая их – забавные происшествия, милые и жутковатые сказки, детская болтовня о семейных новостях, – он смотрел на них глазами пожилой женщины, которую повстречал сегодня. Ей явно было трудно ходить, и все же она пришла через всю деревню на кладбище, чтобы положить свежие цветы на могилу брата, хотя после его смерти минуло пятьдесят лет; и он увидел другого Эдварда Рэдклиффа.

До сих пор Леонард замечал лишь Рэдклиффа-художника, оригинального мыслителя, автора художественного манифеста. Но теперь длинные обаятельные письма, которые тот мальчиком писал из школы – где, видимо, тосковал – своей пятилетней, не по годам развитой и серьезной сестренке, требовавшей от него книжек про то, «как родились звезды», и про то, «можно ли путешествовать сквозь время», добавили кое-что новое к личности этого человека. Больше того, в них уже содержался намек на тайну, которую тщился разгадать Леонард. И в посланиях Эдварда, и в ответах Люси не раз встречались – всегда с заглавной буквы – упоминания о некой Ночи Преследования, а также о «доме со светом»; то и другое, судя по всему, не было выдумкой и отсылало к реальному случаю из жизни брата.

Леонард еще в Йорке ломал голову над письмом 1861 года к Торстону Холмсу, где Эдвард извещал друга о покупке им Берчвуд-Мэнор и сообщал, что они с домом – старые знакомые; теперь Леонард начинал думать, что между двумя наборами писем есть нечто общее. Оба содержали намеки на некую тайну из прошлого, и он почти не сомневался: что бы ни довелось пережить Рэдклиффу в Ночь Преследования, именно оно разожгло в нем страсть к Берчвуд-Мэнор. Вот почему вопрос о том, что же произошло

тогда, будет одним из первых, которые он задаст сегодня Люси.

Леонард встал и закурил сигарету. Земля в тех местах, где Люси рвала вчера сорняки, была рыхлой, и он притоптал ее ногой. Кладя зажигалку в карман, он кончиками пальцев коснулся счастливой монетки Тома. У могилы брата он не стоял никогда. Да и зачем – он же знал, что Тома там нет. «Где же он тогда? – спрашивал себя Леонард. – Куда они все ушли?» Неужели все могло взять и просто так кончиться? Не может земля оставаться прежней после того, как в нее зарыли столько молодых тел, а с ними – столько иллюзий и надежд. Такой мощный переход энергии и материи из одного состояния в другое не мог не повлиять на мировое равновесие на самом простом и основополагающем уровне: столько людей существовали и вдруг перестали существовать.

Две птицы вспорхнули с ветвей огромного дуба и сели на колоколенку церкви; Леонард свистнул Пса. Вместе покинув кладбище, они пошли назад, к щербатому каменному цоколю, который здесь величали «знаком перекрестка».

Сразу за развилкой начиналась треугольная деревенская лужайка с большим дубом в центре и пабом «Лебедь» на краю. У «Лебеда» какая-то женщина мела тротуар, огибая скамью под окном. Она отвлеклась от своего занятия, чтобы помахать Леонарду рукой, и он ответил тем же. Свернув в самую узкую из трех деревенских улочек, он миновал мемориальный зал и вскоре подошел к коттеджам. Люси Рэдклифф жила в шестом, самом дальнем.

Все коттеджи были из бледно-золотистого, как мед, камня. У каждого было по две трубы и острый центральный фронто́н, аккуратно зашитый досками до самого верха. В окнах обеих этажей стояли одинаковые опускающиеся рамы, а над входом имелся навес с небольшим фронто́нчиком, под стать тому, что был на крыше. Дверь дома Люси была светло-сиреневой. В саду не наблюдалось разгула пестрого английского лета, как у соседей, номер шестой явно предпочитал более экзотические цветы: Леонард узнал лишь стерлицию, все другие он видел в первый раз.

Кошка, мяукнув, встала с прогретого солнцем гравийного пяточка, потянулась, выгнув спинку, и просочилась в дом – Леонард понял, что дверь не заперта, а просто прикрыта. Значит, его ждут.

Он занервничал и не сразу нашел в себе силы перейти на ту сторону улицы. Постоял, выкурил еще одну сигарету, мысленно пробежался по списку вопросов. Напомнил себе, что не стоит ждать многого от этой встречи; нет никакой гарантии, что она знает ответы на все его вопросы; и, даже если знает, может не захотеть ими поделиться. В конце концов, она

предельно ясно высказалась на этот счет, уходя с кладбища: «У меня есть два условия, мистер Гилберт. Первое: я буду говорить, только если вы твердо пообещаете мне сохранить мое имя в тайне – у меня нет никакого желания видеть его в газетах. И второе: я смогу уделить вам один час, не больше».

Глубоко вздохнув, Леонард толкнул ржавую железную калитку и тщательно запер ее за собой.

Он решил, что будет неловко распахнуть дверь и явиться перед хозяйкой дома просто так, без предупреждения, и поэтому легонько постучал и позвал:

– Мисс Рэдклифф? Вы дома?

– Да? – отозвался из-за двери рассеянный голос.

– Это Леонард Гилберт. Из Берчвуд-Мэнор.

– Господи, да входите же, Леонард Гилберт из Берчвуд-Мэнор. Что вы там топчетесь?

Глава 16

Внутри коттеджа царил приятный полумрак, в котором его взгляд не сразу отыскал Люси Рэдклифф, восседавшую среди своих сокровищ. Вообще-то, он опоздал всего на минуту, но, видимо, у нее были дела поважнее, чем просто сидеть и ждать. Сейчас она была погружена в чтение: хрупкая фигурка на фоне горчично-желтого кресла, профиль застывший, точно мраморный; в одной руке – сложенный вдвое журнал, в другой – лупа. Сбоку, с небольшого полукруглого столика, на страницу лился желтый рассеянный свет лампы. Под ней стояли чайник и пара чашек.

– Мисс Рэдклифф... – начал он.

– Что вы об этом скажете, мистер Гилберт? – Она не отрывалась от журнала. – Похоже, Вселенная расширяется.

– Вот как?

Леонард снял шляпу. Никакого крючка поблизости он не увидел, а потому продолжал стоять, обеими руками держа ее перед собой.

– Так здесь сказано. Один бельгиец – священник, можете себе представить, – высказал предположение, что Вселенная расширяется с постоянной скоростью. И если мой французский меня не подводит – что вряд ли, – он даже вычислил скорость расширения. Вы, разумеется, понимаете, что это значит.

– К сожалению, не совсем.

Люси встала, взяла палку, прислоненную к столу, и стала мерить шагами истертый персидский ковер.

– Если принять за истину, что Вселенная расширяется и скорость ее расширения постоянна, то придется согласиться, что этот процесс идет с начала времен. С *самого начала*, мистер Гилберт. – Она замерла, седые волосы казались надетым на нее чепчиком. – С начала. Не от Адама и Евы, я совсем не это имею в виду. Я говорю о *миге*, о некоем *действии* или *событии*, с которого началось все. Пространство и время, материя и энергия. Я об одном-единственном атоме, который... – она развела пальцы одной руки в стороны, – разорвался. Бог ты мой. – Ее яркие, живые глаза взглянули в его глаза. – Возможно, мы стоим на пороге понимания того, как возникли звезды, мистер Гилберт, – *звезды*.

Единственным источником естественного света в этом помещении было окошко в передней стене дома, и солнечный луч, подсвечивавший сейчас ее лицо сбоку, превращал его в подобие эскиза, на котором

художник запечатлел удивление. Оно было таким живым и прекрасным, что Леонард сразу увидел ту девушку, которой Люси была когда-то.

Но тут, прямо на его глазах, выражение этого лица изменилось. Оно точно погасло, внутренний свет иссяк, кожа обвисла. Люси не пудрилась, и по ее лицу, каждая морщинка которого рассказывала свою историю, было видно, что эта женщина провела жизнь в основном под открытым небом.

– Ах, мистер Гилберт, вот это и есть самое ужасное в старости. Время. Так мало его осталось. Узнать еще можно так много, а времени уже нет. Иногда мысль об этом не дает мне заснуть – я закрываю глаза и слушаю, как пульс отсчитывает секунды, – тогда я сажусь в постели и начинаю читать. Я читаю, делаю заметки, запоминаю, перехожу к чему-то новому. Но что толку, ведь мое время близится к концу. Каких чудес я не успею застать?

Леонард не знал, как ее утешить. И не потому, что не понимал причин ее печали, а потому, что видел слишком многих, кто ушел, не прожив и четверти того срока, что был отпущен ей.

– Я знаю, что вы сейчас подумали, мистер Гилберт. Можете не говорить. Я ворчу, как эгоистичная, гневливая старуха, и, видит Бог, я именно такова. Но это со мной уже слишком давно, чтобы думать о том, как измениться. А вы пришли сюда не для того, чтобы обсуждать мои переживания. Проходите, садитесь. Чай заварился, и где-то тут у меня припрятана парочка сконов.

Леонард еще раз поблагодарил ее за то, что именно его она выбрала для проживания в Берчвуд-Мэнор, рассказал, как ему нравится дом и до чего это полезно – провести столько времени в месте, о котором он столько думал и читал.

– Это очень помогает мне в работе, – заключил он. – В Берчвуд-Мэнор я чувствую себя так, словно лично знал вашего брата.

– Я понимаю, что вы хотите сказать, мистер Гилберт; не все на моем месте поняли бы, но я понимаю. И соглашаюсь с вами. Мой брат – часть этого дома, причем в куда большей степени, чем многие готовы признать. И дом тоже был его частью: брат полюбил Берчвуд-Мэнор задолго до того, как смог его купить.

– Я так и понял. Он написал Торстону Холмсу письмо, в котором рассказал о покупке и о том, что знал этот дом уже некоторое время. Правда, не обмолвился о том, как он впервые туда попал.

– Конечно нет, и никогда не стал бы. Торстон Холмс неплохо владел живописной техникой, но при этом был тщеславным и самоуверенным ханжой. Чаю?

– Да, пожалуйста.

Чай забулькал, маленьким водопадом вырываясь из фарфорового носика. Люси продолжила:

– У Торстона не было той чуткости, без которой не стать настоящим художником; Эдвард ни за что не рассказал бы ему о той ночи, когда он открыл для себя Берчвуд-Мэнор.

– Но вам он рассказывал?

Она взглянула на него, склонив голову набок, и Леонард сразу вспомнил одного своего школьного учителя, о котором не думал ни разу за все минувшие годы; и не столько самого учителя, сколько его попугая, чья золоченая клетка стояла прямо в классе.

– У вас есть брат, мистер Гилберт. Я читала ваше резюме.

– У меня был брат. Том. Он погиб на войне.

– Мне горько это слышать. Видимо, вы были очень близки с ним.

– Да.

– Эдвард был девятью годами старше меня, но обстоятельства сблизили нас еще в раннем детстве. Самые любимые, самые дорогие воспоминания моего детства – о том, как Эдвард рассказывал мне сказки. Если вы хотите понять моего брата, мистер Гилберт, перестаньте смотреть на него лишь как на художника, научитесь видеть в нем рассказчика. Его величайший дар состоял именно в этом. Он умел найти подход к людям, знал, как помочь человеку почувствовать, увидеть, поверить. А уж какие он средства выбирал для воплощения своего дара, значения не имеет. Изобрести целый мир, выстроить его с нуля – задача нелегкая, но Эдварду она была по плечу. Декорации, сюжет, живые, дышащие персонажи – он делал так, что история оживала в сознании слушателя. Вы никогда не задумывались о путях следования идей, мистер Гилберт? О том, как именно они перетекают из мозга в мозг? А ведь сказка – это не одна идея, это тысячи разных идей, и все они действуют согласованно, в ансамбле.

Она была права. Как художник, Эдвард Рэдклифф умел увлечь зрителей своим искусством, сделать из них соучастников, со-творцов того мира, который стремился создать.

– У меня прекрасная память, мистер Гилберт. Даже слишком, как мне иногда кажется. Я помню себя совсем крошкой; отец был еще жив, мы жили в Хэмпстеде. Сестра Клэр была на пять лет старше меня, играть со мной ей было скучно, но когда Эдвард начинал рассказывать нам сказки, мы обе слушали как замороженные. Часто они были страшными, но всегда необыкновенными, будоражащими. Лучшие минуты жизни я провела, слушая, как мой брат сплетает истории. Но однажды все в нашем доме

изменилось и наступила пугающая темнота.

Леонард читал о смерти отца Эдварда: его задавил экипаж поздно ночью, в Мэйфере.

– Сколько вам было лет, когда ваш отец умер?

– Отец? – Люси нахмурилась, но тут же весело расхохоталась, и от нечаянной гримасы не осталось и следа. – О, мистер Гилберт, нет, я имею в виду совсем другое. Отца я почти не помню. Я говорю об отправке Эдварда в пансион. Ему было двенадцать, и он люто ненавидел каждую минуту, проведенную в школе. Эдварду, с его бурным воображением, несдержанным нравом и ослепительными выплесками страстей, ему, не терпевшему ни крикет, ни регби, ни греблю, зато обожавшему старинные книги по алхимии и астрономии, школа вроде Лечмира была противопоказана.

Леонард понял – он и сам учился в подобной школе. И до сих пор не сумел освободиться от ярма, которое на него там надели.

– Значит, Эдвард увидел дом, когда учился в школе?

– Ну что вы, мистер Гилберт. Лечмир – это же совсем в другой стороне, почти в Озерном крае. Вряд ли Эдвард мог забрести оттуда в Берчвуд-Мэнор. Нет, это случилось, когда ему уже исполнилось четырнадцать и он приехал домой на каникулы. Наши родители много путешествовали, и в то лето домом для нас было поместье деда и бабки. Оно называется Бичворт; это недалеко отсюда. Дед видел в Эдварде слишком много материнского – необузданный дух, презрение к условностям – и счел своим долгом выбить из Эдварда эту «дурь» и превратить его в истинного Рэдклиффа. Брат реагировал своеобразно: делал все возможное, чтобы взбесить старика. Крал у него виски, а когда нас отправляли спать, вылезал в окно и уходил в темные ночные поля, где подолгу гулял. После прогулок его тело было покрыто таинственными знаками, которые он рисовал на себе углем, лицо и одежда в грязи, карманы набиты камешками, палочками и речной травой. Он был неуправляем. – Ее лицо выражало восхищение, но тут на него точно напозла тень. – Но однажды он не вернулся. Ночью я проснулась и увидела, что его постель пуста, а когда он наконец пришел, то был очень тих и бледен. О том, что с ним случилось, он рассказал мне лишь через несколько дней.

Леонард был как на иголках от нетерпения. Сколько лет он находил лишь намеки Рэдклиффа на некое событие в его прошлом, из-за которого ему стал так дорог Берчвуд-Мэнор, – и теперь наконец вот-вот услышит ответ.

Люси посмотрела на Леонарда очень пристально и, как ему

показалось, увидела его насквозь. Потом сделала глоток из чашки.

– Вы верите в духов, мистер Гилберт?

Леонард даже моргнул, до того неожиданным был ее вопрос.

– Я верю в то, что есть люди, которых они посещают.

Она пристально посмотрела на него и наконец улыбнулась. Леонарду стало не по себе: старуха точно прочла его мысли.

– Да, – сказала она, – вот именно. Человек действительно может стать объектом их внимания. Как мой брат. Что-то преследовало его в ту ночь, когда он шел домой, и он никак не мог избавиться от преследования.

Ночь Преследования. Так вот, значит, о чем писали друг другу Люси и Эдвард в детстве.

– И что же это было?

– В ту ночь Эдвард вышел из дома с намерением вызвать духа. В школьной библиотеке он обнаружил книгу, старинную, полную разных допотопных идей и заклинаний. Эдвард не был бы Эдвардом, если бы не решил опробовать их на деле, но это ему так и не удалось. Что-то случилось с ним в лесу. Позже он перечитал все, что только мог найти на эту тему, и пришел к выводу, что по его следу шел Черный Пес.

– Дух? – Что-то смутное, далекое, детское шевельнулось в душе Леонарда: вспомнились страшные твари из народных сказок, которые, как считается, стерегут места встреч двух миров. – Как в «Собаке Баскервилей»?

– Во что именно он воплотился в тот раз, не так уж и важно, мистер Гилберт. Гораздо важнее то, что Эдвард боялся за свою жизнь и, убегая от него через поля, вдруг увидел вдали дом, в котором светилось одно окно – в мансарде, под самой крышей. Он подбежал к нему и обнаружил, что входная дверь открыта, а в камине горит огонь.

– И этим домом был Берчвуд-Мэнор, – тихо добавил Леонард.

– Эдвард говорил потом, что, едва переступив порог, он понял, что спасен.

– Люди, которые жили в доме, о нем позаботились?

– Мистер Гилберт, вы глубоко ошибаетесь.

– Но я думал...

– Я надеюсь, в вашей работе излагается история Берчвуд-Мэнор?

Леонард вынужден был сознаться, что нет; он считал, что прошлое дома до момента его покупки Эдвардом Рэдклиффом не имело отношения к теме.

Брови Люси поползли вверх, – наверное, вручи он сейчас ей блокнот и попроси написать за него диссертацию, она бы и то не была так удивлена

и разочарована.

– Дом в его сегодняшнем виде существует с шестнадцатого века. Построил его человек по имени Николас Оуэн, чтобы прятать в нем католических священников. И он не без причины выбрал для Берчвуд-Мэнор именно это место, в излучине реки; как вы понимаете, мистер Гилберт, земля под домом намного древнее самого дома. И у нее есть своя история. Неужели вам до сих пор никто не рассказал о детях Элдрича?

Краем глаза Леонард заметил движение в углу комнаты и вздрогнул. Повернув голову, он поглядел туда и увидел в полумраке кошку, ту самую, которая вошла перед ним в коттедж; теперь она потягивалась, глядя на него блестящими глазами.

– В здешних местах, мистер Гилберт, любят рассказывать легенду о трех детях, которые однажды пришли сюда из мира фей, через порог между мирами. Они вышли из леса в поле, где крестьяне жгли стерню, и их приютила у себя пожилая пара. Дети с самого начала казались странными. Они лопотали на непонятном языке, следов на земле не оставляли, а их кожа временами вдруг начинала немного светиться. Сначала их терпели, но потом дела в деревне пошли наперекосяк – сперва случился неурожай, потом у кого-то родился мертвый ребенок, а потом еще и сын мясника утонул, – и люди стали коситься на пришельцев. Когда высох колодец, терпение жителей лопнуло, они явились к старикам и стали требовать, чтобы те выдали им детей. Старики отказались, и их выгнали из деревни. Но далеко они не ушли – обосновались в каменном здании фермы, у реки, – и их на время оставили в покое. Однако скоро в деревне началась повальная болезнь, и крестьяне ночью, запалив факелы, явились к их дому. Старики и дети сбились в кучу, прильнули друг к другу в окружении враждебной толпы – участь их, казалось, была решена. Но стоило деревенским протянуть к ним руки, как тут же раздался удивительный звук – будто ветер донес издали песню охотничьего рога – и, откуда ни возьмись, появилась женщина, прекрасная собой, с длинными струящимися волосами и светящейся кожей. Королева Фей пришла, чтобы забрать своих детей. Уводя их, она наложила защитные чары на дом и землю двух стариков, в благодарность за то, что те оберегали принца и двух принцесс из страны фей. С тех пор излучина реки, где теперь стоит Берчвуд-Мэнор, считается в округе местом, где можно получить защиту и безопасность. Говорят даже, что некоторые по сей день видят магию фей – она является людям в виде света, который горит в окне под самой крышей.

Леонарду хотелось спросить у Люси, неужели она, при всей своей учености и интересе к последним открытиям, на самом деле верит во все

это – в то, что Эдвард видел той ночью свет в окне и что дом защитил его, – но сколько он ни переставлял слова у себя в голове, фразы все равно выходили невежливыми и бестактными. К счастью, Люси, видимо, разгадала ход его мыслей.

– Я верю в науку, мистер Гилберт. Моей первой любовью была естественная история. Земля огромна и очень стара, и на ней есть немало такого, чего мы пока не понимаем. И я отказываюсь принимать точку зрения, будто магия и наука враждебны друг другу; для меня и та и другая есть не что иное, как заслуживающие уважения попытки понять устройство нашего мира. И потом, я тоже кое-что видела, мистер Гилберт; я выкапывала из земли разные вещи, держала их в руках и чувствовала то, что пока не в силах объяснить наука. История о детях Элдрича – это, конечно, сказка. У меня не больше оснований верить в нее, чем в рассказы об Артуре, который вынул свой меч из камня и стал королем, или о временах, когда драконы бороздили наше небо. Но мой брат поведал мне, что видел свет в окне под крышей в ту ночь и что дом защитил его, и я знаю, что он говорил правду.

Леонард не подвергал сомнению ее веру, но он разбирался в психологии; авторитет старшего брата оставался для нее незыблемым. Когда они с Томом были маленькими, Леонард точно знал, что сколько бы раз он ни обманывал Тома, как бы ни врал ему, брат готов верить ему снова и снова. Люси была намного моложе Эдварда. Она восхищалась им, обожала его, а он исчез из ее жизни. Сейчас ей семьдесят девять, ее убеждения неколебимы, но на все, что связано с Эдвардом, она всегда будет смотреть как младшая сестра, как неопытная девочка.

И все же Леонард записал легенду о детях Элдрича. Для диссертации ее достоверность имела второстепенное значение. Достаточно того, что сам Рэдклифф был одержим этой идеей, верил в магические свойства дома, ну а местная легенда послужит приятным обрамлением для его веры. Понимая, что время идет, он подвел под этой записью жирную черту и перешел к следующей теме:

– Мисс Рэдклифф, не могли бы мы сейчас поговорить о лете 1862 года?

Люси взяла со стола ореховую сигаретницу и протянула Леонарду. Он вынул сигарету и стал смотреть, как Люси ловко извлекает огонек из серебряной зажигалки. Она закурила и выдохнула, рукой разгоняя дым.

– Наверное, вы ждете, что я скажу: мол, я помню то лето так ясно, будто оно было вчера. Так вот, это не так. Кажется, что это было в другом месте, не здесь. Странно, да? Вспоминая, как Эдвард рассказывал мне

сказки, я каждый раз отчетливо различаю даже запах, который окружал нас тогда: влажный, землистый – так пахло в мансарде нашего хэмпстедского дома. А вот когда я думаю о том лете, то словно гляжу в телескоп на далекую звезду. И вижу себя со стороны.

– Значит, вы тоже были здесь? В Берчвуд-Мэнор?

– Мне было тринадцать. Мать уезжала на континент, к друзьям, а меня хотела отправить к деду и бабке в Бичворт. Но Эдвард пригласил меня поехать с ним и всей его компанией в Берчвуд. Конечно, я была в восторге.

– Как это было?

– Лето, жара. Первые две недели вся компания проводила время примерно так, как вы себе и представляете: катание на лодке, пикники, этюды на природе, прогулки. Засиживались допоздна, рассказывали истории, спорили о научных, художественных и философских теориях, которые были в ходу в то время.

– А потом?

Она посмотрела ему прямо в глаза:

– А потом, как вам уже известно, мистер Гилберт, все закончилось.

– Убили невесту Эдварда.

– Фанни Браун, да.

– А еще похитители унесли подвеску с «Синим Рэдклиффом».

– Вы хорошо подготовились.

– В Газетной библиотеке хранится немало статей на эту тему.

– Не сомневаюсь. О смерти Фанни Браун не писал тогда только ленивый.

– По моим наблюдениям, судьба пропавшего бриллианта занимала газетчиков и публику куда больше.

– Бедняжка Фанни. Славная была девочка – жаль только, вечно на вторых ролях, как в жизни, так, по вашему верному замечанию, и в смерти. Надеюсь, мистер Гилберт, вы не ждете от меня объяснений, почему люди, увлеченно читающие бульварную прессу, интересуются определенными вещами?

– Разумеется, нет. И вообще, меня куда больше интересует реакция тех, кто лично знал Фанни Браун. Я заметил, что пока буквально вся страна смаковала происшествие в Берчвуд-Мэнор, сам Эдвард, а также его друзья и коллеги – Торстон Холмс, Феликс и Адель Бернард – почти не упоминали о нем в письмах друг другу. Если судить по их переписке, как будто ничего и не было.

Ему показалось или ее глаза слегка блеснули?

– Это был страшный день, мистер Гилберт. На мой взгляд, нет ничего

удивительного в том, что те, кому довелось его пережить, предпочитали не распространяться о нем.

Она спокойно смотрела на него, продолжая курить сигарету. Конечно, в ее словах был смысл, но Леонарда не покидало ощущение, что дело не только в этом. Молчание членов кружка было противоестественным. И не потому, что они не обсуждали события того дня; все сразу перестали упоминать и Эдварда Рэдклиффа, и Фрэнсис Браун в своих письмах, словно их никогда не было на свете. И только после трагической смерти Рэдклиффа его имя, как тень, снова стало проскальзывать в переписке Торстона Холмса.

Холмсу явно не хватало их былой дружбы, и это ощущение потери он начал испытывать еще до смерти Фрэнсис Браун. Леонард вспомнил свой визит в архив Холмса в Йорке: еще тогда он отметил изменение интонации в переписке двух друзей. Долгие, откровенные разговоры о живописи, философии и жизни в целом, начавшиеся после их знакомства в 1858-м, прекратились в первые месяцы 1862-го, общение стало коротким, поверхностным и формальным. Между ними явно что-то произошло.

Леонард спросил об этом Люси, которая сначала нахмурилась, а потом сказала:

– Я действительно помню, как Эдвард пришел однажды утром домой в бешенстве, – наверное, тогда это и случилось, как раз перед его второй выставкой. У него были разбиты костяшки пальцев, а рубашка порвана.

– Он подрался?

– Подробностей он не приводил, но на следующей неделе я видела Торстона Холмса: под глазом у него красовался большой лиловый синяк.

– Из-за чего они подрались?

– Не знаю, тогда я об этом даже не задумалась. Между ними случались разногласия, даже в пору их самой крепкой дружбы. Торстон был тщеславен и любил выигрывать. Бешеный бык, самодовольный павлин и задиристый петух в одном лице. Но он умел быть щедрым и даже очаровательным; как старший из двоих, он представил Эдварда многим влиятельным людям. По-моему, он гордился Эдвардом. Ему нравилось, что его видят вместе с таким энергичным, талантливым молодым художником, что их считают друзьями. Вместе они всегда были в центре внимания, в них многое поражало: то, как они одевались – свободные рубашки и длинные шарфы, – растрепанные волосы, раскованность. Но Торстону Холмсу необходимо было первенствовать во всем, включая дружбу. Он заревновал, когда критики и публика стали уделять Эдварду больше внимания, чем ему. Вы никогда не замечали, мистер Гилберт, что именно

ревнивые друзья становятся зачастую самыми яркими и непримиримыми врагами?

Леонард записал это откровение о дружбе двух художников. Убежденность, с которой говорила Люси, отчасти объясняла то, зачем она пригласила его сюда. Она еще на кладбище заявила, что словам Холмса об Эдварде нельзя верить и ей придется многое ему рассказать, чтобы выровнять чаши весов и «чтобы вы не напечатали о нем еще какую-нибудь ложь». Так вот, оказывается, в чем дело. Она хотела, чтобы Леонард знал: у Холмса была своя цель, он ревновал друга к его славе и планировал возвыситься за его счет.

Но Леонард вовсе не был убежден в том, что одна только профессиональная ревность могла стать причиной столь глубокого разлада между молодыми людьми. В 1861 и 1862 годах звезда Рэдклиффа была на подъеме, но выставка, которая сделала ему имя, состоялась лишь в апреле 1862-го, а тон переписки между бывшими друзьями заметно охладел еще до этого. Леонард считал, что причина тут совсем иная, и даже догадывался о ее природе.

– В середине восьмьсот шестьдесят первого у Эдварда появилась новая натурщица, не так ли? – Этот вопрос он задал с притворной небрежностью, хотя стоило ему приступить к этой теме, как в памяти ожили отголоски недавних снов, и он почувствовал, что краснеет; не в силах посмотреть Люси в глаза, он сделал вид, будто вглядывается в свои записи. – Лили Миллингтон? Так, кажется, ее звали?

Он очень старался, но все же выдал себя, потому что ответный вопрос Люси прозвучал подозрительно:

– А почему вы спрашиваете?

– Судя по тому, что я читал о Пурпурном братстве, отношения внутри группы были весьма тесными. Они влияли на творчество друг друга, делились идеями и секретами, жили друг у друга, рисовали одних и тех же натурщиц. Так, Эдвард и Торстон писали Диану Баркер, и все трое писали Адель Уинтерсон. Но Лили Миллингтон есть только на полотнах Эдварда. Это показалось мне удивительным, и я невольно задал себе вопрос: почему так? И нашел лишь два возможных ответа: либо другие не хотели ее писать, либо Эдвард не желал с ними делиться.

Люси опять протянула руку за палкой, встала, медленно прошла через комнату, остановилась у окна и стала глядеть на улицу. Свет еще сочился через стекло, но угол падения солнечных лучей изменился, так что профиль Люси был теперь в тени.

– Место встречи двух троп там, в конце деревни, называется

перекрестком. И не зря: в Средние века там действительно стоял крест. Он исчез во времена Реформации, когда люди Елизаветы шныряли по всему здешнему краю, уничтожая ловушки католицизма – церкви и церковное искусство, – а заодно убивая священников, если их удавалось найти. Теперь от креста остался только цоколь. А вот название сохранилось, им пользуются до сих пор. Разве не удивительно, мистер Гилберт, что ужасные исторические потрясения стирают с лица земли все и только имя, слово, звук не подлежат уничтожению? Вот так и события, которые произошли здесь с другими людьми, в другое время. Каждый раз, проходя тем перекрестком, я думаю о прошлом. О разрушенных церквях, о священниках, которые здесь скрывались, и о солдатах, которых посылали искать их и убивать. Думаю о вине и о прощении. А вы часто задумываетесь о таких вещах?

Она говорила уклончиво, явно избегая прямого ответа на вопрос о Лили Миллингтон. И снова, уже не в первый раз, у Леонарда возникло чувство, будто она видит его насквозь.

– Иногда, – ответил он. Слово как будто царапнуло ему горло, и Леонард кашлянул, прочищая его.

– Да я и не сомневалась, вы же воевали. Обычно я не раздаю советов, мистер Гилберт, но я прожила долгую жизнь и узнала, что надо прощать себе прошлое, иначе дорога в будущее делается невыносимой.

Удивление, смешанное со стыдом, навалилось на него внезапно, как морок. Да нет, это просто догадка, сказал он себе. Не может она ничего знать о его прошлом. Она же сама говорила: те, кто побывал на войне, видели и делали там такое, о чем предпочли бы забыть. Он приказал себе не расслабляться. Но когда он продолжил, его голос дрожал сильнее, чем ему хотелось бы:

– У меня есть отрывок из письма, которое Эдвард написал вашему кузену Хэмишу в августе восемьсот шестьдесят первого. Вы не возражаете, если я прочту его вам, мисс Рэдклифф?

Та продолжала смотреть в окно. Но возражать не стала. Леонард начал читать:

– «Я нашел ее, женщину такой поразительной красоты, что у меня даже рука болит, до того мне хочется писать ее. Я жажду запечатлеть все, что я вижу и что чувствую, когда смотрю ей в лицо, и в то же время сама мысль об этом непереносима. Ибо разве я могу надеяться отдать должное подобной красоте? Ее осанка благородна, но не потому, что она родилась в такой семье, а от природы. В ней нет ни капли жеманства или притворства; напротив, она открыто встречает всякое проявление интереса к себе и

никогда не опускает глаза под чужим взглядом. В складке губ читается такая уверенность – и гордость, – что дух захватывает. От нее вообще захватывает дух. Рядом с ней кто угодно покажется подделкой. Она – сама истина; истина – это красота; а красота – знак Божественности».

– Да, – тихо сказала Люси. – Это Эдвард. Его голос я узнаю где угодно. – Она повернулась к окну спиной, медленно подошла к креслу и села, и Леонард с удивлением заметил влагу на ее щеках. – Я помню тот вечер, когда он увидел ее впервые. Он был в театре, вернулся как будто не в себе. Мы сразу поняли: что-то будет. Он тут же все нам выложил и сразу пошел в сад, к себе в студию, где сел за наброски. Несколько дней он работал как одержимый, без отдыха. Не ел, не спал, ни с кем не разговаривал. Заполнял страницу за страницей ее образом.

– Он влюбился.

– Я хотела сказать вам, мистер Гилберт, что мой брат был увлекающейся натурой, им часто овладевали навязчивые идеи. Он всегда вел себя так, когда находил новую натурщицу, или знакомился с новой техникой, или был захвачен новой мыслью. Сказав так, я не погрешила бы против правды. – Ее рука на подлокотнике дрогнула. – И в то же время погрешила бы. Потому что с Лили Миллингтон все было иначе, мы все сразу это поняли. Это видела я, это видел Торстон, даже бедняжка Фанни Браун и та сразу увидела. Эдвард полюбил Лили Миллингтон со страстью, которая не предвещала ничего хорошего, и в то лето здесь, в Берчвуде, все разрешилось.

– Так, значит, Лили Миллингтон все же была здесь. Почему-то я так и думал, хотя об этом нигде нет ни слова. Ни в дневниках, ни в письмах и уж тем более в газетах.

– Вы читали полицейские отчеты, мистер Гилберт? Мне кажется, такие документы должны храниться очень долго.

– Вы хотите сказать, что они рассказывают другую историю?

– Мистер Гилберт, дорогой мой, вы же были солдатом, участвовали в Великой войне. Кому, как не вам, знать, что соус, под которым то или иное событие подадут в газетах, превращает реальные факты в совсем другое блюдо? Отец Фанни был человек влиятельный. Ему нисколько не хотелось, чтобы в газетах появились сообщения о том, что другая женщина вытеснила его дочь из сердца Эдварда.

У Леонарда точно лампочка в мозгу вспыхнула. Эдвард любил Лили Миллингтон. И вовсе не смерть Фанни Браун разбила ему сердце и послала его в смертельное пике; он потерял Лили. Но что с ней стало?

– Если она и Эдвард любили друг друга, как вышло, что он остался

один? Как он ее потерял?

Люси намекнула, что полицейские отчеты уделяли особое внимание присутствию Лили Миллингтон в Берчвуд-Мэнор в ту ночь, когда была совершена и кража, и убийство... Вдруг Леонард все понял:

– Лили Миллингтон была связана с похищением. Она предала Эдварда, и это свело его с ума.

На лице Люси появилось мрачное выражение, и Леонард немедленно раскаялся в поспешности, с которой сделал выводы. В момент озарения он совсем забыл, что речь идет о ее брате. И чуть ли не радовался, произнося свои последние слова.

– Мисс Рэдклифф, простите, – сказал он. – Какой я бесчувственный.

– Вовсе нет. Но я устала, мистер Гилберт.

Леонард взглянул на часы и понял, что пересидел отведенное ему время. Сердце его упало.

– Конечно. Я больше не отниму у вас ни минуты. Но я поищу отчеты, о которых вы говорили. Уверен, они прольют на все это новый свет.

– В жизни мало в чем можно быть уверенным, мистер Гилберт, но я поделюсь с вами одним секретом: правда всегда на стороне того, кто рассказывает историю.

Глава 17

Возвращаясь назад тихой деревенской улицей, обочины которой поросли травой, Леонард думал о Люси Рэдклифф. Он был уверен, что никогда еще не встречал такой женщины – да и вообще такого человека. Было ясно, что она очень умна. Возраст несколько не притупил остроты ее интеллекта и увлеченности самыми различными сферами знания; ее интересы были широки и многообразны; ее способность схватывать и перерабатывать сложную информацию поражала. К тому же она была иронична и самокритична. Одним словом, она ему нравилась.

А еще Леонарду было ее жаль. Собирая перед уходом вещи, он спросил о том, что стало с ее школой, и увидел, как на ее лице появилось выражение глубокого раскаяния.

– С этой школой я связывала большие надежды, мистер Гилберт, но слишком спешила. Я знала, что компромисс будет необходим; чтобы привлечь учениц в достаточном числе, мне придется соответствовать определенным родительским ожиданиям. Но я думала, что мне удастся выполнить свое обещание: сделать из маленьких девочек «молодых леди» и одновременно привить им любовь к знанию. – Она улыбнулась. – Вряд ли я слишком польщу себе, сказав, что среди моих учениц были те, кому я помогла найти дорогу в жизни, и что без меня они не смогли бы отыскать ее. Но пеня и шитья все равно оказалось куда больше, чем я предполагала.

Пока она говорила о своих ученицах, Леонарду пришло в голову, что от школы в доме не осталось практически ни следа. Все признаки того, что по этим коридорам когда-то ходили из класса в класс стайки девочек, стерлись, и надо было сильно напрячь воображение, чтобы представить Берчвуд-Мэнор чем-то еще, кроме как домом художника девятнадцатого века. Вся мебель, все безделушки, вместе с которыми его приобрел Рэдклифф, остались на своих местах, и, перешагивая порог, Леонард всякий раз чувствовал себя так, словно вступал в прошлое.

Когда он сказал об этом Люси, она задумчиво ответила:

– Логически это, конечно, невозможно, я имею в виду путешествие во времени: разве можно быть в двух разных местах «в одно и то же время»? Сама фраза представляет собой парадокс. По крайней мере, в этой вселенной... – (Не желая быть втянутым в еще один научный спор, Леонард спросил, как давно закрылась школа.) – О, несколько десятков лет назад. Она умерла вместе с королевой, в девятьсот первом. За пару лет до

того произошел несчастный случай, можно сказать, трагедия. Одна девочка утонула в реке во время школьного пикника, и постепенно родители перестали присылать сюда своих дочерей. Ну а когда приток учениц иссяк... что ж, оставалось лишь принять неизбежное. Смерть воспитанницы не делает чести учебному заведению.

Леонарду нравилась искренность Люси. Она ничего не скрывала, с ней интересно было разговаривать, и все же теперь, восстанавливая их беседу в памяти, Леонард понял, что она, видимо, сказала ему лишь то, что намеревалась сказать. Был лишь один миг, когда ее маска ненадолго соскользнула. Что-то зацепило Леонарда в том, как она говорила о событиях 1862 года. Теперь он понял: когда Люси рассказывала о смерти Фанни Браун и о конце жизни брата, ее голос звучал почти виновато. И потом еще это странное отклонение в сторону, упоминание о перекрестке дорог, когда она вдруг пустилась в рассуждения о вине и о необходимости простить себя, словно призывала Леонарда сделать то же самое.

В 1862-м Люси Рэдклифф была еще ребенком, и, судя по ее словам, за эскападами брата и его блестящих молодых друзей наблюдала, скорее, издали. Но вот в доме случилось ограбление, пропал бесценный бриллиант, погибла Фрэнсис Браун. Лили Миллингтон, натурщица, в которую был влюблен Эдвард Рэдклифф, бесследно исчезла. По всей видимости, полицейские отчеты того времени возлагали на нее вину в пропаже камня. Любимый брат Люси так и не оправился от горя. Леонарду были понятны боль Люси, ее сожаление о прошлом, но только не чувство вины. Ведь это не она нажала на спусковой крючок ружья, из которого была убита Фрэнсис Браун, так же как и он, Леонард, не послал ту шрапнель, которая убила Тома.

«Вы верите в духов, мистер Гилберт?»

Леонард тщательно продумал свой ответ. «Я верю, что существуют люди, которых они посещают». И вот теперь, задумавшись о ее явном, хотя и необъяснимом чувстве вины, Леонард неожиданно понял, что она имела в виду: даже пересказывая местную легенду и историю о свете в окне, который видел ее брат, она говорила не о привидениях, живущих в темных углах. Она спрашивала его, Леонарда, одержим ли он Томом так же, как она до сих пор одержима Эдвардом. В нем она признала родственную душу, страдальца, такого же, как она сама, – несущего через всю жизнь тяжкое бремя вины за раннюю смерть брата.

Когда он проходил мимо «Лебеда», откуда-то вывернул Пес и затрусил рядом с ним, вывалив язык, а Леонард вынул из кармана маленький

картонный прямоугольник и провел большим пальцем по обтрепанному краю. Он получил его от женщины, которую встретил на вечеринке в те времена, когда еще жил в Лондоне, снимая комнатку в доме над железнодорожным туннелем. Женщина сидела в углу комнаты на задней стороне дома, перед ней стоял круглый стол под пурпурной скатертью, на котором лежало что-то вроде настольной игры. Увидев ее, и особенно повязанный на голову шарф с яркими бусинами, Леонард онемел. За столом вместе с ней сидели, взявшись за руки, пятеро гостей и с закрытыми глазами прислушивались к ее бормотанию. Прислонившись к косяку, Леонард наблюдал за ними через завесу табачного дыма.

Вдруг глаза женщины распахнулись, и она уставилась прямо на него.

– Вы, – сказала она и ткнула в его сторону пальцем с длинным красным ногтем, похожим на коготь, – для вас здесь кое-что есть.

Все за столом повернули головы и уставились на него.

Тогда он просто ушел, но ее слова и особенно напряженный взгляд запали ему в душу, и позже когда он, покидая вечеринку, столкнулся с ней в прихожей – она тоже собиралась уходить, – то предложил снести по лестнице ее большой неуклюжий саквояж. На улице, когда Леонард уже попрощался с ней, она вынула из кармана карточку и протянула ему.

– Вы заблудились, – спокойно и холодно сказала она.

– Что?

– Вы сбились с пути.

– Вы ошибаетесь, но спасибо за заботу.

Леонард повернулся и пошел по улице, на ходу кладя карточку в карман и пытаясь стряхнуть странное, неприятное впечатление, которое оставила по себе эта женщина.

– Он ищет вас. – Голос женщины стал громче и летел за ним вслед.

Поравнявшись с фонарем, Леонард вынул из кармана карточку и на свету прочел:

Мадам Мина Уотерс

Медиум

Квартира 2Б

16 Нилз-ярд

Ковент-Гарден

Лондон

О своем разговоре с мадам Миной он по секрету рассказал Китти. Но та лишь расхохоталась и ответила, что Лондон кишит подобными

психопатами, которые доят доверчивых людей. Леонард возразил ей, что она слишком цинична.

- Она знала о Томе, – твердил он. – Знала, что я кого-то потерял.
- О господи, оглянись вокруг: здесь каждый кого-нибудь да потерял.
- Ты просто не видела, как она на меня смотрела.
- Вот так, что ли?

Китти свела глаза к переносице и состроила «козью морду», но тут же улыбнулась, сгребла с простыни свои чулки и в шутку кинула их в Леонарда.

Леонард стяхнул чулки. Он был не в настроении.

- Она говорила, что он ищет меня. И еще, что я сбился с пути.
- Ах, Ленни. – Китти больше не шутила; голос ее звучал устало. – А мы все разве нет?

Интересно, как прошло ее собеседование в Лондоне? Она была такая красивая, когда уходила от него сегодня утром; наверное, сделала что-то с волосами. Жаль, что он не догадался сказать ей об этом. Китти шел ее нынешний цинизм, но Леонард знал ее до войны и прекрасно понимал, что это всего лишь маска.

Проходя мимо церкви, перед самым поворотом на безлюдную тропу, которая вела к Берчвуд-Мэнор, он наклонился и поднял с обочины пригоршню мелких камней. Подбросив их на ладони, он развел пальцы и стал смотреть на ходу, как камешки утекают сквозь них, точно песок. Один из камней – Леонард проследил, как он долетел до самой земли, – был прозрачным и гладким: кварц.

Впервые Леонард и Китти переспали ясным октябрьским вечером 1916 года. Он приехал на побывку и весь день провел у матери в гостиной, где пил бесконечный чай с ее подругами: те являлись по очереди и сначала расспрашивали его о войне, потом, в досталь наохавшись, с таким же пылом начинали обсуждать политические вопросы подготовки к грядущей рождественской ярмарке в деревне.

Вдруг раздался стук в дверь, и Роза, горничная матери, объявила, что пришла мисс Баркер. Китти вошла с коробкой шарфов, средства от продажи которых направлялись для помощи фронту, а когда мать пригласила ее выпить с ними чаю, отказалась, объяснив, что в зале при церкви сегодня танцы и она отвечает там за угощение.

И тогда мать предложила Леонарду пойти с ней. Конечно, ни о каких танцах Леонард и думать не думал, однако сидеть здесь и в который уже раз

выслушивать серьезную дискуссию на тему, что предпочтительнее – шерри или настойка из шелковицы, – было уже непереносимо, и он вскочил и со словами «Пойду возьму пальто» вышел из гостиной.

Пока они в сгущающейся темноте бок о бок шагали по деревенской улице, Китти спросила его о Томе.

Собственно, о Томе его спрашивали все, и у Леонарда уже готов был ответ.

– Ты же знаешь Тома, – сказал он. – Его самоуверенности и война не помеха.

Китти только улыбнулась, а Леонард удивился, почему он никогда раньше не замечал этой очаровательной ямочки на ее левой щеке.

В тот вечер он много танцевал. С войной в деревне началась нехватка мужчин, и он с удивлением (и не без удовольствия) обнаружил, что весьма востребован среди женской части населения. Девушки, раньше не обращавшие на него внимания, теперь выстраивались в очередь, чтобы потанцевать с ним.

Было уже поздно, когда он оглядел зал в поисках Китти: она стояла за накрытым скатертью столиком на краю площадки для танцев. Весь вечер она продавала сэндвичи с огурцом и ломтики бисквита «Виктория» и была так занята, что даже не нашла времени поправить прическу, так что волосы выбились из-под шпилек. Песня уже заканчивалась, когда она оторвалась от своей торговли и помахала ему, а он, извинившись перед очередной партнершей, направился к ней.

– Я бы сказал, мисс Баркер, – обратился он к ней, подойдя совсем близко, – что ваш товар пользуется прямо-таки ошеломительным успехом.

– И были бы правы. Денег удалось собрать куда больше, чем я рассчитывала, и все это пойдет на помощь фронту. Жаль только, что потанцевать так и не удалось.

– Действительно, очень жаль. Мне кажется, будет совсем неправильно, если в такой удачный вечер вы останетесь хотя бы без одного фокстрота.

И опять эта ямочка на щеке.

Его ладонь легла ей на поясницу, и, пока они скользили в танце, Леонард вдруг ощутил, какое гладкое на ней платье, заметил тонкую золотую цепочку на ее шее, оценил блеск волос.

После он предложил проводить ее до дома, и всю дорогу они болтали, весело и непринужденно. Танцы прошли хорошо, тревожиться больше было не о чем; оказывается, она волновалась.

Поздний вечер был заметно холоднее дня, и Леонард предложил Китти свою шинель.

Она стала расспрашивать о фронте, и он обнаружил, что в темноте говорить о войне намного легче. Он говорил, а она слушала, а когда он рассказал все, что мог, и добавил, что отсюда, из мирной деревни, после танцев, все это кажется страшным сном, она сказала, что больше не будет задавать вопросов. Вместо этого они стали вспоминать пасхальную ярмарку 1913 года, день, когда они познакомились. Китти напонила, как они втроем – Китти, Леонард и Том – ушли тогда на холм за деревней и сели спиной к могучему дубу на самой вершине, откуда весь юг Англии был виден как на ладони.

– Я еще говорила, что оттуда можно увидеть Францию, помнишь? – сказала Китти. – А ты меня поправил. Ты сказал: «Это не Франция, это Гернси».

– Каким я был занудой.

– Вовсе нет.

– Вовсе да.

– Ну, может быть, ма-аленькую капельку.

– Эй!

Она засмеялась, схватила его руку и сказала:

– А давай заберемся сейчас туда.

– В темноте?

– Ну и что?

Они побежали к вершине, и Леонард понял, что больше года он бегал не по собственной воле, а лишь из необходимости спасти свою жизнь; вот почему ощущение свободы сейчас было таким восхитительным.

В темноте под дубом, на вершине холма, откуда видна была их деревня, лицо Китти посеребрила луна, и Леонард, легко коснувшись кончиком пальца ее переносицы, так же легко повел линию вниз, до самых губ. И не смог удержаться. Она была совершенством, истинным чудом.

Оба молчали. Китти, все еще в его шинели, села на него верхом и стала расстегивать ему рубашку. Потом просунула под хлопковую материю ладонь и приложила туда, где билось сердце. Он прижал ладонь к ее лицу с одной стороны, провел большим пальцем по щеке, и она ответила на его ласку. Тогда он притянул ее к себе, они поцеловались, и в этот миг жребий был брошен.

Потом они молча оделись и сели под деревом. Он предложил ей сигарету, она закурила и просто сказала:

– Тому не говори.

Леонард согласно кивнул: конечно, Том ничего не должен был знать.

– Это была ошибка.

- Да.
- Все эта чертова война.
- Это я виноват.
- Нет. Ты не виноват. Но я люблю его, Леонард. Всегда любила.
- Я знаю.

Он взял тогда ее руку и сильно сжал, потому что знал: она и вправду любит Тома. А еще знал, что тоже его любит.

До его отъезда на фронт они виделись еще дважды, но оба раза недолго и в присутствии других людей. И это было странно, потому что в такие моменты он понимал особенно ясно: Тому действительно не нужно знать, и они смогут жить так, словно ничего не случилось.

Только через неделю, когда он вернулся на фронт и на его плечи снова опустилась тяжесть войны, Леонард начал раз за разом вспоминать то, что случилось дома, и каждый раз приходит к одному и тому же, в сущности, детскому, но такому неотвязному вопросу: почему Тому всегда достается самое лучшее? Вопрос будоражил его совесть и заставлял его ненавидеть себя самого.

Одним из первых, кого увидел Леонард, едва приблизившись к траншеям, был Том: его каска поднялась над краем окопа, перемазанное грязью лицо под ней взорвалось улыбкой.

- Привет, Ленни! Ты по мне соскучился?

Полчаса спустя, когда они уже сидели за кружкой окопного чая – одной на двоих, – Том спросил о Китти.

- Я видел ее всего пару раз.

– Она мне писала. Хороший чай. Но вы с ней, конечно, не вели никаких особых разговоров?

- Ты о чем?

- Ну, что-нибудь личное.

- Не глупи. Мы едва парой слов перемолвились.

– Вижу, отпуск не вылечил тебя от хандры. Я просто хотел сказать... – тут он опять не удержался от улыбки, – мы с Китти помолвлены и после войны поженимся. Я думал, она не вытерпит и все тебе расскажет. Мы договорились, что будем молчать, пока война не кончится, а потом скажем – ну, ее отцу и остальным тоже.

Том был так доволен собой в тот миг, так искренне, по-мальчишески счастлив, что Леонард не удержался и сгреб брата в объятия:

- Поздравляю тебя, Том, я так рад за вас обоих.

А три дня спустя брата не стало. Умер от ранения шрапнелью. Точнее, от потери крови, которой истек в долгие ночные часы, пока лежал на

ничейной земле между двумя линиями траншей, а Леонард слушал, сидя в окопе. («Помоги мне, Ленни, помоги».) Потом ему принесли вещи брата, все, что осталось от Тома – чемпиона по лазанию через садовую ограду, Тома-везунчика, Тома – всеобщего любимца: надушенное письмо от Китти и старую, истертую серебряную монетку.

Нет, Люси Рэдклифф, конечно, не имела в виду ничего плохого, заводя речь о вине и прощении, но какое бы сродство она ни ощутила между собой и Леонардом, она ошиблась. Да, жизнь – сложная штука. Да, все люди совершают ошибки. Но ошибки ошибкам рознь. Вот и они были по-разному виноваты перед своими погибшими братьями.

Китти начала писать ему во Францию после смерти Тома, Леонард стал ей отвечать, а когда война кончилась и он вернулся в Англию, она пришла однажды вечером в его съемную лондонскую конуру. С бутылкой джина, которую Леонард помог ей выпить: они пили, говорили о Томе и плакали. Когда она ушла, Леонард понял так, что на этом все и кончится. Но оказалось, смерть Тома связала их прочнее, чем они думали. Они были как две луны на орбите его памяти.

Сначала Леонард говорил себе, что просто заботится о Китти в память о брате, и, возможно, он поверил бы в это сам, если бы не тот вечер 1916 года. Но правда была куда сложнее и не делала ему чести, и очень скоро он уже не мог скрывать ее от себя. Оба – и Леонард, и Китти – знали, что из-за своей неверности лишились Тома. Мысль, конечно, совершенно иррациональная – он это понимал, – но от этого не менее верная. Хотя Люси Рэдклифф была права в одном: нельзя жить, изнемогая под грузом такой вины. Им обоим, ему и Китти, надо было оправдать разрушительные последствия их поступка, и они, не сговариваясь, решили считать: то, что они делали той ночью на холме, было любовью.

Они оставались вместе. Связанные виной и болью. Ненавидя причину своей связи, они не находили сил дать друг другу свободу.

О Томе они не говорили, по крайней мере прямо. Но он всегда был с ними рядом. Он был в тонком золотом ободке с сверкающим крошкой-бриллиантом, который Китти носила на пальце правой руки; он был в легком удивлении, с которым Китти иногда глядела на Леонарда, точно ждала увидеть на его месте кого-то другого; он был в каждом темном углу каждой комнаты, в каждом атоме солнечного света под открытым небом.

Да, Леонард, без сомнения, верил в духов.

Леонард подошел к воротам Берчвуд-Мэнор и вошел внутрь. Солнце

уже клонилось к горизонту, и тени на лугу перед домом стали удлиняться. Скользнув взглядом вдоль садовой ограды, Леонард встал как вкопанный. В дальнем ее конце, на освещенном солнцем клочке земли под японским кленом, он увидел женщину: та лежала на земле и крепко спала. Долю секунды ему казалось, что это Китти, что она раздумала ехать в Лондон.

Сначала Леонард подумал, что у него начались галлюцинации, но потом понял, что женщина на земле – вовсе не Китти. Это ее он видел сегодня утром у реки: она была половинкой той пары, встречи с которой он избежал на прогулке.

Но теперь он не мог отвести от нее глаз. Пара грубых башмаков аккуратно стояла рядом с ней, и босые ступни в траве показались Леонарду самым эротическим зрелищем, какое он видел в жизни. Он закурил. И подумал, что, должно быть, его притягивает в ней беззащитность. И то, что она вдруг взяла и материализовалась рядом с его домом.

Пока он смотрел на женщину, та проснулась, потянулась, и выражение блаженства осветило ее лицо. В устремленном на дом взгляде были чистота, простота, любовь, и в груди Леонарда что-то заныло в ответ. Вдруг захотелось плакать, как не хотелось с самого детства. Плакать о потерях и безобразии своей жизни, о том, что время нельзя повернуть вспять, что в прошлое не вернешься и не сделаешь так, чтобы случившееся не случилось; плакать о том, что, как бы он ни распорядился отныне своей жизнью, и война, и смерть брата, и годы, протекшие с тех пор впустую, навсегда останутся частью его самого.

– Извините, – окликнула его женщина, поскольку теперь тоже его увидела. – Я нечаянно сюда забрела. Я заблудилась.

Голос звенел как колокольчик, прозрачный и чистый, и ему захотелось подбежать к ней, взять за плечи и, глядя ей прямо в глаза, предупредить, что надо быть осторожнее, потому что жизнь может быть жестокой, и холодной, и беспощадной, и утомительной.

Хотелось сказать ей, что все бессмысленно, что лучшие всегда умирают молодыми, притом из-за всякой ерунды, что мир полон людей, которые пожелают причинить ей боль, и ты никогда не знаешь, что ждет тебя за углом, да и есть ли он впереди, этот угол.

И все же...

Пока он глядел на нее, а она – на дом, что-то в игре света на листьях японского клена над ее головой, в солнечных зайчиках, которые скользили по ней, пронзило его сердце, и он понял, что, по странной логике, именно бессмысленность жизни превращает ее в прекрасный, редкий и удивительный дар. Что, несмотря на жестокость войны – а может быть, как

раз благодаря ей, – он по-иному видит теперь мир, в котором словно промыты все краски. Что чем темнее ночь, тем ярче звезды.

Все это он хотел ей сказать, но слова застыли в горле, и он лишь поднял руку и помахал ей – дурацкий жест, которого женщина к тому же не увидела, потому что смотрела в другую сторону.

Он вошел в дом и из окна кухни наблюдал за тем, как она собирала свою сумку и как, в последний раз одарив дом своей головокружительной улыбкой, исчезла в солнечной дали. Он не знал, кто она. Он никогда больше ее не увидит. И все же ему было жаль, что он не признался ей: «Я тоже заблудился». Он сбился с пути, но надежда еще оставалась. Словно птичка, она трепетала крыльшками где-то рядом и без усталости пела ему одну и ту же песню: если не сдаваться и упорно идти вперед, шаг за шагом, может быть, ты все же придешь домой.

VII

Отец однажды рассказывал мне, что, когда он впервые увидел мою мать в окне дома ее родителей, ему показалось, будто до этого он существовал в полупотемках. И только с ней в его жизнь вошли цвета и краски, а чувства стали ярче, отчетливее, правдивее.

Я была тогда ребенком и приняла слова отца скорее за сказку, чем за чистую монету, но они вернулись ко мне в тот вечер, когда я встретила Эдварда.

Это была не любовь с первого взгляда. Утверждать такое – значит смеяться над любовью.

Это было предзнание. Необъяснимое ощущение того, что случилось нечто необыкновенное. Бывают такие мгновения: они сверкают в потоке обыденной жизни, словно крупинки золота в лотке старателя.

Я уже говорила, что родилась дважды: в первый раз – у отца с матерью, во второй – когда очнулась в комнатах миссис Мак над птичьей лавкой на Литл-Уайт-Лайон-стрит.

Тот раз стал третьим. Но и это еще не все. Правда состоит в том, что с ним началась третья часть моей жизни.

Мое новое рождение состоялось возле Королевского театра на Друри-лейн, теплым вечером 1861 года, когда с моего семнадцатого дня рождения минул месяц. Ровно столько было моей матери, когда я родилась в первый раз, той звездной ночью, в Фулэме, в доме с узким фасадом на берегу реки Темзы.

Конечно, миссис Мак была права, предрекая скорый конец Маленькой Заблудившейся Девочки, равно как и Маленькой Пассажирки, а вскоре она взлелеяла новый план, раздобыла другой костюм, и я, словно вторую кожу, натянула на себя иной образ. И опять все было очень просто: любое театральное фойе после спектакля гудит, словно пчелиный улей. Дамы в ярких пышных платьях, обычная сдержанность мужчин ослаблена с помощью виски и перспективы приятного продолжения вечера; в такой атмосфере особе женского пола с ловкими пальчиками ничего не стоит избавить джентльмена от его ценностей.

Единственной проблемой был Мартин. Я давно уже перестала быть зеленой девчонкой, а он все не мог расстаться с ролью моего надсмотрщика, назначенной ему когда-то в детстве. Теперь он изводил

миссис Мак, забивая ей голову рассказами о невероятных бедах, которые, по его мнению, могли приключиться со мной, а то и нашептывал ей – когда думал, что я не слышу, – что другие могут «настроить меня против них»; позже он измыслил-таки способ, позволявший ему всегда совать нос в мою работу. Я спорила, говорила, что он все усложняет, что мне гораздо удобнее одной, но ничего не помогало – куда бы я ни повернулась, я везде натыкалась на его физиономию и взгляд собственника, от которого меня корбило.

Но в тот вечер мне удалось от него оторваться. Представление закончилось, я быстро прошла через фойе к боковой двери и выскользнула в переулок, уводивший прочь от театра. Вечер выдался на славу: глубокий карман моего платья оттягивал приятный груз, и я была довольна. В последнем письме отец сообщал, что после целого ряда неудач предприятие по производству часов, открытое им в Нью-Йорке, почти достигло платежеспособности. Я надеялась, что после плодотворного лета он наконец разрешит мне поднять паруса и отплыть в Америку. Больше девяти лет прошло с тех пор, как он оставил меня у миссис Мак.

Стоя в переулке одна, я размышляла, пойти ли домой коротким путем или прогуляться по людному Стрэнду и еще на пару бумажников увеличить свой улов, и вот в этот момент нерешительности боковая дверь театра распахнулась и вышел Эдвард, застав меня без маски, врасплох.

Такая мгновенная ясность наступает, когда поднимается туман. Я напряглась, ожидание чего-то нового наполнило меня, и все же я нисколько не удивилась: разве мог такой вечер закончиться без нашей встречи?

Он подошел ко мне, протянул руку и коснулся моей щеки – так легко, будто я была бесценным объектом из коллекции отца Бледного Джо. Его глаза внимательно смотрели в мои.

Не могу сказать, как долго мы так стояли, сколько минут или всего лишь секунд протекло, – время утратило всякий смысл.

Чары рассеялись с появлением Мартина, который заорал:

– Держите! Вор!

Я моргнула и сделала шаг назад.

Мартин пустил в ход давно отработанный прием, который мне вдруг показался дешевым и жалким. «Нет, – твердо ответила я, – этот человек не вор».

«Нет, не вор, – подтвердил Эдвард, – а художник, который хочет написать мой портрет».

Мартин, заикаясь, залопотал что-то про молодых леди, «сестру», респектабельность; но Эдвард отвечал прямо. Он честно сказал, к какой

семье принадлежит, и обещал прийти со своей матерью в мой дом и представиться моим родителям: пусть они увидят, что он – джентльмен и честный человек и что общение с ним не нанесет вреда моей репутации.

Это предложение застало меня врасплох, а сама мысль о том, будто у меня может быть дом, а также отец и мать, показалась мне настолько причудливой, что, признаюсь, я даже прониклась ею и повела себя как молодая леди, чью скромность необходимо защищать.

И я согласилась, а когда, уходя, он спросил мое имя, то я, зная, что Мартин нас слышит, сказала первое, что пришло в голову.

– Лили, – сорвалось у меня с языка, – меня зовут Лили Миллингтон.

Миссис Мак, которая всегда чуяла барыш за милую, немедленно развила бурную деятельность. Гостиная ее усилиями превратилась в идиллическое домашнее гнездышко обедневшего, но благородного семейства. Новенькую девочку, Эффи Грейнджер, крупную для своих одиннадцати лет, нарядили в черное платье с белым передником – обычную форму горничной, которую Мартин стянул с бельевого веревки где-то в Челси, – и, не без помощи колотушек, обучили выходить к гостям и прислуживать за столом. Мартин и Капитан получили подробные указания насчет того, как играть здоровяка-брата и хворого, но честного отца семейства, а сама миссис Мак превратилась в Любящую Мать Семейства, Переживающего Тяжелые Времена, – роль, которую она исполняла так убедительно, что профессиональные актрисы с Друри-лейн могли бы ей позавидовать.

Когда долгожданный день настал, малышей загнали наверх и заперли со строжайшим наказом не подходить к окнам, так, чтобы ни одна тюлевая занавеска не шелохнулась, а не то... Остальные собрались внизу и стали с волнением ждать, когда же раздастся звонок в дверь.

Наконец вошли Эдвард и его мать, которую миссис Мак потом описывала как женщину с внешностью и повадками иностранки; снимая шляпу, она не смогла удержаться и обвела помещение полным любопытства взглядом. Но какое бы впечатление ни произвели на нее «мистер и миссис Миллингтон» и их жилище, сын явно был ее гордостью и светом ее очей, в него она вложила все свои художественные амбиции; и если он считал, что мисс Миллингтон нужна ему для полноты его художественного видения, значит он получит мисс Миллингтон. А если для этого нужно выпить чаю со странным семейством в странном ковент-гарденском доме, что ж, так тому и быть.

Все время чаепития я сидела в углу дивана, чего не достаивалась

почти никогда, а Эдвард – в другом. Миссис Мак вещала – с интонациями, которые, по ее мнению, приличествовали случаю, – о моих достоинствах и добродетелях.

– Она настоящая христианка, моя Лили. Чистая, как божий день.

– Очень рада это слышать, – сказала миссис Рэдклифф и очаровательно улыбнулась. – И такой она и останется. Отец моего покойного мужа – граф Бичворт, а мой сын – джентльмен самого безупречного поведения. Ручаюсь вам, он будет в высшей степени обходителен с вашей дочерью, и она вернется под отчий кров такой же, какой покинет его.

– Гх-хммм, – провозгласил Капитан, натасканный на роль Не Одобряющего Отца Семейства. («Возникнут сомнения, – наставляла его миссис Мак, – кашляй. И вообще, делай что хочешь, только, заклинаю, ногу не снимай».)

Согласие было наконец получено, сумма названа, принята и тут же выплачена, и это, как заявила миссис Мак, убедило ее в том, что чести ее дочери ничего не угрожает.

А когда я набралась смелости посмотреть Эдварду в глаза, была назначена дата моего первого сеанса позирования.

Студия Эдварда располагалась в дальнем конце сада, за домом его матери в Хэмпстеде, и в первый же день он взял меня за руку, помогая пройти по скользкой от лепестков дорожке.

– Вишня цветет, – сказал он. – Прекрасно, но смертельно опасно.

До тех пор я никогда не встречала художников, а об искусстве могла судить только по книгам, которые читала у Бледного Джо, да по картинам, которые видела в доме его отца. Вот почему, входя в студию Эдварда, я не знала, чего ожидать.

Комната оказалась маленькой, пол устилал персидский ковер, на нем стоял мольберт, развернутый к простому, но изящному креслу. Потолок был из стекла, беленые стены – из дерева; вдоль двух из них тянулось что-то вроде приземистых комодов: сделанные на заказ, они были снабжены полками, на которых стояли широкие ящики. Сверху комоды были сплошь заставлены кувшинчиками с красочными пигментами, бутылочками, где хранились разнообразные жидкости, и горшочками с кистями разных размеров.

Эдвард сразу подошел к печке в дальнем конце комнаты и развел огонь. Сказал, что не хочет, чтобы я замерзла; я должна была сообщить ему, если почувствую холод. Затем он помог мне снять плащ, а когда его пальцы

скользнули по моей шее, я ощутила, что кожа у меня просто горит. Он сказал мне, чтобы я села в кресло: сегодня он будет делать эскизы. Я обратила внимание, что дальняя стена комнаты уже увешана карандашными и чернильными набросками.

В моем странном, промежуточном, половинчатом нынешнем существовании я по-прежнему вижу, но сама остаюсь невидимой. Раньше я не понимала, как это важно – обмениваться взглядами, смотреть в глаза другому человеку. Не понимала я и того, как редко дается нам возможность беспрепятственно изучать и рассматривать другого человека без страха быть застигнутыми за этим занятием.

Пока Эдвард изучал и разглядывал меня, я разглядывала его.

Я привыкла к тому, что он постоянно смотрит на меня, и мне стало не хватать его взгляда. А еще я узнала, какой властью обладает тот, на кого смотрят. Стоило мне приподнять или опустить подбородок, совсем чуть-чуть, и я видела отражение этой перемены на его лице. Видела, как он прищуривает глаза, приспособляясь к тому, что свет теперь падает иначе.

И вот что еще я знаю наверняка: очень трудно не влюбиться в молодого красивого мужчину, все внимание которого сосредоточено на вас.

В студии не было часов. Времени тоже не было. Текли дни, мы работали там вдвоем, и мир за белеными стенами таял. Был Эдвард, и была я, и порой казалось, будто наша совместная попытка создать что-то новое растворяет даже границы меж нами.

Иногда он задавал вопросы о моей жизни, и те, врываясь в комнату из ниоткуда, нарушали плотную тишину; я отвечала как могла, он слушал и продолжал рисовать. Тонкая морщинка сосредоточенности залегала между его бровями. Поначалу мне удавалось избегать правды в своих ответах, но шли недели, и я начала опасаться, что он видит все мои ухищрения насквозь. Больше того, я стала испытывать новое, беспокойное желание открыться ему.

В такие моменты я старалась потихоньку подтолкнуть разговор к более безопасным вещам, таким как искусство, наука или то, о чем мы говорили с Бледным Джо, – жизнь и время. Эдварда это удивляло: он улыбался, озадаченно сводил брови и, оторвавшись от своего занятия, окидывал меня недоуменным взглядом поверх мольберта. Все это интересует и его, сказал он однажды, и добавил, что как раз недавно написал эссе, где рассуждал о связи между пространствами и людьми, о том, что одни места влияют на людей сильнее других, так как больше говорят настоящему о прошлом.

Эдвард совсем не походил на тех, кого я знала раньше. Когда он

говорил, невозможно было не заслушаться. Он целиком отдавался каждому делу, увлечению, интересу. Вскоре я заметила, что думаю о нем, когда его нет рядом, вспоминаю его слова или то, как он, запрокинув голову, весело смеялся над какой-нибудь моей историей, и, если так, придумываю, чем бы еще развеселить его. Я забыла, какими мыслями занимала себя прежде, до знакомства с ним. Он был как музыка, которая порой звучит у нас в голове, меняя ритм пульса; как необъяснимый позыв, который заставляет человека поступать вопреки его собственным суждениям.

Обычно мы были одни – лишь изредка, и то ненадолго, нас прерывали, чтобы принести чай. Иногда наведывалась его мать: ей все время не терпелось заглянуть через плечо сына и оценить, далеко ли он продвинулся. Иногда – горничная. А однажды утром – я уже две недели приходила к Эдварду каждый день – раздался стук, в ответ на его «да» дверь распахнулась, и на пороге показалась девочка лет двенадцати, которая очень осторожно, обеими руками, держала перед собой поднос с чайником.

Она явно волновалась и оттого показалась мне еще милее. Ее нельзя было назвать хорошенькой, но в чертах лица я разглядела силу, недооценивать которую не следовало; а еще она была любопытна – глаза так и бегали по комнате, от меня к Эдварду, от Эдварда к наброскам на стенах. Любопытство было той чертой характера, с которой я ассоциировала саму себя и которая, по правде сказать, всегда казалась мне неизменным условием жизни. Какой смысл уныло тащиться вперед, переходя изо дня в день, если этот длинный безрадостный марш не освещен яркими огоньками любопытства? Я сразу догадалась, кто она, и не ошиблась.

– Моя младшая сестра, – сказал Эдвард с улыбкой. – Люси. Люси, это Лили Миллингтон, «La Belle».

Моему знакомству с Эдвардом исполнилось уже шесть месяцев, когда его картина под названием «La Belle» дебютировала на выставке в Королевской академии, в ноябре 1861-го. Мне было сказано прийти в семь, и миссис Мак сбилась с ног в поисках приличествующего случаю платья. Для столь нахально-самоуверенной особы миссис Мак отличалась почти трогательным благоговением перед знаменитостями, которое оказывалось тем глубже, чем отчетливее была перспектива подзаработать на них.

– Наконец-то, – говорила она, застегивая на моей спине ряд перламутровых пуговиц от поясницы до шеи. – Разыграешь свои карты как

надо, моя девочка, и этот вечер может стать для тебя началом чего-нибудь великого. – И она кивнула в сторону каминной полки, где хранилась ее коллекция cartes de visite^[10], изображений членов королевской семьи и других прославленных и выдающихся личностей. – Кто знает, может, даже станешь одной из них.

Мартин, как и следовало ожидать, не разделял ее энтузиазма. Время, которое я проводила, позируя Эдварду, казалось ему потраченным впустую, а мое отсутствие в дневное время он воспринимал как личное оскорбление. Вечерами я иногда слышала, как он ворчит в «зале», жалуясь матери на снижение дневной выручки, но эти доводы не смогли ее тронуть – плата за мои услуги в качестве натурщицы с лихвой покрывала мои воровские заработки, – и он завел другую песню: «рискованно», мол, подпускать меня «так близко к добыче». Однако в курятнике над птичьей лавкой всем заправляла миссис Мак. Меня пригласили на открытие выставки в Королевской академии – одно из самых важных и ярких событий в общественной жизни Лондона, – и я туда пошла, а Мартин поплелся за мной следом.

Я оказалась в просторном зале, наполненном огромной толпой: мужчины были во фраках и в блестящих черных цилиндрах, женщины – в роскошных шелках. Взгляды их обращались ко мне, пока я пробиралась сквозь это теплое, живое море. Воздух был спертый, со всех сторон до меня доносились обрывки разговоров, то и дело прерываемые громкими взрывами смеха.

Я уже почти потеряла надежду найти в этой толпе Эдварда, как вдруг он сам вырос передо мной.

– Вы здесь, – сказал он. – Я ждал вас у другого входа, но, видимо, пропустил.

Он взял меня за руку, и тут же словно замкнулась цепь: электрический ток потек по моему телу. Так непривычно было видеть его здесь, на публике, после полугода добровольного затворничества в студии. Мы с ним говорили тогда о многом, я столько всего о нем узнала, и теперь мне было странно наблюдать его среди хохочущих людей, он как-то не вязался с ними. Иная атмосфера, привычная для него, но совершенно новая для меня, сделала его в моих глазах другим, незнакомым человеком.

Через толпу он повел меня туда, где висела его картина. Конечно, я много раз видела ее в студии, но лишь мельком, и ничто не подготовило меня к тому эффекту, который она производила здесь, на стене, выставленная на всеобщее обозрение. Но его взгляд был устремлен на меня, а не на картину.

– Что вы о ней думаете?

Едва ли не впервые в жизни я не находила слов. Картина была удивительной. Цвета такие насыщенные, а моя кожа почти светится: казалось, прикоснись к ней, и почувствуешь тепло. Он поместил меня в центр холста: распущенные волосы волнами падают на плечи, взгляд устремлен прямо на зрителя, а выражение лица такое, будто с моих губ только что слетело признание, повторить которое нельзя. Но и это еще не все, образ скрывал за собой нечто большее. В этом прекрасном лице – куда прекраснее моего настоящего – Эдвард увидел ранимость и передал ее, отчего вся картина приобрела законченность и глубину.

Но не только лицо, запечатленное на картине, лишило меня тогда дара речи. «La Belle» – это капсула времени. Каждый мазок краски, каждый гран пигмента хранит слова и взгляды, которыми мы с Эдвардом обменивались за работой; в ней звучит наш смех, в ней живут те мгновения, когда он подходил ко мне и нежно касался моего лица, поворачивая его к свету. И каждая его мысль, и каждое соприкосновение наших умов в той уединенной студии в дальнем конце сада. Лицо «La Belle» – это тысячи тайн, из которых сплетена история, полностью ведомая лишь Эдварду и мне. Вот почему, когда я увидела ее на стене в том зале, полном шумных незнакомцев, у меня перехватило дыхание.

Но Эдвард ждал моего ответа, и я сказала:

– Она...

Он сжал мою руку:

– Правда?

Тут Эдвард извинился, сказав, что увидел мистера Рёскина, и пообещал скоро вернуться.

Я все еще смотрела на картину, когда рядом со мной встал высокий красивый мужчина.

– Что вы думаете? – спросил он, и я решила, что он обращается ко мне. Я снова попыталась найти слова, но ему ответила другая женщина. Оказалось, она стояла возле него, только с другой стороны: невысокая, изящная, с золотистыми волосами и маленьким ротиком.

– Картина хороша, как всегда, – сказала она. – Вот только меня удивляет, как он не устает подбирать натурщиц с помойки.

Мужчина расхохотался:

– Ну вы же знаете Эдварда! У него всегда был своеобразный вкус.

– Из-за нее картина смотрится дешево. Посмотрите, как она смотрит на нас в упор: никакого стыда, никакого класса... А эти губы! Я так мистери Рёскину и сказала.

– И что же он ответил?

– Он был готов согласиться со мной, правда, добавил, что, на его взгляд, Эдвард как раз такого эффекта и добивался. Что-то насчет контраста – невинность окружающей обстановки и опытность женщины.

Я съежилась каждой клеточкой своего тела. Мне захотелось исчезнуть. Зря я сюда пришла, это была ошибка; теперь я видела это ясно. Мартин был прав. Меня заворожила энергия, исходившая от Эдварда. И я забыла об осторожности. Решила, что мы с ним партнеры в одном предприятии. Надо же было свалить такого дурака.

Щеки горели от стыда, мне хотелось скрыться. Я оглянулась, прикидывая, трудно ли добраться до выхода. Комната была полна народу, люди, тесно прижатые друг к другу, курили и болтали, от табачного дыма и запаха одеколона было трудно дышать.

– Лили. – Эдвард вернулся, покрасневший от возбуждения. И тут же: – Что с вами? – При взгляде на меня: – Что случилось?

– А вот и ты, Эдвард! – воскликнул тот рослый красавец. – А я-то думал, куда ты запропастился? Мы тут любуемся твоей «La Belle».

Послав мне взгляд поддержки и ободрения, Эдвард обернулся к другу, который, ухмыляясь, уже хлопал его по плечу. Положив руку мне на талию, он мягко, но уверенно подтолкнул меня вперед.

– Лили Миллингтон, – сказал он, – это Торстон Холмс, член Пурпурного братства и мой хороший друг.

Торстон взял мою руку и слегка скользнул по ней губами:

– Так, значит, это вы та самая Лили Миллингтон, о которой мы столько слышали. – Он посмотрел на меня в упор, и в его взгляде я прочла недвусмысленный интерес. Те, чье детство проходит в темных переулках позади Ковент-Гардена и на сырых улицах близ Темзы, рано учатся распознавать такие взгляды. – Очень приятно познакомиться с вами наконец. А то спрятал вас от всех и не делится.

И тут женщина с волосами цвета меда протянула мне свою холодную кукольную ручку и сказала:

– Вижу, мне придется представиться самой. Я мисс Фрэнсис Браун. Будущая миссис Эдвард Рэдклифф.

Заметив, что Эдвард увлекся беседой с очередным гостем, я извинилась, не обращая ни к кому в отдельности, сделала шаг в сторону и стала пробираться через толпу к выходу.

Покинуть душный зал было облегчением, и все же, скользнув за темный полог прохладной ночи, я невольно почувствовала, что за мной

закрылась не одна дверь. Манящий мир творчества и света остался позади, впереди ждали сумрачные, унылые закоулки моего прошлого.

Углубившись как раз в такой вот закоулок и заодно в такие вот мысли, я вздрогнула, ощутив, как чья-то рука стиснула мое запястье. Я обернулась, ожидая увидеть Мартина, который весь вечер ошивался на Трафальгарсквер, но это оказался друг Эдварда с выставки, Торстон Холмс. Совсем недалеко грохотал вечерний Стрэнд, но здесь, в этом переулке, были только мы, не считая спавшего в канаве бродяги.

– Мисс Миллингтон... – начал он. – Вы так внезапно нас покинули. Я забеспокоился, уж не заболели ли вы.

– Нет, со мной все хорошо, спасибо. В комнате было очень жарко – мне захотелось на воздух.

– Да, тем, кто не привык к обществу, может показаться тяжело. Но молодой леди небезопасно ходить здесь в одиночку. Кто знает, что подстерегает в ночи.

– Очень любезно с вашей стороны.

– Позвольте мне пригласить вас куда-нибудь для восстановления сил. Здесь неподалеку я знаю очень уютные комнаты, и квартирная хозяйка – дама понимающая.

Я сразу поняла, что это за восстановление сил.

– Нет, благодарю. Не смею вас задерживать, приятного вам вечера.

Тут он шагнул ближе, положил руку мне на талию, обхватил и рывком притянул меня к себе. Другой рукой он достал из кармана две золотые монеты и, зажав их между пальцами, показал мне:

– Обещаю, что вы с пользой проведете время.

Я посмотрела ему прямо в глаза и не опустила взгляда:

– Как я уже сказала, мистер Холмс, мне хочется подышать воздухом.

– Что ж, как пожелаете. – Он снял с головы цилиндр и коротко поклонился. – Доброй ночи, мисс Миллингтон. До скорой встречи.

Случай был не из приятных, но в тот момент меня занимали другие мысли, куда более печальные. Возвращаться к миссис Мак не хотелось, и я, со всеми предосторожностями, чтобы не попасться на глаза Мартину, отправилась в то единственное место, куда меня тянуло.

Если Бледный Джо и удивился, увидев меня, то ничем этого не выдал: просто вложил закладку между страницами книги, которую читал, и закрыл ее. Мы с ним долго предвкушали тот момент, когда картину представят зрителям, и теперь он ждал от меня торжествующего рассказа о великом событии. Вместо этого, едва открыв рот, я зарыдала – я, не плакавшая с

того самого утра, когда пришла в себя в доме миссис Мак и обнаружила, что отца нет рядом.

– В чем дело? – спросил он с тревогой. – Что произошло? Тебя кто-то обидел?

Я отвечала: нет, ничего такого. И вообще, я сама не знаю, почему плачу.

– Тогда начни с самого начала и расскажи, как все было. Может быть, послушав тебя, я сам скажу, о чем ты плачешь.

Так мы и сделали. Сначала я рассказала о картине: о том, как я стояла перед ней и стеснялась себя. Стеснялась потому, что образ, созданный Эдвардом в студии под стеклянной крышей, оказался чем-то гораздо большим, чем я. От той женщины исходил свет; мелкие заботы будничной жизни были ничем рядом с ней; и все же художник смог уловить ранимость и надежду, увидеть за маской женщину.

– Значит, ты плачешь, глубоко пораженная красотой произведения искусства.

Но я помотала головой, потому что знала: дело не в этом.

И рассказала о том высоком красавце, который стоял рядом со мной на выставке, и о хорошенькой женщине с волосами цвета меда и маленьким ртом, и о том, что они говорили и как смеялись.

Тогда Бледный Джо вздохнул и произнес:

– Значит, ты плачешь из-за обидных слов, которые сказала о тебе та женщина.

Но я опять помотала головой, так как никогда не заботилась о том, что скажут или подумают обо мне те, кого я не знаю.

И тогда я стала рассказывать, как, слушая их, я вдруг поняла, в какое кричащее платье нарядила меня миссис Мак для этой выставки. Сначала оно показалось мне необыкновенным – жатый бархат и тонкая кружевная оторочка по краю декольте, – но уже на выставке я поняла, что это вульгарная безвкусица.

Бледный Джо нахмурился:

– Уж не хочешь ли ты сказать, что плакала из-за платья?

Я ответила ему, что дело, конечно, не в платье, скорее в том, что, оказавшись в выставочном зале, я ощутила себя вульгарной и неуместной, и от этого вдруг разозлилась на Эдварда. Я доверилась ему, а он меня предал, разве нет? Он приучил меня к себе, к своему миру, льстил мне своим безраздельным вниманием – о, его глаза, такие глубокие, темные, неотрывно смотрящие на меня, складка его губ, когда он сосредоточивался на работе, намек на потребность во мне – да, и это тоже, разве я могла такое

придумать? – и все это лишь для того, чтобы выставить меня на посмешище в зале, набитом людьми, совсем не такими, как я; которые сразу видят разницу между мной и собой. Когда он пригласил меня на открытие в качестве своей гостыи, я подумала... ну, в общем, я ошиблась. И конечно, оказалось, что у него есть невеста – та самая хорошенькая женщина с мелкими чертами лица, в красивом платье. Он должен был предупредить меня о ней, дать мне время подготовиться, чтобы я пришла в подобающем настроении и наряде. А он обманул меня, провел, и поэтому я не хочу его больше видеть.

Бледный Джо смотрел на меня с теплотой и печалью, и я вдруг поняла, что он сейчас скажет. Что мне некого винить в своей ошибке. Что я сама сглупила, а Эдвард ничего мне не обещал и ничего не должен. Меня наняли для дела и заплатили за работу сполна: я позировала за деньги для картины, которая теперь выставляется в Королевской академии художеств.

Но ничего подобного Бледный Джо говорить не стал. Он только обнял меня обеими руками и объявил:

– Бедняжка Берди. Ты плачешь потому, что ты влюблена.

Оставив Бледного Джо, я торопливо пошла по темным улицам Ковент-Гардена, где из клубов высыпали раскрасневшиеся от еды и возлияний мужланы, из окон полуподвалов неслись пьяные песни, а сигарный дым мешался с не развеявшимися до конца дневными запахами животных и гниющих фруктов.

Мои длинные юбки шелестели по булыжной мостовой, и, повернув на Литл-Уайт-Лайон-стрит, я подняла голову и увидела между крышами расплывчатую, точно в дымке, луну; звезд не было – их скрывал серый лондонский смог. Открыв своим ключом дверь птичьей лавки, я на цыпочках, чтобы не разбудить, не дай бог, пернатых, спавших под тряпичными саванами, поднялась по лестнице на второй этаж. Я уже шла по коридору, когда из темной кухни вдруг раздался голос:

– Так-так, гляди-ка, кого к нам занесло.

Я увидела Мартина: он сидел за столом, перед ним стояла открытая бутылка джина. Тусклый клин лунного света падал на него из подслеповатого оконца, оставляя половину лица в тени.

– Думаешь, ты такая умная, раз заставила меня побегать? Из-за тебя я потерял целый вечер. В театре в одиночку не поработаешь, вот и пришлось торчать под чертовой Нельсоновой колонной, смотреть, как эти хлыщи ходят туда-сюда. Что я скажу завтра Капитану и ма, когда они захотят знать, почему я не приволок обещанные монеты, а?

– Я не просила ждать меня, Мартин, и впредь буду очень признательна, если ты не станешь этого делать.

– Признательна, говоришь, вот как? – Он засмеялся, но смех прозвучал невесело. – Да уж ты-то будешь признательна, как же. Ты же у нас теперь настоящая маленькая леди. – Он оттолкнул стул и подошел к двери, где стояла я. Взяв меня двумя пальцами за подбородок и приблизившись ко мне так, что я ощутила его дыхание на своей шее, он спросил: – А знаешь, что сказала мне ма в первый же день, как ты появилась у нас? «Твое дело – присматривать за новой сестренкой, Мартин. И помни, с ней одним глазком не обойтись. Придется тебе глядеть в оба глаза». И ма не ошиблась. Я же вижу, как они на тебя пялятся, мужики. И мысли их тоже знаю.

Я слишком устала, чтобы продолжать этот бессмысленный спор, который мы вели уже не в первый раз. Хотелось поскорее подняться к себе наверх и запереться, чтобы в одиночестве подумать над словами Бледного Джо. Мартин смотрел на меня с вожделением, а я испытывала к нему отвращение и в то же время жалость, ведь его жизнь была монотонна, как пустая палитра. Ее рамки были определены еще при рождении Мартина и с тех пор не сдвинулись ни на йоту. Его пальцы продолжали сжимать мое лицо, но я тихо сказала:

– Напрасно ты беспокоишься, Мартин. Картина дописана. Я дома. Мир опять такой, каким был раньше.

Наверное, он ждал, что я буду спорить, – но пришлось проглотить то, что он готовился сказать. Медленно поморгав, он кивнул.

– Вот и не забывай, – сказал он, – не забывай, что твое место здесь, с нами. Ты не одна из них, что бы там ни вбивала тебе в голову ма, когда учует запах добычи. Все это только для отвода глаз, ясно? Ты пожалеешь, если забудешь об этом, и тебе некого будет винить.

Наконец он меня отпустил, и я заставила себя улыбнуться. Но когда я уже повернулась, чтобы уходить, он протянул руку, поймал меня за запястье и притянул к себе:

– Красивая ты в этом платье. Настоящая красивая женщина. Такая вся взрослая.

В его словах звучала угроза, и я сразу представила себе, как испугалась бы любая девушка, столкнувшись она с подобным приставалой на улице, как облилась бы холодным потом при виде его немигающих глаз, его оскала, его плохо скрытых намерений; да и мудрено было бы не испугаться. Но я хорошо знала Мартина. Пока его мать жива, он меня и пальцем не тронет. Слишком многое в ее предприятии зависело от меня. Поэтому я сказала:

– Я устала, Мартин. Уже поздно. Завтра у меня много работы, пора спать. Вряд ли ма понравится, если завтра мы оба будем ползать, как сонные мухи, а не дело делать.

При первом же упоминании о миссис Мак его хватка ослабла, и я, воспользовавшись этим, высвободилась и убежала к себе наверх. Не зажигая тростниковой свечи, я немедленно стянула с себя злополучное бархатное платье и, вешая его на дверь, постаралась расправить юбки так, чтобы они заслонили замочную скважину.

В ту ночь я не спала, думая о том, что сказал мне Бледный Джо, и заново переживая каждую минуту, проведенную в студии с Эдвардом.

– А он тоже тебя любит? – спросил меня Джо.

– Наверное, нет, – сказала я. – Ведь у него есть невеста.

Бледный Джо ответил мне терпеливой улыбкой.

– Ты знаешь его уже не один месяц. Вы много разговаривали. Он рассказывал тебе о своей жизни, о том, что он любит и чего не любит, о своих страстях и устремлениях. И вот сегодня вечером ты узнаешь, что он, оказывается, помолвлен.

– Да.

– Берди, будь я помолвлен с женщиной, которую люблю, об этом знал бы даже метельщик, посыпающий мостовые золой во время снегопада. Отсюда и до самой Москвы не осталось бы и пары свободных ушей, которым я не нашептал бы ее имя. Конечно, я не могу с уверенностью сказать тебе, любит он тебя или нет, но одно я знаю точно: он не любит ту женщину, с которой ты повстречалась сегодня.

Заря едва занялась, когда в дверь на первом этаже тихонько постучали. По улицам Ковент-Гардена к рынку уже вовсю катили тележки и тачки, туда же спешили женщины с корзинками фруктов на головах, и я решила, что это стучит ночной сторож. У них с миссис Мак был договор: совершая свой утренний обход улиц и каждые полчаса тряся погремушкой, чтобы люди узнавали время, он останавливался у нашей двери и несколько раз ударял в нее молотком – вставать, мол, пора.

Однако этот стук был не таким громким, как всегда, и, услышав его во второй раз, я поднялась с кровати, отвела в сторону занавеску и выглянула в окно.

Но у двери стоял не сторож в широком пальто и шляпе с висячими полями. Это был Эдвард, в том же пальто и шарфе, что и накануне вечером. Сердце у меня подпрыгнуло, и после секундной заминки я приоткрыла окно и громким шепотом спросила:

– Что вы здесь делаете?

Он отступил на шаг, поднял голову, высматривая, откуда раздается мой голос, и тут же едва не угодил под тележку, которую цветочница толкала перед собой посреди улицы.

– Лили, – сказал он, и его лицо просветлело при виде меня. – Лили, спустись ко мне.

– Что ты здесь делаешь?

– Спустишь, мне нужно с тобой поговорить.

– Но солнце едва встало.

– Понимаю, но я не могу заставить его двигаться быстрее. Я провел здесь всю ночь. Выпил столько кофе с того прилавка на углу, сколько иному за жизнь не одолеть, и не могу больше ждать. – Положив руку на сердце, он добавил: – Спускайся, Лили, а не то мне придется залезть к тебе.

Я торопливо кивнула и стала одеваться, так поспешно, что с трудом попадала пуговицами в петли и проделала дырку в чулке. На шпильки и расчески времени уже не было, и я побежала вниз, торопливо, чтобы никто меня не опередил.

Внизу я открыла задвижку, распахнула дверь, и, когда мы, стоя по разные стороны порога, взглянули друг другу в глаза, я поняла, что Бледный Джо говорил правду. Мне столько всего нужно было Эдварду рассказать. О моем отце, о миссис Мак, о Маленькой Заблудившейся Девочке, о Бледном Джо. Мне хотелось сказать, что я его люблю, что вся моя жизнь до встречи с ним была лишь эскизом, карандашным наброском, предваряющим главное. Мне хотелось назвать ему мое настоящее имя.

Но для этого надо было найти слова, много слов, а я не знала, с чего начать, и тут подле меня появилась миссис Мак в домашнем халате, криво повязанном на обширном животе, с помятым со сна лицом.

– Что это у вас тут? Что вы здесь делаете в такую рань?

– Доброе утро, миссис Миллингтон, – сказал Эдвард. – Прошу у вас прощения за столь раннее вторжение.

– Еще даже не рассвело.

– Я понимаю, миссис Миллингтон, но дело не терпит отлагательств. Я должен признаться вам, что испытываю глубочайшее восхищение вашей дочерью. Картина «La Belle» была продана вчера вечером, и мне необходимо договориться с вами о том, чтобы мисс Миллингтон позировала для нового полотна.

– Боюсь, это невозможно, – сказала миссис Миллингтон и шмыгнула носом. – Моя дочь нужна мне здесь. Без нее мне придется доплачивать горничной за дополнительную работу, а я, мистер Рэдклифф, женщина хотя

и почтенная, но не богатая.

– О, разумеется, я выплачу вам компенсацию, миссис Миллингтон. Работа над следующим полотном займет, вероятно, больше времени, чем над этим. Прошу вас принять двойную оплату против той суммы, что я заплатил вам в прошлый раз.

– Двойную?

– Да, если вас это устроит.

Миссис Мак в жизни не отказывалась от денег, особенно если те сами плыли ей в руки, но, надо признать, нюх на поживу у нее был отменный.

– Вряд ли двойной оплаты будет достаточно. Нет, определенно недостаточно. Вот если бы вы предложили тройную?..

Мартин, которого я заметила только что, тоже спустился вниз и наблюдал за происходящим из глубины неосвещенной лавки.

– Миссис Миллингтон, – сказал Эдвард, твердо глядя мне в глаза, – ваша дочь – моя муза, моя судьба. Я заплачу столько, сколько вы сами сочтете достаточным.

– Ну что ж. Думаю, на четверной цене мы сговоримся.

– Согласен. – И только тогда он улыбнулся мне. – Тебе нужно забрать что-нибудь отсюда?

– Нет.

Я попрощалась с миссис Мак, и он, взяв меня за руку, повел по улицам Севен-Дайелз на север. Мы заговорили не сразу, но что-то между нами переменилось. Точнее, то, что было между нами уже давно, наконец получило подтверждение.

Когда мы покидали Ковент-Гарден и Эдвард поглядел на меня через плечо, я поняла, что пути назад уже не будет.

Джек вернулся, и кстати: кости прошлого так аппетитны, что, если меня не оторвать от этого занятия, я буду глотать их всю ночь.

Ах, любовь нельзя забыть.

Да, много времени прошло с тех пор, как Джек вышел из дому с тяжелой думой на челе и с фотоаппаратом через плечо. Сгустились сумерки, и со всех сторон нас обступают лиловые ночные тени.

В старой пивоварне он подключает фотоаппарат к компьютеру, и картинки стремительно перетекают на экран. Я вижу каждую. Он времени даром не терял: снова кладбище, роща, луг, перекресток в деревне, еще что-то – видны только текстура и цвет, сразу не разберешь, что тут такое. Но реки ни на одном снимке нет.

В душе шумит вода; его одежда кучкой лежит на полу; ванная полна

пара. Надо полагать, он уже задумывается об ужине.

Но на кухню не спешит. Выйдя из душевой, все еще с полотенцем вокруг бедер, он идет к столу, берет телефон, подбрасывает его на ладони, точно раздумывая, позвонить или не стоит. Я наблюдаю за ним с кровати, гадая, решится ли он разочаровать Розалинд Уилер своим докладом о тайнике и камне, которого там нет.

Выдохнув так, что его плечи опускаются на целый дюйм, он набирает номер и ждет, приложив телефон к уху. Кончиками пальцев другой руки он легко постукивает себя по губам – бессознательная привычка, которая проявляется у многих в моменты нервной задумчивости.

– Сара, это я.

Вот это да! Гораздо интереснее отчета о поисках.

– Послушай, ты была не права вчера. Я не передумаю. И домой не уеду. Я хочу их знать – мне *необходимо* знать их. – Их. Тех девочек, двойняшек. Дочек Джека и Сары. (Одно ясно как день: общество действительно изменилось. В мое время женщине запретили бы видеть своих детей, если бы она посмела уйти из дома их отца.)

Теперь говорит Сара и, надо полагать, напоминает ему, что отцовство – это не только то, что нужно *ему*, но и кое-что другое, поскольку он отвечает:

– Я знаю; я не то хотел сказать. Я хотел сказать, что ведь и я им тоже нужен. Им нужен папа, Сар; по крайней мере, настанет день, когда они поймут, что им нужен отец.

Снова молчание. Судя по тому, как громко и долго она говорит – я слышу ее голос даже с кровати, – она с ним не согласна.

– Да, – снова говорит он, – да, я знаю. Я был плохим мужем... Да, ты права. Я виноват. Но ведь это было так давно, Сар, целых семь лет назад. У меня все клетки в организме сменились... Нет, я не шучу, я серьезно. Я стал другим. Даже хобби завел. Помнишь тот старый фотоаппарат...

И снова говорит она, а он кивает, порой издает звуки, показывая, что он здесь, слушает, а сам смотрит в угол комнаты, где стены встречаются с потолком, и взглядом чертит соединяющую их линию, ожидая, пока Сара не закончит.

По всей видимости, ее монолог поубавил его надежду – он говорит поникшим голосом:

– Слушай, Сар, я только прошу дать мне еще один шанс. Разреши мне навещать их время от времени, водить в Леголенд, или в Гарри-Поттер-Уорлд, или куда они захотят. Поставь любые условия, какие хочешь, я на все согласен. Только дай мне шанс.

Звонок заканчивается ничем – не договорились. Он бросает телефон на кровать, трет себе шею, медленно идет в ванную и снова берет фотографию девочек.

Сегодня мы с ним думаем об одном и том же, он и я. Мы оба разлучены с теми, кого любим, оба пробираемся через воспоминания, ищем какого-то решения.

Нет на свете людей, которым совсем никто не нужен, каждый ищет свой шанс, даже самые застенчивые: ведь жить в одиночку так страшно, даже вообразить себе такую жизнь – и то страшно. Мир, вселенная – существование – слишком велики для одного человека. Хорошо живым, они не знают, насколько жизнь обширнее, чем они полагают. Иногда я думаю о Люси – вот кто, наверное, порадовался бы, окажись у нее столько времени.

На кухне Джек открывает банку чего-то похожего на фасоль в соусе и начинает есть. Даже не разогревает. А когда телефон звонит снова, бегом бросается к нему, но, увидев на экране номер, огорчается. И не отвечает.

У каждого, к кому меня влечет, есть своя история.

И каждая не похожа на предыдущую, хотя у всех моих гостей есть кое-что общее: каждый кого-то потерял, и это их объединяет. Я давно поняла, что потеря оставляет в душе человека дыру, а дыры любят, чтобы их заполняли. Такова природа вещей.

Вот почему они почти всегда слышат, когда я с ними говорю... а иногда, если мне очень повезет, отвечают.

Глава 18

Лето 1940 года

Спички нашлись в старой зеленой жестянке, на полке за плитой. Их углядел Фредди и, со здоровым энтузиазмом подскакивая то на одной ноге, то на другой, тут же объявил себя победителем. Такое неприкрытое торжество снова заставило зареветь уставшего Типа, и Джульетта, которая пыталась зажечь горелку под чайником, тихонько ругнулась.

– Ну что ты, – сказала она, когда спичка наконец вспыхнула, – это все пустяки, Типпи, хороший мой. Не стоит из-за этого плакать. – И повернулась к Фредди, который продолжал бурно радоваться. – Постыдился бы, Рыж. Ты же на четыре года старше.

Фредди, не выказывая решительно никакого стыда, продолжал приплясывать вокруг них, пока Джульетта вытирала Типу лицо.

– Я хочу домой, – сказал Тип.

Джульетта едва успела открыть рот, как ее опередила Беатрис.

– Ну и зря, – громко заявила она из другой комнаты, – никакого «дома» больше нет. Ничего не осталось.

Терпение Джульетты подходило к концу, и она из последних сил сдерживалась, чтобы не сорваться. Всю дорогу из Лондона она старалась казаться веселой, но, похоже, этого было недостаточно. Придется продолжать в том же духе. А значит, с резким ответом на подростковую грубость дочери – переходный возраст, кстати, настал у нее на год-другой раньше, чем когда-то у Джульетты, или это только кажется? – придется подождать. Склонившись к Типу, чья мордашка пошла какими-то пятнами, она почувствовала, как сердце сдавила тревога: слишком уж часто он дышит, и плечики такие хрупкие, прямо воробьиные.

– Пойдем, поможешь мне с ужином, – шепнула ему она. – И знаешь, если я поищу как следует, то, может быть, найду тебе кусочек шоколадки.

Корзинка с провизией была подарком от жителей деревни. Конечно, обо всем позаботилась миссис Хэммет, жена хозяина паба: свежий хлеб, серпик сыра и кусочек масла. Свежая клубника и крыжовник в муслиновых тряпочках, пинта жирного молока и в самом низу – о радость! – маленькая плитка шоколада.

Когда Тип взял свой квадратик шоколада и, словно бродячий кот, ушел

в поисках укромного местечка, чтобылизать нанесенные его самолюбию раны, Джульетта взялась за сэндвичи с сыром. На кухне от нее никогда не было особого проку – до замужества она умела только варить яйца, да и жизнь с Аланом не особенно обогатила ее кулинарный репертуар, – но сейчас это казалось ей своего рода терапией: отрезать кусочек хлеба, намазать маслом, сверху положить сыр, повторить.

Занимаясь сэндвичами, она поглядывала на подписанную от руки карточку, которую нашла в корзинке. Ровным четким почерком миссис Хэммет приветствовала их в деревне и приглашала в пятницу вечером на ужин в деревенский паб «Лебедь». Вообще-то, карточку из конверта достала Беа: ее так вдохновила идея побывать там, где родители провели свой медовый месяц, что сказать «нет» было бы, по меньшей мере, неразумно. Но возвращаться было все же странно, особенно без Алана. Двенадцать лет назад они вдвоем жили в крохотной комнатке с линялыми обоями в желтую полоску и окном из кусочков стекла в частом свинцовом переплете, откуда были видны поля и река за ними. Тогда на каминной полке еще стояла треснувшая ваза с сухим букетом: пара стеблей ворсянки и дрок, из-за которого в комнате пахло кокосом.

Засвистел чайник, и Джульетта крикнула Беа, чтобы та отложила флейту и шла заваривать чай.

Последовало недовольное сопение, какие-то шлепки, но чайник со свежей заваркой все же появился на столе, за которым уже собрались дети в ожидании сэндвичей.

Джульетта устала. Все они устали. Целый день тряслись в битком набитом поезде, который тащился из Лондона на запад. Еды, взятой в дорогу, хватило только до Рединга; остаток пути показался невыносимо долгим.

Бедный малыш Тип, какие у него круги под глазами – темные, синие, – и к сэндвичам почти не притронулся. Сидит с ней рядом, щеку подпер ладонью, сгорбился.

Джульетта наклонилась к нему, чтобы ощутить масляный запах его детских волос:

– Ну как, малыш Типпи, держишься?

Он разомкнул губы, будто хотел что-то сказать, но только зевнул.

– Может, наведаемся в сад к миссис Марвел?

Он медленно кивнул, так что прямая челка качнулась вперед и назад, скрыв и снова открыв глаза.

– Ну тогда пошли, – сказала она. – Пойдешь баиньки.

Он заснул раньше, чем Джульетта добралась до сада в своем рассказе. Еще на тропе, у калитки, Тип тяжело привалился к Джульетте, и та поняла, что он уже не с ней.

Она позволила себе прикрыть глаза, выравнивая свое дыхание по его медленному ритму, наслаждаясь плотностью маленького теплого тела; его близостью; выдохами, которые щекотали ей щеку, как крылья бабочки.

Из открытого окна тянуло ветерком, и она сама наверняка заснула бы, если бы не пунктирные взрывы смеха и дробный топот внизу. Сначала Джульетта не обращала внимания на возню, но, когда та ожидаемо перешла в потасовку между сестрой и братом, осторожно сняла с себя руки Типа и снова спустилась на кухню. Разогнала старших по постелям и, оставшись одна, смогла наконец оценить обстановку.

Представитель АИИ вручил ей ключ с застенчивым и в то же время агрессивным видом. В доме не жили по крайней мере год – с начала войны. Кто-то, правда, сделал попытку прибраться, но следов заброшенности хватало. В дымоходе одного из каминов валялась охапка старой листвы, а звуки, которые донеслись из холодного черного зева, стоило Джульетте потянуть за болтавшийся внутри щупалец, убедили ее в том, что камин обитаем. Но на дворе еще стояло лето, и Джульетта решила, что с этим можно подождать. Да и вообще, как верно заметил тот тип из АИИ, когда из чулана навстречу им вылетела ласточка, идет война и не годится требовать чересчур многого.

Ванной комнатой наверху можно было пользоваться, лишь преодолевая известное внутреннее сопротивление, но ничего, краны и сливное отверстие со временем отчистятся, да и плитку на полу можно отскрести. Говоря с Джульеттой по телефону, миссис Хэммет обмолвилась, что пожилая дама, которая жила здесь раньше, очень любила этот дом, но под конец у нее почти не осталось средств на его содержание. А еще она была «уж больно разборчива в жильцах», отчего дом подолгу стоял совсем пустым. Да, работы предстоит немало, это уж наверняка, но, может, оно и к лучшему. Приводя в порядок временное жилье, дети скорее почувствуют это жилище своим, обретут чувство принадлежности и ответственности за него.

Хотя летний вечер был совсем светлым, все дети уже заснули. Прислонившись к двери большой спальни в задней части дома, Джульетта смотрела на них. Хмурое выражение, не сходившее с мордашки Беа в последние месяцы, вдруг исчезло. Она спокойно лежала на спине, выпростав из-под одеяла тонкие руки с узкими кистями и длинными пальцами и вытянув их вдоль тела. Когда она только родилась, акушерка

осторожно разогнула ее продолговатые ручки и ножки и объявила, что девочка будет бегуньей, но Джульетте хватило одного взгляда на хрупкие, изящные пальчики, головокружительные в своем совершенстве, чтобы понять: дочь будет музыкантшей.

Джульетта вдруг вспомнила, как они с дочкой шли через Рассел-сквер, держась за руки. Беа было тогда четыре, она что-то рассказывала, такая серьезная – глазки широко распахнуты, мордашка сосредоточена, – и при этом изящно перебирала своими длинными ножками, вприскок, чтобы не отстать. Какая она была очаровательная в детстве – все занимало ее, и сама она была такая занятая, тихая, но совсем не застенчивая. Зато сейчас дочь как будто подменили: напряженная, всегда чем-то недовольная, чужая.

А Фредди, наоборот, все такой же успокоительно-знакомый. Вот он лежит, одеяло сползло до пояса, оголив крепкий торс, рубашка вывернута и валяется на полу. Согнутые в коленях ноги раскинуты, как будто он и во сне борется с простынями. Бесплезно что-либо поправлять, Джульетта и не пыталась. Он и родился совсем не таким, как Беа: крепеньким и красным.

– Бог ты мой, какого рыжего ты родила, – сказал тогда Алан, глядя в свертки у нее в руках, – и пресердитого к тому же.

С тех пор Фреда так и звали: Рыжий или Рыж. Теперь он, конечно, стал крупнее, но характер остался все тот же – огневой. Он вечно что-то изображал, всех очаровывал, смешил и сам не уставал смеяться. С ним было нелегко; он был то ясен, как солнечный свет, то оборачивался грозовой тучей.

Джульетта подошла к малышу Типу – тот свернулся на полу в гнезде из подушек, как часто делал в последнее время. Он вспотел, на белой наволочке остался влажный круглый след от головы, тонкие светлые волоски над ушами прилипли к коже. (Все ее дети сильно потели во сне. Это у них от Алана.)

Джульетта приподняла простыню, прикрыв узкую грудку Типа, подоткнула с боков, расправила в середине и помешкала, положив ему на сердце раскрытую ладонь.

Интересно, почему она всегда так беспокоится именно за Типа? Потому что он младший? Или причина во врожденной тонкости его натуры, которую она интуитивно чувствовала, в страхе, что она не сможет его защитить и, если с ним что-нибудь случится, не сумеет ничего исправить?

– Не кидайся в кроличью нору, – сказал ее внутренний Алан. – Упасть – легко, выбираться – морока.

И он был прав. Нечего слезы лить. С Типом все в порядке. Все просто замечательно.

Бросив последний взгляд на свою троицу, Джульетта закрыла за собой дверь.

Комната, которую она выбрала для себя, была маленькой, зажатой между двумя другими, побольше. Ей всегда импонировали тесные пространства – какая-то связь с утробой, несомненно. Правда, в комнате не было письменного стола, так что Джульетте пришлось пристроить пишущую машинку на крышку орехового комода, который стоял под окном. Не роскошно, конечно, зато функционально, а в ее положении можно ли желать большего?

Джульетта села в изножье металлической кровати, на выцветшее от времени лоскутное покрывало. На стене напротив висела картина: темный лес, почти чаща, а на его фоне – яркий, какой-то неоновый рододендрон. Рамка держалась на гвозде при помощи проволоки, та заржавела от времени и, казалось, вот-вот должна была рассыпаться в прах. В пустотах потолка над головой что-то скреблось, да так, что картина вздрагивала.

В тишине и покое Джульетта расслабилась, только сейчас осознав, как была напряжена до этого. Ей давно хотелось уложить ребят спать, чтобы побыть наедине со своими мыслями; и когда это наконец случилось, она почувствовала, что ей не хватает знакомых звуков, той глубинной уверенности в себе, которую внушали дети. В доме царило безмолвие. Непривычное. И Джульетта была одна посреди этого безмолвия.

Она открыла чемодан и поставила его рядом с собой. Кожа на уголках совсем истерлась, но это был верный друг, еще со времен репертуарного театра, и она была рада, что чемодан и сейчас с ней. Ее пальцы задумчиво скользнули между двумя стопками аккуратно сложенных платьев и блузок, и Джульетта задумалась, стоит ли доставать их сейчас.

Наконец она решилась: извлекла из-под одежды маленькую бутылочку и спустилась по лестнице.

Прихватив из кухонного шкафа стакан, она вышла из дома.

Воздух внутри садовой ограды был теплым, сумерки – голубоватыми. Стоял один из тех долгих летних вечеров, когда кажется, будто день раздумал переходить в ночь и так и застыл в одном мгновении.

В каменной ограде была калитка, за ней начиналась пыльная полоса земли, которую представитель АИИ назвал «дорогой для экипажей». Дорога скоро привела Джульетту к садовому столу, установленному на травянистом пятачке между двумя ивами. У их корней, в овражке,

жизнерадостно журчал ручеек. Точно не река; скорее, приток, – предположила она. Поставив на стол стакан, она стала наливать в него виски, аккуратно, чтобы не перелить за половину. Когда умозрительная средняя линия была достигнута, она расщедрилась и добавила еще чуть-чуть.

– До донышка, – сказала она сумеркам.

Первый же глоток, медленный и тягучий, бальзамом пролился на душу. Джульетта закрыла глаза и впервые за много часов позволила себе подумать об Алане.

Интересно, что бы он сказал, узнав, что она с детьми здесь. В свое время ему тоже понравилось это место, хотя не так, как ей. Крохотная деревушка на берегу Темзы и особенно причудливый старый дом с двумя фронтонами на ее краю стали слабостью Джульетты, из-за которой он часто ее дразнил. Называл «романтической особой», раскатисто напирая на звук «р».

Возможно, он был прав. Но ее романтизм всегда был не самого последнего разбора. Даже когда Алан отправился во Францию, она подавляла желание осыпать его в каждом письме нарочитыми уверениями в своей любви. В этом не было необходимости – он *знал* о ее чувствах, – а пойти на поводу у одиночества и войны, позволить им склонить ее к сентиментальности, которой она будет стыдиться потом, вновь оказавшись лицом к лицу с Аланом, значило признаться в недостатке веры. Разве от того, что Британия вступила в войну с Германией, ее любовь к мужу выросла? А в те дни, когда он, повязав фартук и насвистывая, жарил на ужин рыбу, она, значит, любила его не так сильно?

Нет. Определенно, решительно и твердо – нет.

Вот почему, вместо того чтобы переводить бумагу на клятвы и обещания, выманенные войной, они выражали уважение друг к другу тем, что не писали ничего, кроме правды.

Последнее письмо Алана лежало у Джульетты в кармане, но она не спешила его доставать. Вместо этого, прихватив бутылочку, она пошла по заросшей травой дороге к реке.

Письмо Алана стало для нее и тотемным столбом, и первым верстовым камнем того пути, в который она отправилась в одиночку. Оно было с ней в бомбоубежище в ту ночь, лежало в томике «Дэвида Копперфилда», которого она взялась перечитывать. Пока старая клуша из тридцать четвертой квартиры щелкала вязальными спицами и напевала «Мы встретимся вновь», а четверо мальчишек Уитфилдов носились, наступая людям на ноги, и орали как оглашенные, Джульетта снова и снова

пробегала глазами строки, в которых Алан описывал Дюнкерк, – сильно прореженные редактурой, несомненно, но все же поразительно живые. Он писал о солдатах на берегу и о том пути, который привел их туда; о деревнях, мимо которых они шли, о малышах и пожилых женщинах с кривыми, как луки, ногами, о телегах, доверху нагруженных чемоданами, птичьими клетками и узлами из вязаных покрывал. Эти люди пытались спастись сами и увезти свой скарб от ужаса и разрушений войны, но для них нигде не было безопасного места.

«Я увидел мальчика, у которого сильно кровоточила нога, – писал Алан. – Он сидел верхом на полуобвалившейся изгороди, в глазах был даже не страх, а то пугающее безразличие, которое овладевает человеком, осознавшим, что вот это и есть его судьба. Я спросил, как его зовут, не нужна ли ему помощь и где его семья, и он, подумав, тихо ответил мне по-французски. „Не знаю, – сказал он. И опять: – Не знаю“. Бедняга совсем не мог идти, на его грязных щеках были дорожки от слез, и я понял, что не могу бросить его там одного. Он напомнил мне Типа. Постарше, правда, но такой же серьезный, как наш малыш. В конце концов он без единого слова недовольства или жалобы забрался мне на закорки, и я понес его к берегу».

Джульетта подошла к дощатому причалу и, несмотря на сумерки, сразу увидела, как он обветшал за двенадцать лет, прошедшие с того дня, когда они с Аланом сидели тут и пили чай из термоса миссис Хэммет. Она ненадолго прикрыла глаза и позволила звукам реки сомкнуться вокруг нее. В их неизменности было что-то утешительное: что бы ни творилось в мире, какие бы глупости ни совершал человек, как бы ни мучил себя, река продолжает течь.

Открыв глаза, она скользнула взглядом по роще, по кронам деревьев, поникших в ночном безветрии. Нет, дальше она не пойдет. Дети могут проснуться и испугаются, если ее не будет дома.

Повернувшись в ту сторону, откуда пришла, Джульетта различила над мягкими бархатными контурами темного сада в Берчвуд-Мэнор более отчетливые очертания – острые треугольники двойных фронтонов и восемь восклицательных знаков дымовых труб.

Она села на траву, спиной к стволу ивы, а бутылочку с виски пристроила в травяной кочке у ног.

И ощутила прилив восторга, тут же угасшего при мысли о том, какие обстоятельства привели ее сюда.

Идея вернуться в этот дом ровно через двенадцать лет после того, как она увидела его впервые, пришла ей в голову полностью оформленной. Под звуки отбоя воздушной тревоги они выбирались из бомбоубежища, но ее

мысли были далеко.

Запах, из-за него она сразу угадала, что дело труба: пахло дымом, гарью, штукатуркой и несчастьем, а снаружи клубился туман, пронизанный непривычно ярким солнцем. Она не сразу поняла, что их дома больше нет и что рассвет льется сквозь дыру в ленточной застройке.

Джульетта выронила сумку, но осознала это, лишь когда увидела свои вещи, лежащие среди обломков у ее ног. Томик «Дэвида Копперфилда» раскрылся, ударившись корешком о землю, ветерок шевелил страницы, а рядом лежала старая открытка, которая служила закладкой. Это позже Джульетта будет договариваться, организовывать, утрясать детали, думать о мелочах, а в тот момент, когда она, наклонившись, протянула руку за открыткой с изображением «Лебедя», в ушах у нее звенело от детских криков, которые то удалялись, то приближались, ее накрыла горячая волна паники, принеся парализующую мысль о том, как чудовищно случившееся с ними. И лишь потом за ней пришла другая, отчетливая и спокойная.

Она всплыла из самых глубин памяти, оттуда, где хранится все, что происходит с человеком за его жизнь, и в тот момент показалась ей не безумной, а, наоборот, простой и ясной. Джульетта знала одно: детей надо отправить в тихое, безопасное место. Знание было инстинктивным, животным; ни о чем другом она не могла думать, а когда ее взгляд упал на открытку, подаренную Аланом в память об их медовом месяце, на старинный паб, нарисованный сепией, у нее возникло ощущение, будто муж стоит рядом и держит ее за руку. И ей сразу стало так легко, будто и не было этих месяцев без него, наполненных беспокойством и тревогой, когда он, далекий и недостижимый, ничем не мог ей помочь. Но теперь, пробираясь через груды мусора навстречу Типу, она вдруг почувствовала необычайный прилив сил, потому что поняла, как быть дальше.

Позже ей пришло в голову, что та вспышка уверенности в себе могла, вообще говоря, быть симптомом временного помешательства, вызванного шоком, но последующие дни, пока они с детьми кочевали по знакомым, попутно обрастая разномастной коллекцией необходимых вещей, укрепили ее в изначальном решении. Учебный год кончился, и дети толпами покидали Лондон. Но Джульетта даже помыслить не могла о том, чтобы отправить свою троицу куда-нибудь без присмотра. Не исключено, что старших такое приключение только порадовало бы – особенно Беа, которая ценила независимость и рвалась жить с кем угодно, лишь бы не с матерью, – но не Типа, ее маленького птенчика.

Несколько дней после той бомбежки он не спускал с нее расширенных глаз, провожая каждый ее шаг тревожным взглядом, и к вечеру лицо

Джульетты буквально сводило от улыбки, которой она старалась показать ему, что все в порядке. Но наконец, с помощью любви и умелого пополнения его коллекции камней, она успокоила Типа настолько, что сумела выкроить часок и для себя.

Пристроив детей на время к лучшему другу Алана, Джереми, неплохому драматургу, – в его блумсберийской квартире, на полу, они в последнее время спали особенно часто, – Джульетта вышла на Гауэр-стрит, откуда позвонила по телефону-автомату в «Лебедь»; на том конце шепелявой линии трубку взяла не кто иная, как миссис Хэммет. Джульетта объяснила, кто она такая, напомнив об их медовом месяце двенадцатилетней давности, старшая женщина вспомнила ее, а когда услышала, что Джульетта хочет приехать сама и привезти детей, искренне обрадовалась и обещала поспрашивать у людей в деревне, не сдаст ли им кто-нибудь жилье. На следующий день Джульетта позвонила снова, и миссис Хэммет сообщила, что во всей деревне нашелся лишь один дом, который сдается.

– Он, правда, обветшал, но не так чтобы очень, бывает и похуже. И электричества нет, но с нынешним затемнением мы и сами его почти не видим. Зато арендная плата небольшая, да и вообще, другого жилья по эту сторону Лондона не найти ни по любви, ни за деньги, все комнаты расхватали эвакуированные.

Джульетта спросила, где, по отношению к «Лебедю», находится этот дом, а когда миссис Хэммет описала это место, нервная дрожь волнами побежала у нее по спине. Она сразу поняла, о каком доме идет речь; раздумывать над ответом было незачем. Она сказала миссис Хэммет, что согласна, и тут же договорилась об оплате за первый месяц телеграфным переводом на имя компании, которой теперь принадлежали права на дом. Положив трубку, Джульетта не сразу вышла из будки. Пока она разговаривала, быстро бегущие утренние облака за стеклом сгустились и потемнели, и люди теперь торопливо шли по улице; многие обхватили себя руками и наклонили голову под порывом налетевшего невесть откуда холодного ветра.

До той минуты Джульетта не делилась своими планами ни с кем. Кто угодно мог убедить ее в бредовости ее затеи, а ей этого нисколько не хотелось. Но теперь, когда первый решительный шаг был сделан, предстояло сделать и остальные. Например, предупредить мистера Таллискера, редактора газеты, где она работала. Мистер Таллискер был ее непосредственным начальником, а значит, не мог не заметить отсутствия Джульетты на службе.

Она тут же направилась в офис на Флит-стрит, и у самого входа ее настиг дождь. Забежав в туалетную комнату на втором этаже, она кое-как привела в порядок волосы, кончиками пальцев оттянула на себе блузку и потрясла, подсушивая промокшую материю. Глядя на себя в зеркало, Джульетта заметила, какое у нее бледное, исхудавшее лицо. Помады не было, так что она просто пощипала губы, потеряла их друг о друга и улыбнулась своему отражению. Эффект оказался неубедительным.

И верно.

– Господи боже мой, – сказал мистер Таллискер, как только вышла его секретарша. – Дела у вас и впрямь обстоят неважно. – Сдвинув к переносице брови, он внимательно выслушал ее план, затем сложил на груди руки и откинулся на спинку кожаного кресла. – Берчвуд, – произнес он наконец, глядя на нее поверх обширного, заваленного бумагами стола. – Кажется, Беркшир?

– Да.

– Театров там маловато.

– Да, но я планирую приезжать в Лондон каждые две недели – каждую неделю, если нужно, – и писать свои обозрения здесь.

Таллискер неодобрительно хмыкнул, и Джульетта почувствовала, как вымечтанное будущее выскользывает из ее рук и тает вдали. Когда он заговорил снова, по его голосу нельзя было судить, о чем он думает.

– Мне жаль, что с вами случилось это.

– Спасибо.

– Чертовы бомбежки.

– Да.

– Чертова война.

Он взял ручку, приподнял ее над столом и бросил, потом еще раз и еще, словно показывая, как падают зажигательные бомбы. В немытое окно, замаскированное покривившимися жалюзи, билась в предсмертной агонии муха.

Тикали часы.

Кто-то засмеялся в коридоре.

С резкостью и проворством, неожиданными для человека его габаритов, мистер Таллискер отбросил ручку и заменил ее сигаретой.

– Берчвуд, – повторил он решительно, окутываясь облаком дыма. – Это может сработать.

– Я сделаю так, чтобы все сработало. Я буду приезжать в Лондон...

– Нет. – Он отмахнулся от ее слов. – Не надо в Лондон. И театров не надо.

– Сэр?

Сигарета превратилась в указку, огненный кончик которой нацелился на нее.

– Лондонцы – храбрый народ, Джул, но они устали. Им нужен отдых, который большинство из них не сможет получить. Театры – штука хорошая, но что может быть лучше жизни в деревне, на солнышке? Вот она, суть. Вот что сейчас нужно людям.

– Мистер Таллискер, я...

– Еженедельная колонка. – Он широко развел руки в стороны, точно развернул в воздухе невидимый транспарант. – «Письма из провинции». Вроде как пишешь домой, маме. О себе, о детях, о местных жителях. Побольше солнца, побольше несущек с цыплятами, историй о деревенских олухах.

– Каких олухах?

– Ну о фермерах, их женах, викариях, соседях – короче, сплетни.

– Сплетни?

– И чем смешнее, тем лучше.

Сидя теперь под ивой и вспоминая тот разговор, Джульетта нахмурилась и поерзала спиной по шероховатому стволу, пытаясь устроиться поудобнее. Она не умела писать смешно – по крайней мере, не для печати и тем более не для тех, кого совсем не знала. Насмешливой она бывала, и даже, как ей говорили, колкой, но смешной – нет, это не для нее. Но мистер Таллискер твердо стоял на своем, и договор Фауста с Мефистофелем был подписан. Она купила шанс вырваться из лондонского ада, приехать сюда, заплатив за это... чем? «Собой, моя дорогая, только собой, – подсказал внутренний Алан, на чьих губах играла улыбка, – чем же еще?»

Джульетта посмотрела на себя. Блузка с чужого плеча сидела на ней кое-как. Но спасибо, конечно, тем, кто вызвался собрать для нее и детей кое-какую одежду; удивительно, что рядом всегда оказываются люди, готовые помочь в нужде. Ей вдруг вспомнилось, как пару лет назад они с Аланом ездили в Италию; когда они вышли из собора Святого Петра, хлынул дождь, и – о чудо! – цыгане, которые перед этим продавали только шляпы и солнечные очки, вдруг оказались нагружены зонтиками.

Легкая дрожь пробежала по ее телу при этом воспоминании, хотя не исключено, что ее причина была куда прозаичнее. Последние отблески дня уже растаяли во тьме, а ночь обещала быть прохладной. За городом тепло всегда уходит вместе с солнцем. В свой медовый месяц они с Аланом очень удивлялись тому, каким холодным был ночной воздух, как он леденил кожу

в той комнатенке над пабом, с обоями в лимонно-желтую полоску и узким, на одного, сиденьем под окном, куда они втискивались вдвоем. В те дни они были другими людьми, иными версиями самих себя: легкими, поджарыми, еще не нарастившими столько слоев жизни, как сейчас.

Джульетта взглянула на часы, но было очень темно, и она ничего не увидела. Однако, даже не зная, который час, она поняла, что надо возвращаться.

Ухватившись рукой за ствол, она оттолкнулась от него и встала.

В голове плыло; бутылочка с виски стала заметно легче – куда легче, чем она рассчитывала, – и Джульетте понадобилось время, чтобы привыкнуть держать равновесие.

Пока она стояла, покачиваясь и пытаясь справиться с головокружением, что-то вдали притянуло ее взгляд. Дом, точнее, слабый свет в нем, на самом верху одного из фронтонов – в мансарде, наверное.

Джульетта моргнула и встряхнула головой. Почудилось. В Берчвуд-Мэнор ведь нет электричества, а она еще не поднималась наверх и не могла оставить там лампу.

И точно: когда она снова посмотрела туда, света наверху уже не было.

Глава 19

Утром они поднялись вместе с солнцем. Джульетта лежала и слушала, как дети возбужденно носятся по дому, перебегая из одной комнаты в другую, восторгаясь светом, птичьими песнями, садом, нетерпеливо дожидаясь, когда же наконец можно будет выйти наружу. Голова была ватная от вчерашнего виски, и она притворялась спящей так долго, как только могла. Лишь ощутив внешней стороной опущенных век, что кто-то неотступно висит над ними, Джульетта наконец подала признаки пробуждения. Это оказался Фредди – его склоненное к ней лицо, и без того довольно крупное для его лет, в таком приближении выглядело непривычно большим.

Лицо тут же расплылось в ликующей щербатой улыбке. Веснушки на нем заплясали, темные глаза вспыхнули. Вокруг рта уже были какие-то крошки.

– Она не спит! – крикнул он, и Джульетта моргнула. – Вставай, ма, нам надо на реку.

Река. Верно. Джульетта медленно повернула голову и едва не ослепла при виде стеклянно-голубого неба, глядевшего в щель между шторами. Фредди уже тянул ее за руку; Джульетта нашла в себе силы кивнуть и даже выдавить жалкую улыбку. Этого было достаточно, чтобы он вприскокку выбежал из комнаты, испустив по дороге вопль, похожий на боевой клич индейцев.

Бесполезно объяснять Рыжу, что она здесь не в отпуске: он, с его неистощимой верой в бесконечность праздника жизни, все равно не поймет. На одиннадцать у нее была назначена встреча с местным подразделением Женской добровольной службы, – как надеялась Джульетта, этот разговор поможет ей нащупать подход к «Письмам из провинции». Но у такого безбожно раннего подъема было и свое преимущество – надо ведь обращать внимание и на светлую сторону вещей, – а именно неожиданно долгий промежуток времени, который можно было посвятить себе и детям до того, как ее призовет профессиональный долг.

Джульетта набросила хлопковую блузку в горошек – первое, что попало под руку, – натянула брюки, подпоясала их ремнем и провела по волосам пальцами. Забежала в ванную, где поплескала водой себе на лицо – все, она готова. Грубовато, конечно, но и так сойдет. Внизу она

прихватила корзинку миссис Хэммет с оставшимися в ней сыром и хлебом, и все вместе они вышли из дома на ту самую дорожку из плитняка, по которой Джульетта ходила вчера одна.

Тип в лянлых узких штанишках, которые были на целый дюйм короче, чем нужно, бежал, переставляя ножки, словно заводная кукла, едва поспевая за братом и сестрой, а те вприпрыжку неслись через луг к тропе, ведущей на реку. Добежав до большого каменного амбара у дороги, по которой когда-то ездили экипажи, Беатрис остановилась, повернулась и протянула руки к младшему. Тип вбежал прямо в ее объятия, и она подняла его и перебросила через плечо, чтобы он мог забраться ей на спину. До чего же это здорово – быть младшим из трех детей и жить в шумной, безалаберной семье, где все старше тебя и каждый тебя обожает.

Стайка гусей в тревоге кинулась врассыпную, когда дети протопали мимо, причем Рыж хохотал от простого счастья – бежать и чувствовать, как солнце пригревает кожу, а ветерок развеивает волосы. Джульетта не узнавала своих детей и вновь подивилась контрасту между этим местом и Лондоном – единственным домом, который они знали до сих пор. Дети, как и их отец, определенно принадлежали миру большого города, там была их настоящая родина. Она вспомнила, как впервые увидела его: высокого, худощавого, настоящего лондонца с деревянной трубкой в зубах, хмуро и надменно поглядывавшего на всех, кто был рядом. Он сразу показался ей заносчивым – талантливым, но безмерно самодовольным, даже напыщенным, – по любому поводу у него было свое мнение, которое ему всегда надо было высказать не простым, человеческим языком, как все, а непременно вычурно и замысловато. Но время, а еще больше – неудачный эпизод с крутящейся дверью в «Кларидже» сделали свое дело, и за маской холодного насмешника она увидела человека с живым, бьющимся сердцем.

Она догнала детей, и те, по очереди перебравшись через деревянный, оббитый плющом перелаз, пошли вдоль кромки воды к западу. В одном месте у берега была пришвартована красная лодка, длинная – на таких обычно ходили по каналам, – и Джульетта вспомнила, что где-то поблизости раньше была то ли запруда, то ли шлюз. И подумала, что надо будет устроить туда вылазку с детьми. Именно это предложил бы Алан, будь он здесь, и сказал бы: до чего же здорово, что им представилась возможность увидеть действующий шлюз.

Похожий на морского волка человек с бородкой и в фуражке с козырьком кивнул им с задней палубы лодки, Джульетта кивнула ему в ответ. «Да, – подумала она, – все-таки я правильно сделала, что приехала с детьми в Берчвуд-Мэнор. Здесь им наверняка будет лучше, чем в городе;

к тому же перемена места поможет забыть пережитые потрясения».

Мальчишки потрусили впереди, а Беа пошла шагом рядом с матерью.

– Когда вы приезжали сюда на медовый месяц, вы тоже гуляли по берегу?

– Конечно.

– А эта тропа к причалу?

– Она самая.

– К моему причалу.

Джульетта улыбнулась:

– Да.

– Почему вы поехали сюда?

Она искоса посмотрела на дочь.

– В эту деревню, – уточнила Беатрис. – В медовый месяц. Разве обычно люди ездят не к морю?

– А, ты вот о чем. Не знаю. Столько лет прошло, трудно вспомнить.

– Может, вам кто-то о ней рассказал?

– Может быть.

Джульетта наморщила лоб, вспоминая. Странно, какие-то события тех дней она помнит в деталях, а какие-то начисто стерлись из памяти. Беа права: скорее всего, кто-то – друзья друзей – надоумил их, а то и подсказал название местного паба. В театре всегда так бывало. Какой-нибудь разговор в гримерке, или в перерыве между читкой пьесы за сценой, или, скорее всего, у Берардо за пинтой пива.

Как бы то ни было, они позвонили в «Лебедь» по телефону, взяли номер и сразу после свадебного обеда приехали сюда из Лондона. Где-то между Редингом и Суиндоном Джульетта потеряла свою любимую ручку – именно такие мелочи и застревают в памяти так, что ничем не вытравить, – да и вся поездка на поезде помнилась ей настолько отчетливо, будто это было вчера. Последнее, что она тогда записала у себя в блокноте, – короткая, наспех составленная заметка о терьере породы вестхайленд, который сидел на полу по ту сторону прохода, у ног хозяина. Алан, всегда любивший собак, уже разговорился с хозяином, мужчиной в зеленом галстуке, и тот без конца твердил о диабете бедного мистера Персиваля и об уколах инсулина, которые тому надо делать постоянно, чтобы он чувствовал себя хорошо. Джульетта записывала – во-первых, по привычке, во-вторых, потому, что человек был ей симпатичен и так и просился в пьесу, которую она собиралась когда-нибудь написать. Но тут на нее навалилась такая тошнота, что пришлось срочно бежать в туалет, потом объясняться с удивленным и встревоженным Аланом, ну а потом они

прибыли в Суиндон, и в суете высадки она забыла в вагоне свою ручку.

Джульетта поддала ногой небольшой круглый камешек и проследила, как он, проскакав по траве, плюхнулся в воду. Дощатый причал был уже рядом. При свете дня она увидела, что он совсем обветшал за последние двенадцать лет. Тогда они с Аланом вдвоем сидели бок о бок на его дальнем краю, окуная пальцы босых ног в воду; теперь Джульетта не рискнула бы ступить на него даже одна.

– Это он?

– Тот самый.

– Повтори мне еще раз, что он сказал тогда.

– Он был в восторге. Сказал, что наконец-то у него будет своя маленькая девочка, о которой он так давно мечтал.

– Да ну.

– Ну да.

– Ты все выдумала.

– Нет, не выдумала.

– А какая была погода?

– Солнечная.

– Что вы ели?

– Сконсы.

– А как он узнал, что я буду девочкой?

– А-а... – протянула Джульетта с улыбкой. – Ты поумнела с тех пор, как я рассказывала тебе эту историю в прошлый раз.

Беатрис опустила голову, чтобы не показать, как она довольна словами матери, и Джульетте вдруг так захотелось обнять свою ключую девочку-женщину, пока еще можно. Но она знала, что этот жест не будет оценен.

Они пошли дальше. Беатрис сорвала одуванчик и стала легонько дуть на него, развеивая пушистые летучие семена в разные стороны. Получилось неожиданно красиво, как во сне, и Джульетте захотелось сделать то же самое.

Беатрис спросила:

– А что ответил папа, когда ты сказала ему, что мы переезжаем сюда?

Джульетта задумалась над ответом; она пообещала себе всегда быть честной со своими детьми.

– Я ему еще ничего не говорила.

– А как ты думаешь, что он скажет?

Что она спятила? Что они городские ребятишки, такие же, как он сам? Что она всегда была р-романтической?.. Знакомая, полузабытая трель прозвенела над ними, Джульетта замерла и знаком показала дочери сделать

то же самое.

– Слушай!

– Кто это?

– Ш-ш-ш... жаворонок.

Несколько секунд они стояли молча – Беатрис щурилась в голубое небо, высматривая затерянную в высоте птицу, а Джульетта вглядывалась в лицо дочери. Сосредотачиваясь, Беа особенно сильно была похожа на Алана: та же легкая морщинка над римским носом, те же густые сведенные брови.

– Вон он! – вскрикнула Беа, показывая пальцем и широко распахивая глаза. Жаворонок действительно был теперь виден – он летел к земле, словно одна из зажигательных бомб герра Гитлера. – Эй, Рыж, Типпи, смотрите!

Мальчики тут же обернулись, их взгляды устремились в направлении, указанном пальцем сестры.

Трудно поверить, что это долговязое одиннадцатилетнее создание было причиной того смятения, которое охватило ее вот здесь столько лет назад.

После происшествия в поезде Джульетта смогла заговорить Алану зубы. Сослалась на непривычно жирную пищу, на тряску в вагоне, на то, что она писала, глядя в блокнот, а не смотрела в окно, как остальные, но все равно знала: это ненадолго, скоро придется во всем признаться.

Владелица «Лебедя» миссис Хэммет торпедировала хрупкий кораблик ее обмана в их первое утро в пабе – из лучших побуждений, конечно.

– Сколько вам еще? – спросила она, с лучезарной улыбкой ставя на стол перед ними кувшинчик молока. Лицо Джульетты стало, наверное, настолько выразительным, что трактирщица смущенно постучала себя по носу пальцем, подмигнула и пообещала молчать как рыба.

Причал они нашли в тот же день, только чуть позже, когда миссис Хэммет отослала их гулять, снабдив корзинкой с продуктами для пикника – «входит в предложение для молодоженов», – и там, за чаем из термоса и очень неплохими сконсами, Джульетта и сообщила ему свое известие.

– Ребенок? – Алан перевел озадаченный взгляд с ее лица куда-то на область талии. – У тебя там, внутри? Сейчас?

– Предположительно.

– Боже мой!

– Вот именно.

Надо сказать, новость он принял хорошо. Джульетта даже немного расслабилась – легкость, с которой он отнесся к ее словам, сделала чуть

менее расплывчатой ту картину их нового будущего, которую она, как пазл, все пыталась сложить у себя в голове с тех пор, как акушерка подтвердила ее подозрения. И вдруг услышала:

– Я найду работу.

– В смысле?

– Ну я же кое-что умею, как ты знаешь.

– Конечно знаю. Например, ты лучший Макбет отсюда до самого Эдинбурга.

– Я про настоящую работу, Джулз. С восьми до пяти, как все нормальные люди. Работу, за которую платят.

– Платят?

– Чтобы ты могла оставаться дома, растить ребенка, быть матерью. Я могу... продавать обувь.

Она уже не помнила, что именно ответила ему тогда, зато помнила, как кувыркнулся набок термос и горячий чай ошпарил ей бедро, а потом она уже стояла на другом краю причала, дико размахивая руками и объясняя, что в ее намерения не входит сидеть дома с ребенком, что он не может ее к этому принудить, что лучше она будет брать ребенка с собой, если надо, и ничего, ребенок привыкнет, и они тоже справятся. Нечего и говорить, что Беатрис слышала от нее совсем иную версию.

Себя Джульетта слышала будто со стороны – ей казалось, что она говорит уверенно и четко, – как вдруг Алан потянулся к ней и сказал:

– Бога ради, Джульетта, сядь! – А когда она уже готова была послушаться и даже сделала к нему шаг, он добавил фатальное: – Надо быть осторожнее, в твоём положении.

Казалось, ей накинули на шею удавку и тянут, дышать становится нечем, и надо бежать – бежать во что бы то ни стало, бежать отсюда, от него, найти место, где ничто не будет стеснять ей дыхание.

Бурей она неслась по берегу, в направлении, противоположном тому, откуда они пришли, не обращая внимания на его отчаянные призывы, – летела к рожице на горизонте.

Джульетта не имела привычки плакать; в последний раз она плакала в шесть лет, когда умер отец и мать сказала ей, что из Лондона они переезжают в Шеффилд, где будут жить с бабушкой. Но сейчас, в пылу гнева и обиды на Алана за то, что он все понял так превратно – что он мог вообразить, будто она бросит свою работу и сядет дома с ребенком, пока он будет каждый день ходить и... что, продавать обувь? – мир вокруг нее завертелся, и ей показалось, будто она сама утрачивает телесность и расплывается клочьями, похожими на струйки дыма.

В мгновение ока Джульетта достигла рощи и, подчиняясь властному желанию укрыться где-нибудь, спрятаться, нырнула между стволами. Там она обнаружила тропу из примятой травы – так бывает, когда кто-то регулярно ходит по одному и тому же месту, – которая вела прочь от реки. Она решила, что тропа круговая и скоро выведет ее к деревне с другой стороны, ближе к «Лебедю», но с ориентацией на местности у нее всегда было неважно. Под грохочущий аккомпанемент своих мыслей Джульетта заходила в рощу все глубже, а когда наконец снова оказалась на солнце, то обнаружила, что никакой деревни рядом нет. И мало того что она заблудилась, ее вдруг замутило так отчаянно, что пришлось ухватиться обеими руками за ствол ближайшего дерева, и ее тут же вытошнило...

– У-и-и-и-и!

Джульетта даже подпрыгнула, когда на нее налетел Рыж, раскинув руки крестом:

– Мам, я спитфайр, а ты – юнкерс!

Она инстинктивно подалась в сторону, чтобы избежать столкновения.

– Мама, – сердито сказал он. – Это непатриотично!

– Извини, Рыж, – начала было она, но поздно – он уже устремлялся прочь на бреющем полете.

Тут она заметила, что Беа ушла далеко вперед и почти поравнялась с той самой рощей.

Джульетта расстроилась: больше десяти лет этот причал был частью их семейной истории, и она так мечтала привести сюда дочь, чтобы та увидела его своими глазами. Нельзя сказать, чтобы она ждала от этого посещения чего-то конкретного – и уж конечно, не думала, что дочь впадет в экстаз при виде этого места, – но ведь какая-нибудь реакция должна быть?

– Тебе грустно, мамочка?

Рядом стоял малыш Тип, внимательными глазенками глядя на нее снизу вверх.

Джульетта улыбнулась:

– Когда в комнате ты? Ни за что на свете.

– Но мы же не в комнате.

– Точно. Ты прав. Какая я глупая.

Он вложил в ее большую ладонь свою маленькую ладошку, и они вместе пошли за остальными. Джульетта не переставала удивляться тому, как точно руки ее детей входили в ее ладонь, а еще – тепло, которое неизменно разливалось у нее внутри, стоило ребенку просто взять ее за руку.

На другом берегу ярко желтело под солнцем ячменное поле. Глядя на то, как свежо серебрится Темза, слушая пчел, деловито жужжащих в зарослях клевера, трудно было поверить, что где-то идет война. Хотя в деревне она, конечно, оставила свои знаки: с домов исчезли таблички с названиями улиц, стекла в окнах были крест-накрест проклеены полосками бумаги, а на телефонной будке Джульетта заметила плакат, напоминавший местным жителям о необходимости копать для победы. И они копали – закрыли дерном даже Белого Коня в Уффингтоне, чтобы тот не послужил ориентиром для вражеских самолетов. И все равно мирный пейзаж в плавной излучине реки мешал поверить в реальность войны.

Тип еле слышно вздохнул рядом, и ей вдруг подумалось, что он ведет себя даже тише обычного. Да и темные круги под его глазами, которые она заметила вчера, не прошли до конца.

– Ты хорошо спал, мышонок?

Он кивнул:

– В новой кровати всегда немного не по себе.

– Правда?

– Да, но только сначала.

Похоже, он принялся обдумывать ее слова.

– А тебе тоже не по себе, мамочка?

– Ну конечно. Я же большая, а большим всегда от чего-нибудь не по себе.

– Но только сначала?

– Да.

Услышав это, Тип вроде бы немного успокоился, и ей стало приятно, но и немного тревожно. Она и не предполагала, что ее комфорт имеет какое-то значение для малыша. Затем Джульетта посмотрела вслед двум старшим, которые отошли уже довольно далеко. Им уж точно не приходило в голову интересоваться, хорошо она спит по ночам или нет.

– Палочка Пуха! – Тип вытянул свою ладошку из ее руки и нагнулся за гладкой серебристой веточкой, почти невидимой среди травы.

– Ой, правда. Какая замечательная. Красивая, да?

– Совсем гладкая.

– Это, наверное, ива. А может, береза.

– Надо посмотреть, умеет ли она плавать.

– Только не подходи к воде слишком близко, – сказала она, взъерошив ему волосы.

– Хорошо. Не буду. Здесь же глубоко.

– Наверняка.

- Здесь утонула девочка.
- Джульетта даже отпрянула:
- Нет, милый!
- Да, мамочка.
- Никто здесь не тонул.
- Утонула девочка. Она упала из лодки.
- Кто, какая девочка? Откуда ты узнал?
- Мне Берди сказала.

А потом он улыбнулся – серьезно, как все малыши, так что у нее даже зашло сердце, – и с совершенно другим настроением, торжествующе потрясая своей находкой над головой, побежал к брату и сестре, которые уже дрались из-за таких же палочек.

Джульетта смотрела ему вслед.

Опомнившись, она поняла, что грызет заусенец на пальце.

Она не знала, чего больше бояться: того, что ее малыш вдруг заговорил о девочках-утопленницах, или того, что новость сообщила ему пернатая подружка.

– У него очень живое воображение, – услышала она голос внутреннего Алана.

– Он разговаривает с птицами, – шепнула она еле слышно.

Джульетта потеряла сначала глаза, потом лоб, потом виски. В голове еще пульсировало после вчерашнего, и она с радостью отдала бы что угодно, лишь бы свернуться где-нибудь калачиком и поспать еще пару часов. А лучше дней.

С долгим, медленным вдохом она решила пока отодвинуть тревогу. Позже найдется время подумать и над этим. Тип уже добежал до тех двоих и теперь носился по полю, восторженно визжа и поглядывая через плечо на брата, а тот притворялся, что гонится за ним. Совсем как обычный мальчик. («Он и есть обычный мальчик», – сказал Алан.)

Джульетта взглянула на часы и увидела, что уже почти восемь. Слегка передернув плечами, она пошла к детям, которые ждали ее у рожи.

Поравнявшись с ними, она взмахнула рукой, чтобы они шли за ней дальше, в лес; и пока дети резвились между древесных стволов, размахивая палочками на манер мечей и изображая из себя рыцарей, Джульетта снова задумалась об Алане и о том дне, двенадцать лет тому назад, когда она убежала от него и впервые попала на эту тропу...

Да, тропа вывела ее явно не в деревню, это было ясно как день; перед ней лежало поле, по которому на равном расстоянии друг от друга были

расставлены большие круглые валки сена. За ним было еще поле, дальше – каменный амбар; за амбаром торчала какая-то крыша. С двумя коньками и нагромождением труб.

Вздохнув – солнце стояло высоко, и было очень жарко, а пламя ее гнева уже прогорело, оставив по себе горстку угольков, дотлевающих где-то в животе, – Джульетта поплелась по траве к далекому дому.

Как Алан мог настолько ее не понять; как мог вообразить, хотя бы на секунду, что она согласится бросить работу? Ведь она пишет не потому, что может писать; писательство – ее вторая натура. Как мог не увидеть этого он, мужчина, с которым она поклялась провести всю жизнь, чьим ушам доверяла свои самые сокровенные тайны?

Значит, она ошиблась. Это же очевидно. Их брак – ошибка, но теперь появится ребенок, и он будет маленьким и беззащитным, а также, скорее всего, шумным, с ним не будут пускать в театры, и она кончит, как ее мать, – несчастной пленницей своих неосуществившихся амбиций.

Может, еще не поздно все отменить? Их браку только один день. Всего-то двадцать четыре коротких часа. Может быть, если они отправятся в Лондон не откладывая, прямо сегодня, им еще удастся застать на месте того чиновника, который зарегистрировал их брак, и выпросить у него свидетельство о регистрации, пока он не подшил бумагу в папку? И тогда все будет как раньше, словно никакой свадьбы и не было.

Тут, видимо почувствовав угрозу своему будущему, маленькая жизнь внутри нее напомнила о себе новым приступом тошноты: «Я здесь!»

И она была права, эта жизнь. Она-то уже существовала. Она или он; маленький человечек рос внутри нее и в один прекрасный день, в не таком уж далеком будущем, собирался родиться. И даже отмена ее брака с Аланом не сможет этому помешать.

Джульетта дошла до края первого поля и открыла простую деревянную калитку, чтобы перейти на следующее. Хотелось пить; жаль, что она не догадалась захватить с собой термос.

Пройдя половину второго поля, она поравнялась с амбаром. Большие двустворчатые двери были открыты, и, проходя мимо, она заглянула внутрь и увидела большую сельскохозяйственную машину – молотилку; слово всплыло откуда-то из глубин памяти, – над которой со стропил свисала весельная лодка, судя по всему давно не видевшая реки.

Когда Джульетта добралась до края второго поля, его спелая желтизна вдруг сменилась яркой, сочной зеленью, какую можно увидеть лишь в разгар лета в садах сельской Англии. Этот сад был разбит вдоль задней стены того самого дома с двумя фронтонами, и хотя большую часть

изгороди скрывали заросли терновника, в ней была решетчатая калитка, сквозь которую Джульетта увидела двор с дорожками, усыпанными гравием, и одинокий каштан в центре. Его окружали клумбы с курчавой зеленой листвой и веселыми яркими цветами.

Она шла вдоль изгороди, пока не кончилось поле и под ее ногами не оказалась грунтовая дорога. Надо было выбирать – повернуть направо и вернуться туда, откуда она пришла, или пойти налево. Джульетта выбрала второе. Заросли терновника продолжались и с этой стороны ограды: на некотором расстоянии от поворота та переходила в каменную стену, вскоре сливавшуюся с боковой стеной дома. Там же была еще одна калитка, вернее, настоящие ворота из кованого железа, с фигурным козырьком наверху.

По ту сторону ворот дорожка из плитняка уводила к главному входу, который оказался до того нарядным и изысканным, что Джульетта невольно задержалась, наслаждаясь ласкающими глаз очертаниями и отделкой. Она всегда умела видеть красоту, особенно такую, рукотворную. Иногда по выходным они с Аланом садились в поезд и отправлялись в сельскую местность, а то и брали машину у кого-нибудь из знакомых и катались по тесным улочкам богом забытых деревушек. Джульетта всегда брала с собой блокнот, куда записывала все о понравившихся ей крышах или мостовых, выложенных каким-нибудь особым орнаментом, который она находила чудесным. Это хобби неизменно смешило Алана, который, беззлобно подтрунивая над ней, называл ее «ячеистой дамочкой» – из-за того, что Джульетта имела глупость больше одного раза обратить его внимание на ячеистый способ укладки черепицы, который особенно нравился ей.

Этот двухэтажный дом был сложен из камня, поросшего от старости лишайником. Крыша, тоже каменная, была на пару тонов темнее и радовала глаз. У самого конька плитки были маленькими, но, спускаясь к карнизам, становились все крупнее и крупнее. Лучи солнца по-разному отражались от их неровных поверхностей, и поэтому казалось, будто крыша живет и даже движется, словно чешуйчатая спина рыбы. В каждом из фронтонов было по окошку, и Джульетта прислонилась к воротам, чтобы разглядеть их; на миг ей почудилось, будто в одном окне что-то движется, но она тут же одернула себя: никого там нет, только мелькнула тень пролетающей птицы.

Пока она любовалась домом, створка ворот под ее рукой вдруг подалась внутрь, точно приглашая войти.

Джульетта шагнула на каменную дорожку сада, и ее тут же охватило чувство глубокого покоя. Сад был прекрасен: пропорции, выбор растений,

ощущение защищенности, которое давала стена вокруг. От ароматов кружило голову: тонкая нота позднего жасмина мешалась с запахами лаванды и жимолости. В древесных кронах порхали птицы, пчелы и бабочки летали между цветками, которых на обширных клумбах было великое множество.

Калитка, через которую вошла Джульетта, была вспомогательной. Теперь она разглядела широкую подъездную аллею, которая вела от входа к большим деревянным воротам в каменной ограде. Аллею окаймляли кусты штамбовых роз с бархатистыми розовыми лепестками, а в ее конце, у самой изгороди, раскинул ветви большой японский клен, разросшийся так, что его крона почти нависала над въездом.

Лужайка перед домом была густого зеленого цвета, и Джульетта, недолго думая, скинула башмаки и босиком ступила в траву. Та была прохладной, нежные стебельки приятно щекотали пальцы. Божественно, иначе и не скажешь.

Участок травы под кленом, пестрый от солнечного света, который просачивался сквозь крону, показался ей особенно привлекательным, и Джульетта направилась туда. Откровенное посягательство на неприкосновенность чужого владения. Но она была уверена: тот, кто живет в таком доме, окруженном таким садом, должен быть исключительно милым человеком.

Солнце пригревало, ветерок ласкал, и Джульетта, опустившись на траву под кленом, вдруг широко зевнула. Усталость нахлынула на нее, подхватила и увлекла в сон, и спорить с ней было невозможно. Такое часто случалось в последние дни, и всегда в самое неподходящее время – с тех самых пор, как она узнала о ребенке.

Подложив под голову вместо подушки свернутый кардиган, она легла на спину, так, чтобы видеть дом. Она пообещала себе, что полежит всего минуточку, а потом сразу встанет и пойдет, но солнце ласково пригревало ступни, и не успела она опомниться, как веки уже налились свинцом.

Проснувшись, Джульетта не сразу вспомнила, где она. Такого сна, как сейчас, – глубокого, без сновидений – она не знала уже много недель подряд.

Она села и потянулась. И только тогда заметила, что она больше не одна в саду.

Возле дома, у ближайшего к калитке угла, стоял человек. Он был старше нее. Не намного, и не столько годами, сразу ощутила она, сколько тяжестью души. Фронтоник – тут нельзя было ошибиться. Они до сих пор

носили военную форму, эти несчастные, сломленные войной люди. И навсегда останутся особым поколением – замкнутым, словно запертым в себе.

Он смотрел прямо на нее, с лицом серьезным, но не строгим.

– Извините! – крикнула ему Джульетта. – Я нечаянно зашла сюда без спросу. Заблудилась.

Он помолчал, а потом ответил коротким взмахом руки. По этому жесту Джульетта сразу поняла, что все в порядке; он не рассматривает ее как угрозу и понимает, какой неодолимый соблазн этот дом и этот сад с присущей им магией обольщения представляют для беззащитного заблудившегося путника, которого в жаркий день манит клочок прохладной, тенистой травы под пышным кленом.

Не говоря ни слова и не оглядываясь, мужчина вошел в дом и закрыл за собой дверь. Провожая его взглядом, Джульетта увидела свои башмаки. Короткая дорожка тени тянулась от них по траве. Она посмотрела на часы. Четыре часа прошло с тех пор, как она бросила Алана на причале.

Джульетта обулась, завязала шнурки и, оттолкнувшись от земли, встала.

Она знала, что пора уходить; что ей надо еще выяснить, где она находится относительно деревни; и все равно расставаться с этим местом было невыносимо жаль. Она вдруг ощутила такую сдавленность в груди, точно что-то удерживало ее здесь физически. Посреди ровно подстриженной лужайки она остановилась, подняла голову и снова стала глядеть на дом, и от необычного, румяного света, который заливал его в тот момент, все в ее жизни вдруг стало совершенно ясным.

Любовь – таким было ее главное ощущение тогда, любовь глубокая, сильная, изначальная, не к кому-то или чему-то конкретному, а ко всему вообще. Этой любовью, казалось, было пропитано все, что она видела, и все, что слышала, тоже: залитая солнцем листва и глубокие тени под деревьями, каменная кладка дома и песни птиц, порхающих над головой. И в этом румянном сиянии она внезапно ощутила то, что люди религиозные, должно быть, чувствуют в церкви: ее омыла глубочайшая уверенность в том, что кто-то знает все ее мысли, всю ее насквозь, и у нее есть место, которому она принадлежит, и есть человек, которого она может назвать своим. И это было так просто. В этом был свет, красота и истина.

Когда она добралась наконец до «Лебедя», Алан уже ждал ее. Джульетта через две ступеньки взлетела по лестнице и распахнула дверь в их комнатенку, вся раскрасневшаяся и от жары, и от тех откровений,

которые принес ей этот день.

Алан стоял у окна с частым переплетом, старинные стекла которого слегка искажали речной пейзаж, напряженная поза выдавала неловкость, как будто он принял ее, только услышав шаги на лестнице. Выражение лица было настороженным, и Джульетта не сразу вспомнила почему: да, они же поссорились на причале, и она убежала, пылая гневом.

– Ничего не говори, просто послушай, – начал Алан, – я хочу, чтобы ты знала: я никогда не имел в виду, что тебе надо...

Джульетта помотала головой:

– Все это уже совсем не важно, разве ты не понимаешь? Все это не имеет никакого значения.

– В чем дело? Что-то случилось?

Все было по-прежнему внутри нее – и ясность, и свет, – не хватало только слов, чтобы рассказать о них, но энергия золотого свечения переполняла Джульетту, и сдерживать ее не было больше никакой возможности. Она подбежала к нему, страстная, нетерпеливая, заключила его лицо в свои ладони и поцеловала его так, что всякая враждебность между ними, всякая напряженность, если они еще оставались, растаяли без следа. А когда он удивленно открыл рот, чтобы заговорить, она снова помотала головой и прижала палец к его губам, призывая к молчанию. Не надо слов. Слова все испортят.

Вот этот миг.

Сейчас.

Глава 20

Сад был почти таким, каким Джульетта его запомнила. Конечно, немного одичал, но ведь миссис Хэммет предупреждала, что женщина, владевшая домом в ту пору, когда Джульетта набрела на него в 1928 году, вынуждена была передать бразды правления своей собственностью другим.

– Девяносто лет, вот сколько ей было, когда она умерла тем летом. Садовник, правда, по-прежнему приходит раз в месяц, как было заведено при ней, только работает спустя рукава, да и что с него взять, – в голосе хозяйки прозвучала нотка презрения, – горожанин, он и есть горожанин. Люси в гробу перевернулась бы, случись ей увидеть, как он обкромсал розы в этом году, готовя их к зиме.

Джульетта, вспоминая великолепие сада образца 1928 года, спросила, жила ли владелица по-прежнему в своем доме, на что получила ответ: нет, примерно тогда Люси и начала свои «шашни» с ассоциацией, а сама перебралась в домик здесь, в деревне, поблизости.

– Жила тут, неподалеку, снимала коттедж в ряду таких же, перестроенных из конюшен. Да вы их, наверно, видели? Меньше ступенек для одинокой старухи, говорила она. А я думаю, меньше воспоминаний – вот что было важнее всего.

– В Берчвуде с ней что-то случилось?

– Да нет, я не про то. Дом-то она любила, что и говорить. Просто вы еще молоденькая и не знаете, что для стариков тяжелы все воспоминания, даже самые приятные.

Время уже успело придавить Джульетту своей тяжестью. Но она не хотела обсуждать это сейчас, тем более с миссис Хэммет.

Договор с АИИ, насколько она поняла, предполагал возможность проживания в доме стипендиатов, изучающих искусство. Человек, передавший им ключ вчера вечером, когда они приехали из Лондона, сказал, поправляя на носу очки:

– Дом не слишком современный. Обычно здесь останавливаются люди одинокие, а не семьи с детьми, и ненадолго. К сожалению, у нас нет электричества, хотя, с другой стороны, война... А в остальном все должно быть в порядке...

Тут из кладовой выпорхнула птица и пролетела прямо у них над головами, мужчина начал бурно оправдываться, а Джульетта, сказав слова благодарности, стала подталкивать его к двери, и лишь когда он заспешил

прочь по дорожке из плитняка, а она заперла за ним дверь, оба наконец вздохнули свободно. Привалившись к двери спиной, она увидела устремленные на нее взгляды трех вынужденно перемещенных подростков, ожидавших ужина.

С тех пор они тут неплохо обжились. Идет уже четвертый день, погода стоит ясная и теплая, так что встают они рано и каждое утро проводят в саду. Беа повадилась забираться на каменную стену в самом солнечном месте, усаживаться на нее по-турецки и играть на флейте, а Рыж, который заметно уступал сестре в ловкости, но не хотел в этом признаваться, притаскивал весь свой арсенал палок, тоже взгромождался с ними на стену, причем в самом узком месте, и метал палки вниз, как копья. Джульетта каждый день твердила им о том, что в саду есть немало свободных ровных мест, поросших приятной травкой и точно специально предназначенных для развлечений такого рода, но ее никто не слушал. Слава богу, Типа высота не манила. Он выбирал себе укромный уголок в траве или в кустах, каждый день новый, и сидел там, терпеливо выстраивая шеренги из игрушечных солдатиков, которых прислала одна добрая леди из числа женщин-добровольцев, после того как Джульетта встретила с ними.

Дом. Странно, до чего быстро она привыкла думать о Берчвуде как о доме. Вообще-то, у этого слова много значений: это и официальное наименование строения, где в данный момент обитает тот или иной гражданин, это и теплое, круглое, доброе имя того безопасного места, где каждого ждет утешение и радость. Дом – это голос Алана в конце долгого, трудного дня; его обнимающие руки; обоюдное знание того, насколько сильно они любят друг друга.

Господи, как же ей плохо без него.

Если бы не дети и не работа, она не знала бы, как жить. Как и было запланировано, с женщинами из местного отделения Добровольной службы Джульетта встретила в понедельник, в одиннадцать утра. Встреча проходила в деревенском зале для собраний, через лужайку от «Лебеда», и когда Джульетта вошла, то услышала развеселую музыку – наверху, похоже, танцевали, смеялись и пели. От неожиданности она даже застыла на миг посреди лестницы, подумав, что перепутала адрес, но когда все же заглянула в дверь на площадке второго этажа, то увидела миссис Хэммет: та сидела посреди комнаты в кругу других женщин и сразу помахала Джульетте, подзывая ее и указывая на свободный стул. Стены зала украшали сине-красно-белые британские флаги, а из каждого угла смотрела круглая физиономия Черчилля.

Джульетта пришла на встречу с готовым списком вопросов, но уже

через пару минут открыла блокнот на чистой странице и стала скорописью отмечать течение свободного разговора. Она привыкла засиживаться за полночь, тщательно продумывая каждую статью, но тут вдруг обнаружила, что ее воображению, при всей его тренированности, не угнаться за реальной жизнью этих женщин, эксцентричное обаяние и мудрость которых подействовали на нее так сильно, что скоро она уже смеялась вместе с ними и переживала за них. Марджори Стаббс поведала немало любопытного об испытаниях и бедах, которые выпадают на долю начинающего свиновода, отважившегося заняться разведением поросят на заднем дворе собственного дома; Милли Маклмур изложила остроумные способы применения дырявых чулок; а Имоджен Стивенс так проникновенно и красочно рассказала о недавнем возвращении домой жениха ее дочери, который воевал в авиации, пропал без вести и считался убитым, что все ее слушательницы дружно взяли за носовые платки.

И хотя все женщины, видимо, хорошо знали друг друга – среди них были матери и дочери, тетки и племянницы, подруги детства, – к Джульетте они отнеслись с большим радушием и теплотой: все, как могли, старались приветить ее в своем тесном кругу. Кроме того, им было любопытно и во многом забавно узнать, как смотрят на жизнь лондонцы, и многое из того, о чем рассказала гостья, выглядело для них не менее странным, чем их жизнь – для нее. Когда настала пора расходиться, Джульетта пообещала прийти на следующую встречу, хотя материала, собранного ею за один раз, хватило бы, чтобы развлекать читателей газеты года примерно до двухтысячного. Если нам суждено выиграть эту войну, решила она, шагая через поля в Берчвуд-Мэнор, это случится во многом благодаря женщинам – стойким, находчивым, которые собираются сейчас по всей Англии в таких вот комнатах, ободряют и поддерживают друг друга, не давая подругам упасть духом и опустить руки.

Сохраняя позаимствованную у них твердость духа, Джульетта провела три следующих дня за пишущей машинкой, у подоконника своей спальни. Это было не самое удобное для работы место – комод, на который она водрузила машинку, был, конечно, симпатичным, но вот ноги девать было решительно некуда, – но Джульетте оно нравилось. Побегги ароматной жимолости и завитки клематиса заглядывали в окно, норовя уцепиться за карниз для штор, а вид на сад, на деревню и особенно на сельское кладбище, к которому вела тропинка, оказывал на нее по-настоящему целительное воздействие. Каменную церковь, очень старую, окружало небольшое, но очень красивое место упокоения: замшелые каменные плиты в зарослях кудрявого плюща. Джульетта еще не успела там

побывать, но визит на кладбище значился в ее списке обязательных дел.

Иногда, если день был слишком хорошим, чтобы сидеть дома, Джульетта брала блокнот и шла в сад. Там она находила тенистый уголок, растягивалась на траве и попеременно то писала, то грызла карандаш, украдкой наблюдая за детьми. Те, похоже, уже совсем освоились: смеялись, играли, хорошо ели, а также дрались, боролись, топали и, как обычно, слегка сводили ее с ума под вечер.

Джульетта решила быть сильной ради них. Место за штурвалом их маленького семейного самолета занимала теперь она, и какие бы сомнения ни наваливались на нее по ночам, когда она гасила свет и погружалась в медленно текущую бессонную тьму, как бы ни снедало ее беспокойство – вдруг она сделает неправильный выбор и этим разрушит их жизнь? – ответственность за то, чтобы дети каждый день чувствовали себя спокойно и уверенно, лежала теперь на ней и только на ней. Без Алана нести этот груз стало куда тяжелее. Трудно быть единственным взрослым в семье.

Надо сказать, большую часть времени ей удавалось вести себя как ни в чем не бывало, не считая того случая в среду вечером, когда она чуть не сорвалась. Думая, что дети на лугу за домом, она сидела у себя и стучала по клавишам, надеясь до ужина закончить статью для мистера Таллискера. Встреча с дамами из Женской добровольной службы Берчвуда и Леклейда в понедельник утром убедила ее в правильности решения редактора: их обворожительные в своем разнообразии характеры так вдохновили Джульетту, что она твердо решила воздать им должное.

Она как раз писала историю дочери Имоджен Стивенс и дошла до того места, когда молодая женщина случайно взглянула в окно кухни и увидела, что мужчина, которого она любила и которого ей велели считать мертвым, идет по садовой дорожке к двери ее дома. Пальцы бегали по клавишам быстрее, чем отскакивали от бумаги молоточки; Джульетта была вся там, в рассказе, и вместе со своей героиней сорвала с себя передник и бросилась к двери, твердя себе, что глаза обманули ее, замешкалась, боясь убедиться в своей ошибке, и тут же услышала звук ключа, поворачиваемого в замке. И когда дочь Имоджен упала в объятия возлюбленного, сердце самой Джульетты забило так сильно, что она не выдержала – месяцы тревоги и ожидания, усталости и внезапных перемен дали о себе знать; всего на минуту она позволила себе ослабить защиту.

– Мам? – Голос раздался сзади, потом ближе. – Мама? Ты что, плачешь?

Джульетта, которая уперлась в крышку комода локтями и спрятала лицо в ладонях, застыла на полувсхлипе. Как можно тише переведе

дыхание, она сказала:

– Не говори глупостей.

– А что ты тогда делаешь?

– Думаю, конечно. А что? Ты делаешь это как-то иначе? – Она повернулась, с улыбкой запустила карандашом в дочь и добавила: – Ах ты, Пушистый Медвежонок! Разве ты когда-нибудь видела, чтобы я плакала?

И вот теперь Тип. За него было тревожно, как, впрочем, и всегда. Джульетта до сих пор не решила, есть у нее новые причины для беспокойства за младшего или нет. Просто она так его любит – не больше, чем остальных, нет, но как-то иначе. А еще он стал чаще уединяться. («Вот и отлично, – сказал ей внутренний Алан. – Значит, он умеет себя занять. Лучший вид людей. Он займется творчеством, вот увидишь, будет художником, когда вырастет».) Если бы он просто играл в одиночку в солдатиков, которых то выстраивал на полу в шеренги, сбивая потом одного за другим, то отправлял с тайной миссией в сад или в дальний угол дома, было бы еще ничего; но в последнее время Джульетта часто замечала, что он с кем-то беседует, хотя рядом никого нет. Если она заставляла сына за этим занятием снаружи, то валила все на птиц, но он и в доме делал то же самое. Особенно он любил местечко на лестнице, где почему-то всегда было тепло, и раз-другой Джульетта, не устояв перед соблазном, принималась шпионить за ним, подглядывая из-за угла.

Как-то днем, когда Тип играл, сидя на пятках, в саду за домом, под яблоней, она подкралась к нему и тоже тихонько опустилась на землю за его за спиной.

– С кем ты разговариваешь? – спросила она, стараясь выглядеть беззаботной, но с таким напряжением, что голос ее выдал.

– С Берди.

Джульетта подняла глаза на крону яблони:

– Берди на дереве, да, милый?

Тип посмотрел на нее так, словно она рехнулась.

– Или уже улетела? Может быть, мама ее спугнула?

– Берди не летает.

– Нет?

Он помотал головой:

– Она ходит ножками, как ты и я.

– Понятно. – Нелетающая птица. Что ж, и такие бывают. Нечасто, правда. – А она поет?

– Иногда.

– А где ты повстречал Берди? Она сидела на дереве?

Тип слегка нахмурился, глядя на солдатиков, точно обдумывал ее вопрос, а потом мотнул головой в сторону дома.

– В доме?

Он кивнул, все так же глядя на игрушки.

– Что она там делала?

– Она там живет. Иногда выходит в сад.

– Я вижу.

Тут он резко обернулся:

– Правда? Ты правда видишь ее, мамочка?

Джульетта растерялась. Ей очень хотелось обнадежить Типа, сказать: «Я тоже вижу твою воображаемую подружку»; но, как она ни старалась принять мысль о том, что ее сын придумал себе друга, чтобы проще пережить время больших перемен, поддерживать эту иллюзию казалось ей недопустимым.

– Нет, милый, – сказала она. – Берди – твоя подружка, не мамина.

– Но ты ей тоже нравишься, мамочка. Она сама так сказала.

У Джульетты заныло сердце.

– Это очень хорошо, милый. Я рада.

– Она хочет тебе помочь. Она сказала мне, чтобы я о тебе заботился.

Джульетта больше не могла противиться своим чувствам. Она сгребла сынишку в объятия, прижала его к себе, ощущая, как ей казалось, каждую косточку своего маленького мужчины, тепло его крошечного тела, и, думая о том, какая большая жизнь ему предстоит, ужасалась тому, как он от нее зависим – от нее, господи боже, как будто *она* может ему что-то дать.

– Мамочка, ты плачешь?

Черт! Опять!

– Нет, милый.

– Но я чувствую, как ты дрожишь.

– Ты прав, но это не грустные слезы. Просто я очень счастливая мама, ведь у меня есть такой замечательный мальчик.

В тот вечер, когда дети уснули и сон будто вернул их мордашкам ребяческое выражение и ребяческую припухлость, Джульетта крадучись вышла из дому на похолодевший воздух и пошла к реке, к причалу, чтобы посидеть там и снова полюбоваться на дом.

Налив себе стаканчик виски, она выпила его неразбавленным.

Она хорошо помнила тот гнев, который охватил ее тогда, в летний день 1928 года, когда она сообщила Алану о своей беременности.

Но то, что тогда ей казалось гневом, вызванным неспособностью Алана ее понять, на деле было страхом. Внезапным, опустошающим ощущением одиночества, очень похожего на страх ребенка, который боится, что его покинут. Этим, наверное, и объясняется то, как она вела себя тогда – вскочила, наговорила ерунды, убежала.

Ах, если бы можно было вернуться назад и сделать все иначе, прожить тот момент заново. Тот день. И следующий. И еще много-много дней подряд. Дни, когда в их жизни появились сначала Беа, потом Рыж, потом Тип. Теперь все трое растут и потихоньку отдаляются от нее.

Джульетта поднесла к губам стаканчик и опрокинула его. Ничего не вернешь. Время идет в одном направлении. И не останавливается. Даже не замедляется никогда, чтобы дать человеку подумать. Единственный путь назад – память.

В тот день, когда она вернулась в «Лебедь» и они вдоволь нацеловались, и помирились, и уже лежали в обнимку на узкой кровати с такими симпатичными железными спинками, Алан взял ее лицо обеими руками, посмотрел ей прямо в глаза и торжественно поклялся никогда больше не оскорблять ее предложением сидеть дома.

И тогда Джульетта, поцеловав его в самый кончик носа, дала ответное обещание не препятствовать ему, если он когда-нибудь решит торговать обувью.

В пятницу утром Джульетта сразу перечитала свою первую статью из серии «Письма из провинции» и послала ее мистеру Таллискеру по телеграфу. Название было временным – «Женщины на совете войны, или День с Министерством обороны», но она держала пальцы за то, чтобы редактор согласился и оставил его как есть.

Довольная тем, что статья удалась, Джульетта решила устроить перерыв и, оставив Типа играть с солдатиками в саду, прогуляться со старшими детьми до старого амбара в конце поля. Они сделали там какое-то открытие и очень хотели поделиться с ней.

– Смотри! Здесь лодка.

– Так-так, – сказала со смехом Джульетта.

И объяснила детям, что маленькую гребную лодочку, висящую в этом самом амбаре на этих самых стропилах, она видела еще двенадцать лет назад.

– Та самая?

– Скорее всего, да.

Рыж, который уже успел найти лестницу, вскарабкался по ней наверх и

теперь висел, зацепившись за лодку одной рукой, в состоянии подозрительного нервного возбуждения.

– Можно мы спустим ее, ма? Скажи «да», пожалуйста!

– Осторожно, Рыж.

– Мы умеем грести, – подхватила Беа. – Да и вообще, река тут совсем мелкая.

Тут же вспомнились Тип, утонувшая девочка, опасность.

– Пожалуйста, мамочка, пожалуйста!

– Рыж, – сказала Джульетта строго. – Ты сейчас свалишься и проведешь остаток лета в гипсе.

Но он ее, разумеется, не услышал и тут же принялся скакать на перекладинах лестницы.

– Слезай уже, Рыж, – сказала Беа, недовольно поморщившись. – Как, по-твоему, мама поднимется посмотреть, если ты занял всю лестницу?

Пока Рыж спускался, Джульетта, стоя на полу, рассматривала лодку. Алан за ее спиной шептал ей прямо в ухо, что, если все время держать их на коротком поводке, ни к чему хорошему это не приведет:

«Будешь над ними так трястись, они превратятся в пугливых хлюпиков, которые от нас ни на шаг! И что мы тогда будем с ними делать? До конца жизни им сопли вытирать? Нет уж, спасибо!»

– Ладно, – сказала Джульетта, подумав, – если мы сможем ее спустить и если в ней не окажется дырок, не вижу, почему бы вам двоим не отнести ее на реку.

В приступе бурной радости Рыж прыгнул на тоненькую Беа и порывисто обнял ее, хотя та отбивалась как могла, а Джульетта тем временем заняла его место на лестнице. Она обнаружила, что лодку удерживала наверху система веревок и блоков; последние, хотя и заржавели от времени, все еще делали свою работу. Она нашла веревку с крюком, который держался за балку, отцепила его и сбросила вниз, на пол, потом спустилась сама и стала тянуть за свободный конец, опуская лодку вниз.

Про себя Джульетта надеялась, что лодка, виденная ею еще двенадцать лет назад, окажется непригодной для плавания; но, хотя внутри было полно паутины и в придачу лежал толстый слой пыли, тщательный осмотр днища показал, что причин для беспокойства нет. Лодка была суха, как лист, ни следа гнили; похоже, кто-то не так давно приложил немало труда, приводя ее в порядок.

Джульетта задумчиво провела пальцем по изгибу лодки от верхнего края борта до киля, когда что-то вдруг привлекло ее внимание. Что-то блеснуло на солнце.

– Ну, ма-а-ма? – Рыж тянул ее за рубашку. – Можно мы уже понесем ее к воде? Ну, мо-ожно?

Блестящий предмет крепко застрял в бороздке между двумя кусками дерева, но Джульетта все же умудрилась выковырять его оттуда.

– Что это? – спросила Беа, привставая на цыпочки, чтобы заглянуть матери через плечо.

– Монета. Старая. Кажется, двухпенсовик.

– Ценная?

– Да нет, вряд ли. – Она потерла монетку пальцем. – Но симпатичная, правда?

– Да какая разница? – Рыж скакал с ноги на ногу. – Можно мы уже спустим ее? Ну ма-а!

Задавив остатки материнской тревоги и отогнав всяческие «а вдруг?», Джульетта объявила лодку годной и сама помогла детям дотащить ее до края поля, откуда смотрела потом, как они, сгибаясь по обе стороны своей неудобной ноши, скрываются с ней вдаль.

Тип был еще в саду, когда Джульетта вернулась. Солнечный свет пятнами пробивался через кудрявую крону японского клена, зажигая в мягких прямых волосах ребенка золотые и серебряные прядки. Он опять принес солдатиков и играл в какую-то замысловатую игру, задействовав палочки, камешки, перья и другие занимательные штуковины, разложенные по кругу.

Она заметила, что Тип болтает, как сорока, а подойдя ближе, услышала его смех, тонкий, как звон колокольчика. От него сразу сделался светлее и этот солнечный день, и все их будущее, но тут малыш наклонил голову, и Джульетта поняла: он прислушивается к чему-то, неслышному ей. Ясный день померк для нее, будто тень нашла на солнце.

– Тебе весело, малыш Типпи? – спросила она, подходя и садясь с ним рядом.

Он кивнул, взял одно перо и начал вертеть его пальцами.

Джульетта смахнула с его коленки сухой лист.

– Расскажи мне – я тоже люблю шутки.

– Это была не шутка.

– Нет?

– Это просто Берди.

Джульетта была к этому готова и все равно почувствовала, как у нее холодеет в животе.

Тип добавил:

– Она меня смешит.

Джульетта подавила вздох и сказала:

– Ну что ж, это хорошо, Типпи. Когда живешь среди людей, важно уметь выбирать тех, кто может тебя рассмешить.

– А папочка тоже смешит тебя, мама?

– Еще как. Никто больше так не умеет, ну, только вы трое.

– Берди говорит... – Тут он умолк.

– Что, Типпи? Что она говорит?

Он покачал головой и стал смотреть на камешек, который теперь катал по своей коленке.

Джульетта попробовала зайти с другой стороны.

– Тип, а Берди сейчас с нами?

Кивок.

– Прямо здесь? Сидит на земле?

Еще кивок.

– Какая она?

– У нее длинные волосы.

– Правда?

Он оторвал взгляд от камешка и стал смотреть прямо перед собой:

– Да, они рыжие. И платье тоже длинное.

Джульетта проследила за его взглядом и выпрямила спину, заставив себя улыбаться во весь рот.

– Здравствуй, Берди, – сказала она. – Как приятно наконец познакомиться с тобой. Я Джульетта, мама Типа, и я уже давно хочу сказать тебе спасибо. Типпи говорил мне, что ты сказала ему, чтобы он заботился обо мне, и я хочу, чтобы ты знала: он очень хороший мальчик. Каждый вечер помогает мне убирать после чая посуду, складывает со мной одежду, пока двое других бесятся, словно дикари. Я очень им горжусь.

Маленькая ладошка Типа скользнула в ее ладонь, и Джульетта пожала ее.

«Быть родителем – это же так просто, – услышала она насмешливый голос Алана. – Примерно как с завязанными глазами вести самолет с дыркой в крыле».

Глава 21

В пятницу, в шесть часов вечера, все четверо, одетые с чужого плеча, вышли из дома и зашагали по тропинке к деревне. До места доскреблись относительно быстро: уже в шесть тридцать, всего после пары остановок – сначала у поля, чтобы полюбоваться на большеглазых коров с длинными ресницами, потом для того, чтобы дать Типу подобрать понравившиеся ему камешки, – они пересекли треугольную деревенскую лужайку и встали у дверей «Лебеда».

Миссис Хэммет предупредила их, чтобы они вошли в парадную дверь, как обычно, но повернули не налево, в паб, а направо, в гостиную.

Сама она была уже там, пила коктейль с другой гостьей – высокой женщиной лет пятидесяти, в очках с такой изумительной черепаховой оправой, какой Джульетта не видела никогда в жизни. Они обернулись, когда Джульетта с детьми ввалилась в парадную дверь, и миссис Хэммет воскликнула:

– Всем добро пожаловать! Проходите, я так рада, что вы смогли выбраться.

– Извините, мы опоздали. – Джульетта с улыбкой кивнула на Типа. – По дороге нам попались камешки, очень важные, их нужно было собрать во что бы то ни стало.

Женщина в очках сказала:

– Этот мальчик мне нравится. – Легкий акцент наводил на мысль об Америке.

Дети довольно спокойно выстояли процедуру знакомства и произнесли все положенные фразы, которые Джульетта вбивала в них по пути. Затем она отправила их в холл, заметив там пару глубоких кожаных кресел, – отличное место, где трое голодных отпрысков смогут дожидаться ужина, никому не мешая.

– Миссис Райт, – сказала миссис Хэммет, когда Джульетта вернулась, – это доктор Лавгроув. Доктор Лавгроув остановилась у нас, в номере наверху. Для нее это тоже повторный визит в нашу деревню. Сороковой год, наверное, особенный – всем захотелось вернуться именно сейчас!

Доктор Лавгроув протянула руку.

– Очень рада встрече, – сказала она, – и, пожалуйста, зовите меня Адой.

– Спасибо, Ада. А я Джульетта.

– Миссис Хэммет рассказывала, что вы с детьми живете сейчас в Берчвуд-Мэнор?

– Да, в воскресенье приехали.

– Много лет назад там была школа, я в ней училась.

– Да, я слышала, что когда-то давно там учили детей.

– Да уж, давным-давно, я бы сказала. Школы нет уже много десятков лет, она закрылась почти сразу после моего отъезда. Рухнул один из последних бастионов допотопных представлений о том, что должно представлять собой женское образование. Много шить, еще больше петь, а книжки, насколько я помню, мы не столько читали, сколько носили на голове – для улучшения осанки.

– Ну уж, ну уж, – возразила миссис Хэммет. – Люси старалась как могла. Да и вам, доктор, местное образование пошло только на пользу, как я погляжу.

Ада засмеялась:

– Это верно. И насчет Люси вы тоже правы. Я так надеялась повидаться с ней.

– Эх, жалко, не вышло.

– Это я во всем виновата. Слишком долго тянула. А смерть никого не ждет, не подождала и Люси. Как ни странно, но именно школа в Берчвуде, при всех ее странностях, определила весь мой дальнейший жизненный путь. Я ведь археолог, – пояснила она. – Профессор университета в Нью-Йорке. А началось все с членства в Обществе изучения естественной истории, которое учредила в своей школе мисс Рэдклифф. Люси – то есть мисс Рэдклифф – была настоящим энтузиастом. Позже мне доводилось встречать преподавателей, которые не обладали и вполнину таким острым чутьем, как она, – ее коллекция окаменелостей и других находок была превосходна. Комната, в которой они хранились, была истинной сокровищницей. Жаль только, места было мало. Вы наверняка уже видели ее: на втором этаже, крошечная, у самой лестницы.

– Теперь там живу я, – ответила Джульетта с улыбкой.

– Тогда можете себе представить, как там было тесно от полок, которые громоздились от пола до потолка, заставленные и заваленные всевозможными предметами.

– Могу, – ответила Джульетта, берясь за блокнот, без которого не выходила из дома. – А еще мне нравится думать, что у одного дома было столько разных воплощений. Это навело меня на мысль.

И она сделала короткую запись, добавив, что пишет серию очерков под общим названием «Письма из провинции», а миссис Хэммет тут же

добавила:

– Я и мои дамы уже стали героинями дебютного очерка, ни больше ни меньше! Вы ведь пришлете нам копии, миссис Райт?

– Я специально просила об этом редактора и оставила ему адрес, миссис Хэммет. Посылка будет ждать вас на почте в понедельник утром.

– Замечательно! Дамы так взволнованы. А если станете писать о Люси, не забудьте сказать, что она была сестрой Эдварда Рэдклиффа.

Джульетта свела брови: имя показалось ей смутно знакомым.

– Художник. Из Пурпурного братства, о котором сейчас столько говорят. Он умер молодым, так что о нем мало кто помнит, но это он купил дом в излучине реки. Там что-то случилось, настоящий скандал. Он и его друзья приехали в дом на лето – давным-давно, моя мать была еще девчонкой, но до своего смертного часа помнила, как все произошло. Убили молодую красивую наследницу. Они с Рэдклиффом должны были пожениться, но ее смерть разбила ему сердце, и он никогда больше не возвращался в наши места. А дом достался Люси по завещанию.

Дверь отворилась, и раскрасневшийся – прямо из-за стойки паба – мистер Хэммет придержал ее перед молоденькой служанкой, которая с озабоченным видом внесла поднос, на котором исходили аппетитным парком тарелки.

– А, – просияла миссис Хэммет, – вот и ужин поспел. Сейчас вы увидите, что наша кухарка умеет сделать с обычным рулетом из колбасных обрезков на пару!

То, что сотворила из этой незамысловатой пицци кухарка, иначе как чудом назвать было нельзя. Колбасные обрезки на пару никогда не входили в число любимых блюд Джульетты, но этот рулет, политый густым – неспрашивайте-из-чего – соусом, просто таял во рту. Что еще приятнее, дети вели себя за столом лучше некуда: на все вопросы отвечали вежливо, хотя, может быть, слишком уж подробно – но это смотря на чей вкус, – и даже сами задавали вопросы, и совсем не глупые. Тип, правда, умудрился влезть пальцами во все лужицы свечного воска по очереди, а потом наследил на скатерти, оставив отпечатки, которые, застыв, превратились в подобие маленьких окаменелостей, но зато никто не забыл сказать после еды спасибо, никто не промокал скатертью нос, а когда Беа вежливо спросила, нельзя ли им снова вернуться в холл, где они продолжают играть в карты, Джульетта счастливо сказала «да».

– Вашим детям нравится в Берчвуд-Мэнор? – спросила Ада, пока горничная миссис Хэммет все с той же озабоченной миной разливала кофе

и чай. – Для них ведь здесь все в новинку после Лондона?

– К счастью, перемена места, похоже, пошла им на пользу.

– А как же, в деревне детям всегда есть чем себя занять, – сказала миссис Хэммет. – Хотела бы я посмотреть на ребенка, которому не понравилось бы в наших местах.

Ада рассмеялась:

– Жаль, что вы не видели меня в детстве.

– И что, вам тут не понравилось?

– Потом-то, конечно, понравилось. Но сначала нет. Я родилась в Индии и была там счастлива до тех пор, пока в один прекрасный день меня не посадили на корабль и не увезли сюда, в школу. Я заранее настроилась на то, что не люблю здешние места, и не любила: все здесь казалось мне слишком воспитанным и пресным. Непривычным, мягко говоря.

– Как долго вы пробыли в этой школе?

– Чуть больше двух лет. Ее закрыли, когда мне исполнилось десять, и тогда меня отправили в большую школу почти в самом Оксфорде.

– Ужасный был случай, – сказала миссис Хэммет. – Одна девочка утонула во время летнего пикника. Школа потом недолго протянула. – И она, нахмурившись, поглядела на Аду. – А ведь вы, доктор Лавгроув, наверное, были там, когда это случилось.

– Да, была, – подтвердила Ада, которая сняла очки и протирает теперь линзы.

– Вы знали ту девочку?

– Не слишком хорошо. Она была старше.

Женщины продолжали разговор, но Джульетта задумалась о Типе. Он ведь говорил о девочке, которая утонула в реке, и теперь она гадала, мог ли он услышать об этом здесь, в деревне. Нет, вряд ли, он ведь говорил ей о девочке еще утром их первого дня в Берчвуде – у него просто не было времени пообщаться с кем-нибудь из деревенских. Может, конечно, ему шепнул что-нибудь тот нервный молодой человек из АИИ. Да, теперь Джульетта вспомнила: вид у него был вполне себе на уме.

Но может ведь стать, что Тип просто высказал свои самые потаенные страхи. Разве она сама не твердила ему – больше, чем другим, – чтобы он был осторожнее? Алан сейчас сказал бы: «Вот, говорил я тебе, будешь над ними трястись, вырастут никчемными трусишками». А может, Тип просто угадал: люди ведь тонут в реках; можно побиться об заклад, что на каждом квадратном метре Темзы за всю ее историю кто-нибудь да утонул, и наверняка не проиграешь. А она просто находит себе лишний

повод для беспокойства, как всегда, когда дело касается Типа.

– Миссис Райт?

Джульетта моргнула:

– Извините меня, миссис Хэммет. Я тут замечталась.

– Надеюсь, у вас все в порядке? Хотите еще кофе?

Джульетта с улыбкой пододвинула к ней свою чашку и, как это часто бывает с людьми, которые в одиночку сражаются с тревогой, словно с превосходящими силами противника, вдруг обнаружила, что уже рассказывает о своих переживаниях этим двум женщинам.

– Бедный мышонок, – сказала миссис Хэммет. – И неудивительно, после всего, что на него свалилось. Но ничего, он справится, вот увидите, не хуже других будет. Не успеете оглянуться, как пройдут недели, и окажется, что он и думать забыл о своей «подружке».

– Наверное, вы правы, – сказала Джульетта. – У меня самой никогда не было выдуманных друзей. Вот почему мне кажется странным, что можно вот так, ни с того ни с сего, взять и придумать человека.

– А эта придуманная подружка что, подбивает его на шалости?

– Нет, слава богу, нет, миссис Хэммет. Я бы даже сказала, что она, наоборот, хорошо на него влияет.

– Святые небеса! – всплеснула руками хозяйка. – Может, она и сейчас здесь? У меня еще никогда не было воображаемого гостя.

– К счастью, нет. Осталась дома.

– И на том спасибо. Как думаете, это хороший признак, если она нужна ему не всегда, а только время от времени?

– Может быть. Хотя он рассказывал мне, что приглашал ее пойти с нами. И кажется, она ответила, что не может ходить так далеко.

– Может, она инвалид? Как любопытно! А больше он ничего об этой девочке не рассказывал?

– Вообще-то, она совсем не девочка. Она леди. Не знаю, правда, что можно сказать обо мне как о матери, если мой ребенок взял себе в подружки взрослую женщину, которую сам и придумал.

– Может быть, она – ваше второе «я», – предположила миссис Хэммет.

– Нет, это вряд ли. Судя по тому, что говорил сын, она – моя полная противоположность. Длинные рыжие волосы, белое платье, тоже длинное. Он очень точно все описал.

Ада, которая до сих пор молчала, вдруг подала голос:

– А вы считаете, что ваш ребенок никогда вас не обманывает?

На миг все смолкли, и миссис Хэммет с нервным смешком ответила:

– Да вы шутница, доктор Лавгроув. А вот миссис Райт тревожится.

– Я бы на ее месте не стала, – сказала Ада. – По-моему, вся эта история означает только одно: ее малыш – творческая личность, просто он изобрел свой способ справляться с тяготами жизни.

– Вы говорите совсем как мой муж, – сказала Джульетта с улыбкой. – И скорее всего, вы правы.

Когда миссис Хэммет вышла проверить, как там пудинг, а Ада, извинившись, отправилась «подышать воздухом», Джульетта решила тоже воспользоваться минуткой и навестить детей. Рыж и Беа нашлись сразу: оба сидели в уютном уголке под лестницей и, забыв обо всем на свете, дулись в джин рамми.

Джульетта оглядела холл в поисках Типа:

– А где ваш брат?

Ни один из них не поднял головы от карт.

– Не знаю.

– Тут где-то.

Джульетта постояла на нижней ступеньке лестницы, положив руки на перила и оглядывая холл. Когда ее взгляд скользнул вверх, по застланным ковром ступенькам, на долю секунды ей показалось, что на площадке стоит Алан со своей inferнальной трубкой в зубах.

По этой самой лестнице она взбежала в тот день и нашла его наверху, во всеоружии, готового продолжать спор.

Искушение подняться по лестнице оказалось слишком велико.

Перила так знакомо гладили ладонь, что, прежде чем шагнуть на площадку, Джульетта закрыла глаза и представила, будто возвращается в то время. Воздух вокруг был напоен воспоминаниями. И Алан был так близко, она даже чувствовала его запах. Но когда она открыла глаза, он, со своей кривоватой иронической улыбкой, куда-то исчез.

Площадка второго этажа ничуть не изменилась с тех пор. Чисто прибранная, она изобиловала деталями, которые выдавали если не художественный вкус, то, по крайней мере, хозяйскую заботу. На столике в фарфоровой вазе стояли свежие цветы, на стенах висели картинки с изображениями местных достопримечательностей, пеструю ковровую дорожку, видимо, совсем недавно подмели. И пахло тоже по-прежнему – хозяйственным мылом и полиролем для мебели, с оттенком едва уловимого, но такого утешительного духа однодневного эля.

Да, но вот маленького легконогого мальчика здесь не было.

Спустившись вниз, Джульетта услышала знакомый голосок, доносившийся откуда-то с улицы. Вечером, когда они с детьми подошли к пабу, она сразу обратила внимание на скамью, поставленную под окном,

вплотную к стене, и теперь подошла к тяжелой светомаскировочной шторе, отвела ее в сторону, просунула голову в щель и заглянула за край подоконника. Так и есть, вот он: сидит на скамье, в руках камни и палочки, рядом Ада, оба увлеченно беседуют.

Джульетта улыбнулась себе под нос и тихо отошла от окна, осторожно вернув назад штору, чтобы не потревожить детей. Почему детей? Тип ведь говорил с Адой. О чем бы те ни говорили, Типу явно было интересно, вон он как увлекся.

– Вот вы где, миссис Райт.

Это была миссис Хэммет: она суетилась вокруг горничной, которая опять тащила нагруженный тарелками поднос.

– Готовы к сладкому? Рада сообщить, что сегодня у нас бисквит – без яиц, зато с клубничным желе!

В воскресенье утром, впервые после приезда, Джульетта проснулась раньше детей. Ей не спалось и не лежалось, и она, накинув кое-какую одежду, вышла погулять. Но направилась не к реке, а в другую сторону, в деревню. Поравнявшись с церковью, она увидела снаружи людей, пришедших на раннюю службу. Среди них была и миссис Хэммет, которая заметила ее и помахала рукой. Джульетта ответила улыбкой.

Дети остались дома, так что внутрь она не пошла, а только послушала часть проповеди, присев на скамью у крыльца: священник говорил об утрате и любви, а еще – о несгибаемости человеческого духа, идущего рука об руку с Господом. Проповедь была хорошая, вдумчивая, да и священник оказался незаурядным оратором, но у Джульетты мелькнула мысль: сколько еще таких проповедей придется сочинить ему и другим викариям по всей Англии, прежде чем кончится война?

Она стала разглядывать кладбище. Прелестное тихое местечко. На земле – кудрявый плющ, под землей – мирный сон. Могильные камни шепчут о молодости и старости, а еще о том, что слепая смерть одинаково приходит ко всем. Ангел, прекрасный и одинокий, склонил голову над книгой, потемневшие от времени длинные кудри упали на холодную страницу. Есть в тишине мест, подобных этому, нечто, наполняющее душу благоговейным трепетом.

Когда из церкви понеслись аккорды элгаровского «Нимрода», Джульетта встала и пошла по кладбищу, вглядываясь в имена и даты на пестрых от лишайника надгробиях, читая любовно подобранные строки о вечности и покое. Удивительно, с одной стороны, люди так ценят жизнь отдельного человека, что запечатлевают на камне недолгий срок

пребывания каждого на этой древней земле; а с другой – они же ведут массовую и бессмысленную бойню, без счета истребляя друг друга.

В дальнем конце кладбища Джульетта задержалась у могилы, на которой прочла знакомую фамилию. «Люси Элиза Рэдклифф, 1849–1939». Рядом было другое надгробие, более старое, под ним, видимо, лежал брат, о котором миссис Хэммет говорила вчера за ужином – Эдвард. Под именем Люси было написано: «Прошлое не прошло». Джульетта даже перечитала строчку дважды, так не похожа она была на то, что обычно пишут на могилах.

Прошлое, настоящее, будущее – какой смысл в этих словах? Просто нужно стараться сделать все от тебя зависящее в тех обстоятельствах, в каких тебе выпало жить, и за то время, какое тебе отпущено. И ничего другого не остается.

Выйдя с кладбища, Джульетта пошла назад по тропе, с двух сторон отороченной зеленью. Рассветное солнце уже прогнало всякий намек на ночную прохладу, небо прояснялось, являя взгляду картинную голубизну. Значит, посыплется просьбы разрешить им покататься на лодке. Может, взять корзинку с ланчем и перекусить всем вместе у реки?

Дом даже со стороны выглядел так, что было ясно: внутри уже не спят. Странно, как это получается? И точно, Джульетта еще не успела сойти с тропы на подъездную дорогу, как услышала флейту Беа.

Миссис Хэммет, провожая их вчера домой, дала гостинец – четыре славных свежих куриных яйца. Джульетта уже предвкушала, как сварит их в мешочек, а потом сядет с детьми за стол, и все они, сняв с яиц верхнюю часть, будут макать в желток «солдатики» – узкие полоски поджаристых тостов; она даже решила пустить на тосты настоящее сливочное масло. Но сначала надо пойти наверх и снять шляпу. По пути она заглянула в спальню детей, где Беа сидела на кровати, подобрала ноги, и дула в свою флейту – точь-в-точь заклинательница змей. Фредди лежал поперек матраса, свесив голову. Похоже, тренировался задерживать дыхание. Типа в комнате не было.

– Где ваш брат? – спросила она.

Беатрис приподняла плечи, не пропустив ни одной ноты.

Рыж горячо выдохнул:

– Наверху.

В воздухе пахло недавней ссорой, но Джульетта не стала выяснять, в чем дело. Она давно поняла, что детские разборки – как дым над водой: сперва глаза ест, а через минуту ветер подует, и помину не останется.

– Завтрак через десять минут, – закончила она безапелляционно.

Бросив шляпу на кровать у себя в комнате, она заглянула в гостиную в дальнем конце коридора. Вообще-то, они не пользовались этой комнатой – кроме мебели в чехлах и пыли, в ней ничего не было, – но детей часто тянет в такие места, как мух на патоку.

Но Типа не нашлось и там, а Рыж считал, что он может оказаться на чердаке. Джульетта взбежала по лестнице наверх, зовя на ходу своего маленького.

– Завтрак, Типпи, дружочек! Пойдем, поможешь мне приготовить «солдати́ков»? – Тишина. – Тип?

Обыскав в мансарде каждый уголок, она остановилась у окна, откуда открывался вид на реку.

Река.

Вообще-то, Тип не принадлежал к породе скитальцев. Он был робок по натуре и не пошел бы так далеко без нее.

Но это ее не успокоило. Он все-таки ребенок. Его могли туда заманить. А дети часто тонут в реках.

– Тип! – В ее голосе звучала уже настоящая тревога, когда она сломя голову неслась по лестнице вниз. И едва не пропустила тихое, придушенное «Мамочка!», пробегая по лестничной площадке.

Но все же остановилась и прислушалась. Паника мешала понять, откуда донесся звук.

– Тип?

– Я здесь.

Казалось, заговорила стена: будто она проглотила Типа, и тот теперь сидел у нее под кожей.

И тут, прямо на глазах у Джульетты, стенная панель треснула, разошлась, и за ней открылось отверстие.

Это была потайная дверь, из-за которой ей улыбался Тип.

Джульетта схватила его и прижала к груди; она знала, что наверняка делает ему больно, но ничего не могла с собой поделать.

– Типпи. Ох, Типпи, ты мой маленький.

– Я спрятался.

– Я вижу.

– Ада сказала мне, как найти прятальную нору.

– Правда?

Он кивнул:

– Это секрет.

– Да, настоящая тайна. Спасибо, что поделился со мной. – Просто удивительно, до чего спокойно звучал ее голос, и это притом, что сердце

все еще билось о ребра, как птичка о прутья клетки. Джульетта почувствовала слабость. – Посидишь минутку со мной, а, Мышонок Типпи?

Она опустила Типа на пол, и панель за его спиной бесшумно скользнула на свое место, встав вровень со стеной.

– Аде понравились мои камушки. Она сказала, что тоже собирала камушки, когда была маленькой, и окаменелости. А теперь она архи... архи...

– ...олог. Археолог.

– Да, – подтвердил он. – Точно.

Джульетта подошла с Типом к лестнице, и оба сели на верхнюю ступеньку. Она обняла сына двумя руками и прижала к себе так, что ее подбородок пришелся как раз на его теплую маковку. Из всех ее детей один Тип с удовольствием принимал эти периодические излияния, признаки избыточной материнской любви. Но, почувствовав, что даже его почти бесконечному терпению вот-вот настанет предел, она разомкнула объятия и сказала:

– Ладно. Завтракать пора. А заодно выяснить, чем заняты твои сестра и брат.

– Беа сказала, что папа не найдет нас здесь, когда вернется.

– Правда?

– А Рыж сказал, что папа – волшебник и найдет нас где угодно.

– Понятно.

– А я ушел наверх, потому что не хотел говорить им.

– Что говорить?

– Что папа не вернется.

У Джульетты закружилась голова.

– Почему ты так думаешь?

Он ничего не ответил, только протянул руку и прижал ладошку к ее щеке. Его маленькое личико с острым подбородком было серьезным, и Джульетта поняла: он знает.

Письмо от Алана, то, последнее, вдруг стало тяжелым в ее кармане. Она все время носила его с собой, с того дня, как получила. Только поэтому письмо сохранилось. Зато телеграмма с черной каемкой из Министерства обороны, которую принесли в тот же день, сгорела. Джульетта хотела сжечь ее сама, но в конце концов это сделали за нее другие. Кто-то из подручных Гитлера избавил ее от хлопот, сбросив на Квинз-Хед-стрит в Ислингтоне зажигательную бомбу, спалившую их дом вместе со всем, что

в нем было.

Она хотела рассказать все детям. Честно, хотела. Проблема – ни о чем другом Джульетта давно уже не думала – была в одном: она не знала, какие найти слова, как объяснить детям, что их чудесного, веселого, рассеянного, дурашливого папы больше нет на свете.

– Мамочка? – Ладонка Типа скользнула в ее руку. – Что теперь будет?

Джульетта могла бы сказать многое. Настала одна из тех редких минут, когда родитель понимает: каждое слово, сказанное им сейчас, ребенок будет помнить долгие-долгие годы. Хотелось не оплошать, она ведь писательница. Но, несмотря на это, нужные слова не шли. Объяснения приходили, после некоторого раздумья отвергались, и каждое уносило с собой драгоценные секунды, которые отдаляли ее от того мига, когда было необходимо говорить, и приближали к тому, когда лучше было помолчать. Жизнь – это и в самом деле большой горшок с клейстером, как любил говорить Алан. Банка, в которой мука перемешана с водой, а люди пытаются ходить по этой каше, да еще и сохранять изящество.

– Не знаю, Типпи, – сказала она наконец, понимая, что хотя в ее ответе нет ни особенного утешения, ни мудрости, зато есть правда, а это уже немало. – Знаю только, что все у нас будет в порядке.

Она понимала, каким будет его следующий вопрос: откуда она это знает? Как на него отвечать? Что она просто знает, и все тут? Потому что иначе быть не может? Потому что это ее самолет, она сидит за штурвалом, и вслепую или нет, но, черт возьми, она сделает все, чтобы привести его домой благополучно?

Но ни один из этих ответов так и не понадобился, поскольку она ошиблась: вопрос не был задан. Глубоко веря каждому ее слову – Джульетте всегда хотелось спрятать лицо в ладони и зарыдать, так ее трогала эта незаслуженная вера, – сын вдруг сменил тему:

– Берди говорит, что даже в самой темной коробке всегда есть тонкие лучики света.

Глубокая, непобедимая усталость вдруг охватила Джульетту.

– Правда, милый?

Тип серьезно кивнул:

– Правда, мама. Я их видел, там, в тайнике. Но надо быть внутри, чтобы их увидеть. Когда я закрыл панель, мне стало страшно, а потом я понял, что не надо бояться: там, внутри, много-много маленьких дырочек, и они светятся, как звездочки в темноте.

VIII

Сегодня суббота, и туристы здесь. Я в маленькой комнате, где на стене висит портрет Фанни. Или, как я предпочитаю ее называть, в спальне Джульетты. В конце концов, Фанни спала здесь всего одну ночь. А я сидела здесь с Джульеттой, когда она работала за машинкой, разложив бумаги на крышке комода у окна. Я была с ней и позже, вечерами, когда она, уложив детей спать, доставала письмо Алана. Не для того, чтобы прочесть; она вообще нечасто в него заглядывала. Просто чтобы поддержать: так, с письмом в руках, она и сидела у окна, невидящими глазами глядя в долгую темную ночь.

В эту же комнату принесли Аду, когда ее, полузадохнувшуюся, выловили из реки. Люси спала в соседней комнате, а здесь хранились сокровища: окаменелости, разные образцы на полках, которые громоздились вдоль стен, до самого потолка. Люси настояла, что сама будет ухаживать за Адой, и так доняла сиделку своими наставлениями, что та отказалась от места. Когда в комнату снова внесли кровать, свободного места почти не осталось, но Люси все же сумела втиснуть в уголок стул и просиживала иногда часы напролет, наблюдая за спящей девочкой.

Было трогательно наблюдать такую заботливость в Люси; после смерти Эдварда в жизни малышки Люси случилось так мало людей, с кем она могла по-настоящему сблизиться. А тут она каждый вечер проверяла, согрели ли Аде постель специальной медной грелкой с углями внутри, похожей на сковородку с крышкой, на длинной ручке, и даже разрешила девочке оставить котенка, несмотря на явное неодобрение этой тетки, Торнфилд.

Одна из сегодняшних посетительниц стоит сейчас у окна, вытянув шею, и заглядывает через стену в сад; яркое утреннее солнце бьет ей прямо в лицо, выбеливая его почти до бесцветности. Глядя на нее, я вспомнила день после пикника, когда Ада уже достаточно оправилась, чтобы сидеть в постели, опираясь на подушки; поток света вот так же лился тогда в окно и, разрезанный на четыре части оконной рамой, четырьмя ровными прямоугольниками ложился на одеяло в ногах кровати.

Люси принесла поднос с завтраком, и, пока она устраивала его на столике у кровати, Ада, бледная, как простыни на ее постели, произнесла:

- Я упала в реку.
- Да, упала.

– Я не умею плавать.

– Это очевидно.

Ада умолкла. Но, глядя на нее, я поняла, что это ненадолго, и действительно.

– Мисс Рэдклифф? – снова позвала она.

– Да, детка?

– Со мной в реке был человек.

– Да. – Люси присела на край кровати и взяла Аду за руку. – Мне очень тяжело говорить тебе об этом, но Мэй Хокинс упала в реку вместе с тобой. Только ей повезло куда меньше: она тоже не умела плавать и утонула.

Ада выслушала ее внимательно, а потом почти шепотом возразила:

– Но я видела там не Мэй Хокинс.

Я ждала, гадая, что еще она решится рассказать Люси; доверит ли она ей всю правду о том, что увидела на речном дне.

Но о «человеке» она не сказала больше ни слова, только добавила:

– Там был синий огонь. Я потянулась к нему, но оказалось, что это не огонь, а камень. Сверкающий синий камень. – Тут она протянула руку, раскрыла ладонь, и на ней сверкнул ярко-синий алмаз Рэдклиффов, столько лет ждавший своего часа среди булыжников на речном дне. – Я увидела, как он светит, и потянулась за ним, потому что знала: он меня спасет. И он спас – мой собственный амулет, он сам нашел меня как раз тогда, когда был мне нужен, и защитил меня от зла. Все как вы говорили.

Погода сегодня хорошая, день стоит ясный, и в доме полно народу – через комнаты течет сплошной поток туристов, все с билетиками на ланч в одном из ближайших пабов. Они бродят повсюду маленькими группками, и я, в тысячу первый раз услышав из уст очередного гида несусветную чушь на тему: «Закройте глаза в спальне мисс Браун, и вы уловите витающий там по сей день призрачный аромат ее любимой розовой воды», ухожу из дома в пивоварню, где Джек сидит тихо и не высовывается. Сегодня утром среди распечатанных им фрагментов из писем миссис Уилер я разглядела отрывок письма Люси к Аде, написанного в марте 1939-го. Наверняка он уже передвинул бумаги на своем столе, и, если мне повезет, я прочту его целиком.

Внизу, в холле, группа туристов толпится перед пейзажем, висящим на южной стене. Это первая работа Эдварда, принятая на выставку в Королевскую академию, и первая в серии, позже названной «Виды верхней Темзы»; натурой послужил пейзаж, открывающийся из окна под крышей. Вид и в самом деле очень хорош: река, за которой раскинулись

поля, а дальше – мохнатая полоса леса и далекие холмы на заднем плане; но кисть Эдварда добавила мирному пасторальному пейзажу оттенков серого и пурпурного, превратив его в произведение искусства особой, бередящей душу красоты. Вот почему в картине углядели отход от фигуративной живописи в сторону «искусства атмосферы».

Полотно и впрямь завораживает, и стоящие перед ним туристы говорят то же, что и всегда. Например: «Какие краски!» – или: «Грустная какая-то, правда?» – или: «А какая техника!»

Но мало кто из них купит репродукцию картины в сувенирном магазине.

Один из талантов Эдварда заключался в умении так нанести краски на холст, чтобы уловить и запечатлеть в них свои эмоции, которые безошибочно смогут прочесть другие люди, – в этом ему помогала сила его желания говорить и быть понятым. Люди не покупают копии «Вида из окна мансарды» и не вешают их у себя в гостиной именно потому, что пейзаж проникнут страхом, и, несмотря на его завораживающую красоту, угрозу, исходящую от него, чувствуют даже те, кто ничего не знает об истории создания полотна.

Пейзаж, изображенный на картине, запечатлелся в памяти самого Эдварда, когда ему было четырнадцать. Это хрупкий возраст, время, когда меняется восприятие мира, время эмоционального роста, а Эдвард всегда был тонко чувствующим ребенком. И пылким. Не помню, чтобы он когда-нибудь интересовался чем-то поверхностно, – вот и в детстве он пережил целый ряд страстных увлечений, каждое из которых было «на всю жизнь», до следующего. Так, он был поглощен историями о феях и теорией оккультизма и одно время всерьез намеревался вызвать духа. Идея посетила его еще в школе, где он читал много разных книг, доступ к которым для учеников был, вообще-то, закрыт; часы, когда он корпел над пыльными средневековыми рукописями, найденными в подвалах школьной библиотеки, не прошли для него даром.

Именно тогда его родители отправились в долгую и утомительную поездку на Дальний Восток, собирать коллекцию японского искусства; целый год их не было в Англии. Вот почему, когда начались очередные летние каникулы, Эдвард поехал не домой, в Лондон, где прошло его детство, а в поместье к деду и бабушке. Уилтшир – древнее, зачарованное графство, и Эдвард не раз потом говорил, что стоит только полной луне встать над его полями, как ее серебристый свет вызывает к жизни старинную магию. И хотя его очень раздражало и равнодушие к нему старших, и необходимость терпеть деспотический характер деда, все же

пребывание в стране меловых холмов не прошло для него даром: на здешней почве его интерес к старинным историям про фей и духов вырос стократ.

Долго и тщательно обдумывал он, куда податься, чтобы вызвать духа, и решил уже остановить свой выбор на каком-нибудь из окрестных кладбищ, когда дедов садовник открыл ему, что лучшего места, чем слияние речки Коль с Темзой, не найти. Неподалеку от устья, рассказал старик, в лесу есть поляна – река делает там такой резкий поворот, что некоторое время как будто течет обратно. И вот в этой излучине феи и духи до сих пор ходят по земле, как живые люди. Бабушка садовника родилась под звон колоколов на севере, и уж кому, как не ей, было знать такие вещи; она и поведала внуку об этом тайном месте.

О событиях той ночи Эдвард рассказывал мне у себя в студии промозглым лондонским вечером, когда по стеклянной крыше моросил дождь, а внутри горело множество свечей. Потом я столько раз вспоминала, как это было, что до сих пор ясно слышу его голос, произносящий эти слова, точно он сам стоит у меня за плечом. И могу рассказать историю его приключений в том лесу так подробно, будто была тогда с ним.

Он шагал несколько часов, пока не нашел наконец ту самую излучину, а затем углубился в лес, разбрасывая на ходу куски мела, набранные в холмах днем, чтобы вернуться по ним домой, когда все будет кончено. На поляну он вышел, когда луна уже стояла высоко в небе.

Ночь была ясной и теплой, поэтому Эдвард оделся легко, но, притаившись за поваленным стволом, вдруг ощутил ледяное дуновение. Но оно тут же стихло, а вскоре он забыл и думать о нем, ведь на уме у него было другое.

Лунный луч как раз упал на поляну, когда Эдвард ощутил первое тягостное предчувствие. Он понял: что-то должно произойти. Откуда ни возьмись подул ветер, и деревья вокруг заплескали серебряной листвой, словно цыганки монистами. Ему вдруг показалось, что среди листьев открылись глаза, множество глаз, и они, как и его собственные, устремлены сейчас на поляну. Смотрят с ожиданием, с вожделением...

И тут, совершенно неожиданно, стемнело.

Он поднял голову к небу, ожидая увидеть облако, которое заслонило луну. И в этот самый миг в него вцепился своими когтями страх.

Кровь в его жилах застыла, и он, сам не зная почему, вдруг сорвался с места и бросился наутек через лес, где перебегал от одного куска мела к другому, пока не выскочил на край поля.

Но и там он не остановился, а продолжил бежать – в направлении

дедовского дома, как он думал. Что-то гналось за ним, преследовало по пятам – тяжелый топот порой перекрывал звуки его сбивчивого дыхания, – но он, сколько ни вертел головой, так и не увидел ничего у себя за спиной.

Каждый нерв в его теле пылал огнем. Кожа, напротив, пошла ледяными мурашками, так, словно хотела сползти с тела.

Так он бежал и бежал по незнакомой местности, перескакивал через ограды, прорывался через колючки живых изгородей, топтал в полях зерно.

Но, как он ни старался, оторваться от погони не удавалось, и когда Эдвард уже чувствовал, что силы оставляют его, впереди показались очертания дома, в окне которого, под самой крышей, горел огонь – он был как маяк в бурном море, предвещающий надежную гавань и спасение.

Сердце выскакивало из груди Эдварда, когда он подбежал к каменной изгороди, одним прыжком вскочил на нее, а потом спрыгнул на землю в саду, серебряном от лунного света. К дому вела дорожка из плитняка. Дверь оказалась не заперта, и он, вбежав внутрь, захлопнул ее за собой. И тут же задвинул засов.

Повинуясь какому-то инстинкту, Эдвард стал подниматься по лестнице наверх, под самую крышу, как можно дальше от непонятного ужаса, который гнал его через поля. Остановился лишь на чердаке: выше идти было некуда.

Тогда он подошел к окну и стал озирать ночной пейзаж.

Всю ночь он не отходил от окна, не смыкал глаз, тревожно вглядываясь в каждое темное пятно, в каждую складку ландшафта, пока небо из серебристо-синего не стало розово-красным и ко всему на земле не вернулась чудесным образом привычная надежность.

Эдвард признался мне тогда, что из всех страшных и волшебных сказок, какие ему доводилось читать, слышать и самому выдумывать для сестер, ни одна в подметки не годилась тому ужасу, который он испытал на лесной поляне, и позже, когда бежал, спасая свою жизнь, и когда укрывался в доме, – это был для него первый настоящий страх. Он изменил его натуру, как говорил сам Эдвард: страх нанес его душе рану, которую время так и не смогло полностью залечить.

Теперь я точно знаю, что он имел в виду тогда. Настоящий страх не проходит бесследно; острота переживания не притупляется, даже когда его источник оказывается забытым. Человек, переживший страх, иначе видит мир: в его восприятии словно распаивается некая дверь, которой не было раньше, и закрыть ее совсем не получится никогда.

Вот почему я, глядя на «Вид из окна мансарды», никогда не думаю о мирных полях позади Берчвуд-Мэнор, хотя это, несомненно, они и есть;

нет, я вспоминаю темную каморку, где воздух сперт, а горло горит и чешется от жажды вдоха.

Да, так вот, туристы не покупают копии «Вида из окна мансарды», зато охотно берут для своих гостиных «La Belle».

Наверное, я должна чувствовать себя польщенной тем, что мое лицо таращится со стен стольких комнат. И наверное, мелочно с моей стороны обращать внимание на такие вещи, но именно репродукции «La Belle» покупают в сувенирном магазине чаще, чем любые другие, включая и те, что сделаны с работ Торстона Холмса. Со временем я поняла, что люди ценят тот скандальный флер, который начинает рано или поздно осенять каждого, рискнувшего повесить над своим уютным диваном портрет похитительницы драгоценностей, а то и убийцы.

Некоторые из них, начитавшись Леонарда, сравнивают «La Belle» с «Портретом мисс Фрэнсис Браун, написанным по случаю ее восемнадцатилетия» и говорят что-нибудь в таком роде:

– Конечно, сразу видно, как он был влюблен в женщину, которая позировала ему.

Странное все-таки ощущение – знать, что мое лицо смотрит со стен гостиных стольких людей, совершенно незнакомых мне, через сто пятьдесят лет после того, как я повстречала Эдварда Рэдклиффа и позировала ему для этой картины в крошечной студии за домом его матери, в дальнем конце сада.

Вообще, позировать для портрета – это одно из самых интимных переживаний. Чего только стоит не согнуться под тяжестью чужого внимания, направленного на тебя одну, не опустить глаз перед ищущим, внимательным взглядом другого.

Я пережила большое потрясение, когда Эдвард закончил работу и картина, покинув его мастерскую, заняла свое место на стене зала Королевской академии. А ведь это случилось задолго до того, как появилась техническая возможность делать с полотна копии и продавать всем желающим, которые вставят их в багет и повесят над диваном; зато теперь мое лицо, такое, каким Эдвард увидел и изобразил его в 1861 году, расходится по всему свету на сумках и чайных полотенцах, на брелоках для ключей и кружках и даже на обложках ежедневников на очередной финансовый год двадцать первого века.

Интересно, что сказал бы об этом Феликс, пророк с Авраамом Линкольном в петлице, чьи предсказания казались тогда безумием. Все случилось, как он и говорил: камеры стали вездесущими. Они есть

буквально у каждого. Вот сейчас, прямо у меня на глазах, несколько человек, разбредаясь по комнате в разные стороны, нацеливают свои гаджеты – кто на стул, кто на половую плитку. Адепты опосредованного восприятия, они смотрят на мир через окошки телефонов, щелкают затворами, чтобы сохранить мгновение для будущего и освободить себя от необходимости видеть и переживать его сейчас.

Все пошло иначе после того утра, когда Эдвард пришел за мной в дом миссис Мак на Литл-Уайт-Лайон-стрит. И он, и я без слов приняли то новое постоянство наших отношений, которое отсутствовало прежде. Эдвард взялся за новую картину, назвав ее «Спящая красавица»; но если раньше он был художником, а я – его натурщицей, то теперь мы с ним составляли нечто иное. Работа перетекла в жизнь, а жизнь – в работу. Мы стали неразлучны.

Первые недели 1862 года выдались отчаянно холодными, и печка в студии топилась не переставая. Помню, как я, лежа на бархатных подушках, из которых он сделал мне импровизированную кровать, глядела вверх, сквозь запотевшее от тепла комнаты стекло, на серые облака, нависавшие над ним в сером небе. Мои распущенные волосы он разложил вокруг меня, а две длинные пряди спустил мне на грудь, прикрыв ими декольте.

Мы проводили вместе весь день и большую часть ночи. А когда он наконец откладывал кисти, то сам отводил меня в Севен-Дайелз, чтобы с первыми лучами утра привести обратно. Наши разговоры текли теперь беспрепятственно, и подобно тому как нитка в руках опытной вышивальщицы образует на ткани узор, так и истории, рассказанные нами, образовали в сознании каждого из нас рисунок жизни другого, тем самым привязав нас друг к другу. Я рассказала ему об отце и матери, о часовой мастерской отца с ее чудесами, о наших поездках в Гринвич, о жестянке, в которую я пыталась поймать солнечный свет; я говорила о Бледном Джо и о нашей невероятной дружбе; о миссис Мак и о Капитане; о Маленькой Пассажирке с ее парой белых перчаток. Я назвала ему свое настоящее имя.

Друзья Эдварда не могли не заметить его отсутствия. У него и раньше бывали периоды одержимости работой, когда он уединялся и писал, иной раз на целые недели бросая Лондон, – в семье эти его периоды снисходительно называли «приступами мечтательности»; но, по всей видимости, его полное исчезновение с горизонта жизни родных и друзей в начале 1862 года ощущалось ими как нечто новое. Он не отвлекался ни на что: не писал друзьям, не читал их писем, не ходил на еженедельные

встречи Пурпурного братства в паб «Кладовая королевы».

Был март, и «Спящая красавица» уже близилась к завершению, когда он познакомил меня с друзьями. Встреча состоялась у Феликса и Адель Бернارد, которые жили тогда на Тоттенхэм-Корт-роуд; за простым кирпичным фасадом шла истинно богемная жизнь. Стены, выкрашенные в винный и индиговый цвета, были едва видны за огромными картинами в рамах и фотографическими снимками. По ним скользили фантастические тени от пламени множества свечей – казалось, их были сотни, – вставленных в замысловатые канделябры; воздух был густым от дыма и жарких споров.

– Так, значит, это все-таки вы, – сказал Торстон Холмс, глядя мне прямо в глаза, пока Эдвард во второй раз представлял нас друг другу. Затем он поднес мою руку к своим губам, как тогда, в Королевской академии. И опять что-то неприятное, некое предчувствие шевельнулось у меня внутри.

В те дни я мало чего боялась по-настоящему. Детство, проведенное в Севен-Дайелз, дает прививку от многих страхов, но, признаюсь, Торстон Холмс меня пугал. Он был из тех, кто привык всегда добиваться своего, и при этом не нуждался ни в чем материальном, скупаемый страстью к тому, чего не мог заполучить. Он был способен на жестокость, как случайную, так и преднамеренную, причем по части последнего вообще был большим специалистом. Однажды я видела, как на вечере у Бернардов он оскорбил Адель едким замечанием об одной из ее первых фоторабот, а потом, откинувшись на спинку кресла, с довольной улыбкой наблюдал последовавшую за этим сцену.

Я интересовала Торстона лишь потому, что он видел во мне вызов – сокровище, которое он мог отнять у Эдварда. Это я поняла сразу, но, клянусь, даже не представляла тогда, как далеко он способен зайти ради достижения своей цели и с какой охотой он готов навлекать на других несчастья ради собственного удовольствия.

Иногда я думаю о том, что именно из случившегося летом 1862-го можно было предотвратить, если бы я уступила Торстону в ноябре, в день, когда открылась выставка в Королевской академии, или хотя бы не отнеслась к нему так холодно. Но сделанного, как известно, не воротишь, вот и я, сделав свой выбор, должна была пожинать его плоды. Я снова и снова отказывала Торстону, когда он просил меня позировать; старалась не оставаться с ним наедине; избегала участившихся знаков внимания. Большею частью он действовал скрытно, предпочитая уязвлять меня исподтишка. Всего раз он позволил себе неосторожное высказывание в беседе с Эдвардом – и поплатился синяком под глазом, с которым ходил

целую неделю.

Тем временем миссис Мак была довольна, получая регулярные платежи за мои услуги натурщицы, и Мартину, хочешь не хочешь, пришлось смириться с таким оборотом дела. Конечно, он не молчал, а высказывал свое неудовольствие при каждой удобной возможности, и порой, покидая поздней ночью студию в сопровождении Эдварда, я краем глаза замечала какое-то движение на противоположной стороне улицы – это был Мартин, шпионивший за мной. Но даже его неуместное внимание не мешало мне жить, пока он держался от меня на расстоянии.

Мать Эдварда, со своей стороны, поощряла наши отношения. Новое полотно было выставлено в апреле 1862-го, заслужило широкое одобрение и привлекло перспективных заказчиков; она лелеяла мечты о лаврах члена Королевской академии для сына и о бешеном коммерческом успехе его работ, однако была обеспокоена – в прошлом Эдвард, исчерпав один предмет, тут же переносил свой интерес на следующий, теперь же он никуда не спешил и другую картину не начинал. Вместо того чтобы, пользуясь успехом выставки, взять заказ, он то погружался в рассеянность – и тогда какое-то нездешнее выражение туманило его взгляд, делало неподвижными черты, – а то вдруг хватался за блокнот и начинал стремительно делать в нем наброски. Убедившись, что сын вырос в большого мастера, полная надежд на его блестящее будущее, она сама гнала его в студию, а меня засыпала подношениями в виде пирожков и чая, словно только этими жалкими крохами меня можно было удержать рядом с ним.

Что до Фанни, то, кроме выставки «Спящей красавицы» в апреле, когда она холодно кивнула мне издали, мы виделись с ней лишь однажды: она с матерью пришла тогда к миссис Рэдклифф на чай, и та привела обеих в студию – показать художника за работой. Они стояли прямо за спиной у Эдварда, Фанни была такая хорошенькая и гордая в новом атласном платье.

– Боже, – сказала она, – разве эти краски не прекрасны? – И тогда Эдвард встретился со мной взглядом, и в его глазах я прочла такое тепло и такое желание, что у меня захватило дух.

Поверит ли мне кто-нибудь, если я скажу, что за все эти месяцы мы с Эдвардом ни разу не говорили о Фанни? И не потому, что сознательно избегали этого предмета. Сейчас это кажется ужасной наивностью, но тогда мы о ней просто не думали. К тому же нам и так было о чем поговорить, а беседа о Фанни не казалась нам интересной. Любовь эгоистична.

Зато теперь я то и дело возвращаюсь мыслями к Фанни, жалею, что мало думала о ней тогда, корю себя за глупость: как я могла не понять, что Фанни не отдаст Эдварда без боя? Наверное, я, как и он, была ослеплена мыслью о том, что жребий брошен: мы должны быть вместе. И ни один из нас не задумывался о том, что другие могут видеть все иначе и никогда не смиряются с этой простой истиной.

Она вернулась!

Элоди Уинслоу, архивист из Лондона, хранительница памяти Джеймса Стрэттона и альбома Эдварда.

Я вижу ее у входного киоска: она пытается купить билет. Но что-то не получается, судя по выражению вежливого отчаяния, с которым она поднимает руку и тычет пальцем в свои часики. Один взгляд на циферблат моих часов в Шелковичной комнате – и я понимаю, в чем дело.

И разумеется, оказавшись с ней рядом, я сразу слышу:

– Я приехала бы раньше, если бы не другая встреча. Сразу после нее я поспешила сюда, но всю дорогу заняла громоздкая сельскохозяйственная техника, таксист не мог ее объехать, а здешние тропинки слишком узки для машин.

– Все равно, – отвечает ей волонтер, которого, судя по надписи на сумке, зовут Роджер Уэстбери, – мы впускаем лишь определенное число посетителей в день, и на сегодня квота уже исчерпана. Приходите через неделю.

– Но меня здесь не будет. Я уже вернусь в Лондон.

– Мне очень жаль, но вы должны понять. Дом нуждается в защите. Мы не можем впускать в него неограниченное количество людей.

Элоди смотрит на каменную стену вокруг дома, на остроконечные фронтоны над ней. По ее лицу видно, как мучительно ей хочется попасть в дом, и я даю себе зарок, что ближайшая зима в Берчвуд-Мэнор покажется Роджеру Уэстбери особенно неудобной.

Она поворачивается к нему и говорит:

– Ну хотя бы чашку чаю я могу у вас купить?

– Конечно. Кафе сразу за нами, в большом амбаре над Хафостедским ручьем. Рядом сувенирный магазин. Может быть, вам захочется купить сумочку или постер.

Элоди поворачивает в указанном направлении, с честным лицом проходит половину пути, но потом сворачивает направо, а не налево и проскальзывает через кованую калитку в обнесенный стеной сад.

Теперь она бродит по тропинкам, а я хожу за ней по пятам. Настроение

у нее сегодня явно какое-то другое. Она не вытаскивает альбом Эдварда, да и лицо у нее уже не такое дурачки-счастливое, каким было вчера. Брови немного сведены к переносице, и у меня возникает отчетливое ощущение, что она ходит не просто так, а ищет что-то определенное. И это наверняка не розы.

В самую красивую, центральную часть сада она не идет, а бродит по краям, там, где стены затянуты плющом и другими ползучими растениями. Вдруг она останавливается и начинает рыться в сумочке, а я с надеждой жду, – может, она опять вытащит альбом.

Но на свет появляется фотография. Цветная. Мужчина и женщина сидят рядышком, где-то под открытым небом, вокруг них зеленеет пышная растительность.

Элоди поднимает снимок, сравнивая его со стеной сада, но, видимо, остается недовольна результатом, потому что вдруг резко опускает руку, приближается к углу дома, поворачивает, проходит мимо каштана. Она явно направляется к Джеку, и я решаю во что бы то ни стало узнать о ней как можно больше, прежде чем она отправится в обратный путь. Я вижу, как она бросает взгляд в сторону кухни, где вчера Джек отскребал пригоревшую форму для пирога. Сомневается, по всему видно. Вот теперь нужно, чтобы ее кто-нибудь подтолкнул, и я с радостью это делаю.

«Войди внутрь, – шепчу я. – Что ты теряешь? Зато, если повезет, он может даже впустить тебя в дом».

Элоди подходит к двери в пивоварню и стучит.

Джек, который засиделся допоздна, а ночью плохо спал, прилег вздремнуть и ничего не слышит.

Но я твердо вознамерилась не дать ей уйти, а потому решительно опускаюсь на колени рядом с его кроватью и так же решительно, изо всех сил, дую ему в ухо. Он подскакивает как ошалелый, вздрагивает всем телом, и тут раздается второй стук.

Он встает, прихрамывая, подходит к двери и тянет ее на себя.

– Здравствуйте, это снова я, – говорит она. По Джеку видно, что он только что встал с постели, и она добавляет: – Мне так жаль, что я вас потревожила. Я не знала, что вы здесь и живете.

– Временно.

Он ничего больше не объясняет, а она слишком хорошо воспитана, чтобы выспрашивать подробности.

– Извините, что я снова к вам обращаюсь, но вы были так любезны вчера. Вот я и подумала: может быть, вы не откажетесь еще раз впустить меня в дом.

– Там сейчас открыто. – Он кивает в сторону задней двери, откуда, как вода из водостока, начинает извергаться поток туристов после экскурсии.

– Да, но ваш коллега, который ведает продажей билетов, сказал, что я приехала слишком поздно и на последнюю экскурсию опоздала.

– Правда? Вот педант.

Она улыбается, явно удивившись:

– Да, вы знаете, я тоже так подумала. Но вы кажетесь мне... менее педантичным.

– Слушайте, я готов провести вас в дом когда угодно, но не сегодня. Мой... коллега... предупредил меня, что задержится – нужно присмотреть за починкой чего-то. Хуже того, завтра с утра он планирует вернуться и убедиться, что рабочие вернули всю мебель на место.

– О-о.

– Но если к полудню вы вернетесь, их уже не будет.

– К полудню. – Она задумчиво кивает. – Завтра у меня другая встреча, в одиннадцать, но я приеду сразу после нее.

– Отлично.

– Отлично. – Она снова улыбается; похоже, его присутствие волнует ее. – Что ж, спасибо. Пойду погуляю в саду еще немного. Пока меня не выгонят.

– Гуляйте сколько хотите, – говорит он. – Я им не позволю.

Почти шесть вечера. Последних посетителей уже вежливо провожают к воротам, когда Джек находит ее в саду: она сидит на скамье у стены, отделяющей лужайку от фруктового сада. Он разлил бутылку пива в два стаканчика и протягивает ей один:

– Я сказал коллеге, что ко мне заехала кузина поздороваться.

– Спасибо.

– А вы, похоже, не прочь здесь задержаться? – Он садится прямо на траву. – Ваше здоровье.

– Ваше. – Она улыбается и делает глоток. Некоторое время оба молчат, но, пока я решаю, кого из них подтолкнуть, она начинает: – Здесь так красиво. Я была уверена, что так и будет.

Джек не отвечает, и немного погодя она продолжает:

– Я не всегда такая... – Она пожимает плечами. – Просто сегодня очень странный день. У меня была одна встреча, и я все время думаю о том, что узнала. Завтра к вечеру мне надо вернуться в Лондон, а у меня такое чувство, будто я не сделала здесь и половины того, что собиралась.

Мне хочется, чтобы Джек подтолкнул ее, спросил, что она собиралась

сделать, но он не поддается моим усилиям – и оказывается прав: она заполняет паузу без всяких уговоров.

– Недавно я получила вот это, – говорит она, протягивая ему снимок.

– Красивый, – говорит он. – Здесь кто-то, кого вы знаете?

– Моя мать. Лорен Адлер.

Джек неуверенно качает головой.

– Она была виолончелисткой, довольно известной.

– А это ваш отец?

– Нет. Американец, скрипач. Они вместе выступали, давали концерт в Бате, а потом, на обратном пути, заехали сюда перекусить. Я надеялась, что смогу найти то место, где они сидели.

Он возвращает ей фотографию.

– Они перекусывали здесь?

– По-моему, да. Я как раз пытаюсь это выяснить. Моя бабушка жила здесь, когда ей было одиннадцать; в войну мать привезла ее сюда вместе с братьями из Лондона, когда их дом сгорел во время бомбежки. Бабушки Беа нет уже в живых, но ее брат – мой двоюродный дедушка – рассказывал, что незадолго до того, как сделали этот снимок, моя мать приходила к нему и очень хотела узнать адрес этого дома.

– Зачем?

– Это я и пытаюсь выяснить. Понимаете, у нас в семье есть одна история, скорее, даже сказка, которая передается из поколения в поколение. И я только на днях узнала, что ее действие происходит в настоящем доме. Мой дед – двоюродный – признался, что, когда он жил здесь в войну, у него был друг, из местных, который рассказал ему эту историю. Он пересказал ее моей маме, а мама – мне. Это особая сказка для нас; и дом тоже много значит для нас всех. Даже сегодня, сейчас, сидя здесь, я чувствую себя так, будто это все мое. И понимаю, почему моей матери хотелось оказаться здесь, но почему именно тогда? Что случилось, почему она пошла к своему дяде Типу и начала выпрашивать у него адрес?

Так. Значит, она внучатая племянница Типа, а сам малыш Тип еще жив и не забыл сказку, которую я ему рассказала. Я бы могла сказать, что от этих слов у меня потеплело на сердце, если бы оно у меня еще было. А еще я ощущаю мурашки от других воспоминаний: они, как щекотка, пробегают по мне, когда она говорит о своей матери, виолончелистке, и о фото, на котором двое молодых людей – он и она – сняты среди плюща. Я вспоминаю и их. Ведь я теперь ничего не забываю. Воспоминания – они как кусочки цветного стекла в калейдоскопе, игрушке, которая была у Бледного Джо: снаружи ничего не видно, но стоит поднести трубку к

глазу, и появится узор, повернешь ее – стекляшки поменяют положение, и снова возникнет узор, хотя и другой.

Элоди опять смотрит на фото:

– Сразу после того, как был сделан этот снимок, моей матери не стало.

– Сочувствую.

– Это было давно.

– Все равно сочувствую. У горя нет срока давности, как я выяснил.

– Вы правы, и мне повезло, что этот снимок оказался у меня.

Женщина, которая его сделала, теперь знаменитый фотограф, но тогда она еще не успела прославиться. Она тоже была здесь, а их увидела случайно. И не знала, кто это такие, когда снимала. Просто ей понравилось, как они выглядели.

– Отличная фотография.

– Я была уверена, что, если обследовать в этом саду каждый уголок, место, где они сидели тогда, обязательно найдется, и когда я увижу его своими глазами, то, может быть, пойму, о чем думала в тот день моя мать. Почему она так хотела знать адрес этого дома. И зачем приехала сюда.

Недосказанное «с ним» облачком пара проплывает в остывающем вечернем воздухе и испаряется.

И тут звонит телефон Элоди – звук резкий, чужеродный; она смотрит на экран, но не отвечает.

– Извините, – говорит она и встряхивает головой. – Что-то я разболталась сегодня... Я не всегда такая.

– Да ладно. Для чего же нужны двоюродные братья?

Элоди улыбается и допивает пиво. Возвращает стаканчик и говорит, что они еще встретятся завтра.

– Кстати, я Джек, – говорит он ей.

– Элоди.

Она кладет фотографию в сумочку, встает и уходит.

После ее ухода Джек пребывает в задумчивости. Плотник весь вечер торчал здесь и так грохотал своим молотком, заколачивая гвозди, что ни о чем невозможно было думать; в конце концов, Джек подошел к нему и предложил помочь. Оказалось, что руки у Джека растут откуда надо. Плотник обрадовался нежданной подмоге, и часа два они молча работали вместе, лишь иногда перекидываясь парой ничего не значащих слов. Я очень рада, что после Джека в доме останется что-то материальное и сохранится, даже когда его самого давно уже не будет здесь.

На ужин Джек съел тост с маслом, а потом позвонил отцу

в Австралию. На этот раз никакой годовщины, чтобы привязать к ней звонок, не было, и первые минут пять разговор не клеился. Но когда я уже думала, что Джек вот-вот повесит трубку, он вдруг сказал:

– А помнишь, пап, как он хорошо лазал? Помнишь, Тигр застрял на манговом дереве, а он вскарабкался наверх, снял его и спустился с ним на землю?

Что это за «он» и почему у Джека такой грустный вид, когда он говорит о нем? Почему голос у него делается сдавленным, точно от подступающих слез, и почему так меняется язык его тела, делая его похожим на брошенного ребенка?

Такие вопросы особенно занимают меня сейчас.

Он уже спит. В доме тихо. Я – единственное, что движется сейчас по его уснувшим пространствам, и я направляюсь в спальню Джульетты, туда, где висит портрет Фанни.

Молодая женщина в новом зеленом платье смотрит на художника в упор. Портрет навсегда запечатлел ее такой, какой она была в ту весну, когда повстречала Эдварда. Вокруг нее – комната, затейливо убранная во вкусе ее отца. Оконная рама позади нее поднята, и – таково искусство Эдварда, такова его верность деталям – ты почти физически ощущаешь, как прохладный ветерок касается ее правого плеча. Богатые портьеры из дамасского шелка обрамляют окно с двух сторон, складки винного и кремового цвета контрастируют с вечным сельским пейзажем за ним.

Но главное в его картинах – свет, свет и еще раз свет, именно он заставляет петь краски.

Критики считают, что портрет Фанни – больше чем просто портрет. В нем они видят размышления художника на тему быстротекущей молодости и вечности, изменчивого общества и мира природы с его непреходящими законами.

Эдварда всегда привлекали аллюзии, и, вполне возможно, он имел в виду эти контрасты, когда становился к мольберту. Что он преследовал двойную цель, это правда. Вид из окна – желтое от солнца летнее поле – ничем не примечателен, пока не взглядишься в дальний план: там, за группой деревьев, виднеется железная дорога, где паровоз тянет состав из четырех вагонов.

Это не случайно. Портрет Фанни в зеленом бархатном платье был заказан ее отцом по случаю восемнадцатилетия дочери, и паровоз, несомненно, предназначался для него. Скорее всего, к такой неприкрытой лести Эдварда подтолкнула его мать; она никогда не скрывала своих амбиций в отношении сына, а Ричард Браун был одним из

«железнодорожных королей», человеком, который сделал состояние на стали и увеличил его в тот момент, когда Британия начала покрываться сетью железных дорог.

Мистер Браун обожал свою дочь. Я читала запись его беседы с полицией, которую раздобыл для своей диссертации Леонард. Смерть Фанни стала для него страшным ударом, и он решил сделать все, чтобы ее память не омрачали посмертные разговоры о разрыве помолвки и уж тем более – о другой женщине в жизни Эдварда. Отец Фанни был влиятельным человеком. Его усилиями страничка с моей жизнью была целиком вымарана из книги истории, и восстановить ее сумел только Леонард. Вот на что способен отец ради любимого ребенка.

Родители и дети. Казалось бы, нет на свете отношений проще, но на поверку нет и сложнее. Каждое поколение передает следующему чемодан, битком набитый фрагментами головоломки, собранных за прошлые века, и говорит:

– На вот, поглядим, что ты сможешь сделать из этого.

Это навело меня на мысли об Элоди. Что-то в ее характере напомнило мне Бледного Джо. Я заметила это еще вчера, когда она пришла сюда впервые: то, как она представилась Джеку, как отвечала на его вопросы. Она ничего не говорит, не подумав, каждый ее ответ звучит взвешенно, и слушает она тоже очень внимательно – отчасти, конечно, потому, что искренне хочет понять все правильно, но, мне кажется, еще и потому, что постоянно испытывает чувство легкой тревоги, словно боится не справиться с задачей. Как и Бледный Джо. В его случае неуверенность объяснялась тем, что он был сыном своего отца. Полагаю, это часто случалось в семьях, где действовало право первородства, где сыновей называли в честь отцов и ожидали, что те станут копиями своих родителей, а потом, когда старики отойдут от дел, возглавят семейное предприятие или продолжат династию.

Бледный Джо гордился своим отцом: тот играл важную роль в правительстве, имел вес в политических кругах и был увлеченным коллекционером. Много раз, когда я навещала в комнату под крышей, в отсутствие домашних, Бледный Джо приглашал меня на экскурсию по огромному пустынному дому, выходящему окнами на Линкольнз-Инн-филдз. Вот где были чудеса так чудеса! Отец Джо немало поездил по свету и всегда привозил из своих странствий разные древности и редкости: чучело тигра скалилось подле египетского саркофага, над ним ухмылялась бронзовая маска из Помпеев, тарача провалы глаз на коллекцию японских миниатюрных скульптур. Фрагменты древнегреческих фриз

соседей с картинами итальянского Ренессанса, а те – с полотнами Хогарта и Тернера; однако жемчужиной собрания была коллекция средневековых рукописей, включавшая копию «Кентерберийских рассказов», предположительно, более раннюю, чем принадлежавшая графу Элсмиру. А иногда, если отец принимал известного ученого или художника, мы с Джо прокрадывались вниз, чтобы послушать его лекцию из-за дверей.

Внутри дом был перестроен так, чтобы дать место длинным коридорам, которые Бледный Джо называл «галереями»; их сводчатые потолки поддерживались колоннами, а обширные пространства стен, от одной арки до другой, занимали либо картины в рамах, либо стеллажи, полные сокровищ. Позже, когда нашему с Джо знакомству шел уже не первый год и нам бывало так весело вместе, что мы иногда начисто забывали о моей работе, он отправлял меня в галереи с разрешением выбрать любую мелочь, чтобы потом отдать миссис Мак под видом дневной добычи. Кто-нибудь может решить, что я испытывала чувство вины, похищая столь редкие и драгоценные артефакты и отправляя их в долгий подпольный путь, но, как объяснил однажды Бледный Джо, большинство этих предметов и так были украдены у первых хозяев – им не привыкать.

Страшно хочется узнать, как сложилась судьба Бледного Джо. Вышла ли за него та леди, на которую он намекал, когда я пришла к нему в мансарду после выставки и мы говорили о неразделенной любви? Сумел ли он завоевать ее сердце и доказать ей, что человека добрее него нет во всем свете? Ах, чего бы я ни дала, лишь бы узнать это! А еще мне хочется знать, каким он стал; на что направил свою энергию, страстность и душевную теплоту. Бледный Джо очень гордился своим отцом, но всегда боялся, что сам окажется слишком слабым и сапоги великого человека будут ему велики. И имейте в виду: Бледный Джо позволял мне брать вещи из коллекции отца, желая, чтобы я подольше оставалась с ним, а еще потому, что он, как многие теперешние люди, презирал собирательство ради собирательства и не видел смысла в богатстве ради богатства. Но была и еще одна причина. Позволяя мне таскать мелкие безделушки с драгоценных отцовских стеллажей и отказываясь называться тем же именем, что и отец, Бледный Джо будто исподтишка отковыривал кусочки от массивного пьедестала величественного колосса – своего родителя.

Бледный Джо, Ада, Джульетта, Тип... У миссис Мак было любимое присловье о птицах, которые к ночи возвращаются домой, на свой насест, и говорила она, заметьте, не о курах. В птичью лавку на Литл-Уайт-Лайон-стрит часто наведывался один человек, который покупал там голубей. Он

держал голубиную почту: своих птиц он отвозил куда-то далеко, а в нужный момент отпускал их, привязав сообщение к лапке, – голуби ведь всегда возвращаются домой. Вот и миссис Мак, говоря о птицах, прилетающих домой, на самом деле имела в виду возможности: чем больше птиц выпустит человек в мир, тем больше их вернется к нему.

Итак... Мои птицы возвращаются, и я чувствую, как меня неудержимо влечет к развязке моей истории. Глядя отсюда, кажется, что все происходит так быстро.

Глава 22

Лето 2017 года

Комната Элоди в «Лебеде» была на втором этаже, в самом конце коридора. Окно в частом свинцовом переплете, с маленьким, тесным сиденьем выходило на Темзу. Примостившись на нем и обложившись книгами и бумагами, она ела сэндвич, купленный, вообще-то, к обеду, но пришедшийся весьма кстати во время ужина. От внимания Элоди не укрылось, что ровно неделю назад она вот так же сидела на подоконнике у себя в Лондоне и, надев материну фату, смотрела, как эта же река безмолвно несет свои воды в море.

С тех пор случилось много всего. И вот к чему это привело: она сидит, уютно поджав ноги, в маленькой комнатке над пабом крошечной деревушки Берчвуд, побывав в одноименном доме даже не один, а два раза с тех пор, как приехала сюда вчера. Правда, сегодня ей не слишком повезло: ее водили по особняку подруги Пенелопы в Саутропе, глубоко и продуманно перестроенному, и Элоди, вежливо восхищаясь бесконечными драпировками всех мыслимых оттенков серого, изнывала от желания вернуться в дом. Наконец, не выдержав, она придумала какую-то отговорку и спешно ретировалась, дав обещание вернуться завтра, не позднее одиннадцати утра, после чего вызвала такси, а потом добрых полтора часа кусала себе локти от огорчения и досады, пока машина со скоростью десять миль в час тащилась по проселочной дороге следом за неторопливым образчиком сельскохозяйственной техники.

Разумеется, в Берчвуд-Мэнор она поспела как раз к закрытию, хорошо хоть в сад удалось пролезть. И спасибо судьбе за Джека, который явно не имел отношения к музею, но занимался чем-то на его территории. Она встретила его еще вчера, когда, едва сойдя с лондонского поезда, направилась к дому пешком. Джек впустил ее внутрь, и, едва переступив порог, она сразу поняла, что впервые за долгое время оказалась именно там, где нужно. А еще у нее было странное ощущение: дом словно затягивал ее в себя, открывался перед ней, приглашая идти все дальше и дальше. Хотя, конечно, о таком глупо даже думать, не то что говорить вслух: в конце концов, это не более чем уловки воображения, которое пытается усыпить совесть, потревоженную этим вторжением, явно не вполне законным.

Пока Элоди дожевывала сэндвич, зазвонил телефон, и на экране высветилось имя: «Алистер». Она не стала отвечать, и телефон, понадрывавшись еще немного, умолк. Все равно Алистер наверняка хочет только сказать, как расстроена Пенелопа, и попросить еще раз подумать насчет свадебной музыки. Когда Элоди впервые сообщила ему о своем решении, на том конце установилась такая глубокая тишина, что она даже подумала: не пропала ли связь? Но потом услышала:

– Это что, шутка?

Какая еще шутка?

– Нет, я...

– Послушай. – Он сдавленно хохотнул, похоже уверенный, что все это какое-то недоразумение и они сейчас во всем разберутся. – По-моему, нельзя взять и вот так отказаться сейчас. Это нечестно.

– В каком смысле?

– По отношению к матери. Она так серьезно вложилась в эту идею. Рассказала всем подругам. Ее это раздавит, а все ради чего?

– Просто мне... неловко как-то, вот и все.

– Но ведь лучшего исполнителя нам не найти. – На том конце раздался шум, и Элоди услышала его слова, обращенные к кому-то третьему: – Буду через минуту. – Он снова вернулся к разговору: – Послушай, мне пора идти. Давай договоримся: оставим пока все как есть, а когда я вернусь в Лондон, еще раз обсудим, о'кей?

И прежде, чем Элоди успела ответить, что нет, не о'кей, она уже приняла решение, и нечего тут больше обсуждать, он отключился.

И вот, сидя одна в комнате тихой деревенской гостиницы, Элоди почувствовала, как что-то сдавило ей грудь. Возможно, она просто устала и переволновалась. Хорошо бы сейчас поговорить с тем, кто приободрит ее: «Ничего страшного, ты просто вымоталась», – но пооткровенничать Элоди могла только с Пиппой и сильно подозревала, что подруга ни за что не скажет тех слов, которые ей особенно хотелось услышать. И к чему это приведет? К беспорядку, ужасному беспорядку, а именно этого Элоди особенно не терпела. В сущности, вся ее жизнь была большой борьбой с хаосом: его следовало избегать, а если не получалось – искоренять и упорядочивать.

Выбросив Алистера из головы, она взялась за статьи. В прошлый четверг их привез Тип, свалившись на нее как снег на голову. Придя с работы, Элоди обнаружила его у входа: он стоял, прислонив к стене свой старый синий велосипед, и ждал ее. На плече у него висела холщовая сумка-торба, которую он снял и протянул ей.

– Статьи моей матери, – сказал он. – Она писала их, когда мы жили в Берчвуде.

Внутри торбы обнаружилась потрепанная картонная папка, а в ней – стопка отпечатанных на машинке страниц и целая коллекция газетных вырезок. Все они были подписаны именем Джульетты Райт, которая приходилась Элоди прабабушкой. «Письма из провинции», – прочитала она.

– Мама писала их в войну. Когда она умерла, они достались сначала твоей бабушке Беа, а потом мне. Похоже, пришла пора передать их тебе.

Его поступок потряс Элоди. Прабабушку она помнила смутно: поездка в дом престарелых к очень старой женщине, когда самой Элоди было лет пять. Больше всего запомнились волосы прабабушки: густые и белые, как бумага. Элоди спросила Типа, какой Джульетта была в молодости.

– Изумительной. Красивой, веселой, а иногда насмешливой и резкой, но только не с нами. Ни дать ни взять Лорен Бэколл, если бы Бэколл была не звездой Голливуда, а журналисткой и жила в сороковых в Лондоне. Она всегда ходила в брюках. Любила моего отца. А еще любила Беа, Рыжа и меня.

– И так и не вышла больше замуж?

– Нет. Но у нее были друзья. Много друзей – все люди театра, и все помнили его. Ее страстью была переписка, она вечно кому-то писала или отвечала на письма. Такой я ее и помню: сидит за столом и пишет, пишет.

Элоди пригласила Типа наверх на чашку чая; с прошлых выходных, когда она видела его в последний раз, набралось много вопросов, которые она хотела ему задать, особенно после того, как Пиппа отдала ей фотографию Кэролайн. Она показала снимок и объяснила, где и когда он был сделан, пристально наблюдая за реакцией Типа.

– Ты не знаешь, где они сидят?

Он покачал головой:

– Подробностей маловато. Где угодно.

Но Элоди, уверенная, что он темнит, сказала:

– Мне кажется, она предложила ему заехать в Берчвуд-Мэнор на пути в Лондон. Этот дом много значил для нее, и этот человек, видимо, тоже.

Тип отвел глаза и протянул ей фотографию:

– Поговори об этом со своим папой.

– Чтобы совсем его доконать? Ты же знаешь, он ее имени до сих пор без слез слышать не может.

– Он ее любил. А она любила его. Ближе друга, чем он, у нее не было.

– Но она его предала.

– Откуда тебе знать?

– Я не ребенок, Тип.

– Значит, ты видела достаточно, чтобы понимать: жизнь – сложная штука. И многое в ней оказывается совсем не тем, чем представлялось.

Эти слова напомнили ей уклончивую фразу на ту же тему, произнесенную давным-давно ее отцом: жизнь длинна, а быть человеком трудно.

Они заговорили о другом, но, уходя, Тип повторил: поговори с отцом. Повторил так настойчиво, словно давал инструкцию.

– Он тебя удивит, вот увидишь.

Элоди пока не знала, последует она его совету или нет, но твердо вознамерилась сходить к самому Типу, как только вернется в Лондон. В четверг она так и не решилась задать ему вопрос о женщине в белом – дружба дружбой, а для одного дня волнений старику хватит; но сегодня утром, за завтраком, просматривая статьи Джульетты, она вдруг зацепилась глазом за одну деталь, которая ее поразила.

Пошелестев страничками из старой папки, она отыскала нужную статью. Почти все «Письма из провинции» были посвящены местным жителям, но попадались и другие, о родных и близких самой Джульетты. Одни трогали, другие печалили; третьи заставляли хохотать до упаду. Джульетта была из тех авторов, чье присутствие ощущается в каждой строке написанного ими текста: каждое слово, каждый оборот принадлежали ей и только ей.

В статье о том, как они с детьми решили приютить бездомную собаку, Джульетта писала: «В доме нас пятеро. Я, трое моих детей и огненноволосая женщина в белом платье, плод бурной фантазии моего сына, настолько реальная для него, что нам приходится сверять с ее мнением каждое решение, касающееся нашей здешней жизни. Зовут ее Берди, и, к счастью для моего сына, она тоже любит собак, правда, предпочитает, чтобы мы обзавелись псом постарше, с устоявшимся темпераментом. Эта мысль, хотя и исходит от существа вымышленного, кажется мне весьма здоровой, а потому я не против того, чтобы наше семейство пополнилось Берди и мистером Руфусом – нашим недавним приобретением, девятилетним охотничьим псом, страдающим от артрита: добро пожаловать, живите с нами столько, сколько пожелаете».

Элоди перечитала эти строки еще раз. Джульетта писала о выдуманной подруге сына, чья внешность под ее пером приобретала жуткое сходство с женщиной в белом на том фото – натурщицей Эдварда Рэдклиффа; еще, по словам Джульетты, сын говорил, что «плод его бурной

фантазии» носит имя Берди. Письмо, которое Элоди нашла за подкладкой рамки с портретом женщины в белом, было адресовано Джеймсу Стрэттону и подписано двумя буквами: «ББ».

Элоди ни на секунду не поверила в то, что подружка малыша Типа может представлять хоть какой-то интерес для исследователя, но, перечитав во второй раз книгу Леонарда Гилберта, которую дала Пиппа, невольно задумалась, нет ли тут иного объяснения. Что, если в детстве ее двоюродный дед видел не женщину, а картину, даже, быть может, то загадочное полотно, о существовании которого так жарко спорят искусствоведы? В конце концов, в альбоме Рэдклиффа есть наброски, указывающие на то, что он готовился начать новую картину, и ему опять должна была позировать его натурщица, «Лили Миллингтон». Вдруг потерянная картина все это время была в Берчвуде и Тип случайно натолкнулся на нее в детстве?

Незачем звонить ему сейчас с этим вопросом – он редко подходит к телефону, да и номер, который у нее есть, наверное, уже недействителен – на одну цифру короче нынешних. Лучше сходить к нему самой, как только представится возможность.

Элоди зевнула, встала с сиденья под окном и, прихватив книгу Леонарда, растянулась с ней на кровати. Что ж, если нельзя попасть в дом, так хоть почитаем о нем книгу. Любовь самого Леонарда к Берчвуд-Мэнор проступала даже сквозь страницы, посвященные описанию той всепоглощающей страсти, которую питал к дому Рэдклифф.

В книге был снимок дома, сделанный летом 1928 года, когда там обитал Леонард Гилберт. Сад выглядел аккуратнее, чем сейчас; деревья еще не разрослись, и фотограф так выстроил план, что неба почти совсем не было видно. Встречались и другие снимки: изображения лета 1862-го, того самого, которое Рэдклифф и его друзья-художники провели в доме. Они не походили на обычные викторианские портреты. Глядя на них, Элоди все время думала, что эти люди смотрят на нее сквозь толщу лет, наблюдают. Такое же ощущение возникло у нее и в доме – она даже оборачивалась пару раз, уверенная, что найдет рядом Джека.

Какое-то время она еще читала, погрузившись в главу о предполагаемой роли Лили Миллингтон в похищении бриллианта. Она уже видела статью Гилберта, опубликованную им в 1938-м, где он опровергал свою первоначальную теорию, опираясь на новые сведения, полученные из того же «источника, пожелавшего остаться анонимным». Но эту статью мало цитировали, вероятно, потому, что она не предлагала ничего радикального, а лишь запутывала дело добавочными предположениями.

Элоди плохо разбиралась в драгоценностях; даже ради спасения своей жизни она не смогла бы отличить настоящий бриллиант от стеклянной подделки. Ее взгляд скользнул по ее руке, которая как раз лежала на странице книги Гилберта. Надев ей на палец это кольцо с крупным солитером, Алистер сказал, что теперь она никогда его не снимет. И только Элоди подумала, уж не впал ли ее нареченный в романтизм, как он добавил:

– Шутка ли, бриллиант такого размера? Да такой камень застраховать никаких денег не хватит!

Мысль о том, каких сумасшедших денег стоит кольцо, не давала ей покоя ни днем ни ночью. Несмотря на предупреждение Алистера, она, отправляясь на работу, иногда все же снимала его и оставляла дома; коготки, державшие камень в его золотом ложе, цеплялись за хлопковые перчатки, в которых она работала в архиве, и у нее развилась настоящая фобия: она все время представляла себе, как снимает над столом перчатку и перстень, выкатившись из нее, падает в одну из архивных коробок, где исчезает навеки. Еще она долго ломала себе голову над тем, где безопаснее держать его, оставляя дома, пока не сделала выбор в пользу своей детской шкатулки с «драгоценностями», где кольцо часто лежало среди веселых девчачьих сокровищ. В этом выборе ей самой чудилась некая ирония, к тому же прятать сокровище у всех на виду – не притворство ли это?

Элоди выключила лампу в изголовье кровати, и пока она лежала, наблюдая за тем, как бесконечно медленно перетекают одна в другую цифры на электронных часах, в голову снова полезли мысли об особняке в Саутропе. Нет, вряд ли она выдержит еще один тур этой бессмысленной болтовни о «самом счастливом дне вашей жизни», который предстоит ей завтра. К тому же надо еще успеть на четырехчасовой поезд до Лондона: а что, если из-за бесконечной демонстрации свадебных интерьеров она задержится и опять не попадет в дом? Нет, это невозможно. И Элоди решила: пусть Пенелопа гневается сколько хочет, но визит она отменит прямо с утра.

Приняв решение, она сразу уснула и под неумолчный плеск реки видела во сне Леонарда и Джульетту, Эдварда и Лили Миллингтон, и даже таинственного Джека, пребывание которого в доме вызывало у нее сомнения (он точно нутром почуял, что ей очень нужно попасть туда, и посочувствовал ей, когда она рассказала о смерти матери) и к которому – хотя Элоди ни за что не созналась бы в этом при свете дня – ее так необъяснимо влекло.

Глава 23

В последние полчаса ветер переменился. До полудня было еще далеко, но небо потемнело, и у Джека появилось предчувствие, что позже обязательно пойдет дождь. Стоя на краю луга, он поднес к глазам фотоаппарат и стал смотреть на далекую реку в глазок видоискателя. У камеры был мощный зум, и ему удалось сфокусироваться на верхушках камышей, росших кое-где вдоль берега. Наводя фокус, он так сосредоточился, что даже забыл о шуме реки.

Но снимка Джек не сделал. Временное затишье – вот что ему было нужно.

Он знал, что река здесь будет; карта местности прилагалась к полученным инструкциям. Но он не понимал тогда, что, ложась спать, он каждый вечер будет слышать ее шум.

Эта река была мирной. Правда, Джек поговорил с одним местным парнем, у которого была своя лодка для хождения по каналам, и тот объяснил, что после грозы течение тут всегда сильное. Джек покивал, но до конца так и не поверил: какое уж тут течение при всех этих запрудах и шлюзах, перегородивших Темзу по всей длине? Возможно, когда-то река имела действительно бурный нрав, но ее давно укротили и даже заковали в кандалы.

Джек кое-что знал о характере воды. Когда он был мальчишкой, через дорогу от их дома протекала небольшая речушка – «крик», как говорят в Австралии. Большую часть года она стояла сухой, зато, когда приходили дожди, пересохшее русло наполнялось водой в считанные минуты. Вода кувыркалась и неслась по нему, голодная, грозная, ревя и день и ночь.

Тогда они с братом Беном брали непотопляемый плот и шли кататься по недолговечным стремнинам, хорошо зная, что через несколько дней река снова превратится в вереницу стоячих луж.

Отец всегда предупреждал их, что плот – это опасно, напоминая о детишках, которые каждый год гибли в сезон дождей, затянутые водой в сливную трубу. Но Бен и Джек только переглядывались. Закатывали по очереди глаза, а потом прокрадывались в гараж, тайком вытаскивали оттуда плот и, надув его, топали с ним через дорогу. Реки они не боялись. Оба прекрасно знали, как вести себя в воде. До того дня, когда все случилось. До наводнения, которое пришло в тот год, когда Бену исполнилось одиннадцать, а Джеку – девять.

Небо вдалеке на миг вспыхнуло золотом, и вскоре до Джека дошел ворчливый рокот, катящийся по реке. Он взглянул на часы и увидел, что уже почти полдень. Стало жутковато: наступили те странные, точно неземные сумерки, какие всегда бывают перед грозой.

Он повернулся и пошел назад, к дому. Плотник не погасил за собой свет – Джек видел его с луга: наверху, в окне, под самой крышей горел огонек, и Джек решил подняться туда и выключить его, когда впускал в дом Элоди.

Та уже ждала его – выйдя на дорогу для экипажей, он сразу увидел ее у ворот. Она помахала ему рукой, потом улыбнулась, и Джек ощутил ту же щекотку любопытства, что и вчера.

Наверное, это дом во всем виноват. Здесь ему плохо спится, и не только из-за дурацкого матраса на кровати в бывшей пивоварне. С самой первой ночи он видит чудные сны, а еще – он не стал бы распространяться об этом в местном пабе, например, – внутри дома возникает такое чувство, будто за ним непрерывно следят.

«Дурак ты, – говорил он себе. – Следят, конечно. Мыши».

И все же убедить себя в том, что в доме нет никого, кроме мышей, не получалось. Ощущение слезки было физическим и напоминало Джеку первые дни влюбленности, когда каждый взгляд, даже случайный, кажется заряженным особым смыслом. Когда даже полуулыбка определенной женщины вызывает шевеление в самом низу живота.

Он дал себе твердое обещание не усложнять больше свою жизнь. Сюда он приехал для того, чтобы доказать Саре: он заслуживает еще одного шанса видеться с дочками. Вот и все. Ну, может, еще бриллиант найдет. Если тот вообще существует. Вполне возможно, что и нет.

Подойдя ближе, Джек увидел, что у Элоди с собой чемодан.

– С ночевкой приехали? – спросил он.

Краска мгновенно прихлынула к ее щекам. Джеку нравилось, как она краснеет.

– Нет, я уезжаю в Лондон.

– А где ваша машина?

– Я еду на поезде. В четыре часа мне надо быть на станции.

– Значит, вам пора туда. – Он кивнул головой на ворота. – Заходите. Пойду отопру дом.

Джеку и самому пора было собираться, но, впустив в дом Элоди, он решил напоследок еще раз просмотреть бумаги Розалинд Уилер. Так, на всякий случай – вдруг найдется то, чего он не заметил. Конечно, противная

она баба, эта Розалинд Уилер, да и дело, похоже, безнадежное, но раз он, Джек, за него взялся, значит должен довести до конца и никого не подводить.

Именно этим Сара особенно часто попрекала его к концу их брака: «Хватит быть всеобщим героем, Джек. Бена этим все равно не вернешь». Тогда эти слова его бесили, но теперь он понимал, что жена была права. Его работа, да и вся его взрослая жизнь были одной большой попыткой стереть фото, которые после того наводнения опубликовали во всех газетах. На одном, большом, его, Джека, вносили в машину «скорой помощи»: расширенные от страха глаза, на плечах – одеяло-грелка. На втором, поменьше, он и Бен, оба в школьной форме, были сняты вместе – первый случай, когда братья сами настояли на совместной фотографии, – волосы у Бена были зачесаны с боку на бок так аккуратно, как никогда раньше. Статьи в газетах с описанием происшествия навек определили жизненные роли обоих, словно высекли их в граните. Джек, мальчик, которого спасли. И Бен, маленький герой, который только успел крикнуть спасателям: «Сначала моего брата», и река тут же унесла его самого.

Джек бросил взгляд на дверь. Прошло полчаса с тех пор, как Элоди вошла в дом, а он все никак не может сосредоточиться. Пока он отключал сигнализацию и копался в замке, она ждала рядом, а когда Джек распахнул перед ней дверь, вежливо поблагодарила и уже почти шагнула через порог, но вдруг замешкалась и спросила:

- Вы ведь не сотрудник музея, правда?
- Нет.
- Ученый?
- Я детектив.
- Вы работаете в полиции?
- Работал. Теперь нет.

Он не стал ничего объяснять – какой смысл говорить посторонней женщине, что к смене профессии его подтолкнула катастрофа в личной жизни? К тому же она ни о чем не спрашивала. Помолчала, вдумчиво кивнула и исчезла в глубинах Берчвуд-Мэнор.

С тех пор Джек боролся с желанием последовать туда за ней. Снова и снова он перечитывал одну и ту же страницу, и каждый раз его мысли уходили следом за посетительницей, и он ловил себя на том, что думает не о содержании бумаг, а о том, где она сейчас, какую комнату исследует, что делает. В какой-то момент он даже встал и почти уже вошел в дом, но, осознав, что делает, вернулся за стол.

Джек решил заварить себе чаю – просто чтобы занять себя тем, от чего

нельзя отвлекаться до самого конца, и сидел, ожесточенно макая пакетик с чаем в чашку, когда вдруг почувствовал, что она стоит у него за спиной.

Он понял, что она пришла попрощаться, и, раньше чем она успела открыть рот, предложил:

– Хотите чашечку? Чайник только что вскипел.

– Почему бы нет? – Элоди произнесла эти слова с удивлением, но чем оно было вызвано, предложением Джека или ее собственным согласием, он не понял. – Капельку молока, пожалуйста, и без сахара.

Джек достал вторую чашку, выбрав ту, что почище, без коричневого налета вокруг доньшка. Закончив с чаем, он вынес обе чашки на улицу. Элоди уже стояла на мощенной камнем дорожке, которая шла вокруг дома.

Поблагодарив его, она сказала:

– Лучший запах на свете – запах приближающейся грозы.

Джек согласился с ней, и оба присели на край дорожки.

– Так что же, – спросила она, сделав глоток, – делает в музее детектив с отмычками?

– Меня наняли поискать тут кое-что.

– То есть вы охотник за сокровищами? У вас есть карта и все такое прочее? А на карте крестик – «копать здесь»?

– Что-то вроде того. Только без крестика. В этом и загвоздка.

– А что вы ищете?

Он поколебался, вспомнив пункт о неразглашении в контракте, который заставила его подписать Розалинд Уилер. Нарушать правила – это ладно, тут Джек не имел ничего против, но вот нарушать обещание – последнее дело. Хотя, по правде говоря, Элоди ужасно нравилась ему, и он почему-то понимал: ей сказать можно.

– Видите ли, – начал он, – женщина, которая наняла меня, в порошок меня сотрет, если я вам что-нибудь расскажу.

– О, мне уже интересно!

– Но мое благополучие вам до лампочки, как я вижу.

– А что, если я пообещаю никому не рассказывать? Я никогда не нарушаю обещаний.

К черту Розалинд Уилер: не она его убьет, так он сам лопнет от любопытства.

– Я ищу камень. Синий бриллиант.

От удивления ее глаза стали еще больше.

– «Синий Рэдклифф?»

– Что?

Она раскрыла рюкзачок и вынула оттуда книжку – старую, с

пожелтевшими страницами.

– «Эдвард Рэдклифф: его жизнь и любовь», – прочитал Джек вслух название книги. – Это имя я видел на кладбище.

– Раньше это был его дом, да и сам камень, как явствует из названия, принадлежал семье Рэдклиффов.

– Никогда не слышал, чтобы его так называли. Моя клиентка говорила, что он принадлежал ее бабушке, женщине по имени Ада Лавгроув.

Элоди покачала головой, – видимо, это имя было ей незнакомо.

– Эдвард Рэдклифф забрал бриллиант из семейного сейфа в банке летом тысяча восемьсот шестьдесят второго года, чтобы его натурщица, девушка по имени Лили Миллингтон, надевала камень, позируя для картины. Говорят, что она его украла, а позже убежала с ним в Америку, разбив Рэдклиффу сердце. – Осторожно перелистывая хрупкие страницы, Элоди добралась до центральной вкладки с иллюстрациями и показала ему фотографию с подписью «La Belle», пояснив: – Вот она, Лили Миллингтон. Натурщица Эдварда Рэдклиффа и любовь всей его жизни.

Взглянув на снимок, Джек ощутил что-то очень похожее на дежавю, но тут же сообразил: еще бы, он же столько раз видел это лицо и эту картину – она напечатана на каждом втором сувенирном пакете, которые субботние посетители выносят из магазина подарков при музее. Но тут Элоди вынула из рюкзака другое фото и, держа его в двух руках, словно реликвию, протянула Джеку. Та же самая женщина, только здесь она была именно женщиной, а не богиней, как на картине, – может быть, потому, что это был снимок. Она была прекрасна, но особенно в ней привлекала даже не красота, а та раскованная смелость, с которой она смотрела на фотографа. И опять Джеку стало не по себе, точно он взглянул в лицо человеку, которого видел прежде. И не только видел, но и любил.

– Откуда это у вас?

Волнение в его голосе удивило Элоди, легкая морщинка любопытства залегла меж ее бровей.

– С работы. Фото было в рамке, а она принадлежала Джеймсу Стрэттону. Я – хранитель его архивов.

Имя Джеймса Стрэттона ровным счетом ничего не говорило Джеку, и все же вопрос сорвался с его губ сам собой, прежде чем он успел подумать:

– Расскажите о нем. Чем он занимался? Как случилось, что он обзавелся архивами, которые стоит сохранять для потомства?

Элоди ненадолго задумалась.

– Меня никто еще не расспрашивал о Джеймсе Стрэттоне.

– Мне интересно.

Джек не кривил душой, хотя вряд ли бы смог объяснить, откуда взялся этот острый интерес.

Ответ прозвучал слегка насмешливо, но было видно, что ей приятно.

– Стрэттон был предпринимателем, очень успешным – он и сам происходил из богатой и влиятельной семьи, – а еще социальным реформатором.

– В смысле?

– Возглавлял разные комиссии и комитеты, которых в викторианские времена было много. Все они стремились улучшить жизнь бедных, но те, что учреждал он, и вправду добивались этой цели. У него были большие связи, красноречие, безграничный запас терпения и решимость. А еще он был добрым и щедрым. Именно по его инициативе отменили закон о бедных, по его инициативе строились дома для детей, оставшихся без родителей, а сами дети брались под опеку государства. Его влияние распространялось на все уровни общества: членов парламента он убеждал принимать нужные законы, богатых коммерсантов и предпринимателей склонял к щедрым пожертвованиям, тем, кто работал непосредственно с бедняками, платил, чтобы они могли выходить на улицы и раздавать еду тем, кому не на что было ее купить. Он посвятил свою жизнь помощи другим людям.

– Прямо-таки герой.

– Он и был героем.

У Джека на языке уже вертелся другой вопрос:

– Что могло заставить человека, рожденного в богатстве, так упорно бороться за права обездоленных?

– В детстве он невероятным образом подружился с девочкой, которая жила в этой среде.

– Как это случилось?

– Долгое время это никому не было известно. В своих дневниках он не приводит никаких подробностей. Но мы знаем, что дружба была, потому что позже он упоминал о девочке в своих публичных выступлениях.

– А теперь?

Элоди явно предвкушала то, что собиралась сказать, – судя по тому, как вспыхнули ее глаза, когда она улыбнулась.

– На днях я кое-что нашла. И вы – первый, кому я рассказываю об этом. Я не сразу поняла, что это, но, вчитавшись внимательно, сообразила.

Снова нырнув в свой волшебный рюкзак, она вытащила оттуда прозрачный пластиковый файл. Внутри лежало письмо, очень старое, написанное на хорошей бумаге; следы сгибов свидетельствовали о том, что

оно долго лежало где-то, многократно свернутое и придавленное чем-то тяжелым.

Джек начал читать:

Мой самый дорогой, единственный и неповторимый Дж.

То, о чем я хочу рассказать тебе сейчас, – мой самый большой секрет. Я скоро уезжаю в Америку, не насовсем, но как долго пробуду там, пока не знаю. Я никому об этом не говорила по причинам, которые ты скоро поймешь сам. На это путешествие я возлагаю очень большие – и радостные – надежды.

Больше я пока ничего не могу сказать, но ты, пожалуйста, не беспокойся: я напишу тебе сразу, как только это можно будет сделать без риска.

Как же я буду скучать по тебе, мой лучший, самый дорогой друг! Как я благодарна судьбе за тот день, когда, спасаясь от полиции, я влезла в твое окно, а ты подарил мне тауматроп. Разве могли мы тогда представить, что ждет нас впереди?

Дорогой мой Джо, к письму я прилагаю фотографию – вспоминай меня, глядя на нее. Мне будет не хватать тебя, даже не представляю, кого еще мне может так не хватать, а ты знаешь, что такими словами я не бросаюсь.

До нашей следующей встречи остаюсь

*вечно благодарная и любящая тебя,
ББ.*

Джек поднял голову:

– Она называет его Джо. Не Джеймсом.

– Многие так делали. Он пользовался своим настоящим именем только в официальной обстановке.

– А что значит «ББ»? Как это расшифровывается?

Элоди покачала головой:

– Этого я пока не знаю. Но что бы за этим ни стояло, я уверена, что женщина, которая написала это письмо, подруга детства Джеймса Стрэттона, и женщина на этой фотографии, модель Эдварда Рэдклиффа, –

одно лицо.

– Почему вы так уверены в этом?

– Во-первых, я нашла письмо внутри рамки с этой самой фотографией. Во-вторых, Леонард Гилберт пишет, что Лили Миллингтон – это псевдоним натурщицы, а не настоящее имя. А в-третьих...

– Мне уже нравится ваша теория. Вполне основательная.

– У меня была другая проблема. Не так давно я обнаружила, что Эдвард Рэдклифф посещал Джеймса Стрэттона в восемьсот шестьдесят седьмом. И не просто посещал, но и оставил на хранение дорогие для себя вещи – сумку и альбом с эскизами. До этого я даже не подозревала, что между ними вообще была связь, и долго ломала голову над тем, на какой почве они могли сойтись.

– А теперь вы думаете, что связующим звеном между ними была она.

– Я не думаю, я знаю. Никогда в жизни я ни в чем не была уверена так, как в этом. Я просто это чувствую. Вы меня понимаете? – (Джек кивнул. Конечно, он понимал.) – Кем бы она ни была. В ней – ключ к разгадке.

Джек опять посмотрел на фотографию:

– Вряд ли это она сделала. В смысле – украла камень. Точнее, я даже уверен, что это не она.

– Почему? Снимок подсказывает?

Джек не знал, чем объяснить странную уверенность в невиновности этой женщины, пронзившую его сразу, как только он встретил ее искренний, устремленный прямо на него взгляд. Его даже затоснило. К счастью, объяснять ничего не пришлось, потому что Элоди продолжила:

– Вообще-то, я тоже так не думаю. И сам Леонард Гилберт в это не верил, как потом выяснилось. Когда я в первый раз читала его книгу, то заподозрила, что ему не по сердцу собственная теория, а потом нашла другую его статью, от девятьсот тридцать восьмого года: в ней он пишет, что снова расспросил женщину, рассказавшую историю Рэдклиффа и его возлюбленной, и та созналась, что не верит в то, что Лили Миллингтон украла камень, и более того, твердо знает, что Лили этого не делала.

– Значит, не исключено, что бриллиант по-прежнему где-то здесь, как говорила моей клиентке ее бабка?

– Думаю, да, хотя времени прошло немало. А что именно она вам рассказала?

– Сказала, что ее бабка однажды потеряла очень дорогую вещь и есть веские причины полагать, что это произошло в одном поместье в Англии.

– Бабка сама ей рассказала?

– Ну, в некотором роде. Она перенесла удар, а когда стала

выздоровливать, речь вернулась к ней как-то сразу, и она говорила и говорила без остановки: о своей жизни, о детстве, о школе, вообще о прошлом, настойчиво так, даже с тревогой. В том числе о бриллианте, который был ей очень дорог. Она оставила его в доме, где была ее школа. В общем, довольно бессвязный рассказ, и моя клиентка решила, что это просто бред. А когда бабка умерла и эта женщина стала разбирать оставшиеся после нее вещи и документы, она поняла, что старуха довольно точно указала место поисков.

– А почему ее бабушка сама не вернулась за бриллиантом? Сомнительная история, на мой взгляд.

Джек кивнул:

– Я до сих пор ничего не нашел. Но ее бабка точно была связана с этим местом. Умирая, она оставила порядочное наследство обществу, которое управляет музеем: собственно, на ее деньги музей и открыли. Только поэтому моя клиентка добилась для меня разрешения пожить здесь.

– Что она им сказала?

– Что я фотожурналист, откомандирован сюда на две недели с заданием.

– То есть она не из тех, кто всегда говорит правду и ничего, кроме правды.

Джек усмехнулся, вспомнив Розалинд с ее бульдожьей хваткой.

– Не сомневаюсь, сама она верит каждому слову из тех, что сказала мне. И, надо отдать ей должное, я обнаружил факт, который говорит в пользу ее теории. – Он вынул из кармана распечатку письма, полученного накануне от Розалинд Уилер. – Это от Люси Рэдклифф, которая, наверное, была...

– Сестрой Эдварда...

– Точно. Бабка моей клиентки получила его в девятьсот тридцать девятом году.

Элоди пробежала письмо глазами, но один фрагмент прочла вслух:

– «Твое письмо крайне встревожило меня. Мне плевать, что ты там видела в газетах и кем почувствовала себя после этого. Я настаиваю, чтобы ты не делала того, о чем пишешь. Навестить меня ты можешь, я буду рада, но его с собой не привози. Мне он не нужен. Я вообще не хочу его видеть, никогда. Моей семье он принес только горе. Теперь он твой. Не забудь, он сам пришел к тебе, причем в самый подходящий момент, – пусть у тебя и остается. Считай, что это подарок, и ни о чем не беспокойся». – Она оторвалась от письма. – Вообще-то, о бриллианте тут нет ни слова.

– Верно.

– Речь может идти о чем угодно.

Он кивнул.

– А вы знаете, что она увидела в газетах?

– Что-нибудь насчет «Синего», наверное?

– Наверное, и мы могли бы попробовать выяснить это, но пока у нас только догадки. А вы это имели в виду, когда говорили о карте?

Джек, с удовольствием отметив это «мы», ответил, что сейчас вернется, и пошел в старую пивоварню за картой, которая лежала там, у изголовья его кровати.

– Моя клиентка нарисовала ее сама, на основании того, что нашла в бумагах Ады Лавгроув, и того, о чем Ада говорила после удара.

Элоди развернула карту и сосредоточенно нахмурилась; уже через минуту от ее серьезности не осталось следа, и она даже хихикнула.

– Ой, Джек, – сказала она, – мне так жаль вас разочаровывать, но карта совсем не годится для поиска сокровищ. Она из детской сказки.

– Какой сказки?

– Помните, я говорила о ней вчера? О сказке, которую мой двоюродный дед услышал в этих местах, когда жил здесь в войну в эвакуации? Потом он рассказал ее моей матери, а мать часто рассказывала ее мне.

– Да.

– Пометки на этой карте – лесная поляна, курган фей, излучина Крофтера – взяты из той сказки. – Элоди ласково улыбнулась и протянула Джеку сложенную карту. – У бабушки вашей клиентки был удар. Возможно, воспоминания о детстве нахлынули на нее с такой силой, что она не удержалась и рассказала историю из тех времен своей внучке. – Она приподняла плечи, как бы извиняясь. – Боюсь, ничего более полезного прибавить не могу. Правда, для меня удивительно, что бабушка вашей клиентки знала сказку, которая в моей семье переходила из уст в уста.

– Н-да, вот только вряд ли моя клиентка обрадуется этому совпадению так же, как обрадовалась бы бриллианту.

– Мне очень жаль.

– Вашей вины тут нет. Уверен, вы не собирались лишить старую леди ее мечты.

Элоди улыбнулась.

– Кстати, о той записке...

Она начала перекладывать свой рюкзак.

– У вас есть еще пара часов до поезда?

– Да, но мне все же пора. Я и так отняла у вас много времени. А вы –

занятой человек.

– Это точно. Я уж думал: вот покончу сейчас с картой, пойду наверх и поищу там, в шкафу, дверь в Нарнию.

Элоди весело расхохоталась, и Джек сразу почувствовал себя победителем.

– А знаете, – сказал он вдруг, решившись испытать удачу, – я вчера думал о вас, вечером.

Она снова покраснела:

– Правда?

– Та фотография, которую вы приносили вчера, с вашей матерью, у вас с собой?

Элоди внезапно стала серьезной:

– Вы хотите сказать, что знаете, где ее сделали?

– Я хочу сказать, что мне стоит взглянуть на нее еще разок. Я ведь, понимаете, все окрестности тут обшарил, пока искал волшебную дверку.

Она передала ему снимок, один уголок ее рта напрягся – очаровательный признак того, что, вопреки всему, она все же надеялась, что он сможет ей помочь.

А Джеку очень хотелось ей помочь. («Хватит быть героем для всех, Джек».)

Вообще-то, он блефовал, когда просил у нее снимок, – просто не хотел ее отпускать; но теперь, глядя на заросли плюща на фото, на угол здания, на то, как падает свет, он вдруг понял все так ясно, как если бы этот ответ ему подсказали.

– Джек? – спросила она. – Вы знаете?

Он улыбнулся и вернул ей снимок:

– Как начет небольшой прогулки?

Элоди шла рядом с ним по кладбищу. Наконец они добрались до дальнего края и остановились. Джек взглянул на нее, ободряюще улыбнулся и отошел, притворяясь, что очень интересуется чужими могилами.

Она огляделась кругом и выдохнула – он был прав. Именно то место. Элоди сразу узнала его по фотографии. Здесь почти ничего не изменилось, несмотря на двадцать с лишним лет.

Элоди готовилась к тому, что ей будет грустно. И даже чуточку обидно.

Но ничего подобного она не ощутила. Напротив, из-за красоты и покоя, которые царили вокруг, на душе стало светло, и она подумала: как хорошо, что молодая женщина, чья жизнь оборвалась так внезапно и

трагически, провела свои последние часы именно здесь.

Впервые в жизни, стоя среди зарослей плюща, в окружении почти осязаемой тишины сельского кладбища, Элоди ясно увидела, что она и ее мать – две совсем разные женщины. А значит, она – вовсе не ее уменьшенная копия, не крохотный отпечаток детской ладошки внутри ладони взрослого. Лорен была талантливой, красивой и знаменитой, но Элоди вдруг осознала, что главное их различие вовсе не в этом. Главное в том, как они воспринимали жизнь: Лорен всегда жила бесстрашно, не думая о возможных неудачах, в то время как она, Элоди, всегда осторожничала, заранее продумывая запасной вариант.

Тут ей пришло в голову, что, может быть, стоит почаще отпускать поводья. Ну, пусть она даже упадет, что с того? Надо принимать жизнь такой, какая она есть, и помнить, что никто не застрахован от ошибок; даже больше: то, что кажется ошибкой сейчас, в будущем может обернуться чем-то иным, ведь жизнь – непростая штука, и складывается она из больших и малых решений, которые мы принимаем изо дня в день.

Это, конечно, не значит, что в жизни нет места таким вещам, как верность и честь, – по крайней мере, Элоди упорно верила в иное; просто, может быть, стоит иногда допускать – ну, всего лишь на минуточку, – что в мире есть не только черное и белое, как она себе представляла. Как пытались объяснить ей отец и Тип, жизнь длинна, а быть человеком не просто.

Да и вообще, кто она такая, чтобы судить? Взять хотя бы вчерашний день: все утро она ходила по свадебному особняку в сопровождении служащих, доброжелательных женщин, которые пудрили ей мозги разговорами о разном барахле, вежливо кивала в ответ на их объяснения, почему ей «не следует делать» то или это, а сама просто умирала от желания бросить все и сбежать в Берчвуд-Мэнор, к странному австралийцу, выдающему себя за служащего музея.

И вчера же, показав ему фотографию Кэролайн, она удивилась самой себе, совершенно нехарактерной для нее откровенности с незнакомым человеком. Позже она убедилась в том, что это всего-навсего результат усталости и наплыва эмоций. Теория показалась ей убедительной, и она сама верила ей до сегодняшнего дня, пока не увидела его, внезапно вышедшего из-за угла, со стороны луга.

– Все хорошо? – спросил он, подходя к ней с другой стороны.

– Все так хорошо, как я не могла даже надеяться.

Он улыбнулся:

– Ну, тогда, судя по небу, пора нам делать отсюда ноги.

Дождь – первые тяжелые капли, которые сразу проникали сквозь одежду до самого тела, – застал их еще у ворот кладбища, и Джек сказал:

– Даже не представлял себе, что в Англии бывает такой дождь.

– Серьезно? Дождь – это лучшее, что мы умеем!

Он захохотал, и ей тоже вдруг стало очень весело. Его руки, голые до плеч, были уже мокрыми, и, глядя на них, Элоди испытала мучительное желание, настоящую потребность коснуться его кожи.

Не говоря ни слова, без всякой видимой причины, она взяла его за руку, и оба побежали назад, к дому.

IX

Снаружи ливень, и они вошли в дом. Это не просто дождь, это начало настоящей грозы. Весь день я следила за тем, как она зреет у истоков реки, над далекими горами. Немало гроз повидала я здесь, в Берчвуд-Мэнор. И привыкла к тому, как меняется насыщенная электричеством атмосфера, когда близящийся грозовой фронт начинает затягивать в себя воздух.

Но теперь у меня такое чувство, что эта гроза будет не похожа на другие.

У меня такое чувство, что вскоре что-то произойдет.

Мне не сидится на месте, я словно чего-то жду. Мысли скачут, точно ручей по камням, подхватывая и крутя обрывки недавнего разговора, переворачивая, один за другим, залежавшиеся гольши воспоминаний.

Я думаю о Люси, о том, как она страдала после смерти Эдварда. Мне так радостно было слышать, что она все-таки оправдала меня в глазах Леонарда, рассказала ему, что я не была бессердечной любовницей; меня мало беспокоит мнение тех, с кем я не была знакома, но Леонард был мне небезразличен, и я рада, что он узнал правду.

А еще я думаю о Бледном Джо. Мне давно хотелось знать, что с ним стало, как сложилась его жизнь, – и как же я была довольна, услышав, чего он достиг, как гордилась им; вооружившись, с одной стороны, добротой, а с другой – присущим ему неколебимым чувством справедливости, он прибавил к ним влияние своей семьи и пустил этот капитал в дело. Но как жестоко поступила судьба, вырвав меня из его жизни, и так внезапно, без единой весточки!

И конечно, я, как всегда, думаю об Эдварде, вспоминаю ту грозovou ночь, которую мы провели с ним здесь, в этом доме, много лет назад.

Мне особенно не хватает его в грозные ночи.

Это была его идея – провести лето здесь, у реки, в своем любимом доме с двумя фронтонами, а уж потом отправиться в Америку. Своим планом он поделился со мной вечером своего двадцать второго дня рождения, у себя в студии, где отблески свечей танцевали по темным стенам.

– Я хочу подарить тебе кое-что, – сказал он, и я засмеялась, ведь это был его день рождения, а не мой. – Твой все равно уже через месяц, – продолжил он, отмахиваясь от моих нерешительных протестов, – совсем скоро. И потом, разве нам нужны особые причины, чтобы делать друг

другу приятное?

Но я все же попросила, чтобы он разрешил мне первой сделать подарок, и, затаив дыхание, наблюдала за тем, как он разворачивает коричневую бумагу.

Десять лет я делала так, как учила меня Лили Миллингтон: отделяла толику от каждой своей добычи и прятала в потайном месте. Сначала я не понимала, зачем я это делаю – Лили сказала, значит так надо, – да, в общем-то, цель и не была важна, ибо накопление, даже бесцельное, само по себе дает чувство надежности. Став старше и продолжая слушаться отца, который в своих письмах по-прежнему советовал мне хранить терпение, я дала зарок: если до своего восемнадцатого дня рождения я не получу от него письма с указанием собираться в путь, то куплю билет в Америку и поеду туда одна – искать его.

Восемнадцать мне исполнилось в июне 1862 года, и я накопила достаточно, чтобы хватило на билет; но тогда я уже повстречала Эдварда, и мои планы на будущее изменились. Навещая Бледного Джо в апреле, я спросила у него, где мне купить в подарок кожаную вещь высочайшего качества, и он сообщил адрес поставщика своего отца, мистера Симмза с Бонд-стрит. Именно там, в магазине, где пахло восточными специями и тайной, я заказала подарок.

Выражение лица Эдварда, когда он взял в руки сумку, стоило каждого потраченного пенни – добытого несправедливым трудом, дважды украденного и сбереженного. Кончиками пальцев он приласкал мягкую кожу, огладил безупречные швы, оцупал вышитые инициалы, потом открыл сумку и положил внутрь альбом. Тот вошел превосходно, как я и надеялась, – словно рука в перчатку. Потом Эдвард перекинул длинный ремешок через плечо, и с того дня и до самого конца я не видела его без этой сумки, которую по моим указаниям сшил мистер Симмз.

Потом он подошел ко мне – я стояла у полок с кистями и красками, – так близко, что у меня дух захватило, вынул из кармана сюртука конверт и протянул мне.

– А это, – сказал он совсем тихо, – первая часть моего подарка.

Как же он хорошо успел узнать меня и как глубоко любил! В конверте лежали билеты, два билета на пароход в Америку, для нас обоих. На август.

– Но, Эдвард, – начала я, – это же так дорого...

Он покачал головой:

– «Спящую красавицу» полюбили. Выставка имела огромный успех, и все благодаря тебе.

– Но я ничего не сделала!

– Нет, – сказал он, вдруг становясь серьезным. – Без тебя я бы не смог писать. И никогда не смогу.

Билеты были оформлены на имя мистера и миссис Рэдклифф.

– Тебе и не придется, – пообещала я.

– Мы разыщем твоего отца в Америке.

Мои мысли уже неслись вперед, пытаюсь заранее охватить все, – перебирали новые блестящие возможности, искали способы, как лучше избавиться от миссис Мак с Капитаном и сделать так, чтобы Мартин до самого конца ничего не заподозрил, – но вдруг остановились, точно наткнувшись на стену.

– Но, Эдвард, – сказала я, – а как же Фанни?

Легкая морщинка легла у него между бровями.

– Я сам ей все объясню, как можно деликатнее. Она не пострадает. Она молода, хороша собой и богата; у нее отбоя не будет от женихов. Со временем она все поймет. Это еще одна причина, почему мы едем в Америку: так лучше для Фанни. Мы будем далеко, а пока по эту сторону океана оседает пыль, она придумает такие объяснения нашего разрыва, какие сочтет нужными.

Эдвард никогда не говорил того, во что не верил всем сердцем, поэтому я знаю: он искренне считал, что так и будет. А тогда он взял мою руку и поцеловал, а потом улыбнулся мне так светло, что я против воли поверила: он прав, все сбудется по его слову. Вот какой силой убеждения он обладал.

– А теперь, – сказал он и, взяв с полки большой сверток, улыбнулся еще шире, – переходим ко второй части твоего подарка.

Свободной рукой он взял меня за руку, подвел к подушкам посреди студии, усадил и опустил сверток мне на колени – тот оказался неожиданно увесистым. А затем жадно, едва не приплясывая от нетерпения, следил за тем, как я развязывала бечевку.

Соскользнул последний слой упаковки, и под ним обнаружили... самые прекрасные стенные часы, какие я видела в жизни! Деревянный корпус и циферблат, вырезанные с величайшим искусством, римские цифры, сияющие золотом, стрелки тонкие, хрупкие, с острыми кончиками.

Я провела ладонью по гладкой поверхности, полюбовалась текстурой дерева, высвеченной отраженным в ней пламенем свечи. Подарок потряс меня. Живя у миссис Мак, я привыкла не иметь ничего своего, а тут вдруг такая роскошь, и вся моя. Но материальная ценность подарка была не главным его достоинством. Главным было то, что Эдвард показал мне, как глубоко он знает меня, как понимает, кто я есть на самом деле.

– Они тебе нравятся? – спросил он.

– Я уже люблю их.

– А я люблю тебя. – Он поцеловал меня, но, когда отодвинулся, его брови снова сошлись на переносице. – Что такое? У тебя такой вид, будто с часами я подарил тебе какую-то заботу.

Именно так я себя и чувствовала. Едва взглянув на часы, я захотела спрятать бесценный дар куда-нибудь подальше; ведь если принести часы в Севен-Дайелз, на них тут же наложит свою жадную лапу миссис Мак.

– Думаю, придется повесить их здесь, – сказала я.

– У меня есть идея получше. Я как раз собирался поговорить об этом с тобой.

Эдвард часто рассказывал мне о доме у реки, и каждый раз я замечала в его лице такое неприкрытое желание, что, говори он так о другой женщине, я наверняка ревновала бы его. Но теперь, когда он объяснял мне, насколько ему необходимо, чтобы я увидела этот дом, я прочла на его лице нечто другое: ранимость, трепет в ожидании моего приговора. Мне тут же захотелось обнять его, прижать к себе и ласками прогнать все опасения на этот счет.

– Я задумал новую картину, – сказал он наконец.

– Расскажи.

Тогда-то он и поведал мне о том, что случилось с ним много лет назад, в четырнадцать лет: о ночи, проведенной в лесу, о свете в окне, о своей уверенности, что именно дом стал его спасителем. А когда я спросила, как дом может спасти ребенка, он рассказал мне старинную сказку о детях Элдрича, услышанную им от садовника его деда, и о королеве фей, подарившей свое благословение земле в излучине реки и любому дому, который будет стоять на ней.

– Твоему дому, – прошептала я.

– Теперь и твоему тоже. Мы повесим там твои часы, и они будут отсчитывать дни, недели, месяцы до нашего возвращения. Вообще-то, – тут он улыбнулся, – я думал, не пригласить ли нам остальных в Берчвуд – пусть погостят до нашего отъезда в Америку. Что скажешь?

Что я могла сказать? Конечно же «да».

В дверь постучали, и тут уже «да» крикнул Эдвард.

Это оказалась его младшая сестренка, Люси; она быстро обвела взглядом комнату, заметив и новую сумку у него на плече, и оберточную бумагу на полу, и часы у меня на коленях. Все, кроме билетов: Эдвард успел их спрятать, не знаю когда.

Я еще раньше замечала, как она смотрит, эта сестренка Эдварда.

Словно все время наблюдает, примечает, сравнивает. Некоторым это действовало на нервы – например, Клэр, вторая сестра Эдварда, предпочитала заниматься чем угодно, лишь бы не проводить время с Люси, – но мне она напоминала Лили Миллингтон, я имею в виду, настоящую Лили: та была так же умна, и это меня подкупало. Эдвард обожал младшую сестренку и вечно подкармливал ее жадный до знаний ум новыми и новыми книгами.

– Послушай, Люси, – с улыбкой начал он, – что скажешь, если я предложу тебе провести лето в деревне? В доме у реки? И кто знает, может, там даже найдется маленькая лодочка?

– В... том самом?

Ее лицо вспыхнуло радостью, и в ту же секунду она метнула на меня тревожный взгляд. От меня не укрылась интонация, с которой она произнесла «том самом», словно за этими словами крылась тайна.

Эдвард ответил, смеясь:

– В том самом.

– Но вдруг матушка?..

– О ней не беспокойся. Я все возьму на себя.

И тут Люси улыбнулась ему так счастливо, что это мгновенно изменило ее не очень привлекательные черты.

Я помню все.

Время больше не слепит меня; мое ощущение его хода не знает границ. Прошое, настоящее, будущее – для меня все едино. Я научилась замедлять воспоминания. В любой миг я могу заново пережить все, что произошло со мной.

Все, кроме летних месяцев 1862 года. Они спешат, как бы я ни старалась притормозить их бег, несутся, словно монета, пущенная с горы, набирают обороты, приближаясь к неумолимому концу.

В тот вечер, когда Эдвард впервые рассказал мне о Ночи Преследования, на деревьях в Хэмпстеде едва набухали почки. Ветви были почти по-зимнему голыми, а небо – низким и серым; и все же с его последними словами для нас началось лето в Берчвуд-Мэнор.

Часть третья

Лето в Берчвуд-Мэнор



Глава 24

Лето 1862 года

Люси путешествовала по железной дороге впервые, и после того, как поезд покинул вокзал, она с полчаса сидела очень тихо, пытаясь понять, влияет ли скорость на работу ее внутренних органов. Эдвард расхохотался, когда Люси спросила, не испытывает ли он беспокойства из-за этого, и она притворилась, будто задала вопрос в шутку.

– Тому, что внутри нас, вреда от железной дороги не будет, – сказал он, взял ее руку и крепко пожал. – Меня тревожит то, что она делает с деревней.

– Хорошо, что Фанни тебя не слышит.

Это была Клэр, любившая подслушивать. Эдвард нахмурился, но не ответил. Роль, которую отец Фанни сыграл в распространении железных дорог по всей Британии, смущала Эдварда, считавшего, что природу следует ценить саму по себе, а не за ресурсы, пригодные к эксплуатации. Не самая удобная точка зрения для человека, который – как не уставал подчеркивать Торстон Холмс – собирался жениться на деньгах, заработанных благодаря железной дороге. Друг матери, мистер Джон Рёскин, высказывался еще категоричнее: он считал, что проникновение железной дороги в удаленные от цивилизации уголки планеты – большая ошибка человечества. «Дураку всегда хочется сократить пространство и время, – объявил он на днях, покидая их дом в Хэмпстеде. – Мудрец желает удлинения и того и другого».

Но постепенно Люси забыла и о своих внутренних органах, и о порче природы, захваченная волшебством происходящего. В какой-то момент на параллельном пути появился другой поезд, шедший в одном направлении с нашим, и когда Люси, повернув голову, заглянула в вагон напротив, ей показалось, будто он не движется. В купе сидел мужчина, он тоже повернул голову, их взгляды встретились, и Люси тут же задумалась о времени, движении и скорости и даже стала представлять себе, что было бы, если бы поезда стояли, а земля под ними вращалась, как большой волчок. Все, что она знала о законах механики, отодвинулось куда-то далеко-далеко, и ее мозг взорвался новыми, неожиданными возможностями.

Ей захотелось немедленно поделиться с кем-нибудь своими идеями, но

при взгляде на Феликса и Адель Бернард, сидевших по другую сторону стола, воодушевление тут же покинуло ее. Люси немного знала Адель – та еще до замужества бывала у них в доме и позировала Эдварду. Он написал с нее четыре картины и некоторое время был даже увлечен ею. А недавно она сама решила заняться фотографией. На вокзале Паддингтон у них с Феликсом вышла размолвка, и теперь Адель сидела, уткнувшись в «Инглиш уименз джорнэл», а он столь же увлеченно исследовал новый фотоаппарат.

По ту сторону прохода Клэр строила глазки Торстону – главное ее занятие с тех пор, как он попросил ее позировать для новой картины. Все находили, что Торстон очень красив, но Люси, глядя, как он выбрасывает при ходьбе ноги с мощными ляжками, вспоминала отцовских призовых лошадей. Сейчас он смотрел не на Клэр, а на Эдварда и его нынешнюю натурщицу, Лили Миллингтон. Люси проследила за его взглядом. И сразу поняла, почему он так на них засмотрелся. Они сидели бок о бок с таким видом, словно были в вагоне одни, и Люси тоже залюбовалась ими.

Не найдя никого, с кем можно было бы поделиться своими соображениями, Люси предпочла оставить их при себе. И тут же решила, что оно, наверное, к лучшему. Ей очень хотелось произвести на друзей Эдварда хорошее впечатление, а Клэр совсем недавно сказала, что когда она начинает нести чепуху о времени, энергии, материи и пространстве, то делается похожей на сумасшедшую из Бедлама. (Правда, Эдвард считал иначе. Он всегда говорил ей, что у нее отличные мозги и она должна научиться ими пользоваться. Как это высокомерно со стороны мужчин, добавлял он, урезать возможности человечества ровно наполовину, не обращая внимания на мысли женщин, не прислушиваясь к их словам.)

Люси просила мать нанять ей гувернантку, а еще лучше – послать в школу, но та взглянула на нее с тревогой, пощупала дочери лоб, проверяя, нет ли у нее жара, а потом сказала, что она странная малышка и что такие глупые мысли надо гнать прочь. А однажды, когда мистер Рёскин пришел на чай, мать распорядилась вызвать Люси, и, пока девочка стояла у двери, вытянувшись в струнку, великий человек прочел ей целую лекцию о том, что женский ум предназначен не для «изобретения или творчества», а лишь для «упорядочивания, благоустройства и принятия решений касательно уже существующего».

Слава богу, что Эдвард регулярно снабжал ее книгами. Сейчас Люси жадно поглощала новинку, «Химическую историю свечи» – шесть рождественских лекций для молодых людей, прочитанных Майклом Фарадеем в Королевском институте. В книге высказывались довольно

интересные соображения о пламени свечи в частности и о процессе горения в целом, о частицах углерода и о зоне свечения, к тому же это был подарок Эдварда, и Люси твердо вознамерилась смаковать каждое слово; но, честно говоря, изложено все было слишком уж элементарно. Книга лежала у нее на коленях с тех пор, как поезд отъехал от вокзала, однако Люси так и не нашла в себе сил открыть ее, думая вместо этого о лете.

Целых четыре недели в Берчвуд-Мэнор, да еще с Эдвардом в роли взрослого! С тех пор как мать сказала, что она может поехать, Люси считала дни, каждый день перед сном вычеркивая еще одно число в календаре. Девочка точно знала, что другая мать и думать не стала бы о том, чтобы отпустить тринадцатилетнюю дочь на несколько недель вместе с компанией художников и их натурщиц, без должного сопровождения, но Беттина Рэдклифф была не из таких – она вообще не походила на обычных матерей, каких встречала Люси. Беттина была «цыганкой», как величали ее дед с бабкой, а с тех пор, как умер отец, нередко ухитрялась устроить так, чтобы кто-нибудь из знакомых пригласил ее в путешествие или в гости. Вот и теперь, в июле, она уезжала в Италию, чтобы насладиться красотами амальфитанского побережья, а затем остановиться в Неаполе у Поттеров, друзей, которые сняли там дом. Поэтому ее не пугала перспектива морального разложения Люси в обществе, столь неподходящем для юной девушки. Напротив, она была даже благодарна Эдварду за то, что он взял на себя заботу о младшей сестре, пригласив ее провести лето с ним и его друзьями в Берчвуде: это освобождало ее от необходимости терпеть вынужденное великодушие свекра и свекрови.

– Ну вот, одной заботой меньше, – рассеянно сказала она и с воодушевлением вернулась к сборам.

Эдвард хотел, чтобы Люси провела с ним то лето, еще по одной причине. Именно ей первой он сообщил о покупке дома. Это было в январе 1861-го, он тогда отправился «в отлучку» и отсутствовал три недели, четыре дня и два часа. Люси лежала на животе поперек своей кровати и перечитывала «О происхождении видов», время от времени бросая взгляды в сторону окна, которое выходило прямо на улицу перед их домом в Хэмпстеде. Вдруг послышался знакомый звук шагов по мостовой. Люси всех различала по шагам: могучий молочник ступал тяжело, тщедушный, вечно кашляющий трубочист издавал звуки «тук-тук-кх», шаги Клэр не были примечательны ничем, кроме скорости, мать цокала тонкими, точно веретенца, каблуками. Но больше всего Люси любила целеустремленный, обещающий чудеса стук башмаков Эдварда.

Люси не нужно было даже подходить к окну, чтобы понять: приехал брат. Она отшвырнула книгу, скатилась вниз по четырем пролетам, пронеслась через холл и прыгнула прямо в протянутые руки Эдварда, едва тот ступил через порог. Конечно, в свои двенадцать лет Люси была слишком взрослой для таких манер, но Эдвард легко ловил ее, невысокую, и поднимал на руки. А Люси обожала брата буквально с колыбели и терпеть не могла, когда он уезжал, бросая ее на мать и на Клэр. Пока что его отлучки продолжались не больше месяца, но каждый день без него тянулся, как целая неделя, а список мыслей, которыми Люси хотела поделиться с братом по его возвращении, становился все длиннее и длиннее.

Едва оказавшись на руках у Эдварда, она начинала выкладывать все, что произошло в его отсутствие, торопясь, путаясь в словах. Обычно Эдвард жадно выслушивал эти истории, а потом делал сестре подарок – сокровище, приобретенное специально для нее; сокровищем неизменно оказывалась книга, и всегда по естественным наукам, истории или математике, которые она любила больше всего. Но в тот раз все было иначе: Эдвард приложил палец к губам – «молчи» – и сказал, что ее новости подождут, сегодня он будет говорить первым. Он совершил невероятное – так заявил он – и должен немедленно рассказать ей обо всем.

Люси была и заинтригована, и польщена. Мать и Клэр были дома, но избранной оказалась она, Люси. Внимание Эдварда было для нее как солнечный свет для растения, и Люси нежилась в его лучах. Оба спустились на кухню, единственное помещение в доме, где, как они знали, их никто не потревожит, уселись за лоснящийся от работы и воска кухаркин стол, и Эдвард поведал о купленном им доме. Двойной фронтон, простой, без затей, деревенский сад, рядом река и роща. Описание показалось ей знакомым раньше, чем Эдвард взволнованно произнес:

– Это он, Люси, тот самый, из Ночи Преследования.

Люси затаила дыхание, от воспоминаний по коже побежали колючие мурашки. Она точно знала, что это за дом. Ночь Преследования была легендой, известной только им двоим. Люси было тогда всего пять, но та ночь навсегда врезалась в ее память. Нет, она никогда не забудет о том, как любимый брат вернулся на рассвете: волосы встрепанные, глаза безумные. День близился к концу, когда он пришел в себя настолько, чтобы рассказать сестре о своих приключениях, – уже под вечер, сидя рядом с ней в старинном гардеробе на чердаке в Бичворте. Ни одна живая душа, кроме Люси, так и не узнала, что произошло с ним той страшной ночью; только ей Эдвард доверил свою тайну, ставшую символом нерушимых уз между

ними.

– И ты будешь там жить? – тут же спросила она, напуганная тем, что может потерять Эдварда, если он насовсем переедет в деревню.

Он рассмеялся и любовно взъерошил ее темные волосы:

– Пока с меня хватит того, что он просто мой. Другие наверняка скажут, что я спятил, решив купить его, и будут правы – это безумие чистой воды. Но я знаю, ты меня поймешь: я просто не мог упустить его. Этот дом звал меня с тех пор, как я провел в нем ту ночь; и вот теперь я наконец ответил на его зов.

Люси продолжала разглядывать нынешнюю натурщицу Эдварда, Лили Миллингтон, которая смеялась каким-то его словам. Лили была красивой, но Люси подозревала, что без Эдварда не сумела бы по-настоящему разглядеть ее красоту. Таким был его дар; об этом говорили все. Он видел то, чего не видели другие, и не просто видел, но изображал увиденное так, что зрители, хотели они или нет, больше не могли закрыть глаза на то, что показал художник. В последней из своих «Записок из Академии» Рёскин назвал это свойство его живописи «рэдклиффовским обманом чувств».

Пока Люси смотрела, Эдвард протянул руку, убрал блестящую прядь рыжих волос с лица Лили и заложил ей за ухо, а та посмотрела на него и улыбнулась. В этой улыбке содержался намек на прежние разговоры, которых было много, и Люси почувствовала, как из самой глубины ее существа вдруг поднялась нервная дрожь.

В тот день, когда Люси впервые увидела Лили Миллингтон за стеклянными стенами студии Эдварда, девушка показалась ей огненным сполохом. Был май 1861-го, и слегка близорукая Люси сначала приняла ее за крону молодого японского клена, растущего в кадке. Эдвард питал слабость к экзотическим растениям и часто навещался в магазин мистера Романо на углу Уиллоу-роуд, где рисовал его дочерей; взамен итальянец давал ему разные растения, прибывшие то из какой-нибудь Америки, а то и от антиподов. Люси разделяла и эту страсть брата – ее точно так же приводили в восторг живые, дышащие гости из дальних стран, которые давали возможность заглянуть в мир, так отличавшийся от ее собственного.

И лишь когда мать велела ей взять вторую чашку, чтобы отнести чай Эдварду, она поняла, что у него в студии натурщица. Ее любопытство разгорелось еще сильнее, когда она сообразила, кто это. Невозможно было жить в одном доме с Эдвардом и не переживать вместе с ним все взлеты и падения каждой его новой страсти.

Несколькими месяцами раньше он впал в апатию, такую, что,

казалось, уже не выберется из нее. Тогдашней его натурщицей была Адель, и Эдвард достиг того предела, когда ее мелкие, аккуратные черты уже не пробуждали в нем вдохновения.

– Нет, ее личико обворожительно, как и прежде, – объяснял он Люси, вышагивая взад-вперед по студии, пока сестра сидела у печки на стуле розового дерева. – Беда в том, что в пространстве между ее хорошенькими ушками ничего нет.

У Эдварда была своя теория насчет того, что такое красота. Он говорил, что и форма носа, и очертания скул и губ, и цвет глаз, и то, как кудрявятся короткие волоски у основания шеи, – это все хорошо и мило, но единственное, от чего лицо светится, будь оно написано красками на холсте или отпечатано на альбуминовой бумаге, – это интеллект.

– Интеллект для меня – это не способность объяснить устройство двигателя внутреннего сгорания или прочесть лекцию о том, как при помощи телеграфа сигнал из точки А поступает в точку Б. Просто есть люди, которые словно светятся изнутри, они от природы снабжены тем, что заставляет их проявлять любопытство к миру, с неумным интересом доискиваться сути вещей, и эту увлеченность художник не может ни породить, ни подделать, как бы он ни был искусен в своем ремесле.

Но однажды ранним утром Эдвард вернулся домой оживленный, как никогда, и в каждом его шаге звучало ликование. Домочадцы только-только поднялись с постелей, когда он распахнул входную дверь, но сам дом, казалось, отреагировал на его приход. Тишина передней, всегда чуткая к его присутствию, завибрировала, когда он бросил пальто на крючок, а когда Люси, и мать, и Клэр, все в ночных сорочках, показались наверху, на площадке, он, широко раскинув руки, сообщил им, что наконец нашел ее, ту, которую искал так долго, и победная улыбка растеклась по его лицу.

Сколько было радости, когда потом, за завтраком, он рассказал им свою историю!

Судьба, начал Эдвард, в своей неисповедимой милости скрестила их пути на Друри-лейн. Вечер он, вместе с Торстоном Холмсом, провел в театре, где и увидел ее впервые – в фойе, среди людской толчеи и дымного света газовых рожков. (Позже, подслушав подогретый вином спор Эдварда и его друга, Люси узнала, что именно Торстон, а не ее брат, первым заметил эту изысканную рыжую красавицу, первым обратил внимание на то, как газовый свет заставляет ее волосы пылать огнем, а коже придает прозрачность алебаstra, первым сообразил, что она выглядит в точности как героиня картины, которую тогда задумывал Эдвард. И это он, Торстон, сначала потянул Эдварда за рукав, а потом развернул его спиной к человеку,

которому тот был должен денег, чтобы Эдвард своими глазами увидел это чудо в темно-синем платье.)

И Эдвард застыл. Едва его взгляд упал на нее, рассказывал он, как будущая картина представилась ему целиком. Но пока художник переживал внезапное откровение, женщина развернулась и явно собралась уходить. Не думая о том, что делает, Эдвард стал проталкиваться следом за ней через толпу, словно одержимый; он знал лишь одно: ее необходимо настичь. Между тем она проскользнула через людное фойе к боковой двери и вышла наружу. И слава богу, продолжал Эдвард, обведя взглядом своих слушательниц за столом, что он успел сделать то же самое, оказавшись на улице как раз вовремя, чтобы ее спасти. Пока он, Эдвард, прокладывая себе путь к выходу, какой-то мужлан, весь в черном, самой непрезентабельной наружности, рванулся к женщине, настиг ее и сорвал с запястья фамильный браслет.

Клэр и мать громко ахнули, а Люси воскликнула:

– Ты разглядел его?

– Нет, не успел. Ее брат уже пустился в погоню за беглецом, но не поймал. Он вернулся как раз в тот миг, когда я настиг ее в переулке; решив, что я и есть тот негодяй, пришедший довершить злое дело, он закричал: «Держите! Вор!» Но она объяснила ему, что он ошибся, и его поведение немедленно изменилось.

Только тут, продолжал Эдвард, незнакомка повернулась к нему лицом, лунный свет посеребрил ее черты, и он понял, что расстояние его не обмануло: перед ним действительно стояла та, кого он искал.

– И что ты сделал потом? – спросила Люси, когда горничная ушла, оставив на столе чайник со свежим чаем.

– К сожалению, у меня нет дара ведения светской беседы, – сказал Эдвард. – Я просто сказал, что должен ее нарисовать.

Клэр приподняла брови:

– И что она ответила?

– Нет, – перебила мать, – гораздо важнее, что ответил ее брат?

– Он страшно удивился. Спросил, о чем это я, и я объяснил как мог. Однако, боюсь, моя речь могла показаться ему несколько сбивчивой – в тот миг я был под впечатлением от красоты его сестры.

– Но ты сказал, что твои картины выставлялись в Королевской академии? – спросила мать. – Упомянул о том, что к тебе благоволит сам мистер Рёскин? О том, что твой отец принадлежал к титулованной знати, наконец?

Эдвард подтвердил: да, он сказал все это, и даже больше. Он не

удержался и перечислил все титулы и названия всех старинных поместий, которые принадлежали его роду, – возможно, впервые в жизни; и предложил, чтобы его матушка, «леди» Рэдклифф, навестила их родителей и заверила их, что с ним их дочь будет в полной безопасности.

– Я понял, что это необходимо, мама, так как ее брат особо подчеркнул: они должны посоветоваться с родителями, прежде чем принимать столь важное решение – репутация порядочной женщины может пострадать, если она станет наниматься в натурщицы.

Договорившись о встрече, обе стороны пожелали друг другу доброй ночи и разошлись.

Домой Эдвард пошел не сразу – долго бродил сначала вдоль набережной, потом по улицам Лондона, мысленно рисуя лицо незнакомки по памяти. Он был так заморожен ею, что умудрился потерять кошелек, и весь путь до Хэмпстеда ему пришлось проделать пешком.

Когда Эдвард бывал в ударе, как в то утро, его радости не мог противиться никто, и поэтому Люси, мать и Клэр жадно выслушали его новость. А когда он закончил, мать сказала, что ей все ясно. Сегодня же вечером она отправится к мистеру и миссис Миллингтон, чтобы лично поручиться за сына. Горничная матери получила указания: незамедлительно починить платье для визитов в тех местах, где его проела моль, и нанять карету для поездки в Лондон.

С железным лязгом, окутавшись облаком дыма, поезд стал замедлять ход. Люси прижала лицо к окну и увидела, что они подъезжают к станции. На табличке было написано «Суиндон», и она поняла: пора выходить. По платформе расхаживал человек в безупречно вычищенной форме, с надраенным до блеска свистком, который он то и дело без стеснения пускал в ход; тут же толклись носильщики, готовые предложить свои услуги.

Когда все сошли с поезда, Эдвард с другими мужчинами отправился в багажный вагон за вещами, среди которых были мольберты и прочие художественные принадлежности, а затем их (кроме чемодана Люси – та отказалась расстаться со своими драгоценными книгами) погрузили на телегу и отправили в деревню Берчвуд. Люси думала, что их компания тоже усядется в экипажи, но Эдвард сказал, что жаль терять такой прекрасный день; кроме того, к дому лучше подходить с реки, а не с большой дороги.

И был прав, день и в самом деле выдался на диво. Небо сияло такой прозрачной голубизной, какую редко увидишь в Лондоне, а воздух пах так, как и положено пахнуть воздуху в деревне, – колосющимися травами с пряной ноткой разогретого на солнце навоза.

Эдвард шел впереди и не затруднял себя выбором пути – вел их прямо через цветущие луга, где в траве золотились лютики, мелькали розовые столбики наперстянок, голубели незабудки. Коровьей петрушки было столько, что ее сквозистые белые зонтики пеной вскипали на лугах; то и дело дорогу путникам преграждали прихотливо текущие ручьи, и приходилось искать торчащие из воды камни, чтобы перейти на другую сторону, не замочив ног.

Путь был долгим, но они никуда не спешили. Четыре часа пролетели незаметно – под Леклейдом они устроили ланч и покатались на лодке по мелководью, а потом еще пару раз останавливались порисовать. Все много смеялись и веселились. У Феликса оказался запас клубники: он извлек откуда-то матерчатый кулек и поделил ягоды между всеми. Адель рвала цветы и плела из них венки, которые надевала на головы всем женщинам, словно короны, – даже Люси достался один. Потом потерялся Торстон, но скоро нашелся – в зеленой траве, под большой плакучей ивой: оказалось, он мирно дрыхнет, надвинув на лицо шляпу. Когда жара поднялась не на шутку, Лили Миллингтон, которая шла, распустив волосы, собрала их в узел и подняла на макушку, подвязав шейным платком Эдварда. Увидев ее шею, до тех пор скрытую под волосами – стройную и белую, как лепесток лилии, – Люси смущенно отвела глаза.

У Полупенсового моста они спустились к воде и берегом пошли на восток, мимо лугов, на которых паслись коровы, за шлюз Сент-Джонс. Когда они добрались до опушки леса, было еще светло, но солнце уже растратило свой дневной жар. Эдвард часто рассуждал о цвете. Люси знала, что на его языке это называется «свет утратил желтизну». Ей очень нравилось это время дня. Скинув покров желтизны, мир представал слегка синеватым.

Дом, сказал Эдвард, стоит сразу за лесом. Он настаивал на том, что в первый раз к дому следует подходить именно со стороны реки и леса – только так можно оценить его истинные пропорции. Объяснение показалось всем вполне резонным, и никто не задал ни одного вопроса, но Люси знала: у Эдварда имелась еще одна причина. В лесу была поляна, где для него началась Ночь Преследования. Эдвард вел их тем же путем, который сам одолел в ту ночь, мчась сначала между деревьями, затем по открытому полю, под внимательными серебристыми звездами, пока наконец не различил впереди спасительный маяк – свет в окне мансарды.

Оказавшись в лесу, они принялись молча шагать по узкой тропинке. Люси отмечала каждый треск, когда под чьей-нибудь ногой ломалась сухая ветка, прислушивалась к шелесту листьев, а иногда ее ухо ловило странные

звуки, которые неслись из зарослей вдоль одинокой тропы. Ветви деревьев над ними не были прямыми. Толстые изгибались, образуя арку, другие, потоньше, украшали ее волнистыми лентами; стволы лесных великанов поросли лишайниками и папоротниками; Люси сразу увидела, что это в основном дубы с вкраплениями буков и берез. Местами сквозь густые кроны все еще проникал свет и пятнами ложился на траву, атмосфера была заряжена ожиданием.

Когда они наконец добрались до поляны, Люси уже почти различала дыхание листвы.

Нетрудно было представить, как страшно может быть в таком месте в глухую ночь.

Хотя с Ночи Преследования прошло немало лет, Люси не забыла, как выглядел Эдвард, когда под утро вернулся в дедовский дом. Она поискала брата взглядом, чтобы посмотреть, как он себя чувствует, возвратившись сюда, и удивилась, увидев, что Эдвард протягивает руку Лили Миллингтон.

Все вместе пересекли поляну и снова углубились в лес.

Наконец вокруг стало светлеть, и, одолев последний заросший деревьями подъем, они оказались на открытом месте.

Перед ними раскинулся луг, пестрый от диких цветов, а за ним виднелась крыша с двумя коньками и множеством дымовых труб.

Эдвард повернулся к ним с выражением такого ликующего торжества, что Люси, не сдержавшись, ответила ему улыбкой.

Чары волшебного леса остались позади, и все вдруг заговорили радостно, возбужденно, словно, увидев дом, ощутили вкус долгожданного лета.

Верно ли, что тут есть гребная лодка? – спрашивали они. Да, отвечал Эдвард, вон там, в амбаре. И он даже распорядился соорудить для нее причал, чуть ниже по реке.

Что из окрестных земель принадлежит ему? Все до самого горизонта.

Спальни выходят окнами на реку? Да, многие. На втором этаже – одни жилые комнаты, и в мансарде они тоже есть.

Громко воззвав «К оружию!», Торстон помчался через луг, и Феликс тут же кинулся за ним вдогонку; Клэр и Адель тоже побежали, взявшись за руки. Эдвард поймал взгляд Люси и подмигнул.

– Не отставай, сестренка, – сказал он. – Беги и займи лучшую комнату!

Люси улыбнулась, кивнула и вприскок последовала за другими. Она чувствовала себя свободной и такой живой, как никогда раньше, – вольный деревенский воздух овеивал ей щеки, закатное солнышко пригревало, и радость от того, что она делит этот важный момент с Эдвардом,

переполняла ее. В таком настроении, достигнув другого края луга, она обернулась, чтобы помахать рукой брату.

Но тот не смотрел на нее. Он и Лили Миллингтон медленно шли в сторону дома, сблизив головы, явно погруженные в какую-то беседу. Люси еще подождала в надежде, что он все же взглянет в ее сторону, даже рукой помахала – бесполезно.

Тогда она повернулась к ним спиной и, слегка расстроенная, направилась к дому.

И тут, впервые с тех пор, как рано утром они сели в поезд на вокзале Паддингтон и выехали из Лондона, Люси пришла в голову мысль: а почему с ними нет Фанни Браун, невесты Эдварда?

Глава 25

Берчвуд-Мэнор был одним из тех мест, где время давало слабину, теряя обычную упругость. Люси заметила, как быстро вся компания втянулась в размеренное, ленивое существование – можно подумать, они жили в этом доме вечность, – и гадала, в чем причина: в погоде ли – солнечные летние дни бессменно следовали один за другим, – в людях ли, которых пригласил Эдвард, или, может быть, в самом доме. Брат, конечно, выбрал бы последнее объяснение. Мальчиком услышав сказку об Элдриче и его детях, он был с тех пор твердо убежден, что земли в речной излучине обладают особыми свойствами. Однако и сама Люси, гордившаяся своим здравомыслием и рационализмом, не могла не признать, что в этом доме есть нечто необыкновенное.

Еще до приезда сюда Эдвард написал одной молодой женщине из деревни, Эмме Стернз, договорившись, что она будет выполнять всю работу по дому: приходить каждый день с утра и уходить после того, как подаст на стол ужин. В первый же вечер, когда они, едва волоча от усталости ноги, пришли со станции, Эмма уже ждала их. Инструкции Эдварда она выполнила буквально: большой кованый стол в саду был накрыт белой льняной скатертью и прямо-таки ломился от яств! Нижние ветви каштана были увешаны стеклянными фонариками, и, когда сумерки стали сгущаться, в них замерцали огоньки зажженных свечей. От этого света, пусть и неяркого, ночь показалась еще темнее, полилось вино, Феликс взялся за гитару. Адель принялась танцевать, малиновки дружным хором провожали последние лучи солнца, а Эдвард залез на стол и стал читать Китса: «Ты, яркая звезда...»

В ту ночь все в доме спали как мертвые, а наутро встали поздно и в хорошем настроении. Вечером они слишком устали, чтобы разглядеть, куда попали, но с утра забегали из комнаты в комнату, восхищаясь то видом из окна, то деталями отделки. Этот дом строил настоящий мастер своего дела, с гордостью говорил Эдвард, наблюдая за друзьями, которые с энтузиазмом исследовали его новое жилище; все на своих местах, ни одна мелочь не забыта. С точки зрения Эдварда, именно внимание к деталям делало дом «правдивым», и поэтому ему нравилось здесь все: каждый предмет мебели, каждая занавеска, каждый завиток на каждой половине, изготовленной из дерева, срубленного в ближайшем лесу. Но больше всего – надпись над дверью в комнату, где обои украшал орнамент из листьев и

ягод шелковицы; комната находилась на первом этаже, и окна в задней стене были такими широкими, что помещение казалось частью сада. Надпись гласила: «Истина, Красота, Свет». Эдвард каждый раз останавливался перед ней в изумлении и говорил: «Видите, этот дом предназначен для меня».

Все следующие дни Эдвард неустанно рисовал Берчвуд-Мэнор. Он нигде не показывался без своей новой кожаной сумки, висящей на плече. Его часто видели на лугу: он сидел в высокой траве, надев шляпу, и то и дело посматривал на дом с выражением глубокого удовлетворения, после чего возвращался к работе. Лили Миллингтон, как заметила Люси, всегда была рядом с ним.

Люси спросила Эдварда о Фанни. В первое же утро брат взял ее за руку и повел по холлам и коридорам Берчвуда – в библиотеку.

– Я сразу подумал о тебе, едва увидел эти полки, – сказал он. – Только взгляни на эту коллекцию, Люси. Здесь есть книги буквально обо всем на свете. Все, до чего додумались умнейшие люди по всему миру, все, что они записали на бумаге и опубликовали для других людей, и все это – в полном твоём распоряжении. Я знаю, настанет время, и у женщин будут те же возможности, которые сейчас даны только мужчинам. Этого не может не случиться, ведь женщины умнее нас и их больше. Но до тех пор тебе придется самой творить свою судьбу. Так что читай, запоминай, думай.

В подобных случаях Эдвард никогда не бывал неискренним, и Люси пообещала ему, что так и сделает.

– Можешь мне верить, – торжественно сказала она. – К концу лета я прочту все книги на каждой полке.

Он засмеялся:

– Ну, не надо так уж торопиться. Это ведь не последнее лето. К тому же здесь есть другие удовольствия: река, сад.

– Конечно... – В разговоре образовалась естественная пауза, и Люси без всякой задней мысли добавила: – А когда придет Фанни?

Выражение лица Эдварда не переменилось, когда он сказал:

– Фанни не придет, – и тут же сменил тему: показал ей укромный уголок у камина, где можно было читать, не опасаясь ничьего вмешательства. – Никто не заметит тебя здесь, а мне из достоверных источников известно: чтение доставляет больше всего удовольствия тогда, когда ты делаешь это втайне.

Люси не стала больше говорить о Фанни.

Позже она, конечно, упрекала себя за то, что не проявила настойчивости, не задала больше вопросов; но, честно говоря, она не

испытывала особой симпатии к Фанни и даже обрадовалась, что та не приедет. К тому же небрежность – почти пренебрежение, – с которой брат ответил на ее вопрос, сказала ей яснее всяких слов: Фанни – зануда. Она завладела вниманием Эдварда и пыталась сделать из него того, кем он никогда не был. А еще она была невестой, и в этом качестве от нее исходила угроза, которую Люси не ощущала от натурщиц. Натурщицы появлялись и исчезали, а брак – это навсегда. Брак – это другой дом, куда Эдвард уедет без возврата. А Люси не могла представить себе жизни без Эдварда, равно как не могла представить себе его жизнь с Фанни.

Сама Люси не планировала выходить замуж – ну, разве что попадетс я идеальный кандидат. А таким, решила она, мог быть лишь тот, кто похож на нее саму. А еще лучше, чтобы это был Эдвард. Тогда они будут всегда вдвоем, никто им не помешает, и они будут счастливы.

Насчет библиотеки Эдвард оказался прав: ее как будто составили специально для Люси. Все стены, от пола до потолка, были заняты полками, и, в отличие от таких же полок в доме деда и бабушки, их заполняли не скучные религиозные трактаты и памфлеты, призванные уберечь от неподобающего поведения, нет, здесь были *настоящие* книги. Прежние владельцы Берчвуд-Мэнор собрали потрясающее количество томов по разным увлекательным предметам, а пробелы в коллекции Эдвард заполнил свежими изданиями, выписанными из Лондона. Каждую свободную минуту Люси проводила на раздвижной библиотечной лестнице, забираясь под самый потолок, просматривая корешки и прикидывая, что и в какой момент лета она прочтет – а таких моментов перед ней открывалось много, целая череда, ведь с первого часа их пребывания в Берчвуде она поняла, что всецело предоставлена самой себе.

Уже в первое утро, когда вся компания только знакомилась с домом, каждый художник был занят одним – поисками лучшего места для работы. И это был не просто эгоизм – перед отъездом из Лондона мистер Рёскин оповестил членов Пурпурного братства о своем намерении устроить осенью их коллективную выставку. Вот почему у каждого было на уме что-то новое, и вот почему атмосфера дома сразу наполнилась духом творчества, соперничества и надежды. Как только определились с комнатами, художники принялись распаковывать орудия своего искусства, прибывшие вслед за ними со станции на телеге.

Торстон выбрал большую гостиную в передней части дома, поскольку окно там выходило на юг, а значит, заявил он, свет для его картины будет идеальным. Люси старалась избегать его, отчасти потому, что Торстон

внушал ей какое-то беспокойство, а отчасти потому, что не хотела лишней раз видеть глупые телячьи глаза кокетничающей с ним сестры. Проходя мимо комнаты, когда там шел сеанс позирования, Люси через открытую дверь случайно заметила Клэр, и ей стало до того тошно, что пришлось выскочить из дома и опрометью бежать по лугу, лишь бы избавиться от этого отвратительного наваждения. Перед отъездом Люси мельком увидела и саму картину. Даже незаконченная, она была хороша, ничего не скажешь, ведь Торстон, надо отдать ему должное, превосходно владел техникой живописи; но одна деталь особенно поразила Люси. У женщины на картине, несомненно списанной с Клэр, которая позировала, полулежа в шезлонге и как бы изнывая от тоски, был рот Лили Миллингтон.

Феликс реквизировал небольшой закуток на первом этаже, рядом с обшитой деревянными панелями гостиной, а когда Эдвард заметил, что там нет света, радостно согласился и сказал, что это ему и нужно. Прежде он был известен мрачными картинами на легендарные и мифологические сюжеты, а теперь выразил намерение прибегнуть к фотографии.

– Моя фотографическая Леди Шалотт по мотивам Теннисона превзойдет картину Робинсона. Река здесь самая подходящая для такого сюжета. Ив и даже осин сколько угодно. Камелот будет как настоящий, вот увидите.

Яростные споры о том, пригодно ли новое изобразительное средство для создания таких же художественных эффектов, как в живописи, продолжали сотрясать группу. Однажды за обедом Торстон заметил, что фотография – всего лишь ловкий трюк.

– Дешевый фокус, вполне пригодный для того, чтобы делать карточки на память, но совершенно не позволяющий передать что-нибудь серьезное.

Тогда Феликс вынул из кармана пуговицу – вернее, маленький оловянный значок, который подбросил на ладони.

– Скажи это Аврааму Линкольну, – заявил он. – Десятки тысяч таких штук были розданы публике. И теперь множество людей по всему Американскому континенту носят на своей одежде лицо этого человека, вот это самое изображение. Еще недавно мы знать не знали, как этот Линкольн выглядит, о чем думает. А сегодня за него голосуют сорок процентов избирателей.

– Почему его противники не сделали того же самого? – спросила Адель.

– Они пытались, но было слишком поздно. Выигрывает тот, кто начинает первым. Но я смело могу обещать вот что: отныне на любых выборах кандидаты будут эксплуатировать свою внешность.

Торстон взял у него оловянный значок и тоже подкинул на ладони, как монету.

– Я не отрицаю, что в политике фотография может быть полезна, – сказал он, ловя металлический кругляшок одной ладонью и прихлопывая его другой. – Но только не говори мне, что это – искусство.

И он поднял ладонь, открывая лицо Линкольна.

– Нет, эта пуговица, конечно, не искусство. Но вспомни Роджера Фентона.

– Да, его крымские пейзажи великолепны, – поддержал его Эдвард. – И заключают в себе серьезную мысль.

– Но не становятся от этого искусством. – Торстон слил остатки красного вина себе в бокал. – Я допускаю, что фотография полезна там, где речь идет о сообщении новостей, освещении разных событий, – для функционирования в качестве... в качестве...

– Глаза истории, – подсказала ему Лили Миллингтон.

– Да, спасибо, Лили, вот именно, глаза истории. Но искусством она все равно не является.

Люси тихо сидела на дальнем конце стола и с наслаждением уплетала вторую порцию пудинга. Мысль о фотообъективе как о глазе истории пришла ей по душе. Как часто, читая книги о прошлом – а также производя собственные раскопки в лесу за домом, – она утыкалась в печальную необходимость додумывать события и обстоятельства, опираясь на уже известные. Какой прекрасный подарок получили грядущие поколения, ведь фотография способна запечатлеть правду! В «Лондон ревю» ей попала статья, где речь шла о «незыблемых свидетельствах фотоснимков» и о том, что отныне ни одно событие не будет происходить без фотографии, способной создать...

– Осязаемую память о событии, которую можно передать другим людям.

Люси вскинула голову так резко, что с ее ложки шлепнулась большая капля крема. Это опять была Лили Миллингтон, и ее слова точь-в-точь совпали с мыслями Люси. Точнее, с теми, которые она почерпнула из статьи в «Лондон ревю».

– Вот именно, Лили, – говорил между тем Феликс. – Настанет день, когда фотографические изображения станут повсеместными, а фотоаппараты – такими маленькими и компактными, что люди станут вешать их на шнурки и носить на шее.

Торстон округлил глаза:

– Надо полагать, что и шеи у них станут толще наших, у этих могучих

людей будущего? Феликс, ты сам не замечаешь, как своими словами о вездесущести фотографии льешь воду на мою мельницу. Если человек способен навести объектив на предмет и сделать снимок, это не зачисляет его автоматически в разряд художников. Художник – тот, кто видит красоту в клубах сернисто-желтого тумана, там, где другие видят лишь загрязнение.

– Или та, – добавила Лили Миллингтон.

– Что – та? – Торстон осекся, поняв, к чему она клонит. – А. Ясно. Хорошо, Лили, очень хорошо. Или *та дама*, которая видит прекрасное.

Тут Клэр вставила банальное замечание о том, что в фотографии нет цвета, и Феликс стал объяснять, что художникам придется больше пользоваться светом и тенью, тщательнее продумывать композицию, чтобы вызвать те же эмоции, что и живописцы; но Люси уже не слушала его.

Она не могла отвести глаз от Лили Миллингтон. Она не припоминала, чтобы хоть раз слышала от натурщиц что-либо заслуживающее внимания, и уж тем более ни одна из них и мечтать не могла о том, чтобы сконфузить Торстона Холмса. Раньше Люси думала – если вообще когда-нибудь задумывалась об этом, – что вдохновение, получаемое Эдвардом от Лили, рано или поздно закончится, что он устанет от нее, как уставал от всех прежних натурщиц. Теперь она поняла, что Лили Миллингтон сильно отличалась от своих предшественниц. Она была моделью совсем иного рода.

Лили Миллингтон и Эдвард проводили дни, запершись в Шелковичной комнате, где Эдвард поставил мольберт. Он трудился не покладая рук – Люси узнавала выражение рассеянной сосредоточенности, неизменно появлявшееся у брата, когда он был занят очередной картиной, – но пока ни с кем не делился своими планами. Сначала Люси думала, что это из-за размолвки с мистером Рёскином, который не поддержал Эдварда после того, как тот выставил «La Belle». Рёскин прохладно отозвался о картине, мистер Чарльз Диккенс аттестовал ее хуже некуда, и Эдвард пылал гневом. (Когда отзыв Диккенса появился в печати, он в ярости ворвался в свою студию в дальнем конце сада и побросал в огонь все, вышедшее из-под пера мистера Диккенса, а заодно и драгоценную копию «Современных художников» мистера Рёскина. Люси, которая с декабря 1860 по август 1861-го была подписана на все выпуски У. Г. Смита и сына, чтобы не пропустить ни одного приложения с частями «Больших надежд», вынуждена была прятать свои номера «Круглого года», чтобы и они не пошли на растопку под горячую руку.)

Однако теперь она стала сомневаться: нет ли здесь чего-нибудь

другого? Чем именно это могло быть, она не знала, но чувствовала, как атмосфера тайны окружает Эдварда и Лили Миллингтон всякий раз, когда они оказываются рядом. Вот, скажем, на днях Люси подошла к брату, рисовавшему что-то в своем альбоме, а тот, едва почувствовав, что за спиной кто-то стоит, закрыл рисунок, – правда, она успела разглядеть тщательно проработанный этюд лица Лили Миллингтон. Эдвард вообще не любил, чтобы за ним подглядывали во время работы, но такой таинственности не напускал еще никогда. Да и причина его скрытности была не вполне понятна: ну, работает художник над портретом своей натурщицы, что такого? Рисунок как рисунок, Люси видела сотни таких на стенах его студии, вот только на шее что-то странное: то ли подвеска, то ли ожерелье. А в остальном все как обычно.

Одним словом, Эдвард ушел в работу с головой, остальные тоже трудились не покладая рук, Эмма была занята на кухне и по дому, а Люси исследовала библиотеку. Она обещала Эдварду ходить на прогулки, но вовсе не намеревалась выполнять обещание: каждый день она набирала в библиотеке охапку книг и шла с ними на улицу – читать. Иногда она читала в амбаре, иногда – в зарослях папоротника в саду; когда же на улице бывало слишком ветрено и Феликс не снимал свою «Леди Шалотт», а, побродив безутошно по лугу и определив преобладающее направление ветра при помощи смоченного в слюне пальца, засовывал руки в карманы и угрюмо возвращался в дом, Люси устраивалась с книгой в маленькой гребной лодке, которая покачивалась на воде у нового причала Эдварда.

После их приезда в Берчвуд прошло уже почти две недели, когда она натолкнулась в библиотеке на старую, пыльную книгу, обложка которой держалась буквально на ниточках. Кто-то засунул ее на самую верхнюю полку, подальше от чужих глаз. Балансируя на верхней ступеньке раздвижной лестницы, Люси открыла титульный лист и прочла набранное замысловатым старинным шрифтом название: «Демонология, в виде диалогов, в трех книгах», а также узнала, что выпустил ее в «Единбурге» некий «Роберт Вальд-грейв, Печатник Его Королевского Величества, в году 1597». Книга по некромантии и черной магии, написанная тем же королем, который оставил потомкам Библию на простом и понятном английском языке, всерьез заинтересовала Люси, и, сунув ее под мышку, девочка стала спускаться с лестницы.

В тот день, отправляясь на реку, она, как обычно, несла с собой стопку книг и ланч, завернутый в чистую салфетку. Утро выдалось жаркое и прозрачное, как стекло; пахло подсыхающей пшеницей и таинственными,

мускусными ароматами подземной жизни. Люси села в лодку и стала выгребать на середину. Для Феликса погода не подходила: чтобы добиться нужной фотографической выдержки, ему требовался полный штиль; но, вообще-то, утро не было ветреным, так что Люси решила подняться выше по течению и отпустить весла: пусть река сама несет ее назад, к причалу Эдварда. Не доходя до шлюза Сент-Джонс, она осуществила свое намерение и взялась за трактат «О свободе». Джон Стюарт Милль занимал ее до часу пополудни, когда, отложив его в сторону, она принялась за «Демонологию», но дальше первых приведенных королем Иаковом причин того, почему в христианском обществе необходимо преследовать ведьм, не продвинулась, обнаружив под страницами пустоту: в книге был вырезан тайник. В нем лежали несколько листков, скрученных вместе и перевязанных шнурком. Развязав узел, девочка погрузилась в чтение. Это оказалось письмо, тоже старое, датированное 1586 годом и написанное таким странным, угловатым почерком и такими бледными чернилами, что Люси едва не отложила его в сторону. Другие страницы содержали рисунки, точнее, чертежи дома, как сообразила Люси, вспомнив слова Эдварда о том, что Берчвуд-Мэнор построили еще при Елизавете.

Люси затрепетала от радости, и не потому, что любила архитектуру, – просто она знала, в какой восторг приведет Эдварда эта находка, а все, что доставляло удовольствие ему, делало счастливой и ее. Разглядывая чертежи, она заметила в них кое-что необычное. На одних дом был показан таким, каким должен был стать в перспективе: она узнавала острые фронтоны, дымовые трубы на крыше, расположение комнат. Но было и другое изображение – нацарапанное на тонкой полупрозрачной бумаге, оно накладывалось на основной чертеж. Сложив их вместе так, чтобы они совпали по всем линиям, Люси обнаружила на плане две дополнительные комнатки, обе крошечные. Слишком небольшие, чтобы служить спальнями или даже передними. А главное, ни ту ни другую Люси не видела, когда обследовала дом.

Нахмурившись, она подняла тонкий листок и перевернула его, совместив с чертежом чуть по-другому, – ей хотелось понять, для чего они, эти комнаты. Течение тем временем принесло лодку в небольшую протоку, где она и встала, уткнувшись носом в травянистый берег, а Люси взялась за письмо, надеясь отыскать какую-нибудь подсказку. Автором оказался Николас Оуэн – имя почему-то казалось знакомым, может быть, она читала о нем? Стиль письма был столь же витиеватым, как и почерк, но, приложив усилия, она все же разобрала несколько слов: «защита... священники... норы...»

Люси едва не вскрикнула, поняв, в чем заключался план. Конечно, она читала о том, какие меры применялись к священникам-католикам после того, как на трон взошла королева Елизавета. Знала она и о том, что во многих домах той поры устраивались потайные комнаты, так называемые норы, – в стенах, а то и в перекрытиях под половицами: они предназначались для того, чтобы прятать объявленных вне закона священников. Но абстрактное знание – это одно, а понимание того, что такая «нора», а то и целых две, есть у тебя прямо под боком, в Берчвуд-Мэнор, – совсем другое. А больше всего ее обрадовала мысль о том, что Эдвард, по-видимому, ничего не знал об этих тайных убежищах, ведь иначе он сразу рассказал бы о них всем. Значит, она сможет поведать Эдварду кое-что новое и интересное о его любимом доме: у его «правдивого» дома есть свой секрет.

Вывести лодку из протоки Люси удалось не сразу. Когда она все же добралась до причала, то привязала к нему лодку, сгребла в охапку книги и бегом пустилась к дому. Вообще-то, она не привыкла предаваться восторгам, а тем более петь от радости, но тут поймала себя на том, что напевает на ходу одну из любимых танцевальных мелодий матери и делает это с удовольствием. В доме она сразу направилась в Шелковичную комнату, – конечно, Эдвард не любил, когда его отвлекали во время работы, но Люси была уверена, что ради такого случая он сделает исключение. Однако в комнате никого не было. Мольберт стоял укрытый шелковым занавесом, но Люси, слегка поколебавшись, решила, что времени у нее нет. Вместо этого она взбежала наверх, в комнату с видом на лес, которую брат сделал своей спальней, но Эдварда не оказалось и там. Тогда она промчалась по коридору и заглянула в каждую комнату, включая гостиную, несмотря на риск вновь нарваться на позирующую Клэр с ее тошнотворным жеманством.

В кухне она нашла Эмму, которая готовила обед и на вопрос об Эдварде лишь дернула плечом – и тут же пустилась в пространные жалобы на Торстона: тот взял моду подниматься ранним утром на крышу и из винтовки времен Наполеоновских войн, которую привез с собой из Лондона, палить по птицам.

– Грохот-то какой, – говорила Эмма. – Добро бы еще он утку подстрелил, я бы ее на ужин зажарила... но куда ему, прицел-то никудышный, да и стреляет он все по мелким птахам, от которых при жарке никакого толку.

Это была не первая ее подобная жалоба, и Эдвард уже просил

Торстона оставить эту забаву, чтобы не подстрелить ненароком кого-нибудь из местных фермеров и не получить обвинение в убийстве по неосторожности.

– Хорошо, я скажу Эдварду, как только его увижу, – ответила Люси, стараясь успокоить служанку.

За минувшие две недели между ней и Эммой установилось нечто вроде взаимопонимания. Люси догадывалась, что из всех обитателей дома только ее Эмма причислила к «нормальным». Эмма помалкивала, когда в ее кухню забегали художники с кистью за ухом или впархивали натурщицы в свободных нарядах, и только в присутствии Люси давала себе волю и не скупилась на осуждающее цоканье и покачивания головой, точно видела в девочке родственную душу, как и она, против воли захваченную этим водоворотом безумия. Но сегодня Люси некогда было выслушивать ее жалобы.

– Обещаю, что скажу, – повторила она еще раз, уже выскакивая в дверь и убегая в сторону сада.

Но Эдварда не было и в его излюбленных местечках снаружи, и Люси уже чувствовала, что вот-вот взорвется от нетерпения, как вдруг заметила Лили Миллингтон, которая подходила к садовой калитке – видимо, собиралась выйти за ограду. Солнце горело в ее волосах, и они казались одним сплошным языком пламени.

– Лили! – окликнула ее Люси. Но натурщица, наверно, не услышала, и пришлось позвать громче: – Ли-ли.

Лили Миллингтон обернулась, но, видимо, мыслями была далеко: лицо выражало такое удивление, будто она не ожидала, что кто-то позовет ее по имени.

– А, это ты, Люси. Здравствуй, – сказала она и улыбнулась.

– Я ищу Эдварда. Ты нигде его не видела?

– Он пошел в лес. Сказал, что хочет поговорить с кем-то насчет собаки.

– Ты идешь к нему? – Люси уже давно заметила, что Лили Миллингтон надела крепкие башмаки, а на плече у нее сумка.

– Нет, я иду в деревню, купить почтовую марку. – В руке у Лили был подписанный конверт, и она показала его девочке. – Хочешь, прогуляемся вместе?

Ну что ж, раз все равно нет возможности прямо сейчас рассказать Эдварду о своем открытии, лучше заняться чем-нибудь, чем слоняться и ждать, сгорая от нетерпения.

Вместе они пошли по тропе, которая скоро привела их к церкви на

краю деревни, а потом на улицу. Почта, совсем крошечная, стояла бок о бок с «Лебедем», местным пабом.

– Я подожду снаружи, – сказала Люси, которая уже заметила интересное каменное сооружение на краю деревни и теперь хотела исследовать его.

Но Лили недолго пробыла на почте – совсем скоро она вышла, неся в руке письмо, на уголке которого теперь красовалась марка. Что лежало внутри, Люси не знала, но, видимо, конверт был тяжелым, так как для него потребовалась синяя марка за два пенса, а адрес, как заметила девочка, был лондонским.

Лили опустила его в почтовый ящик, и они той же недлинной дорогой пошли назад, в Берчвуд-Мэнор.

Люси не была мастерицей светской болтовни и, в отличие от матери или сестры, никогда не знала, чем заполнить тишину, возникающую в таких вот случаях. Не то чтобы она считала, что тишину непременно нужно заполнять, просто теперь, рядом с Лили, ей вдруг захотелось казаться взрослее, умнее и вообще значительнее, чем обычно. Что такое было в этой рыжеволосой женщине, она не знала – об этом еще придется подумать позже, – но почему-то рядом с ней ей хотелось быть не просто младшей сестренкой Эдварда, а кем-то.

– Славная погода, – вырвалось вдруг у Люси, и ее саму даже передернуло от такой банальности.

– Недолго уже ей осталось, – отозвалась Лили, – ночью гроза будет.

– Откуда ты знаешь?

– У меня есть редкий и чудесный дар предсказывать будущее.

Люси посмотрела на нее.

Лили Миллингтон улыбнулась.

– Я интересуюсь синоптическими таблицами, – сказала она, – и увидела одну в номере «Таймс», который лежал на столе почтмейстера.

– Ты знаешь, как предсказывают погоду?

– Знаю только то, что слышала от Роберта Фицроя.

– Ты встречалась с Робертом Фицроем?

Друг Чарльза Дарвина; капитан «Бигля», судна ее величества; изобретатель барометра и первый в истории метеоролог при Комитете по торговле.

– Я слушала его лекцию. Он друг одного моего друга. Сейчас пишет книгу о погоде, которая кажется мне очень многообещающей.

– А ты слышала от него самого историю гибели «Королевской хартии» и изобретения первого барометра?

– Разумеется. Это было так удивительно...

Лили Миллингтон пустилась в увлекательное изложение теории, лежащей за погодными таблицами Фицроя, и научных данных, на основе которых он сделал свой первый штормовой барометр. Люси слушала, отдавая рассказу девяносто семь процентов своего внимания, а остальные три использовала, чтобы прикинуть, есть ли у нее шанс, когда Эдварду наскучит его новая натурщица, заполучить Лили Миллингтон в подруги.

Лили Миллингтон не ошиблась. Идеальная летняя погода кончилась в тот же день, к вечеру, солнце скрылось за тучами, и за окном так стремительно стемнело, словно кто-то большой и мощный уверенно задул огонь в светильнике над миром. Но Люси ничего этого не заметила, так как уже сидела в темноте, спрятавшись в потайной комнате под кожей Эдвардова дома.

День она провела замечательно. Когда они с Лили вернулись с почты, та решила прогуляться в лес и отыскать Эдварда. Эмма, все еще хлопотавшая на кухне, с удовольствием сообщила ей, что Торстон, Клэр, Адель и Феликс взяли корзину с провизией и пошли к реке – выпить чаю на природе, а потом поплавать – и что обед будет готов на час раньше назначенного, а потому, закончив с делами, она еще «сбегает домой и приляжет» перед обедом.

Весь дом оказался в распоряжении Люси, и она точно знала, что станет делать. Первое возбуждение от находки уже прошло, сменившись пониманием того, как глупо будет пойти сейчас и выложить Эдварду все о «норах». Чертежам уже несколько веков; может быть, входы в комнаты давно замурованы или же планы остались всего лишь планами. Вот будет неловко, если она сначала заявит о своей находке во всеуслышание, а потом сядет в большую лужу! Люси не любила садиться в лужу прилюдно. А значит, надо все как следует разузнать.

Избавившись от Эммы – Лили Миллингтон к тому времени еле заметным огоньком маячила на дальнем краю луга, – Люси взялась за планы этажей. Одна потайная комнатка, судя по всему, была где-то на лестничной площадке между первым и вторым этажом: Люси долго не могла в это поверить, даже подумала, что не так совместила планы. За минувшие недели она уже раз сто спускалась и поднималась по этой лестнице, не раз читала на площадке, сидя у окна на венском стуле с круглой спинкой; и никогда не замечала ничего странного или неожиданного, кроме, пожалуй, приятного ощущения тепла, которое шло от стены у поворота ступеней.

Добыв в библиотеке, в шкафу из кедрового дерева, лупу и перечитав с ее помощью письмо, Люси получила ключ, которого ей не хватало. Все дело в одной ступеньке, объяснялось там. Лестничный марш, идущий от площадки наверх, сконструирован так, что, если нажать определенным образом на нижнюю ступеньку, откроется вход в маленькое потайное помещение. Но следует остерегаться, гласило письмо: люк устроен так, что открыть его можно лишь снаружи.

Все это до ужаса походило на приключенческие романы из газет, которыми зачитывались мальчишки, и Люси тут же полетела по лестнице. Отодвинув кресло, она опустилась на колени перед нижней ступенькой.

На первый взгляд это была самая обыкновенная лестница, разве что старинная. Но Люси еще раз перечитала подсказку и улыбнулась. Надавив на внешний и внутренний углы нижней ступеньки, она затаила дыхание, а потом услышала тихий щелчок и увидела, как ступенька чуть заметно отошла от пола. Просунув пальцы в образовавшуюся щель, Люси потянула вверх и вперед, отчего нижняя ступенька ушла в полость под верхней. Открылся хитрый лаз – до того узкий, что пролезть в него мог лишь очень худощавый человек.

Недолго думая, Люси нырнула в темноту.

Каморка оказалось тесной и такой низкой, что Люси могла сидеть, лишь прижав подбородок к груди. Тогда она легла. Воздух вокруг был застоявшимся и спертым, а пол – теплым на ощупь, и Люси предположила, что под ним проходит кухонный дымоход. Притаившись, она стала слушать. В доме было удивительно тихо. Она пошевелилась и прижала ухо к стене. Тишина, мертвая, деревянная тишина. Такая плотная, словно по ту сторону деревянной панели не было ничего, кроме мощной кирпичной кладки.

Люси попыталась вспомнить план и понять, так это или нет. И вдруг ей пришло в голову, что она лежит в тайном убежище, предназначенном для спасения человека, которого ищут враги, и что люк, ведущий наружу, может в любую минуту захлопнуться, оставив ее одну в вязкой, удушливой тьме – а ведь снаружи никто не знает о том, что она нашла и куда подевалась, – и от этой мысли ей показалось, будто стены надвигаются на нее. Внезапная паника сдавила легкие, стало тяжело дышать, и девочка, спеша выбраться наружу, села так резко, что ударилась головой о потолок.

Второй тайник был в коридоре; в нем Люси и сидела сейчас. Здесь все оказалось совсем другим: потайная каморка была устроена внутри деревянной обшивки, а сдвижная панель, замаскированная так хитро, что сразу и не увидишь, открывалась, к счастью, и снаружи, и изнутри. К тому

же здесь было не так темно, как под лестницей. И еще Люси обратила внимание на то, что панель была тонкой, позволяя прекрасно слышать все, что творилось в коридоре.

Она слышала, как компания вернулась с реки – все с хохотом и криками гонялись друг за другом по коридорам; слышала, как Феликс и Адель шепотом переругивались из-за простой шутки (так считал он), которая зашла слишком далеко (так думала она); и там же ее слуха достиг первый протяжный гром, который спустился с гор, прокатился по реке и заставил дом содрогнуться. Люси хотела было вылезти из тайника и приложила ухо к панели, желая убедиться, что в коридоре никого нет и никто не подглядит, откуда она появилась, – но тут различила знакомые шаги Эдварда. Он шел к ней.

Она уже почти решилась выскочить из-за панели прямо перед ним, чтобы сделать сюрприз – разве можно придумать лучший способ сообщить брату о находке? – как вдруг услышала его голос:

– Жена, подойди ко мне.

Люси застыла, держа руку на панели.

– Я здесь, мой муж, – ответила Лили Миллингтон.

– Ближе.

– Так?

Люси прильнула к панели, вслушиваясь. Слов больше не было слышно, но Эдвард тихо рассмеялся. В его смехе была доля удивления, будто ему только что сообщили нечто неожиданно приятное, потом кто-то резко вдохнул, а потом...

Тишина.

Люси в своем тайнике вдруг поняла, что задержала дыхание.

И выдохнула.

Через две секунды вокруг все почернело, и грянул гром, от которого вздрогнули и сам дом, и древняя земля под ним.

Все уже собрались в столовой, когда туда наконец вошла Люси. Стол еще не накрыли, в середине его стоял канделябр, и девять тонких белых свечей струили дымок, поднимавшийся к потолку. Ветер снаружи усиливался, и, несмотря на лето, в комнате стало холодно. Кто-то зажег в камине огонь, который дрожал и подмигивал за решеткой; рядом с камином сидели Эдвард и Лили Миллингтон. Люси направилась к большому креслу красного дерева в дальнем конце комнаты.

– Нет, призраков я не боюсь, – говорила между тем Адель, присев рядом с Клэр на диван с гобеленовой обшивкой, тянувшейся вдоль длинной

стены комнаты; эти двое любили поговорить о привидениях. – Это всего лишь несчастные души, жаждущие освобождения. Думаю, надо нам устроить спиритический сеанс и посмотреть, отзовется ли кто-нибудь из них.

– А говорящая доска у тебя с собой?

Адель нахмурилась:

– Нет.

Эдвард приблизил голову к лицу Лили Миллингтон, и Люси видела, как движутся его губы. Лили Миллингтон кивала каким-то словам Эдварда и вдруг, прямо на глазах у Люси, подняла руку и кончиками пальцев провела по краю его шейного платка из голубого шелка.

– Умираю с голоду, – сказал Торстон и принялся расхаживать вдоль стола. – Куда она запропастилась, эта девчонка?

Люси вспомнила, как Эмма говорила, что хочет «сбежать домой» и отдохнуть.

– Она говорила, что вернется и накроет к ужину.

– Ну, значит, не вернулась.

– Наверное, испугалась грозы. – Феликс, стоявший у окна, по которому текли потоки воды, вывернул шею и стал рассматривать что-то на карнизе. – Льет как из ведра. Водосток уже не справляется.

Взгляд Люси снова вернулся к Эдварду и Лили. Конечно, она вполне могла что-то не так услышать в коридоре. А скорее всего, сказала она себе, просто неправильно поняла. В Пурпурном братстве все называли друг друга придуманными именами. Так, Адель долгое время откликалась на прозвище Киса, потому что Эдвард изобразил ее вместе с тигром; а Клэр раньше звали Розы, после того как Торстон, слегка напутав с пигментами, сделал ее чрезмерно краснощекой.

– Сегодня всякий уважающий себя дом имеет свое привидение.

Клэр пожала плечами:

– Ну я пока ни одного не видела.

– А как ты могла его видеть? – вскинулась Адель. – Старомодные понятия. Сейчас все знают, что духи невидимы.

– Или прозрачны. – Феликс повернулся к ним. – Как на фотографии Мамлера.

И в «Рождественской песне». Люси вспомнила описание Марли, громыхающего цепью с амбарными замками, вспомнила, как Скрудж видел его насквозь, аж до спинки сюртука.

– Думаю, доску мы можем сделать сами, – сказала Клэр. – Просто взять тарелку и написать на ней буквы.

– Верно. Призрак сам сделает остальное.

– Нет, – сказал вдруг Эдвард, поворачивая к ним голову. – Никаких говорящих досок. И никакого столоверчения.

– О, Эдвард! – Клэр надула губки. – Не порти нам удовольствие. И потом, разве тебе не интересно? А вдруг у тебя тут есть твое собственное привидение, какая-нибудь милая девушка, и она ждет не дождется, когда же мы наконец обратим на нее внимание.

– Я и без говорящих досок знаю, что здесь есть некая сущность.

– Что ты хочешь этим сказать? – удивилась Адель.

– Да, Эдвард, – подхватила Клэр и даже привстала, – о чем ты?

На долю секунды Люси показалось, что он сейчас возьмет и расскажет им все о Ночи Преследования, – у нее даже зашипало в глазах. Ведь это же их тайна, его и ее.

Но он рассказал совсем другое. Историю Элдрича и его детей, вернее, сказку, которую сложил здешний люд, напуганный когда-то появлением в поле, возле леса, трех странных ребятишек с сияющей кожей и длинными струящимися волосами.

Люси едва не рассмеялась от облегчения.

Другие слушали как замороженные, а Эдвард развертывал перед ними пестрый сказочный гобелен: вот жители деревни, им хочется свалить на странных маленьких пришельцев вину за череду неурожаев и смертей. Вот добрые старики, пригревшие у себя чужих детей, ведут их в безопасное место – на старую каменную ферму в излучине реки; но однажды ночью рассерженные поселяне врываются на их двор, с зажженными факелами, охваченные яростью. И тут, в последний миг, ветер доносит издалека волшебный звук рога, и появляется светлая Королева Фей.

– Это сюжет моей новой картины для осенней выставки. Королева Фей, защитница королевства, спасительница детей, приходит, когда открывается дверь между мирами. – Он улыбнулся Лили Миллингтон. – Я так давно хотел написать ее, но не мог, а теперь нашел и непременно напишу.

Другие тут же завели оживленную беседу, а Феликс сказал:

– Ты только что подарил мне прекрасную идею. Я понял, что на этой твоей реке без ветра не проходит и дня. – Словно в подтверждение его слов, мощный порыв сотряс стекла в рамах, а в камине зашипел огонь. – Придется мне отказаться от леди Шалотт – на время. Давайте вместо этого сделаем фотографию, все будет как рассказал Эдвард: трое детей и королева.

– Но это четыре персонажа, а натурщиц здесь всего три, – возразила

Клэр. – Может, ты предлагаешь нарядить Эдварда?

– Или Торстона, – добавила Адель со смехом.

– Вы забыли про Люси.

– Люси не умеет позировать.

– Вот и хорошо; зато она – настоящий ребенок.

Люси почувствовала, как вспыхнули ее щеки при одной мысли о том, что ее могут попросить позировать для фотографии Феликса. Конечно, за прошедшие две недели он снимал всех по очереди, но лишь для практики, а не для создания произведений искусства, не для выставки мистера Рёскина.

Клэр что-то проговорила, но ее слова потонули в ударе грома, таком мощном, что закачался весь дом. А потом Феликс сказал:

– Ну, значит, решено. – И они заговорили о костюмах: из чего можно сделать венков и поможет ли газовая материя создать эффект светящейся кожи детей Элдрича.

Торстон подошел к Эдварду:

– Ты заинтриговал нас словами о призраке, который якобы живет здесь, в Берчвуд-Мэнор, а сам рассказал сказку о Королеве Фей.

– Я даже слова такого не говорил – «призрак»; я сказал только, что в доме присутствует нечто. К тому же я не дошел до конца истории.

– Так дойди теперь.

– Когда королева явилась, чтобы забрать своих детей назад, в страну фей, она была так благодарна двум старикам, которые сохранили их целыми и невредимыми, что наложила чары на их дом и на землю, где он стоял. Говорят, что с того дня в верхнем окне любого дома, который стоит или будет когда-либо стоять здесь, время от времени станет вспыхивать свет, знак присутствия стариков Элдричей.

– Свет в окне.

– Да, так говорят люди.

– А ты его видел?

Эдвард не сразу дал ответ; Люси знала, что он вспоминает о Ночи Преследования.

Торстон не отступал:

– В письме, которое ты написал мне сразу после покупки Берчвуд-Мэнор, были слова о том, что этот дом давно звал тебя. Я тогда не понял, что это значит, и ты пообещал рассказать все при встрече. Но когда мы встретились, у тебя на уме было уже другое.

Взгляд Торстона на миг отклонился в сторону и скользнул по Лили Миллингтон, которая ответила на него спокойно и прямо, без тени улыбки.

– Это правда, Эдвард? – раздался голос Клэр с другого конца стола. –

Ты действительно видел свет в окне?

Эдвард ответил не сразу. Люси едва удержалась, чтобы не пнуть в лодыжку Клэр, так подставившую его. Она не забыла, как в то утро брат был напуган и бледен, какие глубокие тени залегли у него под глазами: всю ночь он простоял у окна, гадая, сможет ли то, что преследовало его в лесу и в полях, настичь его в доме.

Люси попыталась перехватить взгляд Эдварда, дать знать, что она его понимает, но он смотрел лишь на Лили Миллингтон. Казалось, он читал что-то по ее лицу, словно в комнате никого не было, кроме них двоих.

– Сказать? – спросил он наконец.

Лили Миллингтон взяла его за руку:

– Только если ты сам хочешь.

И тогда с легким кивком и улыбкой, сразу сделавшей его на несколько лет моложе, он заговорил:

– Много лет назад, когда я был ребенком, я забрел в этот лес один, ночью, и что-то страшное...

Тут раздались громкие удары во входную дверь.

Клэр взвизгнула и вцепилась в Адель.

– Это, должно быть, Эмма, – сказал Феликс.

– Наконец-то, – выдохнул Торстон.

– Но зачем Эмме стучать? – возразила Лили Миллингтон. – Раньше она входила сама.

Стук повторился, став на этот раз еще громче, и тут же запели петли двери: кто-то медленно толкал ее внутрь.

В коридоре раздались шаги, они приближались, и все, кто был в комнате, переглянулись в дрожащем свете канделябров, думая о том, кто же сейчас войдет.

Вспышка молнии посеребрила мир за окном, дверь распахнулась, внутрь ворвался порыв ветра, и острые тени от язычков пламени заплясали по стенам столовой.

На пороге в зеленом бархатном платье – том самом, в котором она позировала для портрета, – стояла невеста Эдварда.

– Извините, что я так поздно, – сказала Фанни, и новый раскат грома наполнил комнату. – Надеюсь, я не пропустила ничего важного?

Глава 26

Стягивая дорожные перчатки, Фанни шагнула в столовую, и атмосфера, царившая в комнате, сразу претерпела неуловимую, но решительную перемену. Люси не поняла, как это случилось, но после мгновения напряженного ожидания все внезапно заходили и заговорили, словно актеры на сцене. Клэр и Адель на диване погрузились в увлеченный разговор (не забывая, однако, прислушиваться к тому, что происходило за пределами их тесного кружка); внимание Феликса вновь привлек переполненный водосток; Торстон, не обращаясь ни к кому в отдельности, во всеуслышание жаловался на голод и на то, как трудно в наши дни найти надежную помощницу по дому; а Лили Миллингтон, извинившись и тихонько добавив что-то про хлеб и сыр, встала и вышла из комнаты. Эдвард тем временем подошел к Фанни и стал помогать ей снимать плащ, с которого струйками текла вода.

И только Люси не получила в этом спектакле никакой роли. Всеми забытая, она сидела в кресле и вертела головой, не зная, к кому себя привязать. Так ничего и не придумав, она неловко встала и медленно, то и дело останавливаясь, подошла к двери, постаравшись незаметно просочиться мимо Фанни, которая говорила:

– Стакан вина, Эдвард. Красного. Дорога из Лондона была мучительной.

Выйдя из столовой, Люси обнаружила, что ноги несут ее на кухню. Там оказалась Лили Миллингтон: стоя за столом на месте Эммы, она отрезала тонкие ломтики от большой головы чеддера. Когда Люси появилась на пороге, Лили оторвалась от своего занятия.

– Проголодалась?

Только тогда Люси поняла, что действительно хочет есть. День выдался такой волнительный – сначала она обнаружила план дома, потом искала Эдварда и исследовала «норы священников», – что даже чаю попить было некогда. Она взяла большой зазубренный нож и стала резать хлеб.

Лили зажгла сальную лампу, которой обычно пользовалась Эмма; тяжелый запах горящего говяжьего жира наполнил помещение. Конечно, ничего приятного в нем не было, но в такую ночь, когда снаружи в окна яростно хлестали потоки дождя, и в самом доме что-то менялось, медленно, но неотвратимо, Люси была почти рада знакомой вони, которая даже вызвала у нее что-то вроде ностальгии.

Она чувствовала себя очень юной и больше всего хотела снова стать ребенком, той маленькой девочкой, для которой мир был черно-белым, и чтобы няня готовила ей сейчас постель, вложив под одеяло медную грелку на длинной ручке – для изгнания зябкой сырости.

– Хочешь, фокус покажу? – Лили Миллингтон по-прежнему резала сыр, а Люси так глубоко ушла в свои мысли, что даже не поняла, слышала она эти слова на самом деле или ей почудилось.

Но вот Лили Миллингтон подняла голову и посмотрела, точнее, уставилась на нее; протянула через стол руку, и тонкая морщинка удивления прорезала ее лоб, а длинные пальцы вынули что-то из-за уха Люси. Лили открыла ладонь: там лежала серебряная монета.

– Смотри-ка, шиллинг! Мне повезло. Надо проверять тебя почаще.

– Как ты это сделала?

– Магия.

Пальцы Люси метнулись к уху.

– А меня научишь?

– Подумаю. – Лили взяла у нее пару ломтиков хлеба. – Сэндвич?

Она сделала сэндвич и себе, сев с ним у дальнего конца стола, поближе к окну.

– Прерогатива кухарки, – сказала она, перехватив взгляд Люси. – Не вижу смысла торопиться. Они сейчас слишком заняты. Да и с голоду никто не умрет.

– Торстон сказал, что ему до смерти хочется есть.

– Вот как?

Лили Миллингтон с удовольствием впилась зубами в сэндвич. Люси подошла и села с ней рядом.

В окно они видели разрыв между туч, а в нем – чистое небо над грозой. Пара далеких звезд сверкала в небесной прогалине.

– Думаешь, мы когда-нибудь узнаем, как возникли звезды? – спросила Люси.

– Да.

– Правда? Почему ты так уверена?

– Потому что химик Бунзен и физик Киршгоф придумали, как с помощью спектра, на который распадается свет, проходя через призму, определить, какие химические вещества входят в состав солнца.

– А звезды?

– Они на очереди. – Лили Миллингтон тоже смотрела теперь в небо, тусклый огонек сальной лампы подсвечивал ее профиль. – Мой отец часто говорил мне, что я родилась под счастливой звездой.

– Счастливая звезда? Что это?

– Старое моряцкое суеверие.

– Твой отец был моряком?

– Нет. Когда-то он был часовых дел мастером, и очень хорошим. К нему часто обращался отставной капитан из Гринвича, у которого была коллекция хронометров, – отец присматривал за ними, чинил их и набрался там всяких морских присказок и суеверий. В Гринвиче я впервые посмотрела в телескоп.

– И что ты увидела?

– Мне очень повезло: тогда как раз открыли Нептун. На небе появилась планета – новая и в то же время древняя.

Люси тут же пожалела, что у нее не было отца-часовщика, который водил бы ее в Королевскую обсерваторию.

– А мой отец умер, когда я была совсем маленькая; его сбил экипаж.

Лили Миллингтон повернулась к ней и улыбнулась:

– Будем надеяться, что нам с тобой повезет больше, чем им. – Она кивнула на стол. – А теперь пора кормить голодных.

Пока Люси дожевывала свой сэндвич, Лили Миллингтон разложила остальные на большом сервировочном блюде из фарфора.

Да, Лили Миллингтон очень отличалась от других натурщиц, чьи хорошенькие мордашки напоминали Люси осенние листья больших лип: нарядные и зеленые, они жили всего одно лето, а на следующий год о них не было и помину, на смену им приходили новые, не хуже прежних. Лили Миллингтон интересовалась наукой, видела в телескоп планету Нептун, а еще в ней было нечто особенное, то, что показал в своих картинах Эдвард. Из-за этого же он рассказал ей о Ночи Преследования. Люси казалось, что она должна ненавидеть Лили Миллингтон, но ненависти почему-то не было.

– А где ты научилась показывать фокусы? – спросила она.

– У фокусника-француза, который давал представления на улицах Ковент-Гардена.

– Не может быть.

– Правда.

– В детстве?

– Совсем маленькой.

– А что ты делала в Ковент-Гардене?

– В основном обчищала карманы.

Тут Люси поняла, что Лили Миллингтон ее просто дразнит. Так делал и Эдвард, когда хотел закончить разговор. Доедая сэндвич, она заметила,

что прореха в тучах сомкнулась и звезд больше не видно.

Когда они вошли в столовую, Эдвард как раз выходил: в одной руке он держал свечу, на другой мешком висела Фанни.

– Мисс Браун устала с дороги, – подчеркнуто вежливо сказал он. – Я провожу ее в спальню.

– Конечно, – откликнулась Лили Миллингтон. – Я присмотрю, чтобы тут все не съели.

– Я поняла, что ты это не всерьез, – заплетающимся языком говорила Фанни, пока они медленно шли по коридору. – И никому ничего не сказала, ни одной живой душе. Ты просто испугался. Перед свадьбой такое бывает.

– Ш-ш-ш, не надо об этом сейчас, – Эдвард помог ей найти первую ступеньку, – завтра поговорим.

Люси не пошла опять в столовую – дождалась, когда они пройдут, и, только решив, что опасность миновала, крадучись стала подниматься вслед за ними по лестнице. Она заметила, что Эдвард отвел Фанни в комнату рядом с ее собственной. Комната была маленькая, но приятная: кровать с четырьмя столбиками по углам и комод орехового дерева под окном.

Было тихо, пока Люси не услышала голос Фанни: та вдруг заметила, что окно спальни выходит на тропу, которая ведет к кладбищу.

– Это ведь тоже сон, просто другой, – услышала Люси слова Эдварда, – ничего страшного. Мертвые спят дольше, вот и все.

– Но, Эдвард! – Голос Фанни был слышен по всему коридору. – Это же дурная примета – спать ногами к покойникам.

Что ответил Эдвард, Люси не узнала: он говорил очень тихо. Потом снова раздалась слова Фанни:

– А твоя комната рядом? Иначе мне будет страшно.

Надев ночную рубашку, Люси подошла к окну. Клематис, упорно карабкавшийся по старой каменной кладке, пробрался даже в комнату – на подоконнике лежала мокрая от дождя цветочная гроздь. Один за другим Люси рвала лепестки и бросала их вниз, глядя, как они вращаются на лету, точно снежинки.

Она все еще думала о Фанни, которая осталась за стеной, как вдруг услышала голос Эдварда, шедший откуда-то снизу.

– Как я понял, это тебя нужно благодарить?

Осторожно, чтобы не привлечь внимания, Люси высунулась посмотреть, кто там с братом. Торстон. Дождь уже прошел, снаружи стало теплее. Распухшая луна стояла в светлеющем небе, и ее свет казался особенно ярким в сравнении с недавней густой тьмой, так что Люси ясно

видела обоих мужчин, стоявших возле обвитой глицинией беседки, у входа в сад.

– Она говорит, это ты написал ей, где меня искать.

Торстон, с сигаретой в зубах, прицелился из допотопного ружья в вероятно противника, который, видимо, засел в кроне большого каштана за домом. Услышав обвинение в свой адрес, он, как злодей из пантомимы, просунул палец в спусковую скобу винтовки, крутанул его и развел руки в стороны.

– А вот и нет. Сначала я написал ей и назначил встречу, а уж потом рассказал, где тебя искать.

– Ты мерзавец, Торстон.

– Что же мне было делать? Бедная девушка буквально молила меня сжалиться над ней.

– Сжалиться, как же! Ты получаешь от этого удовольствие.

– Эдвард, ты меня обижаешь. Я просто стараюсь помочь тебе, как друг. Она умоляла меня помочь тебе увидеть вещи в истинном свете. Говорила, что ты потерял рассудок и ведешь себя самым неподобающим образом.

– Я говорил с ней – я написал ей письмо, где все объяснил.

– Объяснил? Сомневаюсь. «Просто поверить не могу, – твердила она, – разве он забыл, кто мой отец? Что он может с ним сделать? И что все это значит для меня?» И еще: «Почему он так поступил? Какие у него могли быть причины нарушить обещание?» – Торстон захохотал. – Нет, мой дорогой Эдвард, ты далеко не все объяснил.

– Я сказал ей ровно столько, сколько ей следовало знать, чтобы не ранить ее самолюбие, – сказал Эдвард низким от ярости голосом.

– Все, что ты написал, стало кучкой пепла в камине ее отца. Она отказалась принять твои объяснения. И сказала, что ей надо увидеться с тобой и все исправить. Разве я мог отказать ей? Наоборот, ты должен меня благодарить. Ни для кого не секрет – твоя семья нуждается в том, что может предложить Фанни. – Его верхняя губа приподнялась в хищной улыбке. – Иначе у твоих сестренок не будет никаких шансов.

– Мои сестры тебя не касаются.

– Скажи это старшенькой, Клэр. Уж она-то из кожи вон лезет, чтобы я ее касался. И я уже подумываю: а не дать ли ей наконец то, чего она так хочет? А то еще испортит мне картину своими дурацкими страстями. Да и за Лили я не прочь приглядеть, пока вы с Фанни налаживаете отношения.

Беседка помешала Люси увидеть первый удар; но Торстон вдруг отшатнулся и наступил на газон, удивленно улыбаясь и одной рукой придерживая щеку.

– Я же только хочу помочь, Эдвард. Фанни, конечно, зануда, но с ней у тебя будет дом и возможность писать. Может, тебе повезет и со временем она научится закрывать глаза на твои шалости.

Драка между Эдвардом и Торстоном продлилась недолго, а когда закончилась, они разошлись в разные стороны. Люси отошла от окна и скользнула в прохладную постель. Ей всегда нравилось быть одной, но сейчас, когда под ложечкой сосало, она вдруг поняла, что ей одиноко. И не просто одиноко – непонятно, как быть, а это куда хуже.

Бронзовые часики на столике у кровати показывали пять минут после полуночи. Это значило, что она уже час лежит в постели и ждет, когда наконец придет сон. В доме стояла тишина; погода тоже успокоилась. Редкие ночные птицы выбрались из своих укрытий и теперь сидели на серебристых от луны ветвях каштана. Люси слышала, как они прочищали горлышки. И почему, подумалось ей, минуты так тянутся, а часы кажутся бесконечными именно в темноте?

Она села.

Уснуть она не могла, притворяться не было смысла.

Мозг работал без остановки. Она силилась понять, что происходит. Эдвард говорил, что Фанни Браун не приедет в Берчвуд-Мэнор, а она тут как тут. Остальные словно что-то знали и поэтому вели себя странно; Торстон и Эдвард даже подрались у Люси под окном.

В детстве, когда мысли не давали ей уснуть, Люси всегда шла за утешением к Эдварду. Он рассказывал сказку и отвечал на любые вопросы; утешал Люси, если ей было страшно или грустно, и всегда умел ее рассмешить. Уходя от него, она чувствовала себя увереннее и спокойнее.

Вот и теперь Люси решила пойти посмотреть, спит ли он. Было уже поздно, но она знала, что Эдвард не станет возражать. Он и сам был поздней пташкой и часто засиживался в студии далеко за полночь, пока свечи, которые он ставил в свои любимые старинные бутылки, не догорали до конца и зеленые горлышки не покрывались волнистыми белесыми потеками.

Тихонько она вышла в коридор: ни под одной дверью света не было.

Люси стояла, почти не дыша, и слушала.

Вдруг снизу раздался негромкий звук. Как будто стул проскреб деревянными ножками по полу.

Люси улыбнулась. Ну конечно, где же ему еще быть: в Шелковичной комнате, у мольберта. И как она сразу не догадалась? Эдвард всегда говорил, что живопись прочищает голову и что, если бы не краски и холст,

мысли давно свели бы его с ума. Люси на цыпочках подошла к лестнице, так же, на цыпочках, спустилась по первому маршу, миновала ступеньку над тайником и дошла до первого этажа. Как она и ожидала, из-за двери комнаты в самом конце коридора пробивался дрожащий свет – это горели свечи.

Дверь была приотворена. Люси подошла к ней и встала в нерешительности. Эдвард не любил, когда его отрывали от работы, но сегодня, после того что вышло у них с Торстоном, брат наверняка не меньше ее самой будет рад компании. Люси осторожно толкнула дверь и заглянула внутрь – ровно настолько, чтобы понять, там ли Эдвард.

И сразу увидела картину. Лицо Лили Миллингтон – поразительное, исполненное королевского достоинства, потустороннее; рыжие волосы пламенем взвились за спиной. Лили Миллингтон, Королева Фей, ослепляла.

Люси заметила и камень у ее горла – тот самый, который она подглядела у Эдварда в альбоме, только в цвете. Ярко-синий, с радужными переливами. Едва увидев этот необыкновенный оттенок, Люси сразу поняла, что перед ней – «Синий Рэдклифф»; она много слышала о нем, хотя никогда не видела. Да и теперь видит не его, напомнила она себе; это лишь плод воображения Эдварда, талисман, подаренный им своей королеве.

Вдруг за дверью послышался шорох, и Люси просунула голову дальше – посмотреть, что там происходит; она хотела подать голос, дать Эдварду знать, что она здесь, но, увидев его на кушетке, остановилась. Он был не один. Под Эдвардом была Лили Миллингтон, его влажные волосы скрывали лицо женщины, ее волосы шелковистым потоком стекали с бархатной подушки; он был наг, и она тоже; гладкие тела белели в свете свечей, они смотрели друг другу в глаза, словно запертые в этом мгновении, которое принадлежало им, и никому больше.

Люси сумела отступить, не привлекая к себе внимания, пулей промчалась по коридору нижнего этажа, взлетела по лестнице, ворвалась в свою спальню и бросилась на кровать. Ей хотелось испариться, взорваться на множество мелких осколков, которые вспыхнут и превратятся в ничто, как частицы звезды.

Она не понимала, что за чувство ее охватило, почему ей так больно. Слезы капали в подушку, которую она прижимала к груди.

Это стыд, вдруг поняла она. Не за них: они были прекрасны. Нет, Люси было стыдно за себя. Ей вдруг стало понятно, что она совсем еще ребенок. И не просто ребенок – неловкая, неуклюжая девчонка, не красивая и не желанная, да, умная, конечно, но в остальном совершенно обычная,

никому особенно не нужная, никем не любимая.

Как Эдвард глядел на Лили Миллингтон, как они двое глядели друг на друга! Никогда он не посылал такого взгляда Люси и никогда не пошлет, да она и не хотела этого; и все же, вспоминая выражение его лица, Люси чувствовала, как что-то рушится внутри ее – что-то важное, давно и тщательно выстроенное, распадается на куски и перестает существовать, потому что она поняла: детство кончилось, нет больше брата и нет сестры, есть два разных человека, стоящих на разных берегах одной реки.

Страшный грохот разбудил Люси, и сперва она подумала, что гроза вернулась и снова бушует над домом. Но, приоткрыв глаза, она едва не ослепла от яркого сияния утра. А еще увидела, что так и лежит поперек кровати, у самого изножья, в комке из простыней.

Грохот раздался снова, и Люси поняла, что это Торстон опять палит по птицам. События вчерашнего дня нахлынули на нее с новой силой.

Болела голова. Это случалось с ней иногда, особенно если не выспаться ночью, и теперь она спустилась вниз – выпить воды. Она надеялась найти на кухне Эмму и, устроившись в плетеном кресле у плиты, послушать, как та неспешно пересказывает окрестные сплетни да цокает языком, добродушно покачивая головой и дивясь выходкам их странной компании. Но Эммы там не оказалось. Кухня была пуста – никаких признаков того, что кто-либо заходил сюда после того, как они с Лили Миллингтон готовили вчера вечером сэндвичи.

Вчера. Люси встряхнула головой, пытаясь прогнать из головы то, что увидела ночью в комнате Эдварда. Стал ясен смысл разговора между ним и Торстоном. Стало ясно, почему Эдвард предпочитал, чтобы Фанни Браун не приезжала этим летом в Берчвуд. Но все-таки, что это значит? И что будет дальше?

Люси налила себе воды и, заметив полоску света, протянувшуюся из-под двери черного хода по плиткам каменного пола, решила выйти со стаканом наружу.

Так хорошо было под просторным куполом ярко-голубого неба, что Люси, скинув туфли, пошла босиком по влажной от росы траве. Дойдя до угла дома, она прикрыла глаза и подняла голову, подставляя лицо утреннему солнцу. Было всего девять утра, но, судя по тому, как пригревало, день обещал быть жарким.

– Доброе утро, малышка Рэдклифф. – Люси открыла глаза и увидела Торстона: тот сидел на кованом стуле со спинкой в виде павлиньего хвоста, который любил Эдвард, и улыбался, держа в зубах сигарету. – Пойди сюда,

посиди с дядюшкой Торстоном. А будешь себя хорошо вести, я, так и быть, дам поддержать мою винтовку.

Люси покачала головой и не сошла с места.

Он захохотал и, вскинув ружье, прицелился в воробья, присевшего на веточку глицинии. И сделал вид, будто спускает курок.

– Не надо стрелять по птицам.

– В жизни есть много вещей, которые не надо делать, Люси. И, как назло, именно это самое приятное. – Он опустил ружье. – Сегодня у тебя важный день.

Люси не поняла, что он хотел сказать, но решила, что не доставит ему удовольствия и не спросит. Вместо этого она прищурилась и стала спокойно ждать продолжения.

– Спорим, тебе и в голову не приходило, что этим летом ты станешь натурщицей.

События прошлого вечера – и ночи – начисто вытравили из памяти Люси вчерашний план Феликса: сделать костюмированный снимок на сюжет истории о детях Элдрича.

– Малышка Люси, милашка... – продолжил он. – Ты что застыла, уже позируешь?

– Нет.

– Вот и умница. Естественность – лучшее качество модели. Я все время толкую об этом Клэр. Самые красивые люди – те, кто не старается быть красивым.

– Феликс хочет снимать уже сегодня?

– Я слышал много взволнованных речей о том, как замечательно было бы поймать утренний свет.

– А где все?

Торстон встал и ткнул стволом куда-то в направлении крыши:

– На чердаке, роются в сундуке со старыми платьями.

Он сунул оружие под мышку и прошел мимо Люси в сторону кухни.

– Эммы там нет.

– Слышал уже.

Люси стало интересно, что еще слышал Торстон. Она окликнула его:

– А где она, не знаете?

– Дома, лежит больная в постели. Утром приходил гонец из деревни, сказал, что она сегодня не встанет и чтобы мы сами о себе позаботились.

Люси нашла остальных на чердаке: как и сказал Торстон, они самозабвенно выволакивали из большого сундука старинные платья, примеряли их на себя, подвязывая лентами на талии, и оживленно

обсуждали, как лучше всего украсить волосы гирляндами из цветов. Люси, не привыкшая быть с ними в одной компании, застеснялась и спряталась в уголке на самом верху лестницы, ожидая, когда ее пригласят.

– Надо выбирать похожие, – говорила Клэр Адели.

– Но не одинаковые. Ведь у каждого из детей Элдрича должны быть свои магические способности.

– Вот как?

– Да, и надо показать это через разные наборы цветов. Я буду розой; ты можешь быть жимолостью.

– А Люси?

– Чем захочет. Ну, не знаю, хотя бы ромашкой. Что-то в этом роде. Правда, милый?

– Да-да, великолепно!

Феликс почти не слушал, о чем шла речь, но отвечал с большим пылом. Он стоял у окна и разглядывал на просвет кусок газовой материи, прищуривая то один глаз, то другой, чтобы проверить впечатление.

Лили Миллингтон, как сразу отметила Люси, с ними не было. И Фанни с Эдвардом тоже.

Адель схватила за руку Клэр, и они, свистя юбками, промчались мимо Люси, которая так и стояла в своем уголке.

– Идем, копуша, – уже с середины марша крикнула ей Клэр. – Тебе ведь тоже нужен венок.

Вечерняя гроза порядком потрепала розы, раскрывшиеся накануне, и их лепестки устилали траву под кустами, зато свежих цветков было так много, что глаза разбегались.

Вдоль каменной стены сада было полно ромашек, и Люси набрала целый пучок белых и розовых цветов с желтыми середками, стараясь срывать их как можно ближе к корню, чтобы потом, устроившись на открытом месте, где солнце уже высушило траву, сплести венок. Конечно, он скоро завянет, но Люси все равно получала удовольствие от того, что делала. Правда, она, кажется, не занималась ничем подобным прежде и, несомненно, в любое другое время сочла бы это занятие никчемной тратой времени. Но сейчас все изменилось. Раньше Люси сомневалась, хочет она позировать Феликсу или нет; теперь же начала проникаться общим возбуждением. Она никогда не создалась бы в этом никому – да и себе самой не могла объяснить свои чувства, – но из-за того, что ее решили снимать наравне со всеми, вдруг почувствовала себя *настоящей*, а не такой, как раньше.

Лили Миллингтон пришла к ним, когда они уже были в саду, и теперь

тихо плела свой венок; Люси, скрестив ноги, сидела между кустиками незабудок и украдкой поглядывала на нее: между бровями Лили залегла легкая морщинка беспокойства. Торстон, собрав свои карандаши и альбом, помогал Феликсу со стеклянными пластинами и коллоидным раствором, которые предстояло отнести в лес вместе с палаткой и камерой. Не было только Эдварда и Фанни, и Люси подумала, уж не заняты ли они тем самым разговором, который обещал вчера Эдвард, провожая ее в спальню.

Феликс заявил, что начнет снимать в полдень, когда солнце светит особенно ярко, и все поспешно готовились к предстоящему событию.

До конца своих дней Люси не могла забыть, как все они выглядели тогда, в венках и старинных платьях, на зеленом лугу, пробираясь через высокую траву к лесу. Полевые цветы качались и шелестели, когда теплый ветерок ерошил их головки.

Они уже миновали амбар с молотилкой и почти дошли до реки, когда сзади раздался крик:

– Подождите меня! Я тоже хочу быть на фотографии.

Они обернулись и увидели решительно шагающую к ним Фанни. За ней шел Эдвард, мрачный как туча.

– Я хочу быть на фотографии, – повторила она, подходя ближе. – Я хочу быть Королевой Фей.

Феликс с деревянным триподом на плече потряс головой, ничего не понимая:

– Нет, Королевой Фей будет Лили. Все должно быть как на картине Эдварда. На выставке они будут рядом, дополняя друг друга. Как иначе доказать, что фотография ничем не уступает живописи? Но Фанни может быть одной из принцесс.

– Мы помолвлены, и я буду твоей женой, Эдвард. Значит, я должна быть Королевой Фей из твоей сказки.

Лили бросила взгляд на Эдварда:

– Она права.

– Тебя я не спрашивала, – заявила Фанни, презрительно приподняв губу. – Тебе платят за то, чтобы ты стояла в сторонке и выглядела дурой. А я говорю со своим женихом.

– Фанни, – начал Эдвард, старательно контролируя свой голос, – я же тебе говорил...

– Я потеряю идеальный свет, – сказал Феликс с ноткой отчаяния. – Королевой будет Лили, но, Фанни, ты можешь быть принцессой на первом плане. Клэр и Адель – по бокам.

– Но, Феликс...

– Адель, я все сказал. Свет!

– Люси, – обратилась к ней Клэр, – отдай свой венок Фанни, и начнем.

За долю секунды она обвела взглядом лица Клэр, Эдварда, Лили Миллингтон, Феликса и Фанни, повернутые к ней, и бросилась бежать.

– Люси, подожди!

Но Люси не стала ждать. Она швырнула венок на землю и так и бежала до самого дома, как маленькая.

Люси не пошла ни в свою спальню, ни в библиотеку, ни даже на кухню, где могла бы расправиться с оставшейся половиной бисквита «Виктория», который Эмма испекла в пятницу. Вместо этого она направилась в студию Эдварда в Шелковичной комнате. Даже стоя на пороге, она все еще не понимала, почему пришла именно сюда, чувствовала только, что идти ей больше некуда. Люси уже усвоила, что причины тех или иных своих поступков она понимает куда хуже, чем устройство двигателя внутреннего сгорания.

Войдя, она растерялась. Она запыхалась и была смущена своим недавним бегством. Ей было больно и оттого, что ее отвергли, и оттого, что она не смогла скрыть свою боль от других. А еще она устала, очень устала. Столько всего необычного происходило вокруг, и так много нужно было понять.

Не придумав ничего лучше, она опустилась прямо на пол, и, свернувшись в клубок, как кошка, стала жалеть себя.

Минуты через две с половиной ее взгляд, неустанно скользивший по полу комнаты, уткнулся в кожаную сумку Эдварда, прислоненную к ножке мольберта.

Сумка была новая. Подарок Лили Миллингтон брату на день его рождения; Люси даже ревновала его к этой вещи, так сильно Эдвард любил ее. А еще она была сбита с толку: ни одна натурщица еще не делала Эдварду подарка, тем более такого дорогого и изысканного. Но после увиденного прошлой ночью все стало понятнее.

Люси решила, что жалеть себя ей уже наскучило. Оскорбленное самолюбие уступило другой, куда более сильной страсти – любопытству. Она встала и подошла к сумке.

Расстегнув застежку, она откинула клапан. Внутри оказался альбом Эдварда, в котором тот рисовал в последнее время, деревянный пенал с карандашами и, неожиданно, кое-что еще. Коробочка из черного бархата, очень похожая на те, в которых мать держала подаренные отцом жемчуга и другие драгоценности: они лежали на ее туалетном столике дома,

в Хэмпстеде.

Люси вынула коробочку из сумки и, дрожа от волнения, подняла крышку. Первым, что она увидела, были два листка бумаги, сложенные пополам и распрямившиеся, как только Люси откинула крышку. Билеты на пароход компании «Кунард», выписанные на имя мистера и миссис Рэдклифф, до Нью-Йорка, на первое августа. Люси все еще размышляла над возможными последствиями своего открытия, когда билеты упали на пол.

Увидев под ними большой переливчатый камень, Люси поняла, что была готова именно к этому. Эдвард не придумал драгоценность, которая украшала шею Лили Миллингтон на картине: он взял ее из семейного банковского сейфа. И наверняка без спросу – даже представить было нельзя, чтобы их дед, лорд Рэдклифф, дал согласие на столь вопиющее нарушение протокола.

Вынув из коробочки подвеску, Люси положила камень на ладонь, а тонкую цепочку обернула вокруг запястья. Тут она заметила, что слегка дрожит.

И оглянулась на портрет Лили Миллингтон.

Люси была не из тех девочек, которые сходят с ума по оборкам, кружевам и блестящим камешкам, но за две последние недели она ясно поняла, насколько велика дистанция между нею и красотой.

И подошла с украшением к зеркалу, висевшему над камином.

Мгновение она твердо смотрела на свое маленькое, такое обыкновенное лицо, а потом, решительно сжав губы, подняла камень за цепочку и приложила к ямке под горлом.

Бриллиант, холодивший кожу, оказался тяжелее, чем ей представлялось.

Он был восхитителен.

Люси медленно повернула голову сначала в одну сторону, потом в другую, любуясь тем, как преломляется в гранях кристалла свет, как его отблески ложатся на ее кожу. Следя за игрой света, она обозрела оба своих профиля и все, что было между ними. «Так вот что такое быть украшенной», – подумала она.

И робко улыбнулась девочке в зеркале. Девочка ответила ей улыбкой.

Которая тут же погасла. В зеркале за ее спиной стояла Лили Миллингтон.

Но Лили Миллингтон и глазом не моргнула при виде драгоценности. И не стала смеяться или читать нотации. А просто сказала:

– Я пришла за тобой по просьбе Феликса. Он настаивает, чтобы ты

была на фотографии.

Люси ответила, глядя в зеркало:

– Я ему не нужна, там Фанни. Вас уже четверо.

– Нет, это *вас* четверо. Я решила, что меня на снимке не будет.

– Ты просто стараешься быть доброй.

– Мой главный принцип – никогда не стараться быть доброй.

Лили Миллингтон встала прямо перед Люси и, внимательно глядя на нее, нахмурилась:

– Что это тут такое?

Люси затаила дыхание, зная, что сейчас будет. И точно, Лили Миллингтон протянула руку и скользнула ладонью по боковой стороне ее шеи.

– Ну-ка, ну-ка, посмотри, – тихо сказала она и раскрыла ладонь, в которой опять лежал серебряный шиллинг. – Не зря у меня было чувство, что с тобой надо дружить.

Люси ощутила жжение подступающих слез. Ей захотелось обнять Лили Миллингтон. Но она подняла руки и стала расстегивать украшение:

– Ты обещала подумать насчет того, чтобы научить меня этому фокусу. Подумала?

– Все дело вот в этой части ладони, – сказала Лили Миллингтон, указывая на место между большим и указательным пальцем. – Вкладываешь монетку сюда и зажимаешь, так чтобы краев не было видно.

– А как вложить монету, чтобы никто не увидел?

– В этом и заключается искусство.

Они улыбнулись друг другу, и волна взаимопонимания прошла между ними.

– А теперь, – сказала Лили Миллингтон, – ради несчастного Феликса, который сатанеет с каждой минутой, беги-ка ты в лес.

– Но мой венок, я же его выбросила...

– А я подобрала. Он висит на ручке двери, с обратной стороны.

Люси опустила глаза на «Синий Рэдклифф», который все еще держала в ладони:

– Надо его убрать.

– Да, – сказала Лили Миллингтон и тут же, услышав в коридоре торопливые шаги, добавила: – Ой, это, наверное, Феликс.

Но в дверях Шелковичной комнаты появился вовсе не Феликс. Люси никогда не видела этого человека – с темно-русыми волосами и такой противной ухмылкой, что она настроила Люси против него раньше, чем незнакомец успел открыть рот.

– Парадная дверь была не заперта. Я подумал, что никто возражать не станет.

– Что ты здесь делаешь? – спросила Лили Миллингтон, и в ее голосе звучало страдание.

– Да вот, решил тебя навестить.

Люси переводила взгляд с него на нее, ожидая, когда ее представят.

Теперь человек стоял перед картиной Эдварда.

– Красивая. Нет, правда красивая. Надо отдать ему должное, он свое дело знает.

– Уходи, Мартин. Сейчас сюда придут люди. Если они застанут тебя здесь, то могут поднять тревогу.

– «Могут поднять тревогу». – Он захохотал. – Смотри, как заговорила наша воспитанная леди. – Внезапно его смех оборвался, лицо помрачнело. – Уйти? Не дождешься. Без тебя я не пойду. – Он ткнул пальцем в картину, и Люси даже перестала дышать при виде такого святотатства. – Это он и есть? «Синий»? Ты была права. Она будет довольна. Очень довольна.

– Я же сказала – месяц.

– Сказала, ну и что? У тебя дело быстро спорится, ты же одна из лучших. Еще бы, кто устоит перед такой красоткой? – Он кивнул на картину. – Похоже, ты и теперь с опережением идешь, сестренка.

Сестренка? И тут Люси вспомнила историю знакомства Эдварда и Лили Миллингтон, которую он сам рассказал им с матерью. Про брата, который был с ней в театре, и родителей, которых нужно было убедить в том, что их дочь не рискнет своей репутацией, если станет позировать Эдварду. Неужели этот ужасный человек и впрямь брат Лили Миллингтон? Почему тогда она не сказала об этом сразу? Почему не представила его Люси? И почему самой Люси сейчас так страшно?

Человек заметил на полу билеты и нагнулся за ними:

– Ух ты, Америка? Земля новых начинаний. Это мне нравится. Отличная мысль. Нет, в самом деле, очень, очень умно. И дата отъезда совсем близко.

– Беги, Люси, – сказала Лили Миллингтон. – Беги, тебя уже ждут. Поспеш, не то кто-нибудь придет сюда за тобой.

– Я не хочу...

– Люси, пожалуйста.

В голосе Лили Миллингтон звучала такая мука, что Люси нехотя повиновалась и вышла из комнаты. Встав за дверь, она начала слушать. Лили Миллингтон говорила почти шепотом, но Люси разобрала слова:

– Еще время... Америка... мой отец...

Человек опять расхохотался и что-то сказал, так тихо, что Люси не расслышала.

Лили Миллингтон вдруг вскрикнула, словно ее ударили под дых, и Люси уже готова была ворваться в комнату, чтобы помочь, когда дверь распахнулась и мимо нее промчался этот мужчина – Мартин, – волоча за руку упирающуюся Лили, бормоча на каждом шагу:

– Синий... Америка... новые начинания...

Лили Миллингтон увидела Люси и замотала головой, словно приказывая ей исчезнуть.

Но Люси не стала исчезать и пошла за ними по коридору. Когда они поравнялись с гостиной, мужчина увидел ее, расхохотался и сказал:

– Гляди, к нам пришла подмога. Маленький доблестный рыцарь в сияющих доспехах.

– Люси, пожалуйста, – взмолилась Лили Миллингтон. – Ты должна уйти.

– Делай, что она говорит. – Мужчина ухмыльнулся. – Девочки, которые не умеют уходить вовремя, обычно плохо кончают.

– *Пожалуйста*, Люси. – Во взгляде Лили Миллингтон читался страх.

Но что-то внутри Люси вдруг взбунтовалось против событий последних дней, против того, что все считают ее слишком маленькой и поэтому бестолковой, что она лишняя в их компании, что всё решают те, кто старше и главнее, не принимая ее в расчет; теперь еще этот тип, которого Люси не знает, явился и пытается похитить Лили Миллингтон, а она, Люси, почему-то совсем этого не хочет. Одним словом, она увидела возможность решительно топнуть ногой и заявить: «Я не хочу, чтобы так было» – и не важно, по какому поводу.

Увидев винтовку Торстона, которую тот после завтрака бросил на кресло, Люси одним головокружительным прыжком подскочила к ней, схватила за ствол, замахнулась, как дубиной, и со всех сил треснула по страшной, ухмыляющейся роже ужасного незнакомца.

Его рука инстинктивно взлетела к голове, и тогда Люси ударила его во второй раз, изо всех сил, а потом пнула в лодыжку.

Отшатнувшись, он зацепился ногой за стул и с грохотом полетел на пол.

– Быстрее, – сказала Люси, у которой гремело в ушах от ударов сердца. – Он скоро встанет. Надо успеть спрятаться.

Она взяла Лили Миллингтон за руку и повела по лестнице вверх. На площадке она отшвырнула в сторону кресло и на глазах у Лили нажала на

деревянный подъем, открыв люк тайника. Несмотря на панический страх, Люси невольно испытала гордость, увидев, как удивилась Лили Миллингтон.

– Быстрее, – повторила она. – Он ни за что не найдет тебя здесь.

– Как ты?

– Быстрее.

– Но тебе тоже надо спрятаться. Он плохой человек, Люси. Недобрый. Он обязательно с тобой поквитается. Особенно теперь, когда ты его так обставила.

– Здесь мало места, но есть и другой тайник. Я спрячусь там.

– Далеко?

Люси помотала головой.

– Тогда беги туда, прячься и не высовывайся. Слышишь? Что бы ни случилось, Люси, сиди тихо, как мышка. Пока тебя не найдет Эдвард.

Люси пообещала, что так и сделает, и тут же закрыла Лили Миллингтон в потайной комнате.

Не теряя ни секунды, уверенная, что страшный тип в гостиной уже встает на ноги, она взлетела наверх, пробежала по коридору, отодвинула панель в стене и скользнула за нее. Потом задвинула панель изнутри и оказалась в полной темноте.

В тайнике время шло иначе. Сначала Люси слышала голос того человека – он звал Лили Миллингтон, – потом раздались другие звуки, далеко. Но она не испугалась. Глаза уже привыкали к темноте, и скоро Люси поняла, что она не одна здесь и что вокруг вовсе не темно; сотни маленьких огоньков зажглись повсюду, весело подмигивая ей из волокон дерева.

Она сидела и ждала, подтянув колени к груди и обхватив их руками, и ей стало вдруг так спокойно и хорошо в этом тайнике, что она даже подумала: может, сказка, которую рассказывает Эдвард, в чем-то правдива?

Х

До сих пор мне иногда мерещится его голос, шепчущий мне прямо в ухо. Я отчетливо помню запах сыра и табака от его дыхания – вероятно, оставшиеся с ланча.

– Твой отец не в Америке, Берди. И никогда там не был. В тот день, когда вы должны были отплыть, его затоптала лошадь. А тебя к нам принес Иеремия. Сгреб тебя, лежавшую на земле, без сознания, и притащил к ма, а твоего отца бросил там, и его похоронил приют для бедных. Так что тебе повезло тогда. Иеремии тоже повезло, он с тех пор нужды не знает. Он всегда говорил, что ты умница, и ты его не подвела, деньжат ему заработала. Ты ведь не думаешь, что он на самом деле отправлял все эти деньги за океан, а?

Даже ударь он меня изо всех сил, мне и то не было бы так больно. И что характерно, мне совсем не хотелось с ним спорить. Ни на одну секунду я не усомнилась в его словах, потому что, едва услышав их, поняла: вот это и есть правда. Правда, которая сразу расставила все на свои места, и вся моя жизнь предстала в совершенно ином свете. По какой еще причине отец мог так долго не посылать за мной? Одиннадцать лет прошло с того утра, когда я очнулась в комнате над лавкой, торгующей птицами и клетками, и обнаружила рядом миссис Мак и всех остальных. Мой отец умер. И умер давно.

Тогда Мартин ухватил меня за запястье и потащил к выходу из Шелковичной комнаты. На ходу он шептал, что все будет хорошо, он все сделает как надо, не стоит грустить – у него есть идея. Мы возьмем «Синий», он и я, но не повезем его назад, в Лондон, как было задумано, а сами отправимся с ним за океан, ведь у нас есть билеты. В конце концов, Америка – земля новых начинаний, – так говорилось в письмах, которые каждый месяц приносил мне Иеремия.

Мартин имел в виду письма, которые читала вслух миссис Мак, – новости из Америки, от моего отца, выдуманные от первого до последнего слова. Да, от такого мошенничества действительно захватывало дух. Но кто я такая, чтобы бить себя в грудь и изображать невинную жертву? Я, мелкая воровка, притворщица, женщина, которая, ни минуты не сомневаясь, присвоила себе чужое имя.

Да я и сама обманула миссис Мак всего две недели назад, когда заявила, что хочу поехать с Эдвардом в деревню. По доброй воле миссис

Мак ни за что не отпустила бы меня с ним, ни в Берчвуд-Мэнор, ни тем более в Америку. Со временем я стала ее самой надежной добытчицей, главным источником доходов, и, если я что-то успела усвоить за свою короткую жизнь, вот оно: люди быстро привыкают к деньгам, в том числе к тем, что достаются даром, – раз деньги сами пришли, значит так и должно быть.

Миссис Мак искренне верила в то, что и я сама, и все, что у меня есть за душой, – ее собственность. Вот почему я, чтобы вырваться из Лондона, представила поездку в деревню с Эдвардом как часть плана. Я обещала, что через месяц вернусь с таким богатством, какого они никогда не видели.

– Каким богатством? – сразу спросила миссис Мак, от которой общими словами было не отделаться.

Зная, что самая искусная ложь – та, которая ближе всего к правде, я рассказала всей семейке о планах Эдварда нарисовать меня с бесценным «Синим Рэдклиффом» на шее.

В тайнике было темно и очень трудно дышать. И еще тихо, до жути.

Я стала думать об Эдварде и о том, что делает Фанни там, в лесу.

Потом я вспомнила Бледного Джо и письмо о моем скором отъезде в Америку, отправленное ему из деревни; я добавила тогда, что он может долго не получать известий обо мне, но пусть не волнуется. К письму я приложила свою фотографию «на память», которую Эдвард сделал камерой Феликса.

Я вспоминала отца, ощущение его сильной руки, в которой тонула моя детская ладонь, и то неземное счастье, которое переполняло меня всякий раз, когда мы с ним отправлялись в очередное железнодорожное путешествие, в гости к захворавшим часам.

А еще я думала о матери, которая была как золотистый свет на поверхности моих воспоминаний – теплый, радостный, но всегда неуловимый. Помню один день из детства, который мы провели на реке, за нашим домом в Лондоне. Я уронила в воду ленточку, которой очень дорожила, и беспомощно смотрела, как течение уносит ее все дальше и дальше. Сначала я плакала, но мама объяснила мне, что такова природа реки. «Река, – сказала она, – величайший сборщик дани, взимающий ее с незапамятных пор; не брезгуя ничем, она принимает подношения у берегов и несет к бездонному морю, куда они канут навсегда. Река ничего тебе не должна, маленькая Птичка, так что будь с ней осторожнее».

И тогда я почувствовала, что даже в сплошной черноте тайника я слышу течение реки, что оно укачивает меня, усыпляет...

И услышала кое-что еще – тяжелые шаги по половицам и приглушенный досками пола голос:

– У меня билеты. – Это был Мартин, он стоял прямо над люком. – Куда ты подевалась? Надо только найти «Синий», и можно сматываться.

Вдруг раздался шум, внизу хлопнула дверь, и я поняла, что в дом вошел кто-то еще.

Топот Мартина, и снова тишина.

Громкие голоса, чей-то крик.

А потом выстрел.

Через мгновение – новые крики. И голос Эдварда.

В темноте я пыталась нащупать замок, чтобы открыть люк изнутри, но не нашарила его. Было так тесно, что я не могла ни сесть, ни повернуться. Страх охватил меня, и чем сильнее он становился, тем короче делалось мое дыхание, тем сильнее каждый вздох застревал внутри гортани. Я хотела крикнуть, но голоса не было, только шепот.

А еще было жарко, очень-очень жарко.

Эдвард снова позвал; он звал меня, его голос дрожал от страха. Он звал Люси. Наконец его голос стих где-то далеко.

Вдруг над головой у меня снова раздались быстрые шаги – кто-то бежал со второго этажа вниз, но не Мартин, эти шаги были намного легче, – потом последовал сильный удар, и половицы над моей головой вздрогнули.

Вздрогнули, но не поднялись.

Я была лодочкой на воде, река тихо баюкала меня, и я, закрыв глаза, вспомнила еще вот что. Совсем маленькая, даже не годовалая, я лежу в своей колыбельке, на втором этаже маленького домика в Фулэме. Теплый ветерок влетает в окно, принося утренние голоса птиц и таинственные запахи сирени и ила. Круглые световые пятна танцуют по потолку, сменяясь тенями, а я лежу и наблюдаю за их танцем. Я тяну ручонку, чтобы их достать, но солнечные зайчики раз за разом проскальзывают сквозь пальцы...

Глава 27

Весна 1882 года

– Славное местечко. Внутри, конечно, немного запущено, но в основе все цело. Вот подождите, отопрем дверь, и вы сами увидите.

Ни перед самой собой, ни перед поверенным Эдварда Люси не притворялась, будто не бывала в Берчвуд-Мэнор раньше; однако подчеркивать это не хотела. Просто ждала молча, когда поверенный вставит в замок ключ и повернет его.

Было раннее весеннее утро, воздух еще не прогрелся с ночи. Сад перед домом оказался ухоженным – не то чтобы очень, но сорняков было не видеть, и ползучие растения не оккупировали дорожки. Жимолость на фасаде дома была вся в бутонах, на стене и вокруг окна кухни уже открывались первые звездочки жасмина. Надо же, как поздно. В Лондоне все уже цветет и благоухает, но, как часто говорил Эдвард, городские растения – нахальные выскочки в сравнении со своими скромными деревенскими родственниками.

– Ну вот, – произнес мистер Мэтьюз из фирмы «Холберт, Мэтьюз и сыновья», когда ключ с негромким, но отрядным щелчком повернулся в замке. – Наконец-то.

Дверь распахнулась, и Люси почувствовала, как от страха у нее забурлило в животе.

Двадцать лет ее нога не ступала на порог этого дома, и все двадцать лет она тревожилась, гадала, заставляла себя *не* думать, и вот наконец она узнает правду.

Пять месяцев назад, через считанные дни после того, как их настигло известие о кончине Эдварда в Португалии, она получила письмо. Утро она провела в музее на Блумсбери-стрит, где вызвалась помочь с каталогизацией пожертвованных коллекций, затем вернулась, села за чай – и тут Джейн, ее горничная, принесла утреннюю почту. Письмо, написанное на листе фирменной бумаги с золотым тиснением наверху, начиналось с изъявлений глубочайшего сочувствия по поводу понесенной ею утраты, далее шло уведомление о том, что ее брат, Эдвард Джулиус Рэдклифф, составил завещание в ее пользу. В заключение авторы письма просили «мисс Рэдклифф» назначить дату и время для обсуждения подробностей

завещания в одном из отделений фирмы.

Люси перечла письмо еще раз, и ее взгляд зацепился за слова: «ваш брат, Эдвард Джулиус Рэдклифф». *Ваш брат*. Интересно, подумала она, многим ли получателям наследства приходится напоминать, в каком родстве они состоят с завещателем.

Для нее, Люси, такое напоминание было излишним. Хотя она не видела Эдварда много лет, а последний разговор, короткий и сухой, у них был в какой-то сомнительной парижской гостинице, напоминания о нем присутствовали в ее жизни постоянно. Дома на каждой стене висели его картины; мать запретила их снимать, втайне надеясь, что когда-нибудь Эдвард вернется и продолжит все с того, на чем остановился, может быть, даже «сделает себе имя», как Торстон Холмс или Феликс Бернارد. Вот почему прекрасные лица Адель, Фанни и Лили Миллингтон – спокойные, задумчивые, выразительные – словно парили над ней, пока она пыталась как-то жить дальше. Казалось, эти трое глядели на нее всегда, куда бы она ни шла и что бы ни делала. Люси всегда избегала встречаться с ними взглядом.

Люси послала Холберту и Мэтьюзу ответное письмо, сообщив, что в полдень пятницы придет к ним в Мэйфер; именно там, сидя у большого письменного стола темного дерева и глядя в окно на тихо падавшие хлопья первого декабрьского снега, она впервые узнала от старого юриста о том, что Берчвуд-Мэнор – «большой сельский дом в деревушке под Леклейдом-на-Темзе» – теперь принадлежит ей.

Когда встреча окончилась и Люси уже собралась назад, в Хэмпстед, мистер Мэтьюз попросил ее заранее сообщить, если она захочет отправиться в Беркшир: он даст ей в провозатые своего сына. Люси, у которой в тот момент не было никакого желания посещать Беркшир, ответила, что не ждет от них так многого. Как же, это ведь «входит в наши обязанности, мисс Рэдклифф», возразил Мэтьюз, указывая на табличку, висевшую на стене за его спиной. На ней золотым курсивом было написано:

ХОЛБЕРТ, МЭТЬЮЗ И СЫНОВЬЯ

Мы существуем,

чтобы исполнять желания наших клиентов,

как прижизненные, так и посмертные

Когда Люси вышла из адвокатской конторы, в голове у нее царил хаос, что, вообще-то, было ей совсем не свойственно.

Берчвуд-Мэнор.

Какой щедрый дар; и обоюдоострый, словно меч.

Все следующие дни и недели, самые темные в году, Люси непрерывно ломала голову над тем, не потому ли Эдвард оставил дом именно ей, что на каком-то глубинном уровне знал или хотя бы догадывался – не зря ведь они были очень близки когда-то. Но в конце концов, как человек рациональный, отвергла эту мысль. Во-первых, догадываться, в сущности, было не о чем, Люси сама ничего не знала наверняка. Во-вторых, Эдвард совершенно недвусмысленно высказался о своих намерениях: к завещанию прилагалось рукописное письмо, в котором он выражал желание, чтобы его сестра открыла в этом доме школу для девочек, таких же незаурядных, какой в свое время была она сама. Иными словами, для девочек, стремящихся к знанию, в котором им отказано.

При жизни Эдвард обладал редким даром убеждения, умел превращать людей в своих единомышленников; его слова не утратили влияния и после смерти. И Люси, которая еще в конторе Холберта и Мэтьюза дала зарок немедленно продать дом и никогда больше не входить туда по своей воле, вскоре обнаружила, что образ Эдварда просочился в ее мысли и начинает влиять на ее решения.

Люси шла домой через Риджентс-парк, где гуляли дети, задерживая взгляд то на одной маленькой девочке, то на другой: это сейчас они послушно шагают рядом с нянями, но в будущем наверняка захотят *видеть*, *знать* и *делать* больше, чем им разрешено. Люси уже видела себя во главе стайки розовощеких девушек, любознательных, голосистых, скроенных по иным лекалам, чем их сверстницы; девушек, которые хотят учиться, расти и развиваться. Все следующие недели она почти не думала ни о чем другом, одержимая мыслью о том, что все в жизни вело ее к этому; что открытие школы для девочек в доме с двумя фронтонами у излучины реки будет самым «правильным» поступком в ее жизни.

И вот она здесь. Пять месяцев ушло на то, чтобы уговорить себя приехать, но теперь она готова.

– Я должна что-нибудь подписать? – спросила она, когда юрист провел ее на кухню; квадратный сосновый стол стоял на том же самом месте. Люси даже показалось, что Эмма Стернз вот-вот выйдет из своего закутка, заглянет в гостиную и молча покачает головой, увидев по ту сторону двери нечто неподобающее, по ее понятиям.

Юрист поглядел на нее с удивлением:

- Что подписать?
- Ну я не знаю. Я никогда еще не получала дом в наследство. Какой-нибудь акт передачи собственности, к примеру?
- Вам нечего подписывать, мисс Рэдклифф. Передача уже состоялась. Дом ваш.
- Ну, тогда, – Люси протянула юристу руку, – мне остается только поблагодарить вас, мистер Мэтьюз. Было приятно познакомиться.
- Но, мисс Рэдклифф, вы разве не хотите, чтобы я показал вам недвижимость?
- В этом нет необходимости, мистер Мэтьюз.
- Но вы же приехали в такую даль...
- Полагаю, я могу остаться здесь уже сегодня?
- Да, конечно; как я и сказал, дом целиком ваш.
- Тогда позвольте еще раз поблагодарить вас за то, что вы любезно составили мне компанию. А сейчас, с вашего позволения, я хотела бы заняться делами. Здесь будет школа, вы не забыли? Я собираюсь открыть здесь школу для многообещающих юных леди.

Но Люси не сразу взялась за подготовку к открытию школы. Было еще одно дело, и им следовало заняться незамедлительно. Задача столь же пугающая, сколь срочная. Пять месяцев она перебирала разные возможности. Нет, если говорить честно, то куда дольше. Почти двадцать лет она ждала и вот теперь наконец сможет узнать правду.

Закрыв дверь за молодым мистером Мэтьюзом, который вышел с подавленным видом, она еще долго стояла у кухонного окна и следила за каждым его шагом. Лишь когда стук подошв перестал быть слышен на каменной дорожке и лязгнул, вставая на место, язычок замка на калитке деревянных въездных ворот, Люси перевела дух. Повернувшись к окну так, что спина оказалась плотно прижатой к стеклу, она еще раз оглядела кухню. Странно, но все здесь осталось в точности так, как она помнила. Жутковато даже – словно она отлучилась всего на часок, чтобы сходить в деревню, но задержалась в пути, а когда вернулась, то выяснила, что пары десятков лет как не бывало.

В доме стояла тишина, но не мертвая. Люси вспомнилась сказка из книги Шарля Перро, которую в детстве читал ей Эдвард: «La Belle au bois dormant» – о принцессе, которая на сто лет уснула заколдованным сном за стенами своего замка в густом лесу. Эта сказка и вдохновила его на создание «Спящей красавицы». Романтичность была не в характере Люси, но сейчас, стоя спиной к кухонному окну, она почти верила, что дом знает о

ее возвращении.

Что он ждал, когда она вернется.

Больше того, ее охватило не самое приятное ощущение: она не одна на кухне.

Тогда она напомнила себе о том, что никогда не была впечатлительной – хотя волоски на ее руках поднялись дыбом, как от статического электричества, – и что пасть жертвой суеверного страха здесь и сейчас будет совсем некстати и даже непростительно. Сознание шутит с ней какие-то шутки; разум же чист, как всегда. Взяв себя в руки, она вышла в холл и стала подниматься по главной лестнице на второй этаж.

Венское кресло стояло на том самом месте, где Люси видела его в последний раз, – в углу площадки, у поворота лестницы. Оно было развернуто к большому окну, откуда виднелся сад, а за ним луг. Солнечный свет лился внутрь, мириады пылинок колыхались в его лучах, подхваченные невидимыми течениями.

Люси осторожно присела на краешек кресла – оно оказалось теплым. Да и сама площадка тоже. Она вспомнила, что здесь всегда было тепло. Правда, в последний раз, когда она вот так сидела на этом самом месте, дом был полон смеха и страстей; самый воздух вибрировал от творческих идей.

Сегодня все иначе. Сегодня они один на один – Люси и дом. Ее дом.

Она почувствовала, как все внутри старого дома становится спокойным, – так утихает природа после бури.

Где-то далеко, за изгородью, залаяла собака.

Ближе, в Шелковичной комнате, на первом этаже, часы продолжали отмерять время. Часы Лили Миллингтон: они все еще шли. Люси подумала, что это, наверное, юрист, мистер Мэтьюз, позаботился о том, чтобы завести их. Она хорошо помнила тот день, когда Эдвард купил часы. «Отец Лили был часовщиком, – объявил он, влетая со свертком в прихожую их дома в Хэмпстеде. – Я увидел их у одного типа в Мэйфере и выторговал за картину, которую напишу для него. Пусть это будет для нее сюрпризом».

Эдвард обожал делать подарки. Ничто не доставляло ему такого удовольствия, как удачный выбор. Книги для Люси, часы для Лили – и винтовку Торстону тоже подарил он: «Смотри, какая вещь, настоящий Бейкер, во время Наполеоновских войн принадлежала рядовому пятого батальона шестидесятого полка!»

Невозможно поверить: она сидит здесь сейчас потому, что Эдвард умер. И она никогда больше его не увидит. Видимо, все эти годы в глубине души она надеялась, что Эдвард придет, что он еще вернется домой.

Они редко видели друг друга после того лета в Берчвуд-Мэнор, но

Люси знала, что он где-то живет, куда-то ездит. Время от времени она получала от него записки, обычно нацарапанные на обратной стороне какой-нибудь карточки, с просьбой выслать ему столько-то фунтов, чтобы покрыть долг, сделанный в пути. Но чаще ее ушей достигали слухи о том, что его видели в Риме, в Вене, в Париже. Он нигде не останавливался надолго, все время был в движении. Люси знала, что он старается убежать от своего горя. Но еще ей казалось, что Эдвард верит: если он будет двигаться достаточно быстро и сниматься с места достаточно часто, то, может быть, снова нагонит Лили Миллингтон.

Потому что надежда еще жила в его сердце. Сколько бы ни нагромодилось доказательств ее вины, он не смирился с мыслью, что Лили участвовала в обмане – что она никогда не любила его так преданно и верно, как любил ее он.

При последней встрече в Париже он сказал:

– Она где-то здесь, Люси. Я это знаю. Я чувствую. А ты?

Но Люси, которая ничего такого не чувствовала, лишь взяла руку брата и крепко ее сжала.

В тот далекий день Люси нырнула в спасительную тьму убежища за панелью в стене – а открыла глаза в незнакомой комнате, полной яркого света. Она лежала в постели. Постель была чужой. Было больно.

Люси моргнула, обводя глазами обои в желтую полоску, окно в свинцовом переплете, бледные шторы по бокам. В комнате пахло чем-то сладким – жимолостью, наверное, а может, еще и дроком. В горле у нее пересохло.

Должно быть, она издала какой-то звук, потому что у кровати вдруг появился Эдвард и принялся наливать воду в стакан из хрустального графина. Выглядел он страшно: волосы всклокочены, лицо исхудало, черты заострились. Свободный ворот рубашки распластался по его плечам: судя по состоянию ткани, он не менял ее уже несколько дней.

Но где она сейчас и как давно она здесь?

Люси была почти уверена, что ни о чем не спрашивала, но Эдвард, приподняв голову сестры и поднеся к ее губам стакан с водой, сказал, что они остановились в деревенской гостинице несколько дней назад.

– В какой гостинице?

Он посмотрел на нее внимательно:

– В «Лебеде», разумеется. Деревня Берчвуд. Ты правда ничего не помнишь?

Названия показались ей смутно знакомыми.

Эдвард попытался вселить в нее уверенность улыбкой, но та вышла совсем бледной.

– Давай я позову доктора, – сказал он. – Он должен узнать, что ты очнулась.

Он открыл дверь и тихо заговорил с кем-то в коридоре, но из комнаты не вышел. Потом вернулся, сел на кровать рядом с Люси, взял ее руку в свою, а другой стал тихонько поглаживать ей лоб.

– Люси, – начал он, и по его глазам было видно, что ему очень больно, – я должен задать тебе вопрос, должен спросить тебя о Лили. Ты ее видела? Она пошла за тобой в дом, и никто ее больше не встречал.

В голове у Люси плыло. Какой дом? И какая Лили? Лили Миллингтон, что ли? Его натурщица, вспомнила Люси, девушка в длинном белом платье.

– Ой, голова, – пробормотала она, ощутив боль в правой ее части.

– Бедняжка моя. Ты упала и лежала бездыханная, совсем как мертвая, а я тебя расспрашиваю. Прости меня, я... – Одной рукой он вцепился себе в волосы. – Ее нет. Я нигде не могу ее найти, и я ужасно беспокоюсь. Она не могла просто взять и исчезнуть.

Вдруг какое-то воспоминание пронеслось у нее в голове. Выстрел в темноте. Он был громким, и кто-то закричал. Она побежала, а потом... и тут у Люси перехватило дыхание.

– Что с тобой? Ты что-то видела?

– Фанни!

Лицо Эдварда помрачнело.

– Да, ужасное происшествие, такой ужасный случай. Бедняжка Фанни. Какой-то человек, чужой, неизвестный – не знаю, кто он... Фанни побежала, я за ней. Я услышал выстрел, когда пробежал под каштаном, и сразу вбежал в дом, но, Люси, было уже поздно. Фанни была уже... а потом я увидел спину того человека, он выскочил через парадную дверь и помчался к тропинке.

– Лили Миллингтон его знала.

– Что?

Люси сама не понимала, что говорит, но почему-то была уверена, что это правда. Какой-то человек действительно приходил, и ей, Люси, было очень страшно, и Лили Миллингтон тоже была с ними.

– Он был в доме. Я его видела. Я вошла в дом, а потом появился он, а потом они с Лили Миллингтон разговаривали.

– О чем?

Мысли Люси снова спутались. Воспоминания, фантазии, мечты – все слилось воедино. Но Эдвард задал ей вопрос, а она всегда старалась

отвечать ему правильно. И она, закрыв глаза, наугад сунула руку в кипящий котел своей памяти.

– Об Америке, – сказала она. – О пароходе. И еще что-то о «Синем».

– Так-так-так...

Люси открыла глаза и обнаружила, что они больше не вдвоем. Пока она старательно отвечала на вопрос Эдварда, в комнату вошли еще двое. Один был в сером костюме, с рыжеватыми бакенбардами и усами, завитыми на кончиках; в руке он держал черную шляпу-котелок. Другой был в темно-синем одеянии с рядом блестящих пуговиц и черным ремнем, который перетягивал большой живот; на тулье головного убора, который он не снял даже в комнате, сверкал серебряный жетон. Это мундир, поняла Люси, а сам он – полицейский.

Как потом выяснилось, полицейскими были оба. Тот, что пониже, в форме, служил констеблем в Беркшире; его вызвали сюда потому, что Берчвуд-Мэнор, где было совершено преступление, находился на его участке. Другой, в сером, инспектор полиции из Лондона, приехал сюда по требованию отца Фанни Браун, человека важного и влиятельного, который мог доверить расследование этого дела только столичным полицейским.

Инспектор Уэсли из Лондона и был тем, кто сказал «так-так-так», а когда Люси открыла глаза и их взгляды встретились, он повторил:

– Так-так-так... – И добавил: – Как я и подозревал.

Позже, когда весь дом обыскали самым тщательным образом и стало ясно, что Люси права – «Синего Рэдклиффа» нигде нет, – инспектор поделился с ними своими подозрениями: Лили Миллингтон с самого начала была в курсе дела.

– Наглый обман, – процедил он сквозь усы, сунув большие пальцы обеих рук в петлицы на лацканах сюртука. – Отличный план, и притом смело осуществленный. Видите ли, эта парочка заранее все просчитала. Первый их шаг был таким: некая особа, выдающая себя за мисс Лили Миллингтон, вошла в доверие к вашему брату, став его натурщицей, и тем самым довольно близко подобралась к «Синему Рэдклиффу». Шаг второй: когда доверие вашего брата было завоевано и он не ждал никакого подвоха, эта парочка похитила бриллиант и скрылась. Тут все могло бы закончиться, если бы на их пути не встала мисс Фанни Браун, заплатив за это своей невинной молодой жизнью.

Люси слушала внимательно, но сценарий не укладывался у нее в голове. Она сказала Эдварду правду: Лили Миллингтон и тот человек действительно говорили об Америке и о «Синем», она сама слышала, а еще она вспомнила, что видела тогда два билета на пароход. И подвеску,

конечно, тоже видела – прекрасный, лучащийся синим светом бриллиант, их фамильную драгоценность. Ее надевала Лили Миллингтон. Люси отчетливо помнила это: Лили Миллингтон стоит в длинном белом платье, с подвеской на шее, яркий синий камень лежит в ямке у горла. И вдруг Лили, и бриллиант, и билеты – все исчезло. Было ясно, что все они сейчас где-то в одном месте. Но оставалась одна проблема.

– Мой брат встретил Лили Миллингтон в театре. Она не искала его и не просила взять ее себе в натурщицы. Он спас ее от грабителя.

Увидев возможность смутить невинную душу рассказом о не самой чистой стороне жизни, инспектор едва не облизнулся от наслаждения.

– Тоже уловка, мисс Рэдклифф, – сказал он, медленно поднимая и вытягивая в ее сторону палец, – окольный способ привлечь внимание вашего брата, окольный, но оттого не менее действенный. Еще один обман, который они замыслили и осуществили вместе. Излюбленный прием подобных типов, которые давно усвоили, что вид женщины в беде, особенно молодой и красивой, – один из вернейших способов привлечь внимание респектабельного джентльмена, такого как ваш брат. У него просто не оставалось выбора – пришлось вмешаться. А пока он был занят сначала защитой прав пострадавшей особы, затем проявлением участия к ней, тот тип, ее сообщник, вернулся, обвинил вашего брата в том, что он и есть вор, который скрылся с браслетом его сестры, и в пылу суматохи – тут инспектор раскинул руки, видимо для усиления драматического эффекта, – запустил руку вашему брату в карман и выудил ценности.

Люси вспомнила рассказ Эдварда о том вечере, когда он повстречал Лили Миллингтон. Она, Клэр и мать – даже горничная Дженни, которая тоже прислушивалась, разливая чай, – обменялись теплыми, понимающими взглядами, когда Эдвард сказал им, что вынужден был проделать пешком весь путь домой, так как, замороженный красотой девушки, он замечтался о будущем, которое открывалось ему, и умудрился потерять где-то свой бумажник. Прилив вдохновения всегда делал Эдварда нечувствительным к повседневным мелочам, и это было настолько в его духе, что никто и не подумал его осуждать – тем более что в кошельке у него сроду не водилось денег. Но теперь, если верить инспектору Уэсли, получалось, что Эдвард вовсе не потерял бумажник – его забрали, тот человек, Мартин, выудил его у Эдварда из кармана, пока ее брат спасал, как ему казалось, Лили Миллингтон.

– И заметьте, – продолжал инспектор, – если я не прав, я готов съесть свою шляпу. Но я наверняка прав: если тридцать лет, изо дня в день, трешься бок о бок с лондонскими ворами и отребьем, научаешься видеть

их насквозь.

Но Люси своими глазами видела, как Лили Миллингтон смотрела на Эдварда, как они вели себя, когда были вместе. И не могла поверить, что это была лишь уловка.

– Воры, актрисы и иллюзионисты, – сказал инспектор, выслушав Люси, и пальцем постукал себя по носу сбоку, – все из одного теста. Притворщики, обманщики, трюкачи.

Люси поняла, что в свете теории инспектора Уэсли все поступки Лили Миллингтон действительно кажутся сомнительными. К тому же Люси сама видела Лили с тем человеком. С Мартином. Так она его называла. «Что ты здесь делаешь? – спросила она у него сначала, а потом добавила: – Уходи, Мартин. Я же сказала – месяц». И тогда этот Мартин ответил: «Сказала, ну и что? У тебя дело быстро спорится, ты же одна из лучших. – А потом поднял билеты и сказал: – Америка... земля новых начинаний».

Но Лили не ушла с Мартином. Люси знала это наверняка, ведь она собственными руками заперла ее в убежище. Она помнит, как ее распирало от гордости, когда она показывала Лили найденный ею тайник.

Люси хотела было уже сказать об этом, но тут инспектор Уэсли заговорил снова:

– Про «нору священника» я знаю. Там скрывались вы, мисс Рэдклифф, а не мисс Миллингтон, – после чего напомнил ей о шишке у нее на голове и о том, что ей лучше отдохнуть, а сам позвал доктора: – Девочка снова бредит, доктор. Боюсь, я слишком утомил ее своими расспросами.

Люси действительно устала. Кроме того, она точно знала, что Лили Миллингтон просто не могла сидеть в тайнике под лестницей так долго. Четыре дня прошло с тех пор, как Мартин явился в Берчвуд. Люси хорошо помнила, как тесно и душно было там, внутри, как быстро заканчивался воздух, как ей отчаянно хотелось оттуда выбраться. Нет, Лили Миллингтон наверняка уже подала голос, и ее освободили. Никто не смог бы продержаться там столько дней.

А может, она, Люси, действительно все напутала? Может, она не запирала Лили Миллингтон под лестницей? Или запирала, а Мартин ее освободил, и они вместе сбежали в Америку, как полагает инспектор Уэсли? Разве Лили не рассказывала ей, Люси, о том, что провела свое детство в Ковент-Гардене; что фокусу с монетой ее научил французский иллюзионист? Разве сама не назвала себя воровкой? Люси тогда еще подумала, что Лили Миллингтон шутит, но если она и вправду была в сговоре с этим типом, Мартином? Что еще она могла иметь в виду, когда сказала ему, что просит месяц? Может, поэтому ей так хотелось, чтобы

Люси ушла к другим, в лес, а их оставила одних, и они бы...

У Люси заболела голова. Девочка крепко зажмурилась. Да, от удара в ее памяти все смешалось, как и говорит инспектор. В те дни она превыше всего ценила точность и терпеть не могла тех, кто, рассказывая о чем-то, упустил детали или говорил приблизительно, – такие люди не понимают, что искажают суть сказанного. Вот почему она дала зарок молчать об этом деле до тех пор, пока на сто процентов не будет уверена в каждом своем слове.

Эдвард, как и следовало ожидать, отказался принять теорию инспектора.

– Она ни за что не стала бы у меня красть и никогда бы меня не бросила. Мы с ней хотели пожениться, – объяснил он инспектору. – Я сделал ей предложение, и она согласилась. За неделю до нашего приезда в Берчвуд я разорвал помолвку с мисс Фанни Браун.

И тут вмешался отец Фанни.

– Парень не в себе, – заявил он. – У него шок, он бредит. Моя дочь готовилась к свадьбе и обсуждала какие-то подробности с моей женой в то самое утро, перед поездкой в Берчвуд. Она наверняка сказала бы мне, если бы ее помолвка была разорвана. Но она ничего такого не говорила. А если бы сказала, то, смею вас заверить, за дело взялись бы мои адвокаты. Репутация моей дочери не запятнана. К ней сватались джентльмены, которым было что предложить, в отличие от мистера Рэдклиффа, но она выбрала его. Я никогда не допустил бы, чтобы разорванная помолвка повредила репутации моей дочери. – Вдруг у этого крупного мужчины что-то сломалось внутри, он начал всхлипывать, как ребенок. – Мою Фрэнсис уважали все, инспектор Уэсли. Она сказала, что хочет провести уик-энд в новом доме жениха, в деревне, где он как раз принимает группу друзей. Я дал ей своего кучера. Не будь они помолвлены, я никогда не согласился бы на эту поездку, да она и сама не стала бы о ней просить.

Эта логика пришлась по душе инспектору Уэсли и его коллеге из Беркшира, особенно когда Торстон Холмс, отведя инспектора в сторонку, поведал ему, что, как ближайший друг Эдварда, он находится в курсе всех его дел и что ни в последнее время, ни ранее тот ничего не говорил о разрыве помолвки с мисс Браун и тем более о намерении жениться на натурщице, мисс Миллингтон.

– Я бы наверняка отговорил его и от того и от другого, заикнись он о чем-нибудь таком, – добавил Торстон. – Фанни была замечательной женщиной, настоящей леди и хорошо на него влияла. Не секрет, что Эдвард вечно витает в облаках, но ей всегда удавалось вернуть его с небес на

землю.

– Убийство было совершено из вашего оружия, не так ли, мистер Холмс? – спросил его инспектор.

– К моему прискорбию, да. Но для меня это была всего лишь игрушка. Кстати, ее подарил мне мистер Рэдклифф. Я был потрясен не меньше других, узнав, что ружье было заряжено и выстрелило.

Дед Люси, едва услышав о пропаже «Синего Рэдклиффа», не замедлил явиться из своего поместья Бичворт и добавить к портрету Эдварда последний штрих.

– Еще в детстве, – заявил старик инспектору, – он был полон странных идей и диких фантазий. Я впадал в отчаяние, думая о том, в кого он превратится со временем. Вот почему я был поистине счастлив, когда он объявил о своей помолвке с мисс Браун. Мне показалось, что он наконец-то взялся за ум и ступил на верный путь. Он и мисс Браун должны были заключить брак, и любые намеки Эдварда на иное развитие событий означают, что он сошел с ума. Ничего удивительного для человека его темперамента на фоне таких трагических событий.

Мистер Браун и лорд Рэдклифф были правы, и Торстон судил здраво; у Эдварда был шок. Мало того что он любил и потерял свою невесту, мисс Браун, так еще и вынужден был признать свою вину за трагедию: не введи он в круг своих друзей эту Лили Миллингтон и ее пособников, ничего бы не было.

– И ведь нельзя сказать, что его не предупреждали, – заявил Торстон. – Как-то раз я пожаловался ему, что после каждого его визита с натурщицей в мою студию недосчитываюсь разных вещей. Но за все свои хлопоты я получил только синяк под глазом.

– А что у вас пропало, мистер Холмс?

– Ну, в общем-то, пустяки, в сравнении с тем, чего недосчитываются теперь. Я бы не стал затруднять вас этим. Тем более вы так заняты. Рад, что смог оказать вам посильную помощь в раскрытии этого прискорбного дела. Признаюсь, у меня кровь закипает при одной мысли о том, что моего лучшего друга провела парочка шарлатанов. Простить себе не могу, что сам не сложил два и два. Нам повезло, что мистер Браун пригласил вас сюда.

Последним гвоздем в крышку гроба надежд Эдварда стала новость, которую однажды утром привез из Лондона инспектор Уэсли: оказывается, пропавшую натурщицу звали вовсе не Лили Миллингтон.

– Мои люди предприняли расследование, подняли все свидетельства о рождениях, смертях и браках за последние годы и смогли обнаружить лишь одну Лили Миллингтон: так звали девочку, которую забили до смерти в

ковент-гарденской пивной в 1851 году. Еще когда она была крохой, родной отец продал ее содержателям «детской фермы» и по совместительству воровского притона. Ничего удивительного, что она плохо кончила.

Это все решило. Даже Люси пришлось признать его правоту. Их всех обманули, обвели вокруг пальца. Лили Миллингтон была воровкой и лгуньей; даже имя у нее было краденым. А теперь бесчестная натурщица прячется в Америке, куда убежала с «Синим Рэдклиффом» и тем типом, который застрелил Фанни.

На этом расследование было закрыто, инспектор и констебль уехали из Берчвуда, пожав на прощание руку мистеру Брауну и лорду Рэдклиффу и пообещав связаться с коллегами по ту сторону океана, чтобы попытаться вернуть камень.

Не зная, чем развлечь себя в деревне – лето внезапно оборвалось, полили дожди, – члены Пурпурного братства вернулись в Берчвуд-Мэнор. Но Эдвард был уже не тот, что прежде, его отчаяние, тоска и гнев отравляли самый воздух в доме. Они с домом были как будто заодно: комнаты наполнились еле ощутимым, но тошнотворным душком. Не зная, как помочь брату, Люси старалась не попадаться ему на глаза. Но горе заразительно, и вскоре Люси обнаружила, что не может сосредоточиться, ничем не может себя занять. А еще ее охватывала непонятная тревога каждый раз, когда она перешагивала через ступеньку с тайником под ней, и она даже стала пользоваться другой лестницей, черной, в дальнем конце дома.

Наконец Эдвард не выдержал – собрал вещи и послал за экипажами. Через две недели после убийства Фанни все окна в доме занавесили, двери заперли, и два экипажа, увлекаемые сильными лошадьми, прогрохотали по подъездной дороге Берчвуд-Мэнор, направляясь к деревне и навсегда увозя художников и их скарб.

Люси, сидя на заднем сиденье второго из них, повернула голову и наблюдала, как дом все уменьшается и уменьшается, а затем и вовсе исчезает вдаль. Вдруг ей показалось, что на окне в мансарде дрогнула штора. Но она тут же подумала, что это все сказки Эдварда, что его рассказ о Ночи Преследования воздействует на ее разум.

Глава 28

В Лондоне тоже все было по-другому. Эдвард почти сразу уехал на континент, не оставив адреса. Что стало с его последней картиной, которую он писал с Лили Миллингтон, Люси так и не узнала. После отъезда брата она разыскала ключ от студии, вошла туда, но не обнаружила никаких следов картины. А также ничего, связанного с Лили: сотни набросков и этюдов, глядевших раньше со стен, тоже исчезли. Эдвард как будто знал, что никогда больше не будет рисовать в студии в саду хэмпстедского дома.

Клэр тоже не задержалась в доме матери. Поняв, что от Торстона Холмса проку не будет, она вышла за первого же состоятельного джентльмена, сделавшего ей предложение, и, счастливая, укатила с ним в его огромный чопорный дом в деревне, который их бабка, леди Рэдклифф, разумеется, нашла восхитительным. Вскоре она родила, одного за другим, двух малышей, толстеньких, вертлявых карапузов с пухлыми щечками и вторыми подбородками – кровь с молоком, одним словом; а когда Люси приехала погостить пару лет спустя, туманно намекнула сестре, что не прочь завести третьего, да вот беда – супруг большую часть месяца проводит в отъезде, заезжая домой едва ли на неделю.

Вот почему к началу 1863 года, когда Люси исполнилось четырнадцать, они с матерью давно уже жили в Хэмпстеде вдвоем. Все произошло так быстро, что они не успели опомниться. Встречаясь в какой-нибудь комнате, они удивленно смотрели друг на друга, пока одна из них – обычно Люси – не придумывала благовидный предлог, чтобы уйти и избежать вторую от объяснений, почему разговор у них не клеится.

Взрослея, Люси чуралась любви. Слишком хорошо она знала, какой разрушительной силой та обладает. Вот Лили Миллингтон бросила Эдварда, и это его сломало. Поэтому она боялась любить. Боялась тесных сердечных контактов, чреватых осложнениями. Вместо этого у нее начался роман с наукой. Она жадно стремилась к новому знанию и сердилась на себя за то, что не может усваивать все еще быстрее. Мир науки оказался так обширен, что каждая прочитанная книга влекла за собой необходимость прочесть еще десяток, а на каждую теорию, которую ей удавалось усвоить, приходились десять новых. Иногда, лежа без сна ночью, она ломала голову над тем, как лучше распорядиться своим временем: ведь всей ее жизни не хватит на постижение того, что ей хочется постичь.

Однажды – ей уже исполнилось шестнадцать – Люси перебирала у

себя в комнате вещи с целью освободить место под еще один книжный шкаф, который планировала перенести сюда из кабинета, как вдруг наткнулась на чемоданчик: с ним она ездила в Берчвуд в то памятное лето 1862 года. Вернувшись, она засунула его в ящик под оконным сиденьем, чтобы он не напоминал ей о событиях, случившихся в доме брата, да так и забыла на три года. Открывая ящик, она не ожидала ничего найти, а когда обнаружила чемодан, то, будучи разумной девушкой, решила разобрать лежавшие в нем вещи.

Щелкнув застежками и откинув верхнюю крышку, она не без радости увидела на самом верху свою старую книгу – «Химическую историю свечи». Под ней лежали еще две, одну из которых, вспомнила Люси, она нашла на верхней полке шкафа в библиотеке Берчвуд-Мэнор. Она открыла книгу – очень бережно, как и тогда, ведь переплет по-прежнему держался на двух нитках, – и сразу увидела письма; планы «священнических нор» никто, кроме нее, не трогал.

Отложив книги в сторону, она взялась за платье, лежавшее на дне. И сразу вспомнила его. В нем она была в тот день, когда Феликс планировал снимать в лесу фотографию; это был ее костюм. В нем она упала тогда с лестницы, но чья рука раздевала ее потом, она не знала: очнувшись, она оказалась в незнакомой комнате с обоями в желтую полоску, и на ней была ее собственная ночная рубашка. Люси вспомнила, как упаковала костюм, когда они собрались домой: свернула комом и бросила на дно чемодана. Тогда самый вид этого платья вызывал у нее страх, и поэтому сейчас она развернула его и подержала перед собой на вытянутых руках, чтобы проверить, боится ли она его, как раньше. Оказалось, что нет. Да, точно, не боится. По крайней мере, кровь не прилила к щекам и пульс не участился. Все же оставлять платье у себя ей не хотелось: надо отдать его Дженни, пусть изрежет на тряпки. Но сначала она – машинально, по привычке, усвоенной еще в детстве, – сунула руку в оба кармана по очереди, желая убедиться, что там ничего нет, и совсем не ожидала найти что-нибудь, кроме подкладочной ткани да, может, носового платка.

Но что это? На самом дне одного кармана она нащупала твердый круглый предмет.

Люси сразу сказала себе, что это лишь речная галька, которую она подобрала тем летом в Берчвуде, сунула в карман и позабыла, но сама уже знала ответ. В животе сразу стало пусто и холодно, тело наполнил страх. Ей даже не нужно было видеть то, что она держала в руке. Одного прикосновения хватило, чтобы занавес прошедших лет упал и ее глазам предстала давняя, запыленная сцена ее памяти.

«Синий Рэдклифф».

Теперь она все вспомнила.

Это она, Люси, надела тогда подвеску. Она вбежала в дом расстроенная, думая, что больше не нужна для фотографии, и, обшаривая комнату Эдварда, натолкнулась на футляр с украшением. С того самого дня, когда они пешком шли в Берчвуд-Мэнор от станции, Люси смотрела на Лили Миллингтон глазами брата и все сильнее хотела походить на нее. Поэтому, взяв в руки подвеску, она решила: вот он, шанс хотя бы на мгновение ощутить, что значит *быть* Лили Миллингтон. Быть той, от кого Эдвард не может оторвать восхищенного взгляда.

Люси смотрелась в зеркало, когда у нее за спиной вдруг появилась Лили Миллингтон. Потом она сняла украшение и уже собралась вернуть его в футляр, когда появился тот человек, Мартин. Он хотел увести с собой Лили. И Люси в спешке сунула камень не в футляр, а в свой карман. Где он и лежал до сих пор, никем не найденный и не тронутый.

Люси давно поверила в историю, сплетенную инспектором Уэсли, но находка «Синего Рэдклиффа» стала той спущенной петлей, от которой в разные стороны сразу пошли дорожки, и весь рисунок, так тщательно выполненный, начал расползаться на глазах. И ясно почему: если семейную драгоценность никто не похищал, значит и мотива для преступления не было. И хотя из Нью-Йорка подтвердили, что пара, называвшая себя «мистером и миссис Рэдклифф», прибыла на означенном пароходе из Лондона и прошла регистрацию в порту, воспользоваться теми билетами мог кто угодно. Последним, в чьих руках Люси видела продолговатые кусочки бумаги, был тот страшный тип, Мартин. А Эдвард видел, как он убегал из дома. Один из билетов он мог взять себе, другой продать кому-нибудь. А то и оба сразу.

Оставалась проблема тайника под лестницей. Чтобы скрыться с Мартином, Лили Миллингтон должна была дать ему знать, где находится, а он – догадаться, как ее оттуда вызволить. Сама Люси сумела открыть люк, только когда разобрала инструкцию в письме, но даже так это было непросто. Значит, ему понадобилось бы время, чтобы найти Лили, и еще больше времени, чтобы решить задачу с люком. Но Фанни появилась в доме почти сразу, а за ней прибежал Эдвард. Мартин просто не успел бы освободить Лили Миллингтон.

Главное же, она, Люси, видела, какими глазами Лили Миллингтон смотрела на этого Мартина – в них был неподдельный страх; и еще видела, как та смотрела на Эдварда. А в том, что Эдвард без памяти любил Лили

Миллингтон, не было никаких сомнений. Ее исчезновение доказало это – Эдвард стал призраком самого себя.

Но Лили Миллингтон все-таки исчезла, и это тоже было фактом. Ни один человек в Берчвуде не видел ее с того дня. Последней, кто ее видел, была она, Люси, – в тот момент, когда своими руками опустила над Лили крышку тайника.

И вот прошло двадцать лет, и Люси вернулась в Берчвуд-Мэнор. Встав с кресла, она сплела пальцы и изогнула руки в привычном жесте тревоги. Но тут же безвольно уронила их вдоль тела.

Ничего не поделатъ; пора. Раз уж она собирается открыть здесь школу – а Люси чувствовала, что другого пути у нее нет, – надо узнать правду. Ее планы от этого не изменятся. Все равно отступать некуда, да и смысла жалеть о том, что случилось, тоже нет.

Люси отодвинула кресло и опустилась на колени перед лестницей, зорко вглядываясь в подъем последней ступеньки.

Хитрая штучка, нечего сказать, да и сработана на совесть. Если не знать, что она здесь, никогда не найдешь. Во времена Реформации, когда на католических священников охотились люди королевы, в таких тайниках была большая нужда. За последние годы Люси провела целое расследование и выяснила, что только эта «священническая нора» у нее под ногами спасла шесть человеческих жизней. Собравшись с духом, Люси нажала на края подъема и откинула крышку.

Глава 29

Едва заглянув внутрь, Люси закрыла тайник. Эмоции, так долго подавляемые, вдруг вырвались наружу, и она громко, прерывисто завывала: сколько лет прошло с тех пор, как она обнаружила бриллиант в кармане своего платья, и все это время она одна несла невыносимый груз вины, который ни с кем не могла разделить. Она горевала о Лили Миллингтон, которая была так добра к ней самой и любила ее брата, горевала об Эдварде, которого она предала, оставила в полном одиночестве, поверив в историю инспектора Уэсли.

Когда Люси наконец снова смогла дышать, она спустилась на первый этаж. Сердце подсказывало, что именно она найдет в тайнике под лестницей. Больше того, она понимала это умом. Люси гордилась тем, что она – женщина рациональная, и потому у нее давно был готов план. Еще на безопасном расстоянии, в лондонском доме, она просчитала все варианты развития событий и разработала четкую, последовательную программу действий. И думала, что готова. Но на месте все оказалось иначе: руки так тряслись, что она не смогла написать письмо мистеру Ричу Миддлгтону на Дьюк-стрит, в Челси. Вот этого она не предвидела – того, что у нее будут трястись руки.

И тогда Люси решила прогуляться к реке, успокоить нервы. Дошла до причала – это заняло меньше времени, чем она рассчитывала, – и повернула оттуда в лес. Внезапно она осознала, что повторяет путь, проделанный ею в тот день: тогда она тоже бежала домой из леса, где Феликс собирался снимать свою фотографию.

Полянка в лесу, которую Феликс выбрал тогда для снимка, никуда не делась. Стоя на ней, Люси сразу представила всю их тогдашнюю компанию в костюмах. И почти воочию увидела, как она сама, тринадцатилетняя, сгорая от чувства несправедливости, бежит через заросший цветами луг к дому. Туда, где всего через несколько минут найдет бархатный футляр с бриллиантом и повесит себе на шею, тут ее застанет Лили Миллингтон, которой она поможет укрыться в тайнике и тем самым столкнет с горы камень, вызвавший неумолимую лавину судьбы. Но нет; она не будет безучастно наблюдать за тем, как удирает ее фантомное тринадцатилетнее «я». Лучше вернуться к реке.

Еще тогда, в Лондоне, обнаружив у себя в чемодане «Синий Рэдклифф», она сразу поняла, что камень необходимо спрятать; вопрос в

том – куда. Она перебрала множество вариантов – зарыть его где-нибудь на Хэмпстед-Хит, спустить в канализацию, зашвырнуть в пруд с утками в Долине здоровья, – но в каждом ей мерещились слабые места. Конечно, трудно представить себе, что какой-нибудь пес станет рыться именно в том месте, где Люси спрятала камень, найдет его, схватит и принесет хозяевам, или что утка найдет его в пруду, проглотит, спокойно пропустит через свой пищеварительный тракт и выбросит вместе с пометом на берегу, где его углядит некое остроглазое дитя. Не менее иррациональным было предположение, что, даже если один из этих невероятных сценариев все же осуществится, эту находку свяжут с ней, с Люси. Но чувство вины, как уже успела убедиться Люси, есть самая иррациональная из эмоций.

К тому же, по правде говоря, Люси беспокоило даже не то, что обнаруженное сокровище свяжут с ней. Гораздо существеннее было то, что если через столько лет от официальных выводов следствия придется отказаться, значит все принесенные тогда жертвы будут напрасны. И чем больше времени проходило, тем важнее делалась для нее эта мысль. Люси не могла спокойно думать о том, что Эдвард мог бы не скитаться теперь по свету; что, если бы она раньше рассказала ему всю правду, он оплакал бы потерю Лили Миллингтон, но постепенно утешился бы и смог жить дальше.

Нет, камень следовало спрятать: пусть все продолжают верить в историю его исчезновения. Слишком далеко все зашло, чтобы предлагать иную версию событий. Только она, Люси, будет знать, что случилось на самом деле. И будет жить с этим знанием. Если бы можно было повернуть время вспять и все исправить, она бы это сделала, но такой возможности не существует – а потому непреходящее чувство вины и одиночество станут для нее самым подходящим наказанием.

Сначала Люси хотела опустить подвеску в ящик вместе со всем прочим, но, оказавшись внезапно на берегу Темзы, которая в этих местах, казалось, становилась совсем другой рекой, не той, что в Лондоне, она вдруг ощутила настоятельную потребность избавиться от камня еще раньше. Темза показалась ей идеальным укрытием. Это земля легко расстается со своими секретами, а река уносит свои вдаль, к бездонному морю.

Люси сунула руку в карман и вытащила за цепочку «Синий Рэдклифф». Надо же, такой блестящий камень. И такой редкий.

Люси в последний раз дала ему посмотреть на солнечный свет. Потом, размахнувшись, зашвырнула его подальше и, не оглядываясь, зашагала к дому.

Ящик привезли четыре дня спустя. Еще до отъезда Люси заказала его в Лондоне, сообщив хозяину мастерской, что позже напишет, куда и когда доставить товар. Конечно, у нее была робкая надежда, что заказ останется невостребованным и деньги будут потрачены зря, но в целом, сказала она себе, факты свидетельствуют, скорее, об обратном.

Она выбрала гробовщика по имени Рич Миддлтон, державшего лавку на Дьюк-стрит в Челси, объяснила ему, что ящик понадобится очень маленький, и оставила целый список других указаний.

– Тройная свинцовая обивка? – удивился гробовщик и запустил руку в шевелюру под помятым цилиндром. – Зачем это вам? Чтобы схоронить младенца, такое не нужно.

– Я ничего не говорила о младенцах, мистер Миддлтон, и вашего мнения не спрашивала. Вот мои требования; если вы не в состоянии их выполнить, так и скажите, я сделаю заказ в другом месте.

Он примирительно поднял пухлые, удивительно мягкие на вид розовые ладони и сказал:

– Ладно-ладно, деньги-то ваши. Вам нужна тройная свинцовая обивка, значит ее вы и получите, мисс?..

– Миллингтон. Мисс Л. Миллингтон.

Это, конечно, было наглостью с ее стороны, но наглостью сентиментальной. К тому же она не могла назвать свое настоящее имя. Да и Эдварда уже не было в живых, и Фанни двадцать лет как застрелили – Лили Миллингтон никто уже давно не ищет.

Закончив излагать подробности, Люси передала гробовщику список и заставила его прочесть написанное вслух. Убедившись, что он все правильно понял, она попросила его немедленно подготовить счет.

– Нужен кортеж? Плакальщики?

Люси ответила, что нет.

Гробик привезли в Берчвуд-Мэнор со станции в повозке, откуда его с большим трудом извлек железнодорожный носильщик. Заказ был помещен в простой деревянный ящик без всяких подписей; носильщик оказался человеком бестактным и задал прямой вопрос.

– Купальня для птиц, – сказала ему Люси. – Мраморная, к несчастью для вас. – Засим последовали щедрые чаевые, при виде которых носильщик заметно подобрел. И даже согласился донести «купальню» до предназначенного ей места – клумбы сбоку от главных ворот. Именно там стояла Лили Миллингтон в тот день, когда Люси, искавшая, вообще-то,

Эдварда, чтобы сообщить ему о тайниках, застала ее по пути на почту. – Я хочу, чтобы ее было видно из как можно большего числа окон в этом доме, – объяснила Люси носильщику, хотя тот больше ни о чем не спрашивал.

Когда он ушел, Люси вскрыла ящик, чтобы рассмотреть его внутри. Судя по первому впечатлению, мистер Рич Миддлтон с Дьюк-стрит в Челси выполнил свою работу на отлично. И свинца на обшивку не пожалел. Люси не могла даже предположить, как долго местоположение ящика будет оставаться тайной, зато она много читала о сокровищах прошлого и хорошо знала, что свинец не поддается коррозии. Ей было что скрывать, и она надеялась, что это останется скрытым надолго; но ей не хватало мужества уничтожить свой секрет. Именно поэтому она потребовала, чтобы свинцовая обшивка была непроницаемой. Археологи часто раскапывали неповрежденные сосуды, пережившие века, а распечатав их, обнаруживали, что содержимое давно истлело. Вот почему она не хотела, чтобы внутри ее посылки из прошлого попали вода или воздух. Гроб не должен протекать, не должен поддаваться коррозии или трескаться. Ведь однажды его найдут, в этом Люси была уверена.

Несколько часов она копала. Лопату она нашла в амбаре и принесла в сад. От непривычных, повторяющихся движений скоро заломило все тело, приходилось то и дело останавливаться, чтобы отдохнуть. При этом Люси понимала, что чем дольше длится каждый перерыв, тем труднее заставить себя продолжать, и дала зарок не бросать начатое, пока не выроет яму достаточной глубины и ширины.

Наконец настала пора заполнять гроб. На дно Люси положила «Демонологию» с письмом Николаса Оуэна и планами Берчвуд-Мэнор, где были обозначены «норы священников». Она поднялась наверх и обрадовалась, обнаружив сундук с костюмами там, где его оставили много лет назад. Белое платье, в котором Лили Миллингтон позировала Эдварду, тоже было там, и Люси бережно завернула в него косточки, извлеченные из тайника. За двадцать лет, кроме костей, почти ничего не осталось.

Последнее и самое главное – письмо, которое она написала собственноручно (на хлопковой, неокисляющейся бумаге), изложив все, что знала о женщине, чей прах теперь покоился в свинцовом гробу. Узнать правду оказалось не так просто, но Люси не зря гордилась своим умением вырывать тайны у прошлого и к тому же была не из тех, кто бросает дело на полдороге. Пришлось взять то, что ей рассказала о себе сама Лили, и то, что говорил о ней Эдвард, добавив некоторые детали, проскользнувшие в разговоре Лили с тем человеком, Мартином, когда он пробрался в Берчвуд-

Мэнор.

Постепенно, фрагмент за фрагментом, Люси сложила мозаику ее жизни: дом над птичьей лавкой на Литл-Уайт-Лайон-стрит, две комнатухи в другом доме у церкви Святой Анны, детство, прошедшее в городских районах у реки. И дальше в прошлое, к тому дню, когда в июне 1844 женщина по имени Антония, старшая дочь лорда Альберта Стэнли, родила дочь от мужчины по имени Питер Белл. Он был часовых дел мастером и жил в доме номер сорок три по Уитшиф-лейн, в Фулэме.

Когда Люси закрыла свинцовую крышку гроба, солнце уже готовилось нырнуть за острые коньки крыши. И тогда она поняла, что плачет. По Эдварду и по Лили; и по самой себе тоже, ведь она всегда будет жить с грузом вины.

Носильщик был прав, гроб оказался очень тяжелым, но годы, проведенные «в поле», сделали Люси выносливой и сильной. А еще ей помогала решимость, и ящик наконец соскользнул на положенное место. Забросав яму землей, Люси как следует примяла ее руками.

Если после первоначального знакомства с работами мистера Дарвина у Люси еще оставались какие-то религиозные наклонности, то жизненный опыт убил их окончательно, поэтому она не стала произносить молитву над свежей могилой. Тем не менее момент был торжественным и требовал слов, а потому она долго и тщательно думала над тем, что скажет.

Позже она посадит над могилой японский клен. Он уже куплен – молодое деревцо со светлой гладкой корой, с изящными ветвями, длинными и ровными, тоненькое, но крепкое. Такие деревья очень любил Эдвард: их листва, красная по весне, к осени приобретала оттенок меди, в точности как волосы Лили Миллингтон. Хотя нет, не Лили Миллингтон, тут же поправилась она, ведь это не было ее настоящим именем.

– Альбертина, – шепнула Люси, вспомнив тот погожий день в Хэмпстеде, когда сквозь стекло студии в дальнем углу сада она увидела яркий всплеск рыжих волос и мать послала ее туда с подносом чая «в лучших фарфоровых чашках». – Тебя звали Альбертиной Белл.

Или Берди – для тех, кто ее любил.

Все внимание Люси было приковано к участку перекопанной и разглаженной земли посреди клумбы у ворот, поэтому она ничего не заметила; но если бы обернулась и поглядела наверх, на окно мансарды, то подумала бы, наверное, что сумерки сыграли с ней странную шутку – в тот самый миг, когда имя сорвалось с ее уст, за стеклом ненадолго вспыхнул свет. Как будто там зажгли и погасили лампу.

XI

Я же говорю. Я не понимаю, какая физика за этим стоит, а спросить здесь не у кого.

Каким-то образом, я так и не поняла как или почему, я вдруг снова оказалась в доме, за стенами тайника. Я ходила между людьми, как раньше, и в то же время совсем по-другому.

Сколько дней прошло? Не знаю. Наверное, два или три. Они уже не ночевали здесь, когда я вернулась.

Спальни по ночам стояли пустыми, а днем кто-нибудь иногда заходил, за одеждой или другими вещами.

Фанни умерла. Я слышала, как полицейские говорили о «бедной мисс Браун», так что с выстрелом все стало понятно, а вот с грохотом на лестнице у меня над головой – нет.

А еще я слышала, как они говорили про «Синий Рэдклифф» и про билеты в Америку.

И обо мне полицейские тоже много говорили. Они разузнали обо мне все, что смогли. То есть не обо мне, а о Лили Миллингтон.

Когда я наконец поняла, к чему они клонят, меня обуял ужас.

Что думает Эдвард? Верит ли он им? Согласен ли, что все именно так и было?

Наконец он вернулся в дом, рассеянный и бледный. Часто стоял у стола в Шелковичной комнате, глядя в окно на реку, переводя взгляд с нее на мои часы, которые продолжали отсчитывать время. Он ничего не ел. И совсем перестал спать.

Он ни разу не открыл альбом и вообще, кажется, утратил интерес к живописи.

Я была рядом с ним все время. Кралась за ним, куда бы он ни пошел. Я плакала, я кричала, я просила и умоляла, я ложилась с ним рядом, чтобы он почувствовал, что я здесь, возле него; но в те времена моя способность показываться людям была еще в зачаточном состоянии. Это позже я усовершенствовала ее как могла. А тогда, в самом начале, попытки только лишали меня сил.

А потом случилось самое страшное. Они уехали, все, и я не смогла их остановить.

Грохот колес на подъездной аллее затих, и я осталась одна. Долго-долго со мной никого не было. Я исчезла, вернулась в теплое и тихое нутро

дома, просочилась меж половиц назад, к праху, легла в него и растворилась в долгой, безмолвной ночи.

Пока, двадцать лет спустя, меня не вернула из небытия моя первая гостья.

И когда она похоронила меня, мою жизнь, мою историю и мое имя, я, в свое время мечтавшая поймать свет, поняла, что сама стала им – пойманным светом.

Часть четвертая
Пойманный свет



Глава 30

Лето 2017 года

День начался с той электрической яркости, которую природа как будто специально приберегает для утра после бури.

Просыпаясь, Джек прежде всего понял, что он не лежит больше на той богом проклятой койке в старой пивоварне. Теперь поверхность под ним стала еще жестче, зато настроение у него было лучше некуда.

Буйная мешанина красок на обоях – зелень и пурпур – подсказала ему, где он; зрелые ягоды шелковицы и надпись над входом: «Истина, Красота, Свет». Он спал на полу, в доме.

Кто-то пошевелился на кушетке, и Джек вспомнил, что он не один.

Стремительно, словно кусочки стекла в калейдоскопе, события прошлой ночи встали на место. Гроза, отказ таксиста приехать, бутылка вина, купленная им по какому-то наитию в «Теско».

Она еще спала, такая нежная, темные волосы аккуратно пострижены вокруг ушей. Джеку она напомнила чайную чашку, оказавшуюся не в том месте и не в то время, – у него был особый талант ронять их и разбивать.

На цыпочках он прошел по коридору и направился в пивоварню, где стал заваривать чай.

Когда он вернулся с двумя кружками, над которыми поднимался ароматный парок, она уже проснулась и сидела на той же кушетке, обернув плечи одеялом.

– Доброе утро, – сказала она.

– Доброе.

– Я не поехала в Лондон.

– Я заметил.

Они проговорили всю ночь. Истина, красота и свет – в этой комнате, как и во всем доме, точно была какая-то магия. Джек рассказал ей о своих девочках и о Саре. О том, что стряслось в банке, как раз перед тем, как он ушел из полиции. Джек отказался тогда выполнять приказ, и дело кончилось тем, что он спас семерых заложников, а сам словил пулю в плечо. Во всех газетах его славили как героя, но для Сары это стало последней каплей.

– Как ты мог, Джек? – сказала она ему тогда. – Ты совсем не думал о

детях? О наших девочках? Тебя ведь могли убить.

– Там, в банке, тоже были дети, Сар.

– Но чужие. Какой из тебя отец, если ты не в состоянии осознать эту простую разницу?

Джек не знал, что ответить. А она вскоре собрала вещи и заявила, что возвращается в Англию, поближе к родителям.

Еще он рассказал Элоди про Бена: как тот погиб ровно двадцать пять лет назад, в пятницу, как его смерть сломала их отца. А Элоди рассказала ему о смерти матери, тоже двадцать пять лет назад, и об отце, до сих пор придавленном горем, – она собиралась поговорить с ним, как только вернется в Лондон.

Она рассказала ему о своей подруге Пиппе и о работе, которую очень любит, признавшись, что ей всегда казалось, будто эта любовь делает ее немного странной в глазах других, но теперь ей все равно.

А под конец, когда они переговорили буквально обо всем и пропустить такую заметную вещь, как кольцо у нее на пальце, было уже просто подозрительно, он спросил ее об этом, и она ответила, что помолвлена и скоро выходит замуж.

Эти слова резанули Джека так больно, что он даже удивился: разве можно чувствовать такое в отношении человека, которого знаешь в общем и целом часов сорок? И попытался спустить все на тормозах. Сказал «поздравляю» и спросил, каков он, этот счастливец.

Алистер – все Алистеры, которых Джек встречал в жизни, оказывались почему-то полными придурками, – так вот, Алистер был банкиром. Он был милым. Успешным. Иногда забавным.

– Есть, правда, одна проблема, – добавила она, состроив гримаску, – по-моему, он меня не любит.

– Почему? Что с ним не так?

– Мне кажется, он влюблен в другую женщину. И еще мне кажется, что эта женщина – моя мать.

– Хм, это как-то... неожиданно, учитывая обстоятельства.

Она не смогла сдержать улыбку, а Джек спросил:

– Но ты-то его любишь?

Сначала она не ответила, потом вдруг сказала:

– Нет, – так, словно сама удивилась. – Нет, я его не люблю, правда.

– Так. Ты, значит, не любишь его, а он, похоже, влюблен в твою мать.

Зачем тогда выходить за него замуж?

– Ну, все уже на мази. Цветы заказаны, приглашения разосланы...

– Это, конечно, все меняет. Приглашения в особенности. Их ведь не

вернешь.

Сейчас он протянул ей кружку с чаем и сказал:

– Как насчет прогуляться по саду до завтрака?

– Ты будешь кормить меня завтраком?

– У меня это хорошо получается. По крайней мере, мне так говорили.

Они вышли на улицу через заднюю дверь, ту, что ближе к пивоварне, прошли под каштаном и оказались на лужайке. Джек сразу пожалел, что не захватил солнечных очков. Мир вокруг был промыт, как стекло, нигде ни пятнышка, все четко, как на передержанном фото. А когда они повернули за угол и оказались в саду перед домом, Элоди вскрикнула.

Проследив за ее взглядом, он увидел, что гроза повалила старый японский клен и тот лежит, разметав рыжую крону, поперек дорожки из плитняка, а узловатые корни торчат к небу.

– Моим коллегам по музею это не понравится, – сказал он.

Они подошли ближе – поглядеть, насколько велик ущерб, – и вдруг Элоди сказала:

– Смотри. Кажется, там что-то есть.

Джек опустился перед ямой на колени, протянул руку и кончиками пальцев коснулся гладкого пяточка, глядевшего на них из-под земли.

– Может быть, это твое сокровище, – с улыбкой сказала она ему. – И оно все время было здесь, прямо у тебя под носом.

– Ты вроде говорила, что это сказка для детей?

– Мне и раньше случалось ошибаться.

– Так что, будем копать?

– Похоже, придется.

– Тогда сначала позавтракаем.

– Конечно, завтрак в первую очередь, – поддержала его она. – Ведь я слышала, что ты в этом деле дока, Джек Роулэндс, и я ожидаю от тебя чудес.

Глава 31

Лето 1992 года

Новость застигла Типа в студии. Позвонила женщина, их соседка: Лорен умерла, автокатастрофа где-то под Редингом; Уинстон вне себя от горя; девочка справляется.

Это слово тогда особенно его зацепило. «Справляется». Странно слышать такое о шестилетней малышке, которая только что потеряла мать. Но было понятно, что именно хотела сказать та женщина, миссис Смит. Тип почти не знал эту девочку, пальцев на одной руке больше, чем тех раз, когда он видел ее за воскресным ланчем в доме ее родителей. За столом она всегда сидела напротив, такая крохотная, незаметная, и буквально не сводила с него больших, любопытных глаз; но он видел достаточно, чтобы понять – эта малышка совсем не такая, какой в ее возрасте была Лорен. Эта вся внутри. У Лорен, наоборот, нутро будто вырабатывало электричество, причем всегда, с первого дня жизни. И ее личное напряжение всегда было выше, чем у других людей. Именно поэтому она была так неотразима в детстве – ее все любили, – но это не значит, что с ней было легко. Наоборот, с ней ты вечно был как под лучом прожектора.

Выслушав новость, Тип аккуратно вернул трубку телефона на рычаг, а сам опустился на скамью у верстака. Слезы навернулись на глаза, когда его взгляд упал на табурет напротив. На прошлой неделе там сидела Лорен. Она зашла к нему, чтобы поговорить о Берчвуд-Мэнор, спросить, как туда проехать.

– То есть ты хочешь знать адрес?

Он продиктовал его, а потом спросил, зачем он ей понадобился – она что, хочет туда поехать? Лорен кивнула головой и сказала: да, ей предстоит сделать очень важную вещь, и не где придется, а в нужном месте.

– Я знаю, это всего лишь сказка, – добавила она, – и не могу объяснить тебе, как это случилось, но чувствую, что именно из-за нее я стала такой, как сегодня. – Продолжать Лорен не захотела, и они заговорили о другом, но уже на пороге она вдруг остановилась и сказала: – А знаешь, ты был прав. Время и впрямь делает невозможное возможным.

Пару дней спустя в газете он прочел о ее концерте в Бате и, едва увидев имя второго солиста, понял, что она задумала. Она собиралась

проститься с человеком, который некогда был ей очень дорог.

Шестью годами раньше, вернувшись из Нью-Йорка, она сидела на том же табурете. Тип помнил, какой у нее был тогда вид: что-то случилось, он сразу это понял.

И точно: она сказала, что влюбилась, и еще, что выходит замуж.

– Поздравляю, – ответил он, хотя это, видимо, было не все.

Обнаружилось, что две части ее новости были связаны между собой вовсе не так, как можно было предположить.

Она влюбилась в одного из тех молодых музыкантов, которых пригласили в Нью-Йорк сыграть квинтет, – в скрипача.

– Все произошло мгновенно, – рассказывала она. – Любовь накатила внезапно и захватила меня целиком, ради нее стоило рисковать, стоило идти на жертвы, и еще я сразу поняла, что никогда ни с одним другим мужчиной у меня не будет так же.

– А он?..

– Это было взаимно.

– Но почему тогда...

– Он женат.

– А-а.

– На женщине по имени Сьюзен, милой, очаровательной, они знакомы с детства, и он никогда не причинит ей боль. Она все о нем знает, работает в начальной школе учительницей и печет изумительный шоколадный кекс с арахисовой пастой: принесла его на репетицию, угостила нас всех, а потом села на пластмассовый стул в сторонке и стала слушать, как мы играем. А когда мы кончили, она плакала, Тип, – понимаешь, плакала, так ее тронула наша музыка, – и я поняла, что не могу даже ненавидеть ее. Как можно ненавидеть женщину, которую музыка трогает до слез?

Тут вполне можно было ставить точку, но оказалось, что есть и третья часть.

– Я беременна.

– Понятно.

– Так вышло.

– Что будешь делать?

– Выйду замуж.

И она рассказала ему о том, что Уинстон сделал ей предложение. Тип встречал этого парня пару раз: тоже музыкант, хотя и не такой, как Лорен. Но человек хороший – а главное, безнадежно влюблен в Лорен.

– И как, он не возражает...

– Насчет ребенка? Нет.

– Вообще-то, я хотел сказать, насчет того, что ты любишь другого мужчину.

– Я была с ним честной. Он сказал, что это не имеет значения, что любовь бывает разной, а человеческое сердце не приемлет ограничений. И еще, что со временем я могу передумать.

– Может, он прав.

– Нет. Это невозможно.

– Время – загадочный и могучий зверь. Одна из его любимых повадок – делать невозможное возможным.

Но ничто не могло поколебать ее решимости. Никого и никогда она не сможет полюбить так, как любит того скрипача.

– Но это не значит, что я совсем не люблю Уинстона, Тип. Я его люблю: он *хороший* человек, добрый; таких надежных друзей, как он, у меня мало было в жизни. А ведь это кое-чего стоит, я же понимаю.

– Мне такого испытать не удалось.

Она потянулась через стол и крепко сжала его руку.

– А что ты скажешь ребенку? – спросил Тип.

– Правду, когда – и если – она спросит. Мы с Уинстоном так договорились.

– Она?

Лорен улыбнулась:

– Просто предчувствие.

Она. Девочка, Элоди. Тогда, во время воскресных обедов, Тип ловил себя на том, что тоже наблюдает за ней через стол, озадаченный чем-то в ней, но чем именно, долго не мог сообразить; и наконец понял – она ему кого-то напоминала. И только теперь, когда внезапная смерть ее матери словно добавила резкости всем предшествующим событиям, он догадался, кого именно, – его самого. Как и Тип, она была тихим ребенком, но за этими тихими водами скрывался глубокий омут.

Тип встал, подошел к полке, где хранил банку со всякой всячиной, запустил в нее руку и вынул камень. Подбросил его на ладони, точно взвешивая. Он до сих пор помнил, что рассказывала о нем та женщина, Ада. В тот вечер они сидели вдвоем на скамейке перед пабом в Берчвуде; было лето, солнце уже зашло, но света еще хватало, чтобы показать ей камни и палочки, которые он подобрал по дороге. В те времена карманы у него никогда не пустовали.

Она по очереди брала каждое из его сокровищ и внимательно рассматривала, поворачивая то так, то эдак. Ей тоже нравилось собирать разные разности в этом возрасте, сказала она тогда; и теперь тоже их

собирает; у взрослых это называется археологией.

– А у тебя есть любимая находка? – спросила она вдруг.

Тип ответил, что есть, и показал ей особенно гладкий кусочек кварца, почти правильной овальной формы.

– А вы находили что-нибудь такое же красивое?

Ада кивнула:

– Да, когда я была чуть старше, чем ты сейчас.

– Мне пять.

– Ну вот, а мне в то время было восемь. Произошел несчастный случай. Я выпала из лодки в реку, а плавать не умела.

Тип помнил, как напрягся тогда: кажется, где-то он это слышал.

– И вот, упала я, значит, в воду и тону себе потихонечку.

– Вы думали, что умрете?

– Да.

– Одна девочка утонула тут, в реке. Правда.

– Да, – подтвердила она серьезно. – Но это была не я.

– Это она тебя спасла?

– Да. Когда я уже поняла, что больше не могу задерживать дыхание, я вдруг увидела ее. Неотчетливо и всего на одно мгновение; потом она исчезла, а на ее месте оказался камень – он сиял, окруженный светом, и я почему-то поняла, так ясно, будто мне нашептали на ухо, что если я протяну руку и схвачу его, то выплыву.

– И выплыли.

– Как видишь. Одна мудрая женщина сказала мне, что есть вещи, которые приносят нам удачу.

Эта мысль очень понравилась ему тогда, и он спросил, где найти такую вещь. И объяснил зачем: его папу только что убили на войне и он очень тревожится за маму, ведь настала его очередь заботиться о ней, а он не знает, как это делать.

Ада кивнула ему и ответила:

– Я приду завтра к вам в дом, навестить тебя. Ты не возражаешь? У меня есть одна вещь, которую я хочу тебе подарить. Я даже думаю, что она предназначена для тебя. Она знала, что однажды ты появишься здесь, и сама нашла к тебе дорогу.

Но только пусть это будет их секретом, добавила она и тут же спросила, нашел ли он тайник в доме. Тип ответил, что нет, она шепотом рассказала про панель в стене, и глаза Типа широко открылись от восторга.

Назавтра она принесла ему синий камень.

– А что мне с ним делать? – спросил он, сидя рядом с ней в саду

Берчвуд-Мэнор.

– Просто береги его, а он будет беречь тебя.

Берди, которая тоже была с ними, улыбнулась в знак согласия.

В свои без малого шестьдесят Тип уже не так верил в амулеты, но сказать, что он совсем потерял веру в них, было бы неправдой. По крайней мере, порой ему помогало одно сознание того, что у него есть этот камень. Много раз ребенком – сначала в Берчвуде, но чаще потом, когда они уехали оттуда, – он сжимал камень в ладошке, закрывал глаза и снова слышал слова Берди; вспоминал искорки света в темноте и ощущение дома, где он был, казалось, под постоянной защитой, и будущее виделось светлым и радостным.

И вот теперь, пока он думал о Лорен и о малышке, оставшейся без матери, в его голове стал складываться замысел. В студии Типа хранились корзинки с сокровищами, которые он приносил с прогулок: говорящие вещи, привлекавшие его своей красотой, или настоящестью, или таинственностью. Он начал перебирать их, а самые яркие и симпатичные выкладывал на поднос и соединял то так, то этак, пока не оставался доволен результатом. И тогда принимался замешивать глину.

Маленькие девочки любят хорошенькие коробочки. По субботам, когда на улице открывалась ярмарка, они толпились у прилавков с поделками и с серьезным видом выбирали шкатулки для своих сокровищ. Вот и он сделает такую для нее, для дочки Лорен, и украсит всем, что было дорого ему самому. И в первую очередь – синим камнем, который опять нашел ребенка, нуждающегося в защите. Конечно, этого мало, но что еще он может ей дать?

И как знать – по крайней мере, Тип очень на это надеялся, – если он сделает все как надо, то, наверное, сможет зарядить свой дар такой же силой, напитать его тем же светом и той же любовью, что заключались в камне, когда его получил он.

Глава 32

Лето 1962 года

Свою машину она остановила у края дороги и выключила двигатель, но выходить не стала; было еще рано. Воспоминания волной гнались за ней весь день, ежеминутно грозя нахлынуть и погрести под собой, и вот, когда она доехала до места, цунами памяти все же прокатилось над ее головой, расплескавшись кругом сияющими лужами. Джульетта подробно, буквально всем телом вспомнила тот вечер, когда они вчетвером приехали сюда из Лондона – голодные, усталые и, несомненно, глубоко травмированные внезапной потерей дома.

Это был один из самых страшных периодов ее жизни – дом сгорел, Алана убили, – и все же, сама не зная почему, она и сейчас многое дала бы, чтобы оказаться там. Войти вон в ту калитку, за которой начинается сад Берчвуд-Мэнор, зная, что она увидит пятилетнего Типа с челкой, падающей ему на лицо, как занавес; Беа, колючую в своей предподростковой тоске, чурающуюся объятий; и Рыжа, просто Рыжа, неугомного, неистребимовеснушчатого, со щербатой улыбкой. Услышит их вопли, вечные препирательства, бесконечные вопросы. Время, которое пролегло между «сейчас» и «тогда», невозможность вернуться хотя бы на день, даже на минуту, терзали ее, как физическая боль.

Она не ожидала, что ее чувства будут так сильны. Что связь с этим домом укоренится у нее в груди и будет тянуть ее назад, как на веревке. Она ощущала эту связь не как груз, но как внутреннее давление: что-то распирало ей ребра, стремясь вырваться наружу.

После смерти Алана прошло двадцать два года. Двадцать два года он не живет на свете, и она идет своим путем одна, без него.

И голоса его она больше не слышит.

И вот она снова здесь, ее машина стоит на краю луга, возле Берчвуд-Мэнор. Дом был необитаемым: она увидела это сразу. Налет забвения лежал на нем. Но все равно Джульетта страстно любила его.

Не вставая с водительского кресла, она достала из сумочки письмо и быстро перечитала. Короткое и четкое; обычно он пишет не так. Почти ничего, кроме сегодняшней даты и времени.

Джульетта сохранила все посланные им письма. Ей нравилось знать,

что они лежат все вместе в шляпной коробке, в глубине ее гардероба. Беатрис любила подразнить ее «дружком по переписке», но после рождения Лорен ей уже было не до того.

Часы на приборной панели отщелкивали минуту за минутой. Она взглянула на себя в зеркальце заднего вида, проверила помаду и, решительно переведя дух, вышла из автомобиля.

Извилистой тропой она пошла к кладбищу, сморгнув по дороге образ пятилетнего Типа, который задержался у обочины, чтобы поискать кварц или другие интересные камешки. Свернув налево, к деревне, она поравнялась с перекрестком и с радостью увидела, что «Лебедь» все еще стоит на своем месте.

Поколебавшись, она собралась с духом и шагнула внутрь. Тридцать четыре года назад они с Аланом вошли в эту дверь, приехав лондонским поездом; Джульетта старательно боролась с ранними проявлениями беременности. Вот и теперь она подсознательно ожидала, что сейчас ей навстречу выйдет миссис Хэммет, поздоровается и начнет болтать как ни в чем не бывало, словно она только вчера приходила с детьми к ней на обед, – но, конечно, за стойкой стояла совсем другая, молодая женщина.

– Да уж пару лет, как паб сменил хозяев, – сказала она. – Я миссис Лэм. Рейчел Лэм.

– А миссис Хэммет... она не?..

– Не дождетесь. Живет теперь с сыном и невесткой, на нашей улице.

– Близко отсюда?

– Даже слишком. Вечно заглядывает сюда и дает мне какой-нибудь совет. – Женщина улыбнулась, показывая, что говорит это без злобы. – Если поторопитесь, застанете ее. Она, знаете ли, любит теперь вздремнуть после полудня. Только настанет двенадцать, и она уже спит, хоть часы по ней сверяй.

Джульетта не планировала навещать миссис Хэммет, но все же спросила у Рейчел Лэм адрес и скоро уже стояла перед коттеджем с красной парадной дверью и черным почтовым ящиком. Постучав, она затаила дыхание.

– Ой, как жаль, она только что заснула, – сказала женщина, которая отворила ей дверь. – Вот прямо только что, а уж будить ее я не стану. Раскапризничается, если не поспит.

– Может, вы скажете потом, что я заходила, – сказала Джульетта. – Хотя вряд ли она меня помнит. Столько постояльцев встретила и проводила за свою жизнь. Она была очень добра ко мне и к моим детям. Я написала о ней статью. О ней и ее дамах из женской Добровольной службы.

– Ах вот оно что, так бы сразу и сказали! Джульетта и ее «Письма»! Как же, ваша статья до сих пор висит у нее на стене, в рамочке. «Моя минута славы» – так она это называет.

Еще минуточку-другую они мило болтали, но потом Джульетта спохватилась и сказала, что ей надо идти, у нее назначена встреча, а невестка миссис Хэммет ответила: вот и хорошо, ей пора разбирать старье в чулане, давно уже собирается, да все руки не дойдут.

Джульетта повернулась, готовясь уйти, как вдруг ее взгляд упал на картину над диваном. Портрет молодой женщины удивительной красоты.

– Красавица, правда? – сказала невестка миссис Хэммет, перехватив ее взгляд.

– Глаз не отвести.

– Мое наследство, от деда досталось. Точнее, я нашла у него на чердаке, уже после его смерти.

– Вот это да.

– У него там чего только не было. Не одну неделю разгребали и почти все отнесли на свалку – так, всякий мусор, еще и крысами поеденный. Дом-то был старый, еще его отца.

– А тот был художником?

– Нет, в полиции служил. Потом уволился, ящики с его старыми бумажками убрали на чердак, да там и забыли. А откуда она взялась, не знаю. Незаконченная – видите, края не закрашены, и от кисти следы видны, – но выражение лица у нее... даже не знаю, как сказать. Правда? Вот прямо не хочешь, а все равно глядишь.

Женщина с картины стояла перед глазами Джульетты, когда она возвращалась в Берчвуд-Мэнор. Нельзя сказать, чтобы ей было знакомо это лицо, скорее, сама атмосфера портрета что-то напоминала. Лицо незнакомки, ее взгляд лучился любовью. Почему-то ей вспомнились сначала Тип, потом лето в Берчвуд-Мэнор, а потом солнечный день 1928 года, когда она поругалась с Аланом, убежала, заблудилась и снова нашлась, проснувшись в саду, под тенистой кроной японского клена.

Неудивительно, что именно сейчас ей вспомнился тот день. Они с Леонардом уже почти двадцать лет обменивались письмами, с тех самых пор, как она попросила его написать что-нибудь для ее цикла «Писем из провинции» – хотела сделать статью о многочисленных воплощениях одного и того же дома, но так и не успела. Как потом выяснилось, он слишком поздно получил ее письмо, а когда отправил ответ, Джульетта вернулась в Лондон – война устало тащилась к концу. Но, несмотря на неудачное начало, их переписка продолжилась. Он признался ей, что тоже

любит писать: ему проще общаться с людьми посредством бумажного листа, чем напрямую.

Они рассказывали друг другу обо всем. Джульетта делилась своим горем, гневом, чувством утраты, всем тем, что, по понятным причинам, не могла включить в свои статьи. Но она не только плакалась, а еще и писала о том прекрасном, забавном и настоящем, что происходило с ней и ее семьей.

Но лично они так и не встретились, точнее, встречались один раз, тогда, летним днем 1928 года. На сегодня была назначена их вторая встреча.

Джульетта никому не сказала о своих планах. Дети часто уговаривали ее сходить куда-нибудь пообедать, сватали ей кавалеров, но эту встречу, сегодня, с этим человеком, она не могла им объяснить. Разве можно поделиться с кем-нибудь тем, что испытали она и Леонард в тот день в саду Берчвуд-Мэнор?

Вот почему Леонард остался ее тайной, как и эта поездка к дому, так много значившему для них обоих.

Впереди показались два фронтона, и Джульетта ускорила шаг: у нее было такое чувство, словно ее несет к дому. Она опустила руку в карман и проверила, лежит ли там по-прежнему старинный двухпенсовик.

Столько лет он хранился у нее, настала пора его вернуть.

XII

Джек и Элоди ушли на прогулку, вдвоем.

Она сказала, что хочет своими глазами увидеть ту поляну в лесу, ну а он, конечно, был счастлив предложить себя в роли сопровождающего.

А я снова здесь. Сажу на теплом пяточке у поворота лестницы и жду.

Одно я знаю наверняка: когда они вернуться, я буду здесь.

Я буду здесь и когда их не станет, а на их место придут новые гости.

И кто знает, может быть, я еще расскажу кому-нибудь свою сказку, ту, которую услышал Тип, а до него – Ада, ту, которую я соткала из лоскутков Ночи Преследования Эдварда, из того, что рассказывал отец о бегстве моей матери из дому, и из сказки о детях Элдрича и Королеве Фей.

Это хорошая история – о чести и верности, о детях, которые творят добрые дела; сильная история.

Люди ценят сверкающие камни и счастливые амулеты, но забывают, что самые сильные чары заключены в словах, которые мы обращаем к самим себе и к другим, в историях, которые мы рассказываем.

Значит, я буду ждать.

Когда я была еще жива, все вокруг точно с ума посходили – увлеклись спиритизмом и начали вызывать мертвых, желая поговорить с ними. В те времена принято было считать, что духи и привидения жаждут освободиться. Будто бы мы приходим к живым потому, что «заперты» и хотим на волю.

Но это не так. Я не хочу свободы. Я – часть этого дома, который так любил Эдвард; я и есть его дом.

Я в каждом завитке каждой деревянной половицы.

Я в каждом гвозде.

Я в фитиле лампы, в крючке для пальто в прихожей.

Я в хитром замке на входной двери.

Я в подтекающем кране и в кружке ржавчины на дне фарфоровой раковины.

Я в трещинках на плиточном полу ванной.

Я в колпаке на каждой дымовой трубе и в черной, змеящейся под землей трубе слива.

Я в воздухе каждой комнаты.

Я в стрелках моих часов и в пространствах между ними.

Я в звуках, которые вы слышите, когда вам кажется, будто вы не

слышите ничего.

Я – тот свет в окне, которого не может быть.

Я – звезды в темноте, сияющие, когда вам кажется, что вы одни.

Примечания автора

Я, как и Люси Рэдклифф, часто тревожусь о том, что жизнь слишком коротка, а узнать хочется так много, и тогда мне на помощь приходит мое писательское ремесло: именно оно дает мне возможность исследовать особенно увлекательные темы. «Дочь часовых дел мастера» вместила в себя многое из того, что меня интересует: время и вечность, истину и красоту, карты и картографию, фотографию, естественную историю, целительное воздействие пеших прогулок, братские чувства (у меня трое сыновей, так что эта тема для меня едва ли не самая главная), дома и идею «дома», реки и магию пространства – да много еще чего. Эта книга вдохновлена искусством и его творцами: английскими поэтами-романтиками, художниками-прерафаэлитами, первыми фотографами, такими как Джулия Маргарет Кэмерон и Чарльз Доджсон, а также дизайнером Уильямом Моррисом (чьей страстью к домам я разделяю; именно он научил меня видеть, как старые постройки в Котсуолде неброско, но явно подражают миру природы, из которой они вышли).

Плетя ткань моего романа, я вдохновлялась такими местами, как Эйвбери-Мэнор, Келмскотт-Мэнор, Грейт-Чолфилд-Мэнор, Эбби-Хауз-Гарденз в Малмсбери, Лакок-Эбби, Белый Конь Уффингтона, Земляной форт в Барбери, Риджуэй, сельской местностью Уилтшира, Беркшира и Оксфордшира, деревнями Сауторп, Истлич, Келмскот, Баскот и Леклейд, рекой Темзой и, конечно же, Лондоном. Ну а если и вам захочется посетить дом, где еще уцелели настоящие «норы священников», добро пожаловать в Харвингтон-Холл в Вустершире – их там семь, и все спланированы и построены святым Николасом Оуэном. А еще этот дом стоит на острове, окруженном рвом с водой.

Если же вас особенно заинтересовала жизнь Лондона девятнадцатого века, если вы хотите побольше узнать о тех улицах, по которым ходили Берди Белл и Джеймс Стрэттон, я могу предложить вашему вниманию следующие источники: «Работяги и бедняки Лондона» Генри Мэйхью (у него вы можете почерпнуть сведения о забытых ныне профессиях «слепых уличных продавцов портновских иголок» и «скриверов», или писателей слезных писем и петиций); «Викторианский Лондон: жизнь города в 1840–1870 гг.» Лизы Пикар; «Викторианский город: повседневная жизнь в диккенсовском Лондоне» Джудит Фландерс; «Викторианцы» А. Н. Уилсона; «Изобретая викторианцев» Мэтью Свита; и наконец, «Чарльз

Диккенс» Саймона Каллоу – биографию одного из величайших лондонцев и викторианцев, написанную с безграничной любовью. В Севен-Дайелз, как и вообще в Ковент-Гардене, частью которого он является, жизнь по-прежнему кипит; однако случись вам посетить эти места сегодня, вы найдете там куда больше ресторанов, нежели лавок с птицами и птичьими клетками вроде той, над которой процветало предприятие миссис Мак. А Литл-Уайт-Лайон-стрит в 1938 году получила новое имя – Мерсер-стрит.

Работая над «Дочерью часовых дел мастера», я часто посещала музеи, что, как мне кажется, вполне соответствует духу моего романа, во многом основанного на идее исцеления через слово, использования нарративных структур для создания связного рассказа, который позволит собрать в единое целое события, которые относятся к разным временным пластам. Здесь я хочу привести названия тех музеев, которые особенно вдохновили меня. Это Музей Чарльза Диккенса, галерея Уоттса и Лимнерслиз, Музей сэра Джона Соуна, Музей Фокса Талбота, Музей Виктории и Альберта, Британский музей и Королевская обсерватория в Гринвиче. А еще я с восторгом посетила ряд выставок и хочу выразить признательность их кураторам и всем людям, благодаря труду которых такие посещения становятся возможными: «Джулия Маргарет Кэмерон», Музей Виктории и Альберта, 2015–2016; «Рисуем светом: живопись и фотография от прерафаэлитов до наших дней», галерея Тейт, 2016; «Викторианские гиганты: рождение искусства фотографии», Национальная портретная галерея, 2018.

Я особенно благодарна следующим людям: моему агенту Лиззи Кремер и всей команде ДНА, моим редакторам Марии Рейт и Анетте Барлоу, Лизе Кейм и Каролин Рейди из «Саймона и Шустера» и Анне Бонд из «Пан-Макмиллан». Я также благодарю сотрудников А&У, «Пан-Макмиллан» и «Атрии», которые сыграли важную роль в превращении моей истории в эту книгу, так красиво оформили ее и послали в мир. Изабелла Лонг щедро делилась со мной информацией о жизни и работе архивистов. Большое спасибо Нитин Шодхари и его родителям, которые помогли мне с пенджаби для истории Ады. Все неточности и ошибки, как умышленные, так и нет, целиком на моей совести. Так, я позволила себе вольность – переместила открытие выставки в Королевской академии художеств на ноябрь 1861-го, несмотря на то что в описываемый мной период выставки академии всегда проходили в мае.

И еще большое спасибо людям, чья помощь была пусть не столь конкретной, но от того не менее ценной: моим дорогим почившим друзьям Герберту и Рите, которые навсегда останутся в моей памяти; моим маме,

папе, сестрам и друзьям, в особенности семействам Кретчи, Патто, Стайни и Браун; каждому, кто прочел хотя бы одну мою книгу и получил от нее удовольствие; моим трем огонькам во тьме – Оливеру, Луису и Генри; и конечно, самую большую благодарность я приношу тому, с кем мы совместно ведем воздушное судно нашей жизни, – Дэвину.

notes

Примечания

1

Игла Клеопатры – древнеегипетский обелиск, установленный в Лондоне на набережной Виктории в 1878 г.

2

Квакерское кресло – мягкое кресло без подлокотников с точеными ножками.

3

Берди (англ. Birdie) – птичка, от слова bird.

4

Перевод Э. Соловковой.

5

Предметы искусства (фр.).

6

Оплошностям (фр.).

7

Настороже (*фр.*).

8

Адъютант (фр.).

9

«Красавица» (фр.).

10

Визитных карточек (*фр.*).

Table of Contents

[Кейт Мортон Дочь часовых дел мастера](#)

[Часть первая. Сумка](#)

[I](#)

[Глава 1](#)

[Глава 2](#)

[II](#)

[Глава 3](#)

[Глава 4](#)

[Глава 5](#)

[III](#)

[Глава 6](#)

[Глава 7](#)

[IV](#)

[Глава 8](#)

[Глава 9](#)

[Часть вторая. Особые люди](#)

[V](#)

[Глава 10](#)

[Глава 11](#)

[Глава 12](#)

[VI](#)

[Глава 13](#)

[Глава 14](#)

[Глава 15](#)

[Глава 16](#)

[Глава 17](#)

[VII](#)

[Глава 18](#)

[Глава 19](#)

[Глава 20](#)

[Глава 21](#)

[VIII](#)

[Глава 22](#)

[Глава 23](#)

[IX](#)

[Часть третья Лето в Берчвуд-Мэнор](#)

[Глава 24](#)

[Глава 25](#)

[Глава 26](#)

[X](#)

[Глава 27](#)

[Глава 28](#)

[Глава 29](#)

[XI](#)

[Часть четвертая Пойманный свет](#)

[Глава 30](#)

[Глава 31](#)

[Глава 32](#)

[XII](#)

[Примечания автора](#)

[Примечания](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)

[10](#)